ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 8—9

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1924

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ◆ 1924 г.

Главлит № 26261. Тираж 5.000 экз.

Типография „Красный Пролетарий". Пименовская, 1/16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Библиография.

Ленин как философ.

Работа Ленина „Материализм и эмпириокритицизм. — Критические заметки об одной реакционной философии“ впервые появилась на русском языке в сентябре 1908 г., и вторым изданием с приложением статьи В. И. Невского в сентябре 1920 г. На-днях выходит немецкое издание ее в великолепном переводе со второго русского издания. Я воспользовался любезностью издателя, предоставившего в мое распоряжение рукопись немецкого перевода, для ряда заметок по вопросу о содержании этого выдающегося труда и его значении для нашего времени.

Я не берусь касаться, в пределах моих заметок, ни исторической ценности этой работы, ни ее влияния в истории развития большевистской партии. Задачу познакомить с этим западных читателей должен взять на себя русский товарищ, лучше меня знающий историю Р. К. П.

*

В предисловии к первому русскому изданию, в связи с изречением Луначарского: „Может быть, мы и ошибаемся, но ищем“, Ленин полуиронически замечает: „Что касается до меня, то я тоже — „ищущий“ в философии. Именно: в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное“ [1]). Пусть насмешливое замечание Ленина не введет кого-нибудь в заблуждение, будто это работа принадлежит действительно „ищущему“, дилетанту. Это вполне зрелый труд человека, глубоко сведущего в области диалектического материализма, труд, занимающий место среди классических философских произведений, на-ряду с „Анти-Дюрингом“ и „Фейербахом“ Энгельса. Его смело можно рассматривать как их продолжение, написанное рукой талантливого ученика.

В настоящее время в „Анти-Дюринге“ нас меньше всего интересует сам Дюринг и его образ мыслей. И человек, и его произведения давно умерли, исчезли, позабыты. Но превосходное критическое изло-

[1]) Н. Ленин (В. Ульянов), Собрание сочинений, т. X, Госиздат, 1923 г. „Материализм и эмпириокритицизм“, стр. 7.

жение Энгельсом этого учения с положительным противопоставлением ему диалектического материализма, сохранило для нас свежесть первых дней. Дюринг умер, но дюрингианизм жив и беспрерывно воскресает в том или ином виде. Я подразумеваю под этим все попытки загрязнить диалектический материализм как будто бы „новыми“, а на самом деле чрезвычайно давними ополосками из водоема буржуазной философии. „Высшая чепуха“, о которой говорит Энгельс, беспрерывно делает ряд новых превращений. По существу это все та же чепуха, и критика дюрингианизма, нео-кантианства и агностицизма, которую вел Энгельс, заключает в себе опровержение и более поздних ее видов.

Точно так же умерли для нас Базаровы, Богдановы, Берманы, Гельфонды, Юшкевичи и Суворовы, против которых Ленин ополчался со всей силой своей критики. Они приходят нам на память только в связи с теми гигантскими могильными камнями, которые воздвиг над их воззрениями Ленин [1]). Но они воплощают в себе еще одно новое видоизменение буржуазной философской мысли, беспрерывно порождающей новые разновидности.

Полемика Ленина против Базарова и К° доставляет высшее наслаждение, как полемика. В ней он ранит противника на-смерть, разыскивает все лазейки сбивчивой мысли, ему удается вскрыть и пригвоздить его тончайшие уловки, извлечь на свет беспредельную путаницу его софистических хитросплетений, притянув для разъяснения и собственную школу противника и различные родственные и враждебные ему по духу направления, историю философии и т. д. Стиль его чрезвычайно ясен, прост, сжат, точен до последней степени; у Ленина нет профессиональной педантичности,—наоборот, он обладает чрезвычайной живостью мысли, переходящей временами в страстность. Часто Ленин лишает смысла все „болтливые“ ученые речи своего противника, переводя эту претендующую на ученость тарабарщину на обычный, трезвый язык. В этом произведении Ленин отразился во весь рост, как в его содержании, так и в форме.

Подготовленный партийный работник, взявшийся за книгу Ленина, не должен пугаться заголовков, звучащих по-ученому. Если он нашел силу одолеть „Анти-Дюринга“ и „Фейербаха“, то он справится и с трудом Ленина. Кроме того, чтение этих статей, помимо положительных знаний, даст читателю большое удовольствие и развлечение.

Главное значение Ленинской работы для современного читателя-рабочего и, несомненно, еще для целого ряда будущих пролетарских читателей состоит:

В о-п е р в ы х, в исчерпывающих объяснениях, в точных определениях и весьма тщательной и богатой разработке основных понятий диалектического материализма. Строго придерживаясь основной линии

---

[1]) Редакция не разделяет данного взгляда автора и считает, что, к сожалению, Богданов и К° приходят нам на память не только „в связи с теми гигантскими могильными камнями, которые воздвиг над их воззрениями Ленин“.

диалектического материализма, как ее наметили Маркс и Энгельс, Ленин в то же время не удовлетворяется простым повторением уже сказанного. Все уже определенное и установленное определяется еще точнее, вырисовывается еще полней и глубже благодаря тому, что тщательно отмежевывается от новых искажений, уклонов и ошибок. То, что сделал Энгельс своим „Анти-Дюрингом" и „Фейербахом" для Маркса, ту же заслугу имеет и работа Ленина по отношению к самому Энгельсу, Марксу, Фейербаху и более ранним материалистам.

Во-вторых, в диалектическом освещении новейшего направления естественно-научной мысли. Здесь Ленин дает нечто новое,—руководящую нить для диалектической ориентировки в последних важнейших открытиях естествознания в области физики. Причина того, что он ограничивается лишь областью физики, лежит в условиях полемики,—противник дальше этой области не пошел. Хотя область, затронутая Лениным, — область физических теорий,—уже, чем та, над которой работал Ф. Энгельс, и взята в более тесном объеме, но Ленин возмещает это своей обработкой и исключительным богатством затронутых вопросов.

Мы надеемся, что эта работа послужит побуждением для партийцев марксистской школы на Западе, естественников по образованию, к дальнейшей разработке затронутых ею вопросов.

Теперь мы перейдем к изложению основных понятий диалектического материализма на основе Ленинской критики эмпириокритицизма и родственных последнему течений.

Глава I.

Основные понятия диалектического материализма.

1. Два основных течения философских воззрений.

В качестве исходного пункта Ленин берет одного из последовательнейших идеалистов, английского епископа и философа Джорджа Берклея (главное произведение — „Трактат об основах человеческого познания", вышедшее в 1710 году), чтобы, основываясь на его учении, резко выделить оба основных течения философии, идеализм и материализм, и затем доказать родство эмпириокритической разновидности замаскированного, лицемерного, непоследовательного идеализма с отчеканенным, открытым и последовательным идеализмом более ранних времен. Приемы Ленина в области философской критики в точности соответствуют его приемам в политике: он резко противопоставляет классовые точки зрения реакционной буржуазии и революционного пролетариата и особенно безжалостно преследует все неустойчивые, промежуточные воззрения, колеблющиеся из стороны в сторону и затушевывающие контрасты. В самом деле, здесь необходим не только философский, но и политический подход, для точного разграничения точек зрения обоих классов, вскрытия и уни-

чтожения всех промежуточных положений, в действительности служащих всегда убежищем противоположному классу.

Ленин первоначально дает следующее определение этих обоих основных философских течений: „Материализм — признание „объектов в себе“ или вне ума; идеи и ощущения — копии или отражения этих объектов. Противоположное учение (идеализм): объекты не существуют „вне ума“, объекты — суть „комбинации ощущений“ [1]).

Нужно твердо помнить, что здесь речь идет об основных признаках обоих философских течений, которые отнюдь не представляют из себя особенностей той или иной разновидности одного из течений, но заключают в себе нечто общее для каждого основного течения со всеми его разновидностями вместе взятыми. Существование предметов помимо ума, независимо от него, объяснение идей, восприятие мыслей и т. д., как копий или отражений этих предметов, вовсе не является особым признаком диалектического материализма, но есть общий основной признак всех школ, ступеней, разновидностей материализма, от бессознательного материализма естественных наук до достигшего наивысшей ступени развития диалектического материализма, включая сюда все переходящие недоразвитые ступени материалистического мировоззрения. Но именно в силу этого так легко затемняется этот основной материалистический признак и так существенно важно резко выделить и обособить его.

Так как эмпириокритицизм (Мах, Авенариус и др.) охотно протащили бы свой материализм под флагом монизма (единства мира), то Ленин устремляет все свои силы на противоположение материи идее, предмета мысли, хотя и упоминая при этом об их поразительном материальном единстве, об относительности их противоположения.

Нам еще придется вернуться к этому вопросу при рассмотрении И. Дицгена, который со своей стороны переносит центр тяжести на относительность всех противопоставлений, и даже самого существенного—между бытием и мыслью, материей и ощущением. Мы увидим, как такой прием не только вызывает у Дицгена ряд существенных неясностей, но и приводит его к совершенно иной точке зрения. В первую голову Дицген обращает внимание на противопоставление буржуазного общества, раздираемого классовыми противоречиями и проистекающего отсюда дуализма его воззрений законченному социалистическому обществу, где классовые различия исчезнут и в силу этого водворится одно монистическое, материалистическое и вполне рациональное воззрение. Для Ленина решающим является такое противоположение: буржуазное классовое общество с идеалистическим мировоззрением и классовое господство пролетариата с материалистическим мировоззрением. Взгляд Ленина устремлен на ближайшее звено в цепи, на пролетарскую революцию, тогда как Диц-

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 12.

ген смотрит на следующее за ним, то-есть на социалистическое общество. Иначе говоря, Ленин и в области философии исходит из точки зрения практической революции, Дицген же из точки зрения революционной пропаганды, противопоставляя буржуазное общество социализму только в этих целях.

Поэтому Ленин подчеркивает „двойственность вселенной“, внешний материальный мир и его соответствующее отражение в мысли, которое приверженцы эмпириокритицизма думают повернуть против диалектического материализма, сами того не подозревая, что они повторяют обвинение Берклея против материализма, при чем это обвинение является по существу совсем не обвинением, а простым установлением факта.

Даже у Берклея, одного из самых искренних и последовательных идеалистов, идеализм уже слегка замаскирован. Он находит, что не следует так резко отталкивать здравый человеческий разум, являющийся инстинктивным материалистом. А посему Берклей объявляет указанному здравому разуму, что, следуя за идеализмом, он вовсе не лишится своих излюбленных воззрений. Остается, ведь, природа, и, кроме того, остается и отличие реальных вещей от „химер (выдумок) — и те, и другие одинаково существуют в сознании“.

Другое положение основных различий идеалистического и материалистического направлений гласит:

„От вещей ли идти к ощущению и мысли? Или же от мысли и ощущения к вещам? Первой, т.-е. материалистической, линии держится Энгельс. Второй, т.-е. идеалистической — держится Мах“ [1]).

Ленин развивает дальше мысль, что результатом великого идеалистического течения, а также и эмпириокритического (Мах, Авенариус и т. д.), является солипсизм, т.-е. признание реального существования только философствующего индивидуума, только его собственного сознания, и что махизм двусмысленно и трусливо уклоняется от этого вывода, пытаясь затемнить его.

Идеализм, в любой его разновидности, признает ощущение, мышление и сознание за нечто первичное, материю и внешний мир — за вторичное, находящееся в зависимости от ощущения, сознания и пр. По учению материалистов первичной и совершенно независимой реальностью является материя, производным от материи — сознание, мышление и ощущение. Ощущение связано совершенно ясно выраженным образом только с одной частью материи (органической материи), оно есть свойство наивысше организованной материи. Но каким образом материя вообще получает свойство воспринимать ощущение? Какие предварительные признаки способности ощущения органической материи существуют в неорганизованной материи? Этот вопрос еще не разрешен строго-научным порядком. „Материализм ясно ставит нерешенный еще вопрос и тем

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 27.

толкает к его разрешению, толкает к дальнейшим экспериментальным исследованиям. Махизм, т.-е. разновидность путаного идеализма, засоряет вопрос и отводит в сторону от правильного пути посредством пустого словесного выверта" [1]).

На самом деле, для воззрения, которое признает ощущение, психическое за первичное, за элемент, исчезает вопрос о промежуточных звеньях между способностью к ощущению органического вещества и полной неспособностью к таковому неорганического; таким образом, вопрос, к великому смущению читателя, по мановению волшебства выпадает бесследно. И махист, усмехаясь, поглядывает на свое подобное разрешение, как на удачно открытое яйцо Колумба.

В этом положении для последовательного идеализма заключается также задача, как и для последовательного материализма, но только в перевернутом виде: и именно перед ним встает вопрос, как превращается ощущение и сознание в материю, в вещество? Таким образом, у последовательных идеалистов Фихте, Шеллинга и Гегеля мы встречаемся с поразительными попытками „конструировать" материю из сознания, из определений мышления, то-есть произвести ее из них. Все, что может получиться из этих попыток, это, конечно, софизмы, которые все клонятся к тому, чтобы повернуть отвлеченное мысленного определения материи на другие мысленные определения.

По необходимости „производство" вращается в кругу только воспринимаемого мыслью.

Ленин ссылается здесь на принятое Энгельсом предположение Дидро, признающего ощущение за одно из свойств движущейся материи. Этот взгляд совсем не следует смешивать, как с полным основанием отмечает Ленин, со взглядом, где ощущение сводится просто к движению материи. Оно есть качество определенной части материи.

Попытки „вульгарных" материалистов, как Фохта, Бюхнера, Молешотта, свести ощущение к движению Ленин отклоняет так же, как и Энгельс. В лучшем случае этот путь приводит к пустым аналогиям, лишенным какой-либо научной ценности.

Чего нам не хватает и что может дать нам только дальнейшее развитие экспериментального исследования, это как раз те самые промежуточные звенья между элементарнейшею способностью ощущений простейшей организованной материи и физико-химическими свойствами высших структур неорганизованной материи. В этом отношении ведутся параллельные работы в обоих направлениях.

Что такие промежуточные звенья найдутся, это вытекает неизбежно из общего рассмотрения единства материи. Большего в этой области мы пока не знаем, но заполнять пробелы нашего зна-

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 31.

ния пустыми измышлениями мысли или аналогиями,—занятие праздное и недостойное. Так же обстоит дело с познанием превращения энергии, получаемой путем раздражения извне, в определенное представление сознания. Превращение это, как таковое, — факт неоспоримый: „Каждый человек миллион раз на каждом шагу наблюдает подобное превращение", но ход этого превращения в каждом отдельном случае может нам осветить только дальнейшее развитие нашего естественно-исторического экспериментального исследования. Раз материализм принимает за основу факт порождения наших ощущений материей через посредство органов чувств, мозга, нервов и пр., то тем самым он выдвигает по отношению к ходу этого превращения в отдельных единицах такую задачу, которую на основе последовательного или непоследовательного идеализма нельзя ни в коем случае ни выдвинуть, ни даже признать за ней право на существование. И по отношению к этим отдельным случаям материализм не успокаивается и не стремится заполнить пробелы гипотезами, но открывает широкий простор двигающемуся вперед естественно-научному исследованию, которое только одно может дать нам обоснованное знание.

Эмпириокритицизм, стремясь скрыть свою идеалистическую основу, прибегает к особой уловке. Это открытие „элементов мира". Эти „элементы мира" есть однако не что иное, как новое наименование ощущений.

В одном случае они бывают физическими, в другом—психическими и должны уничтожить „односторонность" противопоставления материи ощущению, в действительности же подчиняют физическое психическому.

Эти „элементы мира" представляют из себя типичную попытку мелкобуржуазной философии стать мнимым посредником между идеализмом и материализмом, фактически отрицая материализм и кладя в основу идеализм. Попытка мнимого посредничества на почве идеализма безусловно должна была привлечь к себе мелкобуржуазную революционную интеллигенцию России, так как она представляет собой точное философское выражение их классовой позиции. Поэтому она привлекла к себе также и „австро-марксистскую школу"—Фридриха Адлера, Экштейна и Гильфердинга. Благодаря австро-марксистской школе, в особенности благодаря Экштейну и Гильфердингу, махизм стал почти официальной философской теорией II Интернационала (рядом с нео-кантианством Форлендера и К°) [1].

Чрезвычайно хитрой уловкой для замаскирования идеализма является теория или правильнее фраза о неразрывности субъекта с объектом, физического с психическим, которая у махистов имеет тот смысл, что вне представлений, сознания ничто не суще-

---

[1]) Смотри Гильфердинга в журнале „Общество" № 1, предисловие.

ствует. Этот узел хитросплётений Ленин резко рассекает одним простым вопросом о существовании земли **до появления** человека и какого бы то ни было живого существа. Вопрос ясен: надо или признать существование земли до появления человека, и тогда идеалистическое утверждение о несуществовании вещей вне человеческого сознания и независимо от него рушится как карточный домик, или отвергнуть его и тем самым покрыть себя вечным позором.

Зажатые в этих **острых тисках**, эмпириокритицисты стараются высвободиться из них чрезвычайно энергичными скачками; так, между прочим, они утверждают, что до человека земля должна была существовать в сознании низших живых организмов, ну, например, червяков и т. п. Но даже и этот скачек помогает только, пока не выступает вопрос о живых существах вообще. В чьем же сознании существовала земля до них? Авенариус отвечает (если даже мы не обратим внимания на схоластический способ выражения), что она могла существовать в том **возможном** сознании, какое только мы можем „примыслить". Конечно, это чистейшая схоластика, самая настоящая бессмыслица, потому что существование земли **до** человека исключает совершенно всякое „мысленное прибавление" человеческого сознания. Последовательные идеалисты, как Гегель, разрешают этот вопрос значительно проще, хотя и чрезвычайно мистическим способом. Земля, планеты и т. д. существуют независимо от человеческого сознания, как проявления идеи, существовавшей **до** человеческого сознания, проявляющей свое бытие в природе, времени и пространстве и окончательно выливающейся в виде человеческого сознания, обладающего способностью охватить объективный разум, заключающийся в вещах. Хотя подобное понятие и переворачивает все соотношения, существующие в действительности, но оно обладает такой величавой смелостью, что именно в силу нее этот чисто отчеканенный идеализм стал матерью материализма, первоначально Фейербаховского, а затем уже диалектического материализма Маркса и Энгельса.

В области философии, как и во всех других областях, все срединные точки зрения между основными направлениями заключают в себе то, что тормозит и наносит вред [1]).

Ленин делает выводы из неразрывности субъекта и объекта, сознания и вещей. Если можно говорить о возможном сознании до материального существования человека, то почему нельзя мыслить о нем **по окончании** реального существования человека, то-есть после смерти человека? Логически этот вывод неизбежен, и стоит только бросить взгляд на современную буржуазную фило-

---

[1]) С этой точки зрения Лессинг нападал гораздо сильнее на либеральную, просвещенную теологию, нежели на грубый, прямой ортодоксизм, потерявший, как таковой, у правящих слоев буржуазной интеллигенции всякий авторитет.

софию, чтобы увидеть, как все направления (от откровенно идеалистических до позитивных) клонятся к призрачному провидению (смотри, например, доклад Файхингера в Кантовском обществе к 200-летнему юбилею Канта). Мировая война, а еще более революция сделали бессмертную душу необходимым предметом буржуазного хозяйства.

Когда повсюду в период разрушения капитализма возникает альтернатива: падение в варварство или социализм, то в буржуазном обществе варварская идеология, возврат к представлениям варваров и диких частично предшествует действительному погружению в варварство. Буржуазное общество стоит теперь повсюду в самой середине варварства. И по сравнению с тем, что происходит сейчас, махизм есть еще „цивилизация“.

2. Вещь в себе.

„Вещь в себе“ играет большую роль в философской дискуссии, с тех пор, как Иммануил Кант положил различие между „вещью в себе“, недоступной человеческому познанию, так как „она его превосходит“ и явлением, которое одно познаваемо. Это различие возникло в силу дуализма, лежащего в основе всего учения Канта, так как он, с одной стороны, желал найти в „непознаваемой вещи в себе“ предмет, не связанный ни с какими религиозными верованиями, с другой же, хотел освободить науку от исследований сверхчувственного.

Все усилия классических последователей Канта, а именно Фихте, Шеллинга и Гегеля, ставят себе целью устранить „непознаваемую вещь в себе“, то-есть не допускать больше никакой области, которая могла бы быть недоступной мышлению. Их разрешение непознаваемой вещи в себе, отчеканившееся в таком совершенном виде у Гегеля, все же идеалистично. Гегель ломает разграничение между непознаваемой вещью в себе и явлением. „Нет ничего, что могло бы противостоять мышлению“. Но „вещь в себе“, сущность вещей у Гегеля, есть отвлеченное, но не материальное: все есть определение мышления и потому доступно ему, и определение мышлением есть нечто первоначальное. Поскольку вещи суть не определения мышления, поскольку они материальны, они являются „очутившимися вне себя“ идеями, случайными „дурными сущностями“. „Критерий истины“ должен быть у Гегеля соответствующим образом также идеалистическим. Масштабом для истины является не материальная вещь, но „идея“ вещи, как существующая сама по себе и только „находимая“ человеческим умом при соприкосновении с действительными вещами. Действительность измеряется по „идее“, а не идея по действительности. Таким образом, на Гегеля не оказывают никакого впечатления в принципиальном отношении те возражения, которые любой естествоиспытатель мог сделать против

производства идей, ссылаясь на опыт. Бывают же „плохие сущности“, не соответствующие идее.

Само собой разумеется, что действительность находится в Гегелевском мышлении, которое пытается воссоздать все из себя и произвести действительный мир от абсолютной идеи. Изобилие реальных открытий у Гегеля проистекает в силу его глубокого проникновения в действительность, и образование всего путем чистого мышления, через самостоятельное движение идеи, есть только одна внешность, вырождающаяся иногда в чистую софистику.

У Гегеля в основе лежит идея буржуазной революции того, что буржуазный разум есть масштаб общественной действительности. То, что противоречит ей, что является для нее „неразумным“,— „недействительно“ и будет смыто потоком истории. Эта мысль была обобщена Гегелем и распространена им на всю вселенную, природу и историю.

Диалектический материализм также мало признает непознаваемую вещь в себе. Различие между „вещью в себе“ и вещью для нас, между сущностью и явлением, вскрывается в бесконечном диалектическом процессе, где неведомое переходит в познанное и „вещь в себе“ превращается в вещь для нас.

В чем же заключается материалистический критерий истины? Энгельс дает ответ—в практике, опыте и индустрии. Мы от себя добавим: также в общественно-политической практике и в проникновении естественно-научного опыта и индустрии в будничную практическую жизнь. Были попытки (даже со стороны махистов) объявить эту точку зрения Энгельса несущественным, случайным, его „наивностью“, с которой Маркс как будто бы не соглашался. На самом же деле это—краеугольный камень диалектического материализма, который достаточно ясно обрисован в тезисах Маркса к Фейербаху:

„Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью—вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т.-е. действительность, мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто-схоластический вопрос“. (Второй тезис Маркса о Фейербахе)[1].

Маркс достигает этой точки зрения на пути от Гегелевской философии к революционной политической практике. В „Анти-Дюринге“ мы имеем обобщение и дальнейшее развитие этой творческой мысли во всей ее зрелости. Ленин усиленно подчеркивает это обстоятельство и разъясняет его опираясь на пример Энгельса об открытии красящего вещества ализарина в каменноугольном дегте, так как мы на почве этого чудесного открытия практически доказываем, что наше представление о производстве ализарина соответствует действительности, „вещи в себе“:

---

[1]) Цитировано по Ленину, Эмпириокритицизм, стр. 81.

„1. Существуют вещи независимо от нашего сознания, независимо от нашего ощущения, вне нас, ибо несомненно, что ализарин существовал вчера в каменноугольном дегте, и так же несомненно, что мы вчера ничего не знали объ этом существовании, никаких ощущений от этого ализарина не получали.

„2. Решительно никакой принципиальной разницы между явлением и вещью в себе нет и быть не может. Различие есть просто между тем, что познано, и тем, что еще не познано, а философские измышления насчет особых граней между тем и другим, насчет того, что вещь в себе находится „по ту сторону" явлений (Кант), или что можно и должно отгородиться какой-то философской перегородкой от вопроса о непознанном еще в той или иной части, но существующем вне нас мире (Юм),—все это пустой вздор, Schrulle, выверт, выдумка.

„3. В теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, т.-е. не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным.

„Раз вы стали на точку зрения развития человеческого познания из незнания, вы увидите, что миллионы примеров таких же простых, как открытие ализарина в каменноугольном дегте, миллионы наблюдений не только из истории науки и техники, но из повседневной жизни всех и каждого, показывают человеку превращение „вещей в себе" в „вещи для нас", возникновение „явлений", когда наши органы чувств испытывают толчок извне от тех или иных предметов,—исчезновение явлений, когда то или иное препятствие устраняет возможность воздействия заведомо для нас существующего предмета на наши органы чувств. Единственный и неизбежный вывод из этого,—который делают все люди в живой человеческой практике и который сознательно кладет в основу своей гносеологии материализм,—состоит в том, что вне нас и независимо от нас существуют предметы, вещи, тела, что наши ощущения суть образы внешнего мира" [1]).

В этих выводах следует отметить две чрезвычайно важные и очень характерные для всего мышления Ленина черты:

1) Громадное значение, придаваемое им существованию вещей независимо от человеческого мышления. Он неутомимо повторяет эту мысль в самом разнообразном освещении всех ее сторон, стараясь глубоко запечатлеть ее различными способами изложения. Такое отношение стоит в тесной связи с глубоко реалистической природой его мышления, с его отвращением ко всему, что носит субъективный, вымышленный, искусственный, схоластический характер. Ди-

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 80—81

алектический материализм заключается не только в том, чтобы знать материальность мира и его независимость от человеческого сознания, но также и в том, чтобы непоколебимо и живо чувствовать это, стремясь таким образом близко придерживаться сущности вещей, фактической действительности, остерегаясь удаляться от всего достоверного, фактического и впадать в словопроизводство, искусственные построения и схоластику.

2) Доказательства правильности нашего познания „вещи в себе" он черпает не из области естественно-научного эксперимента и индустриальной техники, но из области хотя менее точной, зато более широкой и употребительной фактической практики миллионов людей. Таким образом он показывает, что основой естественно-научного познания, предметности нашего мышления является инстинктивное знание, которое широким массам, с незапамятных времен в бесчисленных поколениях, дает будничный опыт. Материалистическая теория познания крепко держится результатов массового опыта, подымая его из инстинктивного и бессознательного до ясного и точно осознанного.

Энгельс писал в самой промышленной стране мира, в Англии, Ленин—в крестьянской России. Толчок к такому толкованию и развитию мысли Маркса-Энгельса Ленин получил в окружающей его среде, где естественно-научный эксперимент и индустриальная техника еще не стали массовыми явлениями и массовым опытом. Такое толкование мог дать только тот, кто, сидя в Британском музее, крепко держался своими корнями за русскую почву.

Другое изложение той же мысли у Ленина гласит: „Всякая таинственная, мудреная, хитроумная разница между явлением и вещью в себе есть сплошной философский вздор. На деле каждый человек миллионы раз наблюдал простое и очевидное превращение „вещи в себе" в явление, „вещь для нас". Это превращение и есть познание" [1]).

Таким образом познание, т.-е. научное распознавание и мышление в обыдённой жизни исходят из одного источника (одинаковы по своему происхождению); от обыденного мышления научное распознавание отличается только как дальнейшая ступень, связанная с большей точностью, определенностью и сознательностью. Материалистическое рассмотрение соотношений независимой от нас действительности, или образов, вызываемых ею в нашем уме, есть точное познание того, что находится в основе и всей будничной обыденной деятельности. От мышления какого-нибудь крестьянина позади плуга до мышления исследователя естественных сил природы или общественных отношений лежит долгая последовательная цепь. Идеализм разрубает эту цепь, чтобы возвестить затем обыденному разуму, что он представляет из себя болвана и олуха.

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 95.

Впрочем, идеалистическая постановка обыденного разума вверх тормашками была необходимым переходным пунктом, чтобы позднее на более высшей ступени, на ступени материализма, снова вернуться к нему. Но материалистически обоснованное понимание соотношения бытия и мышления вовсе не означает простого возврата к „здравому человеческому рассудку“. Позади себя оно имеет длинную и многосложную цепь философской истории, истории развития естествознания и общественных сил, оно представляет восстановление наивного мышления с его исходной точкой зрения на более высшей ступени, углубленного, тщательно проверенного опытом, обогащенного также своим прохождением через идеализм, мышления.

И все это затем, чтобы „здравый человеческий рассудок“ не возвышался слишком и не мнил о себе, что в своих глубинах он таит всю философскую премудрость в уже изготовленном и закрепленном виде.

3. Различие между диалектическим материализмом и релятивизмом.

В своих работах Ленину уже приходилось иметь дело с фальсификацией диалектического материализма истиной и заблуждением релятивизма. Для диалектиков существует объективная истина, масштабом которой служит независимый от мышления объект, и к которой мышление может приближаться без ограничения. Наше познание движется по пути к объективной истине среди относительных заблуждений.

У релятивизма объективная истина исчезает, так как он не хочет объединить полюсов истины и заблуждения, и, таким образом, теряет масштаб объективной истины. В релятивистическом мышлении познание обращается в субъективный произвол, целесообразную выдумку, руководящей нитью которой служат только человеческие потребности, с точки зрения буржуазного общества являющиеся единственно целесообразными. Со времени ленинских статей этот взгляд приобрел еще большее количество сторонников. В Англии особенно сильно распространился прагматизм, который за критерий истины берет нормального буржуа с его нормальными потребностями. Не простой случайностью является и то, что этот взгляд получил особенно широкое распространение в Америке, классической стране высоко-капиталистической демократии, нормального буржуа и индустриального массового производства. Прагматизм есть настоящий апофеоз нормального буржуа, возвеличение его личного произвола, как властителя. Это типичная идеология капиталистической диктатуры, переодетой в демократические одежды. Капиталистический произвол облечен в целесообразность „человека“, взятого в среднем, без различия классов, или, что является тем же самым, в целесообразность среднего капиталистического индивидуума.

Прагматизм вполне освоился со своей комбинацией основных воззрений капиталистической диктатуры и демократического переодевания, с мнимореволюционной отвагой против прежней буржуазной идеологии (смотри, напр., Папини), ярко выразившись в идеологии фашизма, как идейного боевого знамени мелкобуржуазной интеллигенции, которая с невероятным криком срывает старые парики, опрокидывает прежние алтари, чтобы затем почить в католической капелле.

В Германии прагматизм укрепился очень поверхностно. Это вполне понятно. Буржуазная демократия и ее идеология возникли здесь гораздо позже и не успели пустить корни, как в англосаксонских странах (если не считать в этом отношении ни крупную, ни мелкую буржуазию, они безусловно пустили самые крепкие корни в рабочей аристократии). Подразумевающийся, капиталистически настроенный средний индивидуум не представляет здесь такой твердой нормы, как в англосаксонских странах или в романских с более глубокой мелкобуржуазной складкой и более сильными традициями буржуазной демократии. Идеология буржуазной контр-революции и реставрации буржуазии здесь может проявиться в более резком неприкрытом виде.

Германия создала себе собственную реалистическую теорию „Философию как будто бы“ Файхингера.

Позднее философский релятивизм прилепился к физической теории относительности, которая как таковая сама по себе ничего общего с ним не имеет. Этого мы коснемся в следующей главе.

Из всего этого следует, что теперь философский релятивизм стал могучим течением буржуазной мысли—специфически буржуазным скептицизмом, который, как дополняющая противоположность мистицизму, сопутствует буржуазному миру в его падении, когда он, с одной стороны, чувствует, что почва уходит из-под его ног, а с другой стороны, потеряв веру в своих прежних богов, но не сумев бросить якоря в объективной действительности, воссоздает своих старых богов заново.

Поэтому теперь особенно важно резко разграничить диалектический материализм и философский релятивизм. Ленин приводит это разграничение в следующих выражениях:

„С точки зрения современного материализма, т.-е. марксизма, исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной абсолютной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель. Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперед „безусловного объективного познания“.

Одним словом, исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа. Вы скажете: это различение относительной и абсолютной истины неопределенно. Я отвечу вам: оно как раз настолько „неопределенно", чтобы помешать превращению науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закостенелое, но оно в то же время как раз настолько „определенно", чтобы отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта. Тут есть грань, которой вы не заметили и, не заметив ее, скатились в болото реакционной философии. Это—грань между диалектическим материализмом и релятивизмом"[1]).

Релятивизм Ленин определяет таким образом: „Релятивизм, как основа теории познания, есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей, мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание. С точки зрения голого релятивизма можно оправдать всякую софистику, можно признать „условным", умер ли Наполеон 5 мая 1821 года или не умер, можно простым „удобством" для человека или для человечества объявить допущение рядом с научной идеологией („удобна" в одном отношении) религиозной идеологии (очень „удобной" в другом отношении) и т. д.

Диалектика,—как разъяснял еще Гегель,—**включает в себя** момент релятивизма, отрицания, скептицизма, но **не сводится** к релятивизму. Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, т.-е. признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине"[2]).

О практике, как критерии истины и его „неопределенности", он говорит так:

„Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания. И она приводит неизбежно к материализму, отбрасывая с порога бесконечные измышления профессорской схоластики. Конечно, при этом не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть **полностью** какого бы то ни было человеческого представления. Этот критерий тоже настолько „неопределенен", чтобы не позволять знаниям человека превратиться в „абсолют", и в то же время настолько определенен, чтобы вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма. Если то, что под-

[1]) Н. **Ленин**, Собр. сочин., т. X, стр. 109.
[2]) Там же, стр. 109—110.

тверждает наша практика, есть единственная, последняя объективная истина,—то отсюда вытекает признание единственным путем к этой истине путь науки, стоящей на материалистической точке зрения" [1]).

Марксизм, как практический критерий истины, он определяет так:

„Критерий практики,—т.-е. ход развития всех капиталистических стран за последние десятилетия,—доказывает только объективную истину всей общественно-экономической теории Маркса вообще, а не той или иной части, формулировки и т. п.; ясно, что толковать здесь о „догматизме" марксистов значит делать непростительную уступку буржуазной экономии. Единственный вывод из того, разделяемого марксистами, мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем: идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи" [2]).

Разве нет здесь противоречия? С одной стороны, исторически условно всякая идеология (в отличие от религиозной идеологии) есть объективная истина, абсолютная природа, с другой стороны, критерий практики настолько „неопределенен", что мешает обратиться знаниям человека в „абсолют"?

Конечно, здесь имеются противоречия, диалектическое мышление. Абсолютная истина, которая может выявиться только как бесконечная цепь относительных истин; относительные истины, из которых каждая, в пределах своего времени, является абсолютной истиной; истина, которая никогда не будет иметь законченного осуществления и бытия, но которая, несмотря на это, в каждой точке своего развития соответствует объективной ценности и обладает таковой; истинное, не существующее без примеси ложного; истинное, обращающееся в ложное, и ложное, обращающееся в истинное. Крепко установленная „вечная истина", вызывающая сомнение, и переходящее представление, оказывающееся прочно установленным. Несомненно, это очень резкие противоречия, но в этих противоречиях и постигается истина, эти противоречия соответствуют ей. Всякое определение истины, чистое от противоречий, неверно. Не следует, однако, перевертывать это положение в обратную сторону, потому что не всякое противоречивое определение правильно.

Своим определением соотношения безусловной истины к ее условному историческому значению, тесно примыкающим к определению Маркса-Энгельса, Ленину удается строго и точно провести его среди тисков догматизма и болот релятивизма. Эластический метод диалектического представления гораздо тоньше, точнее и увереннее в линии своего направления, нежели метод недиалектического. Как можно было бы без диалектического метода связать требование мар-

---

[1]) Там же, стр. 115.
[2]) Там же, стр. 115.

ксистской теории на свою полную объективную ценность, сопровождаемое самым резким и упорным протестом против сомнения в ее ценности или умаления таковой по сравнению с современным буржуазным мышлением, с тем, что она не исчерпывает истины, остается несовершенной и отчасти заключает в себе примесь „ложного“? Недиалектической голове это не под силу.

Скептицизм, считающий себя абсолютным и исключающий свою противоположность—абсолютную истину, является тем самым ложью. Как момент объективной истины, скептицизм есть нечто истинное, но тогда он теряет свой непосредственный смысл и значение [1]).

Его роль в истории чрезвычайно различна.

Скептицизм античного мира способствовал разложению древнего незыблемого определения мышлением; был переходной ступенью к платоно-аристотелевской диалектике—наивысшей форме диалектики, доступной древности. Там он оказался положительным фактором, но в своем дальнейшем развитии, разлагая вообще античное мышление, он привел тем самым к христианскому варварству. Таким образом скептицизм античного мира сыграл одновременно противоположную, двойную роль, подготовляя, с одной стороны, новое идеологическое построение в момент перехода ограниченной культуры аттической и других городских республик к широкому эллинизму, и к выработке обще-эллинской культуры, с другой, завершая в эпоху упадка эллинизма ломку построенного его мышлением мира.

Такую же двойственную роль скептицизм играет и в Новое время. В руках Декарта радикальный скептицизм, воплощение всемирного сомнения, вооружается против закостенелых, мертвых, схоластических преданий, стремясь достигнуть устойчивой основы буржуазной философии самосознания, самодовлеющего разума. Таково место его на пороге грандиозного подъема буржуазной философии. В наше же время скептицизм обращается непосредственно против разлагающегося буржуазного общества, толкая его погрузиться во мрак средневековья и впасть в глубочайший обскурантизм. Такова противоречивая роль скептицизма, меняющаяся в зависимости от исторической роли класса, который им пользуется, глядя по тому, сметает ли этот класс на пороге своего подъема, как метлой, прах и пыль

---

1) Примечание автора. Об отношении скептицизма к диалектике Гегель выражается следующим образом:

„. . . . . . . Диалектическое, взятое разумом как нечто отвлеченное, не придает значения скептицизму, в особенности в научных понятиях; как результат диалектического скептицизм содержит в себе голое отрицание...

. . . . . Диалектика дает положительные (позитивные) результаты, так как она обладает определенным содержанием, или ее выводы действительно заключают в себе не пустое абстрактное ничто, но отрицание известных определений, обладающее в результате, именно в силу последнего, содержанием, являясь выводом, а не непосредственным ничто“ (Гегель, Энциклопедия философских наук, §§ 81, 82).

отжившего или же, заканчивая свой путь в истории, разрушает им свой идеологический фундамент, чтобы свободно парить в воздухе.

Скептицизм гибнущей древности был орудием против действительного произвола и насилия императорской деспотии. Скептический индивидуум приобретал внутреннюю свободу в противовес насильственной объективной принудительности общественного переворота, мысленно растворяя всякую объективность и утверждая в этом разложении собственный произвол, собственную субъективность. Скептицизм же погибающего буржуазного общества устремляется против насильственной принудительности объективных экономических факторов, однако не разлагает эту объективность, чтобы отбросить в сторону все ограничивающее его субъективность и неподвижно почить среди бури времен (ataraxia), как это сделал гибнущий античный мир, но всячески навязывает революционному классу субъективность, как общий закон, чтобы, поколебав его мировоззрение, объявить его таким же субъективным произволом и подчинить себе. Этим обусловливается для борющегося марксизма необходимость изложения буржуазного скептицизма, в целях точнейшего его отграничения от себя, так как сам он все же содержит в себе „момент" скептицизма.

4. Что такое материя, что такое мышление?

В английском языке встречаются два двусмысленных, глубоко-юмористических шуточных вопроса о различии материи и духа. Они звучат таким образом: What is the matter? Never mind. What is the mind? No matter.

Их двойной смысл таков: Что такое материя? (Одновременно—что случилось). Не дух (тоже — все равно). Что такое дух? Не материя (тоже—дело не в этом).

Определение как будто вращается к каком-то кругу и в то же время дает повод смеяться. На самом деле здесь имеется очень большая трудность, которую идеализм стремится софистически использовать, и потому необходимо ее вскрыть.

При обычном способе определения понятия берется ближайший род, к которому принадлежит понятие, и то специфическое отличие, которое отличает его от других разновидностей этого рода. Так, ножницы, нож и резец определяются как инструменты портного, согласно видовому признаку, отличающему их друг от друга. Но материя и дух (или ощущение и мышление) не представляют из себя пару понятий, выделенных из ряда равных им. Они являются двумя высшими, всеобъемлющими понятиями. Отсюда, невзирая на то, что они оба поглощаются понятием бытия, следует их поочередно определить друг другом.

В силу этого чрезвычайно верно звучат следующие слова Ленина, отрезающие путь ко всем уловкам:

„Только шарлатанство или крайнее скудоумие может требовать такого „определения“ этих двух рядов „предельно-широких понятий, кот рое бы не состояло в „простом повторении“: то или другое берется за первичное... Достаточно ясно поставить вопрос, чтобы понять, какую величайшую бессмыслицу говорят махисты, когда они требуют от материалистов такого определения материи, которое бы не сводилось к повторению того, что материя, природа, бытие, физическое есть первичное, а дух, сознание, ощущение, психическое—вторичное“ [1]).

А в другом месте: „Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, воспринимаемой человеком посредством его ощущений, в виде ее копий, фотографий и отражений, но существующей независимо от них“.

Идеалисты прибегают здесь к софистической уловке, стремясь подменить определение всесторонним описанием содержания. Определение задается целью не дать все известное содержание понятия, а только выделить те признаки, которые определяют его место в системе понятий. Для этого достаточно указать род и специфический признак. Они же требуют иного, т. е. полного всестороннего описания или анализа. Определение кошки и описание кошки не есть одно и то же, определение и описание материи существенно разнятся друг от друга (К описанию материи мы вернемся в следующей главе). То, что подходит для определения материи, годится также и для определения мышления, ощущения и вообще всего психического. Таким образом здесь не заключается никакой трудности, и в особенности никакой трудности в определении различия между идеализмом и материализмом.

5. Причинность, необходимость в природе и человеческая свобода.

Категория причины и следствия, причинности, служит дальнейшей лазейкой для идеализма. Для всякого субъективного идеализма причинность берет свое начало только в человеческом уме и представляет не что иное, как субъективную манеру располагать наши представления в зависимости от обладания признаком последовательности во времени, определенным порядком, которому, однако, ничто фактическое в независящей от нас действительности не соответствует. Таким образом, причинность является как нечто чуждое природе, которую мы в нее вносим. К кантовскому миру „вещи в себе“ категория причинности неприменима, и это говорит за то, что посредством категории причинности никакое истинное познание невозможно. С другой стороны, субъективный идеализм представляет широкий простор стремлению вложить в действительность, в природу весь человеческий произвол, что в наибольшей степени было использовано Шопенгауэром, который сумел развить ре-

[1]) Там же, стр. 118.

акционную сторону кантовской философии до абсурднейших заключений. Так, например, законы физики действительны для движений стола постольку, поскольку дело идет о нем, как об отдельном представлении; стол, как зрительное впечатление, свободен от гнета физических законов и потому может выделывать самые невероятные фокусы вплоть до свободного парения в воздухе без малейшей поддержки.

Для объективного идеализма (напр., для Гегеля) причинность выражает нечто объективное, но только потому, что самое объективное есть нечто отвлеченное, а не материальное. Кроме того, объективный идеализм своим путем проанализировал категорию причинности гораздо глубже, чем какая-либо философская система до него.

Для диалектического материализма категория причинности не представляет одной голой субъективности, но и не выражает полным и исчерпывающим образом связь между действительностью, природой и историей.

По вопросу о причинности Фейербах утверждает, что в его отрывке из „Сущности религии“ не говорится: „Чтобы словам и представлениям о порядке, цели, законе не соответствовало ничего действительного в природе, в нем отрицается только тождество мысли и бытия, отрицается, чтобы порядок и т. д. существовали в природе именно так, как в голове или в чувстве человека. Порядок, цель, закон суть не более, как слова, которыми человек переводит дела природы на свой язык, чтобы понять их; эти слова не лишены смысла, не лишены объективного содержания (nicht sinn=d.-h. gegenstandlose Worte), но тем не менее необходимо отличить оригинал от перевода. Порядок, цель, закон выражают в человеческом смысле нечто произвольное“ (Werke, VII Band, 1903) [1]).

Отсюда Ленин делает вывод:

„Фейербах признает объективную закономерность в природе, объективную причинность, отражаемую лишь приблизительно верно человеческими представлениями о порядке, законе и проч. Взгляды Фейербаха—последовательно материалистические“ [2]).

Разница между материалистическим и идеалистическим взглядом на причинность и лежит именно в том, считать ли объективную закономерность природы и истории оригиналом, отражаемым в категории причинности или же эта категория является первичным, и законы природы есть только ее отражение, или же, наконец, категория причинности не имеет ничего общего с объективной действительностью.

В этом и заключается основное различие, в силу которого диалектический материализм не только не отстраняется от критики и дальнейшей разработки категории причинности, но, наоборот, требует ее и до известной степени уже выполнил ее.

---

1) Цитировано по Ленину, Эмпириокритицизм, стр. 124.

2) Н. Ленин, собр. соч., т. X, Эмпириокритицизм, стр. 125.

В заключение к гегелевскому анализу причинности Энгельс делает следующие замечания: „Мы находим... что причина и следствия суть представления, которые имеют значение как таковые, только в применении к данному отдельному случаю, но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно меняются местами; то, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием или—наоборот" („Анти-Дюринг").

Ленин объясняет: „Следовательно, человеческое понятие причины и следствия всегда несколько упрощает объективную связь явлений природы, лишь приблизительно отражая ее, искусственно изолируя те или иные стороны одного единого мирового процесса" [1]).

Категория причинности дает нам общее правило о прямолинейной последовательности явлений, проистекающих во времени, о порядке последовательности. Но, как отмечает Дицген, она не может удовлетворить порядку одновременности, для которого мы пользуемся категориями рода и вида. Категория взаимодействия превосходит застывшую прямолинейность категории причинности, она дает более правильное отражение больших взаимно перекрещивающихся цепей событий, систем и событий, она комбинирует порядок последовательности с порядком одновременности, она охватывает полярность причины и следствия, устанавливает единство этих обеих противоположностей, объединить которые недиалектический способ мышления был не в силах [2]).

Против попытки эмпириокритиков умышленно скрыть различие между идеалистическим и материалистическим воззрениями на причинность под понятием „функциональная зависимость", являющимся только специальной формой понятия о причинности, Ленин замечает, присоединяясь к толкованию Вундта: „Действительно важный теоретикопознавательный вопрос, разделяющий философские направления, состоит не в том, какой степени точности достигли наши опи-

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X. стр. 126.

[2]) „Хотя во взаимодействии причинность и не получает своего правильного определения, но процесс причин и действий простирается до бесконечности самым действительным образом в то время, как прямолинейный переход от причин к действиям и от действий к причинам загибается кругом в себе. Этот заворот бесконечного процесса в замыкающуюся в себе связь есть простое рассуждение, которое в этом лишенном смысла повторении является все тем же самым, то есть той же одной и другой причиной и их взаимным отношением" (Гегель, Энциклопедия, § 154).

„Таким образом, непозволительно говорить, что питание или такая-то пища есть причина крови человека, или что холод и сырость причина лихорадки и т. д.; также непозволительно говорить, что ионический климат был причиной гомеровских произведений, а честолюбие Цезаря рассматривать, как причину падения республиканских воззрений Рима. В истории вообще действуют духовные массы и индивидуумы, находящиеся во взаимодействии" (Гегель: Логика, 2 книга, 3 глава).

сания причинных связей и могут ли эти описания быть выражены в точной математической формуле,—а в том, является ли источником нашего познания этих связей объективная закономерность природы, или свойства нашего ума, присущая ему способность познавать известные априорные истины и т. п."[1]).

В математике сравнение функций описывает взаимнопеременную зависимость величин между собой. Поскольку дело идет о математическом представлении проявлений природы, например, в теоретической физике, величины отражают материальные части (величины времени и пространства). Сравнение функций, таким образом, есть изображение материальной связи. (При более подробном исследовании выяснилось бы, что теоретическая физика многократно переходит к категории взаимодействия, для чего математика уже выработала определенные формы. В конце концов, „математические функции" получают свой реальный смысл в физических и др. проявлениях, к которым они приложимы, что не исключает того, что форма приложения в математике на много опережает другие формы приложения[2]).

Вопрос о необходимости и человеческой свободе поставлен у Ф. Энгельса вполне ясно. Диалектический материализм есть строгий детерминизм, т.-е. он признает обычную причинную определенность в природе и обществе. „Свобода" есть признанная необходимость или объективная закономерность. Это воззрение выражено с классической чистотой у Спинозы и Гегеля. Спиноза, строгий детерминист, обращает главное внимание на рассмотрение законов природы и законов человеческой натуры („Медицина и психология"). Мы рассматриваем, как исторический источник „человеческого рабства", подчинение капиталистического классового общества не признаваемым и не изученным им законам капиталистической экономики. „Прыжок в свободу" обозначает не что иное, как то, что общество учится повелевать своими собственными законами, стремясь устроить свою общественную жизнь сознательно. Этот прыжок в свободу, предшествующий пролетарской революции, резко отделяет всю предыдущую историю от грядущей. Всякое общество, существовавшее ранее, страдала или от превосходства над собой непознанных сил природы (так было в большинстве случаев в первобытную

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 129.

[2]) Было бы чрезвычайно интересно исследовать, насколько математика (бессознательно) подготовила диалектическое понимание явлений природы.

Последнее замечание Гегеля содержит в идеалистической форме взгляд, что для понимания и представления исторического, т.-е., общественного, процесса развития категория причины и следствия недостаточна и должна быть дополнена категорией взаимодействия, как более широкой, при чем для исторического материализма система взаимодействия должна быть более обширной и многообразной, чем для идеалистического воззрения на историю, которому приходится иметь дело лишь с „духовными массами и индивидуумами". Последние являются для исторического материализма только частью сил, находящихся во взаимодействии, и притом таких, которые относительно несамостоятельны и являются вторичными.

эпоху, во времена дикарей и варваров, где общественные отношения были чрезвычайно ясны и очевидны, но методические приемы покорения сил природы отсутствовали, и этим пользовались властвующие классы в целях мистификации), или от непознанных общественных отношений (вся фантастика, мистика, иррациональность современного общества проистекают отсюда). Сосредоточение власти над своим жизненным процессом в руках общества, связанное с методическими приемами покорения природы, которые капиталистическое общество передает социалистическому, поведет к тому, что всякий источник потусторонности, мистики, иссякнет.

Но и эта свобода не представляет из себя какого-то фантастического избытка сил, ведущего общество прямо в голубые небеса; она представляет только диалектическую цепь развития, которая, во всяком случае, начинается с исторического прыжка, с внезапной победы новой исходной точки зрения. Как природа, так и человеческая натура ставят перед познанием, дающим власть над ними, бесконечную, неисчерпаемую задачу. Свобода, которой общество достигнет прыжком пролетарской революции, не есть фантастическая свобода актуального завершения господства над природой и собственной натурой, но свобода принципиальная, заключающаяся в реальной возможности безграничного продвижения вперед к данной цели, так же, как и в неслыханном ускорении темпа этого продвижения. В этом отношении интересны следующие замечания Ленина: „Развитие сознания у каждого отдельного человеческого индивида и развитие коллективных знаний всего человечества на каждом шагу показывает нам превращение непознанной „вещи в себе" в познанную „вещь для нас", превращение слепой, непознанной необходимости, „необходимости в себе", в познанную „необходимость для нас". Гносеологически нет решительно никакой разницы между тем и другим превращением, ибо основная точка зрения тут и там одна — именно: материалистическая, признание объективной реальности внешнего мира и законов внешней природы, при чем и эти законы вполне познаваемы для человека, но никогда не могут быть им познаны до конца. Мы не знаем необходимости природы в явлениях погоды, и постольку мы неизбежно — рабы погоды. Но, не зная этой необходимости, мы знаем, что она существует. Откуда это знание? Оттуда же, откуда знание, что вещи существуют вне нашего сознания и независимо от него, именно: из развития наших знаний, которое миллионы раз показывает каждому человеку, что незнание сменяется знанием, когда предмет действует на наши органы чувств, и наоборот: знание превращается в незнание, когда возможность такого действия устранена" [1]).

Самое интересное в этих замечаниях есть вывод общего характера о необходимости применения причинности в изобильном мас-

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 155—156.

совом опыте и отклонении всякого a priori, т.-е. всякого прирожденного, коренного качества человеческого мышления. Этого мы коснемся позже.

6. „Принцип экономии мышления".

Махисты довольно благосклонно относятся к одной находке, которую они именуют „принципом экономии мышления" или принципом „наименьшей затраты сил", и которая должна представить собой всеобщий принцип мышления.

Мышление должно стремиться представить себе мир, как можно проще с возможно наименьшим применением понятий. На это Ленин чрезвычайно правильно замечает, что это знаменитая находка или обозначает субъективный критерий для мышления, и, таким образом, не может служить масштабом для объективного познания, или же это есть новое „словечко" для объективной правильности нашего мышления, и следовательно лишено содержания:

„В самом деле, если не признавать объективной реальности, данной нам в ощущениях, то откуда может взяться „принцип экономии" как не из субъекта? Ощущения, конечно, никакой „экономии" не содержат. Значит, мышление дает нечто такое, чего нет в ощущении. Значит „принцип экономии" берется не из опыта (ощущений), а предшествует всякому опыту, составляет логическое условие его, как категории Канта" [1]).

И немного раньше: „Говорить, что цель науки дать верную (спокойствие тут совсем не при чем) картину мира, значит повторить материалистическое положение. Говорить — это значит познавать объективную реальность мира по отношению к нашему познанию, модели по отношению к картине. Экономность мышления в такой связи есть просто неуклюжее и вычурно-смешное слово вместо: правильность" [2]).

Далее Ленин просто смеется над этим „принципом" в следующих словах: „Экономнее" ли „мыслить" атом неделимым или состоящим из положительных и отрицательных электронов?/„Экономнее" ли мыслить русскую буржуазную революцию проводимой либералами или проводимой против либералов? Достаточно поставить вопрос, чтобы видеть нелепость, субъективизм применения здесь категории „экономии мышления". Мышление человека тогда „экономно", когда оно правильно отражает объективную истину, и критерием этой правильности служит практика, эксперимент, индустрия. Только при отрицании объективной реальности, т.-е. при отрицании основ марксизма, можно всерьез говорить об экономии мышления в теории познания" [4]).

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 155—156.

[2]) Там же, стр. 140.

[3]) Там же, стр. 139.

[4]) Там же, стр. 138—139.

„Принцип экономии мышления“ бессодержателен. Для описания мира я должен использовать минимум понятий. Но познание продвигается вперед между двумя полюсами: между полюсом материального единства мира и полюсом его уходящей в бесконечность сложности, между его абсолютным единством и таким же абсолютным разнообразием. Последнее требует для своего описания все возрастающее число понятий, представления и т. д., первое—только свою классификацию единства. Таким образом на одном полюсе получается максимум, а на другом не только минимум, но просто единство. „Принцип экономии“ бессилен помочь в этом деле хоть сколько-нибудь, так как он обозначает, что я должен минимальным образом охватить представления, максимально различая их,—получается полнейшая неопределенность. Если же он должен обозначать, что я должен стремиться вообще к минимуму понятий, то он просто напросто фальшив и неверен.

В силу своей неопределенности и бессодержательности „принцип экономии“ получает свое содержание от субъекта, и, таким образом, практически он ведет к тому же, к чему и принцип прагматизма, а именно к признанию „целесообразности“ буржуазного субъекта за критерий познания, чтобы под видом мнимо-объективного критерия подкинуть в философию потихоньку старинные идеалистические уголья и поджечь их заново.

Таково, напр., библейское повествование о сотворении мира в шесть дней несомненно содержит много более „экономии мышления“, нежели научная история развития нашей планетной системы, земли, организмов и пр.

7. Время и пространство.

Глубокое различие между двумя основными течениями философии, идеализмом и материализмом, конечно, ярко проступает и в толковании времени и пространства — основной опоры всех наших представлений. Идеализм рассматривает их как субъективные формы человеческого воззрения, материализм видит в них объективно-реальные формы бытия.

„В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени. Человеческие представления о пространстве и времени относительны, но из этих относительных представлений складывается абсолютная истина, эти относительные представления, развиваясь, идут по линии абсолютной истины, приближаются к ней. Изменчивость человеческих представлений о пространстве и времени так же мало опровергает объективную реальность того и другого, как изменчивость научных знаний о строении и формах движения материи не опровергает объективной реальности и внешнего мира“ [1]).

[1]) Н. Ленин, том X, стр. 143.

Эйнштейновская теория относительности вызвала небывалое смятение в учении о пространстве и времени, но к этому следует отнестись критически. Мы коснемся этой темы в связи с рассмотрением теории относительности с точки зрения диалектического материализма.

8. Сущность идеализма и его разновидности—эмпириосимволизма.

К выводам этой главы следует добавить еще несколько замечаний. Прежде всего о различных видах и разновидностях идеализма:

„Если так применять определение Энгельса, то и Гегель материалист, ибо у него тоже психический опыт (под названием абсолютной идеи) стоит раньше, затем следует „выше" физический мир, природа и, наконец, познание человека, который через природу познает абсолютную идею. Ни один идеалист не будет отрицать в таком смысле первичность природы, ибо на деле это не первичность, на деле природа не берется за непосредственно данное, за исходный пункт гносеологии. На деле к природе ведет еще длинный переход через абстракции „психического". Все равно, как назвать эти абстракции: абсолютной ли идеей, универсальным ли Я, мировой волей и т. д., и т. п. Этим различаются разновидности идеализма, и таких разновидностей существует бесчисленное множество. Суть идеализма в том, что с первоисходным пунктом берется психическое; из него выводится природа, и потом уже из природы обыкновенное человеческое сознание. Это первоисходное „психическое" всегда оказывается поэтому мертвой абстракцией, прикрывающей разжиженную теологию. Например, всякий знает, что такое человеческая идея, но идея без человека и до человека, идея в абстракции, идея абсолютная есть теологическая выдумка идеалиста Гегеля. Всякий знает, что такое человеческое ощущение, но ощущение без человека, до человека есть вздор, мертвая абстракция, идеалистический выверт [1]).

Именно тем идеализм и показывает свое происхождение от теологии и, в конце концов, от древнейшего анимистического суеверия, что он берет за исходный пункт не человеческую непосредственную психику, но психику фантастически-обобщенную, расширенную до мировых размеров, не „ничтожный" человеческий дух, но „великий" мировой дух. „Абсолютная идея" Гегеля есть фантастически расширенный, поднятый до мирового духа человеческий разум. Человеческий ум превращает все чувственно-материальное в идейное, отвлеченное, представляемое в „понятие". Таким путем я могу облечь в форму понятия все и всяческое, совершенно извращая действительное соотношение, чтобы сделать „понятие" идею" творцом и двигателем всего материального. Так возникает фантасмагория объективного идеализма, которая, по крайней мере, у классиков, есть не просто чистая выдумка, но отраженный в пере-

---

[1]) Н. Ленин, том X, стр. 188.

вернутом виде реальный мир. Чтобы понять достоинства Гегеля, надо его перевести так, как переводят получившийся в зеркале обратный шрифт в прямой, или как переводят на правильное движение фильму, вертящуюся в обратном направлении.

Застенчивый, робкий вид идеализма или материализма (глядя по остальному сочетанию) рассматривает наши ощущения и порождаемые ими представления и понятия не как отражения действительности, но как *символы* или знаки.

По этому поводу Ленин замечает: „Теория символов не мирится с таким (всецело материалистическим, как мы видели) взглядом, ибо она вносит некое недоверие к чувственности, недоверие к познаниям наших органов чувств. Бесспорно, что изображение никогда не может всецело сравняться с моделью, но одно дело изображение, другое дело символ, *условный* знак. Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, что „отображается". „Условный знак", символ, иероглиф суть понятия, вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма" [1]).

Условные знаки, как, например, изображение буквы А, как ее звука, не имеет никакого родства, никакого сходства с предметом, знаком которого он является. Позади такого утверждения, что наши ощущения, представления и понятия суть только *символы* действительности, кроется иное утверждение, заключающее в себе полный разрыв и несравнимость психического с физическим [2]).

Этим мы заканчиваем данную главу и переходим к критико-диалектическому освещению новейшей физики Лениным, тесно связанному с критическими замечаниями по поводу физической теории относительности.

А. Тальгеймер.

(Продолжение следует).

---

[1]) Н. Ленин, Собр. сочин. т. X, стр. 196.

[2]) Помимо этого, давно доказано, но приходится еще доказывать, что главнейшие условные знаки, письменное обозначение букв и звуки языка, получились из первоначальных отражений чувственных предметов. „Идея" в первоначальном виде значит ничто иное, как картина, изображение (от корня слова, обозначающего зрение), „содержание" от слова „держать". Знаки различных иероглифических письмен, из которых произведены наши условные буквенные обозначения, могут быть во всей своей совокупности сведены к грубому обозначению видимых предметов. Частично это сходство сохранилось еще в современном обозначении букв, так, например, в букве *Т*, которая представляет изображение волнообразного движения воды (смотри соответствующие древнеегипетские и древне-вавилонские иероглифы). Вообще история языка, теснейшим образом связанная с историей мышления, шаг за шагом приводит нас к чувственно-материальному, как исходному пункту.

Также и с *обозначением чисел*, к которым, в конечном счете, сводится весь, в конце концов условный, язык математики, состоящий из одних знаков,—обычно их можно свести к изображениям конкретных предметов,—руки, ноги, пальцев и т. д.

Ленин и диалектика.

I.

Неоднократно в своих сочинениях Ленину по самым различным поводам приходилось высказываться о значении диалектики и диалектического метода. С особой силой и настойчивостью он высказался об этом предмете в своей статье в журнале „Под Знаменем Марксизма", в которой он рекомендовал изучение диалектики кружкам по марксизму. Весьма примечательно, что эта рекомендация вылилась у Ленина в формах организационных. Он предложил занимающимся марксизмом образовывать общества „любителей гегелевской диалектики".

При всем том систематически нигде Ленин не дал изложения своего понимания диалектического метода. Можно привести очень многие, весьма различные цитаты из сочинений Ленина, и всегда в них, поскольку дело касается собственно диалектики, мысль Ленина выражена лишь в самом общей виде, нигде, кажется, не затронуты специальные проблемы диалектики.

Поэтому, чтобы определить, как действительно пользовался Ленин диалектическим методом, необходимо аналитически приступить к делу. Поглощенный социальной и политической борьбой, Ленин в своих работах выдвигал самый предмет, свое решение, оставляя в тени, как, каким путем он к этому решению приходит. Мы же можем итти обратно: от результата, от предмета и решения к методу. Этот аналитический прием тем более может оказаться плодотворным, что так вскрывается научная творческая лаборатория самого Ленина.

Конечно, в краткой журнальной статье невозможно исчерпать хотя бы отчасти весь тот материал, который может быть сюда привлечен. На полноту изложения нам рассчитывать не приходится. Все же даже первый приступ к подобной работе может оказаться не лишенным интереса для тех, кто в настоящее время занят разработкой вопросов ленинизма.

II.

Чтобы охарактеризовать диалектику у Ленина, нужно исходить от Маркса.

Отношение Ленина к Марксу и марксизму лучше всего может быть характеризовано словами самого Ленина:

„С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учением революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать канонизировать их, предоставить известную славу их имени для „уте-

шения" угнетенных классов и для одурачивания их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острее, опошляя его. На такой обработке марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу" („Гос. и рев.", стр. 12, изд. 1924 г.).

При таком положении дела, при „неслыханной распространенности искажений", как пишет Ленин, он сам ставил себе первой задачей „восстановление истинного учения Маркса".

Это—задача нелегкая. „Приходится точно раскопки производить, чтобы до сознания широких масс довести неизвращенный марксизм" („Гос. и рев.", стр. 7).

Подобное восстановление не могло совершиться без глубокого и внимательного изучения марксизма и его метода. Ленин хорошо знал своих противников. „Каутский,—пишет он,—знает Маркса почти наизусть; судя по всем писаниям Каутского, у него в письменном столе или в голове помещен ряд деревянных ящиков, в которых все написанное Марксом распределено аккуратнейшим и удобнейшим для цитирования образом" („Прол. рев.", стр. 13, изд. 1918 г.).

Против подобного научного арсенала Ленин должен был выставить свой арсенал, не меньший: „Все или по крайней мере все решающие места из сочинений Маркса и Энгельса по вопросу о государстве должны быть непременно приведены в возможно более полном виде („Госуд. и рев.", стр. 12). Только этим путем можно добиться того, что искажение взглядов Маркса и Энгельса господствующим каутскианством показывается документально и наглядно.

Из подобных признаний Ленина легко заключить, какую огромную работу предполагает, напр., такая небольшая по размерам книга, как „Государство и революция". Ленин, очевидно, просмотрел все литературное наследие Маркса и Энгельса, но более того — из содержания этой книги явствует, что Ленин не только перебрал страницу за страницей все писания Маркса и Энгельса, но и дает совершенно новое оригинальное истолкование приводимым цитатам. Восстановление революционного содержания учения Маркса предполагает метод его истолкования. Об этом говорит и сам Ленин в своей работе „Пролетарская революция", в которой он указывает, что „со стороны философской дело сводится к подмене диалектики эклектизмом и софистикой", со стороны же тактической—к фактическому „лакейству" перед буржуазией при соблюдении максимализма фразеологии.

Политические и практические проблемы здесь Ленин решает в связи с диалектическими, которые однако остаются скрытыми при беглом чтении, ибо изложение ведется весьма популярно и общедоступно. Все же, сопоставляя различные места, часто повторяемые обороты речи, мы имеем возможность расшифровать намеки, проникнуть в творческую лабораторию Ленина.

Едва ли приходится сомневаться, что подобная лаборатория у Ленина была, ведь в том может быть одна из его характерных черт, что к вопросам чисто-практическим и тактическим он подходит научно, что „разум теоретический“ и „разум практический“ у него составляют неразделимое единство.

Маркс пользовался своей диалектикой, главным образом вскрывая противоречия существующего строя, которые ведут к его гибели[1]). Поэтому основной его труд „Капитал“ носит подзаголовок „Критика политической экономии“. Эта критическая позиция выдержана Марксом до конца и весьма принципиально. Ведь для Маркса дело шло вовсе не об обосновании политической экономии, как науки, он вовсе не стремился продолжать дело Рикардо, пытавшегося формулировать естественные и вечные законы между капиталом, трудом и рентой. Против подобного одностороннего догматизма Маркс подчеркивал всю условность и временность этих отношений, Маркс рассматривает капиталистические отношения с исторической точки зрения и показывает, как политическая экономия приводит к своему самоотрицанию. Политическая экономия отнюдь не может строиться по образу естественных наук, те отношения, которые она констатирует и формулирует, скорее противоестественны, чем „естественны“.

Ленин вместе с прочим наследием Маркса принял также и учение, что диалектика является прежде всего могучим орудием разрушения. В своей первой большой работе о русских аграрных отношениях Ленин показывает разложение основ и устоев русской деревни, которые эс-эры считали незыблемыми и на которых они пытались строить свою программу. Ленин показывает расслоение деревни в капиталистическом обществе, неизбежность подобного расслоения, он вскрывает противоречия существующих отношений и через то их гибель. Диалектика Ленина здесь совершенно аналогична диалектике Маркса.

Вообще нужно сказать, что практическая работа революционера имеет по самому существу этот отрицательный момент, она направляется против основ существующего строя, стремится разрушить то, на чем базируют свою власть господствующие классы.

В то же время, однако, эта разрушительная работа не может совершиться без собирания и сосредоточения своих собственных положительных сил. Ведь бороться против существующего строя приходится, применяя силу, которой нужно действовать. Революционеру нельзя лишь пассивно ожидать разложения врага, он должен накоплять силы для проявления активности в нужный момент. Поэтому и в первую половину своей революционной деятельности до 1917 года,

---

1) Эта критическая работа Маркса была, однако, одновременно и положительной работой познания движущих сил капитализма, воспитания и организации пролетариата. Ред.

Ленин действовал не только отрицательно, разлагая противника, но и положительно, создавая кадры будущей Р. К. П.

В этом оригинальное в методологии Ленина.

Чтобы разобрать его, нам придется коснуться самих основ и принципов диалектического метода.

III.

Как известно, Гегель различал три момента в своем методе. „Логическое,—пишет он (Энцикл., § 79),—рассматриваемое формально, имеет три стороны: 1) абстрактную или рассудочную, 2) диалектическую или отрицательно разумную и 3) спекулятивную или положительно разумную.

Эти стороны, добавляет он, отнюдь не составляют трех частей логики, но являются моментами всякой логической реальности, т.-е, всякого понятия и всякой истины. Мышление рассудка остается при твердых определениях и их различии против других. Диалектический момент есть собственно снятие подобных конечных определений и их переход в противоположные, наконец спекулятивное или положительно разумное схватывает единство определений в их противоположности, то положительное утверждение, которое содержится в их уничтожении и переходе.

На положительном характере своего метода Гегель настаивает: „Главный предрассудок,—пишет он,—состоит в том, будто диалектика имеет лишь отрицательный результат" (Наука Логики, стр. 204 рус. пер.). Отрицание диалектическое есть в то же время и утверждение. Диалектика, отрицая, в той же мере и сохраняет отрицаемое. На своеобразном языке Гегеля это звучит так: „непосредственное на этой стадии диалектики перешло в другое, но другое есть по существу не пустое отрицательное, не ничто, признаваемое объективным результатом диалектики, а другое первого, отрицание непосредственного, следовательно ею определено, как посредственное, вообще содержит внутри себя определение первого. Тем самым первое сберегается и сохраняется в другом. Удержать в результате положительное... вот что есть славнейшее в разумном сознании".

Настаивая на положительном характере своей диалектики и отличая ее от скептицизма, Гегель хорошо видел, благодаря чему в его „Науке Логики" этот положительный результат достигается.

Мы не должны забывать, что у Гегеля диалектика становится положительной лишь в ее третьем моменте, в моменте спекулятивно разумном. Метод Гегеля здесь переходит в систему Гегеля—абсолютная идея должна заключать в себе все различия, отрицания и противоположности, как свои моменты, действительно различенные и через то относящиеся отрицательно друг к другу, это—идея—должно быть единым целом, которое свою полноту как раз и обретает через эти различия и эти отрицания. Метод таким образом становится некоторой „системой полноты", как выражается Гегель. Конкретное понятие, как

абсолютный результат, к которому приводит метод, есть идея, которая в то же время лежит в качестве предпосылки в основе всей гегелевской логики.

Таким образом положительный характер диалектика у Гегеля приобретает только через идеализм системы. Спекулятивный разум утверждает эту положительность, как высший результат диалектического метода. Диалектика положительна у Гегеля лишь в системе панлогизма.

Маркс, в качестве материалиста, не мог следовать за Гегелем в направлении его идеализма. Маркс нигде не предается спекуляциям разума, он имеет дело прежде всего с фактами, с опытными данными, но спрашивается, не должна ли таким образом диалектика Маркса стать чисто отрицательной, нигилистической, ничего положительного не содержащей в себе. Этот вопрос тем более уместен, что у Маркса, как мы видели, диалектика действительно является главным образом оружием критики и отрицания.

Мы весьма плохо бы истолковали метод Маркса, если бы не усмотрели в нем ничего положительного. Это положительное безусловно у Маркса имеется, скрытое за отрицательной формой. Хотя Маркс и отрицал Гегелевскую идею, как систему полноты, но он удерживал учение Гегеля о противоречии, которое не только разъединяет, но и соединяет утверждаемое и отрицаемое. Утверждая действительность, как процесс, Маркс в моменте перехода от одного состояния к другому, следовательно, в переходе от А к не-А, усматривал то „единое“, что игнорируется обычно формальной логикой. Единство процесса заменило у Маркса единство идеи, монизм материалистический—монизм идеалистический.

Развивая свое понимание общественной деятельности, как процесса, Маркс был занят главным образом вскрытием тех противоречивых сил, которые этот процесс движут и созидают и тем самым влекут к гибели то, что представлялось незыблемым и „естественным“ для недиалектиков.

Ленин жил и действовал в годы развернувшейся пролетарской революции, принимал деятельное участие в строительстве социализма, и эта положительная работа потребовала гораздо более широкого использования положительных моментов, имеющихся в диалектике Маркса. Ленин значительно развил то, что остается у Маркса едва намеченным. Работая вполне в духе своего учителя, Ленин все же значительно продвинул диалектический метод и показал, как им нужно пользоваться не в годы подготовки к революции, а в момент революции уже наступившей. Поэтому приходится отметить и учесть самостоятельную разработку Лениным некоторых весьма важных пунктов.

IV.

Положительное строительство в период революционной работы, „разложения, сокрушения и уничтожения“ Ленин проделал главным

образом в двух направлениях: во-первых, в партийном строительстве предреволюционной эпохи до 1917 года, когда ему приходилось бороться против других партий, эс-эров и меньшевиков, и, во-вторых, в строительство социалистического государства после Октябрьской революции.

Для изучающего лабораторию Ленина важнее те сочинения, которые относятся к этому последнему периоду, ибо здесь Ленин должен был полемизировать и вести борьбу не только против слабых теоретиков русских политических партий, но против виднейших начетчиков в литературе по научному социализму. Эти сочинения естественно обнаруживают гораздо более из той скрытой подготовительной работы, которую Ленин проделывал, прежде чем в доступной для широкого читателя форме изложить свои выводы. Об этом говорит и сам Ленин, подчеркивая важность проблемы о государстве. „Вопрос о государстве,—пишет он,—приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом и в практически-политическом отношениях“. Это основной вопрос, ибо он сводится к вопросу о коренном содержании пролетарской революции, именно о диктатуре пролетариата.

Любопытно, что книга „Государство и революция“ написана Лениным в августе и сентябре 1917 года, т.-е. почти накануне Октябрьской революции. Ленин таким образом тщательно продумал в этой теоретической работе ту практику, которую потом осуществил, „делая революцию“.

„Государство и революция“ таким образом—весьма любопытный памятник, позволяющий рассмотреть, как относятся теория и практика у Ленина, как тщательно он продумывал те цели, которые ставил, и те средства, которыми хотел воспользоваться для их достижения.

С методологической стороны существенный интерес представляет основной вопрос, поистине обоюдоострый.

Социал-реформисты с Каутским во главе полагали, что переход к социализму осуществится тем путем, что пролетариат захватит старую государственную машину в свои руки и осуществит демократическую программу. Дальше демократических требований социальная революция по Каутскому итти не может. В соответствии с этим Каутский сводил противоположность двух социалистических направлений большевиков и небольшевиков к противоположности двух в корне различных методов: демократического и диктаторского.

Совершенно очевидно, что для пролетарской революции ограничиться проведением „демократической“ программы совершенно не мыслимо, ибо для марксизма всякое государство не свободно. Государство есть по самому существу своему насилие.

С другой стороны, анархисты, разделяя вместе с марксистами учение о государстве, как о насилии, и констатируя противоречивость самого термина „народное государство“, требовали, чтобы первым актом социальной революции была отмена авторитета. С таким выводом марксист также не может согласиться. Ленин здесь просто

ссылается на Энгельса: „Видали ли когда-нибудь революцию эти господа? Революция есть несомненно самая авторитетная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством штыков, пушек, т.-е. средств чрезвычайно авторитетных".

Получается дилемма. Сохраняя государство, как будто нельзя продвинуть дело революции дальше самых широких демократических реформ. Отрицая государство, впадаешь в „детскую болезнь левизны", отрицая насилие, отрицаешь самое революцию.

И в том, и в другом случае не получаем смысла и значения пролетарской революции, ее содержание ускользает от нас. Этот вопрос действительно или просто замалчивался, или отодвигался социал-реформистами в неопределенное будущее. „Решение вопроса,—писал Каутский, —о проблеме пролетарской диктатуры мы вполне спокойно можем предоставить будущему".

Из этого тупика, повидимому, нет выхода. Ленин находит его, ставя совершенно иначе самый вопрос—диалектически. Если термин „диалектика" и не назван Лениным, то он им описан весьма точно. „Нужно,—говорит Ленин,—следовать Марксу в применении теории развития, нужно ставить вопрос не отвлеченно, а конкретно". Обобщая оба момента в единой формуле, мы получим: „надо анализировать переходные формы, чтобы учесть в зависимости от конкретно исторической обстановки каждого отдельного случая, переходом от чего к чему данная переходная форма является".

Посмотрим, как применяет Ленин свои правила.

Итак, вопрос нужно поставить конкретно. Его противники, Каутский в частности, так вопроса не ставят, они рассуждают отвлеченно. Каутский говорит о демократии, но это—пустое отвлечение. „Нельзя,—пишет Ленин („Пр. р.", стр. 24),—говорить о чистой демократии, пока существуют различные классы, а можно говорить только о классовой демократии". „Чистая демократия есть не только невежественная фраза, обнаруживающая непонимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза, ибо в коммунистическом обществе демократия будет, перерождаясь и превращаясь, отмирать, но никогда не будет чистой демократией".

Эта мысль лежит в основе всей критики тактики II Интернационала. Действительно, „чистая демократия" несовместима с коммунизмом, как догматизм с диалектикой. Принципы демократии можно формулировать лишь отвлеченным методом Руссо, —тогда мы получаем действительно такие понятия, как общая воля в ее отличие от воли всех, т.-е. чистое отвлечение, и демократическое государство, как выражение этой общей воли, т.-е. то же чистое отвлечение.

Диалектическое рассмотрение вскрывает пустоту и нереальность всех подобных понятий, которые,—нужно это заметить, —лежат в основе всех современных учений о государстве буржуазного толка. Чистая демократия вскрывается как „лживая фраза либерала, одура-

чивающего рабочего". Стоя на диалектической точке зрения, нельзя оперировать более пустыми отвлеченностями. „История, — пишет Ленин, — знает буржуазную демократию, которая идет на смену феодализму, и пролетарскую демократию, которая идет на смену буржуазной".

Таким образом нельзя говорить о демократии вообще, можно говорить лишь об определенной демократии, о демократии буржуазной, о демократии пролетарской; о какой именно демократии идет речь,—вот конкретный вопрос, который заставляет поставить диалектический метод, чуждающийся отвлеченностей. На этом принципе основана вся дальнейшая подробная критика идеологов демократии со стороны Ленина; он указывает, как везде у них совершается подмен фактического равенства равенством формальным.

Но если понятие чистой демократии радикально устраняется диалектикой, то этим еще совершенно не решен другой вопрос о положительном содержании пролетарской революции, об отношении пролетарской демократии к государству.

Здесь собственно Ленин и должен был проявить максимальную силу диалектической мысли. Как мы видели, сущность вопроса сводилась к тому, как обрести переходную форму между утверждением государства, которое есть насилие, и отрицанием государства, как это делают анархисты, как установить понятие пролетарского государства или „полугосударства", по терминологии Ленина. Здесь уже недостаточно одной конкретной мысли, переходные формы мы можем рассматривать только тогда, когда „учитываем конкретные исторические особенности каждого отдельного случая, когда спрашиваем, от чего и к чему данная переходная форма является".

Мы должны вскрыть методологический смысл этих формулировок.

Прежде всего для уяснения мысли Ленина крайне любопытно толкование одного места из „Анти-Дюринга", которое им производится: „Государство,—писал Энгельс,—не „отменяется", оно отмирает" („Анти-Дюринг", стр. 302—303, по 3 нем. изд.). На это мнение Энгельса часто ссылались оппортунисты, ибо оно содержит указание на то, что государство при переходе к пролетариату не отменяется, как того требовали крайние анархисты. Не боясь ошибиться,—пишет Ленин,—можно сказать, что из замечательно богатого мыслями рассуждения Энгельса действительным достоянием социалистической мысли в современных социалистических партиях стало только то, что государство „отмирает" по Марксу, в отличие от анархического учения об „отмене государства". Так обкарнать марксизм значит свести его к оппортунизму, ибо при таком толковании остается только смутное представление о медленном, ровном, постепенном изменении, об отсутствии скачков и бурь, об отсутствии революции. „Отмирание" государства в пошлом общераспространенном, массовом, если так можно выразиться, понимании означает, несомненно, затушевывание, если не отрицание революции" („Гос. и рев.", стр. 26).

Ленин также признает не отмену, а отмирание государства, он также говорит о промежуточных формах, о непрерывности развития, но всем этим понятиям он придает новый революционный смысл, он вкладывает совершенно новое революционное содержание.

V.

Если мы постараемся выразить в терминах диалектики методологические достижения Ленина, скрытые за фактическими достижениями, то мы должны будем признать здесь главным новое понимание и истолкование непрерывности и прерывности революционного процесса.

Непрерывность революционного процесса Ленин постоянно подчеркивает. Об этом свидетельствует вся 5-ая глава его книги „Госуд. и рев.". „Теория Маркса,—пишет Ленин,—есть применение теории развития к современному капитализму". Маркс ставит „вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель поставил бы вопрос о развитии новой биологической разновидности". „Вместо схоластических, выдуманных, „сочиненных" определений и бесплодных споров о словах (что социализм, что коммунизм) Маркс дает анализ того, что можно назвать ступенями экономической зрелости коммунизма".

На первой фазе коммунизм не может быть вполне зрелым, он не вполне свободен от „традиций и следов капитализма". В коммунизме остается в течение известного времени „буржуазное право и буржуазное государство—без буржуазии". „Это может показаться парадоксом или просто диалектической игрой ума, в которой часто обвиняют марксизм люди, не потрудившиеся ни капельки над тем, чтобы изучить его чрезвычайно глубокое содержание". На самом же деле остатки старого в новом показывают нам жизнь на каждом шагу, и в природе и в обществе. И Маркс не произвольно всунул кусочек „буржуазного" права в коммунизм, а взял то, что экономически и политически неизбежно в обществе, выходящем из недр капитализма".

Все эти цитаты, которые можно произвольно увеличить, ибо подобными местами пестрит вся 5-ая глава „Гос. и рев.", показывают, как подчеркивает постоянно Ленин непрерывность революционного процесса, но в то же время эта непрерывность вовсе не должна, по мнению Ленина, подчеркивать лишь старое в новом, непрерывность углублена Лениным диалектически, она содержит в себе отрицание, и притом радикальное, переход в свою противоположность. Рассуждения Ленина могут показаться парадоксом или игрой ума лишь тем, кто не хочет рассмотреть „чрезвычайно глубокое содержание этих рассуждений".

На выяснении этого пункта мы должны остановиться несколько подробнее и не бояться некоторых теоретических трудностей.

VI.

Не определяя ближе понятия непрерывности, что всегда зависит от той системы, в которую мы вводим рассматриваемое понятие, поста-

раемся наметить, как используется непрерывность, для чего она служит в научной работе. Обычно непрерывность позволяет упорядочить и подчинить одному закону и принципу ряд явлений, которые кажутся разрозненными; самостоятельными, друг с другом не связанными, глубоко отличными.

Так, например, можно говорить, что круг, эллипсис, парабола и гипербола являются самостоятельными фигурами, которые имеют каждая свою формулу, свою особую качественность, в то же время мы можем подчинить эти фигуры непрерывному рассмотрению, тогда сразу установится то общее, что они имеют; они все явятся коническими сечениями, и различия качественные между ними сведутся к различиям количественным; в зависимости от того, под каким углом будем мы проводить секущую плоскость, мы получим то круг, то эллипсис, то параболу, то гиперболу. Математика изобилует подобными примерами весьма плодотворного употребления метода непрерывности. Что может быть более, кажется, различного, чем фигура круга и фигура правильного многоугольника, и, тем не менее, формула окружности получается именно через непрерывное увеличение сторон вписанного и описанного многоугольников вплоть до того предела, когда прямая совпадает с кривой. Из этих и подобных задач (как провести касательную к кругу) исторически выросла столь сложная ныне система дифференциального и интегрального исчисления; вполне аналогичным путем сложились и принципы математической физики.

Непрерывность позволяет установить тождественность в том, что на первый взгляд весьма друг от друга отличается, подчинить одному правилу и закону необозримое множество фактов, которые все хорошо „упорядочиваются" непрерывностью. Виды растений и животных весьма различны, но общий генезис, происхождение, упорядочивает этот кажущийся хаос. Точно так же периодическая система Менделеева, устанавливающая различие в атомных весах, подчиняет одному закону многообразие химических элементов.

Из всех этих и примеров, взятых из различных областей науки, мы можем усмотреть, что обычно непрерывностью непосредственно пользуются для нахождения тождества в различном. Непрерывность позволяет сводить качество к количественным изменениям, она облегчает преодолеть качественную разнородность явления.

Непрерывность в применении к явлениям общественным, кажется, означает прежде всего отрицание и исключение революции. По крайней мере так пользовались непрерывностью социал-оппортунисты, они заменяли революцию незаметно малыми переходами, мельчайшими сдвигами в общественной структуре. Революция становится немыслимой и невозможной, как перерыв, как скачок, революция разрушает непрерывность развития, и потому вполне естественно, что реформисты в своей борьбе против революционеров выдвигали принцип непрерывности против прерывности революции.

Весь этот вопрос был уже рассмотрен Плехановым в его третьей статье против Струве („Плеханов в защиту революционного марксизма", Москва 1922 г., стр. 76—99).

Эта статья как раз трактует вопрос о пресловутой теории крушения, и в ней Плеханов противопоставляет тактику „штопания буржуазной общественной ткани" тактике революционной.

Статья носит полемический характер и направлена против Струве, утверждавшего, что нам нужно только непрерывное изменение и что понятие „общественный переворот" не выдерживает критики, что его приходится поставить на одну доску с поэзиями о свободе воли, о бессмертии души и пр. Против этих положений и направлены аргументы Плеханова. Плеханов показывает, что непрерывность изменения требует прерывности, а прерывность немыслима, в свою очередь, вне непрерывности. Его аргументы для доказательства этого тезиса весьма примечательны. „Пусть новая величина реальности ($A—B$) возникает посредством всех меньших степеней, заключенных между моментами A и B. Возьмем две непосредственно следующие одна за другой степени из тех, которые находятся между указанными моментами. Спрашивается, как возникает та величина реальности, которая равняется разности между двумя этими ступенями. Тут можно сделать только два предположения: 1) она возникает сразу или 2) она возникает постепенно. Если она возникает постепенно, то значит она сама проходит многие промежуточные степени. Но это противоречит условиям нашей задачи, так как мы взяли две такие степени, которые непосредственно идут одна за другою. Стало быть, останется только второе предположение, согласно которому разность между взятыми нами степенями возникает сразу. А что возникновение сразу и есть один из тех скачков, которые будто бы невозможны, и это значит, что не скачков не терпит интеллект, а именно непрерывности".

. Таким образом тезису, гласящему, что скачков не бывает, и ест только непрерывность, с полным правом можно противопоставить антитезис, по смыслу которого в действительности изменения всегда совершаются скачками, но только ряд мелких и быстро следующих один за другим скачков сливаются для нас в один непрерывный процесс.

Плеханов далее показывает, что, собственно, нельзя утверждать односторонне ни тезис, ни антитезис. Правильная теория познания должна примирить их в едином синтезе.

Если пытаться формулировать смысл этого синтеза, то мы получим такой вывод: „скачки предполагают непрерывное изменение, а непрерывное изменение приводит к скачкам". Это—два необходимых момента одного и того же процесса.

Таков безусловно правильный и глубокомысленный результат, к которому приходит Плеханов.

Ленин стоит вполне на этом диалектическом базисе, только формулу Плеханова, данную в общем виде, он диалектически углубляет и тактически весьма своеобразно применяет.

Остановимся прежде всего на непрерывности. Мы только что видели, что непрерывность может быть утверждаема только в связи с прерывностью. Но как раз этого обычно и не делалось. Обычно поступают как раз наоборот: непрерывность противопоставляют прерывности, эволюцию—революции. Настаивая на непрерывном развитии общества, подчеркивают постепенные, малозаметные деформации в структуре общества и делают это для того, чтобы избежать пресловутого „скачка“, чтобы не оказаться лицом к лицу с революцией. Струве в этом доходил до того, что вообще отрицал самую возможность понятия „общественный переворот“. По его мнению, ни природа, ни интеллект не терпит скачков. Так рассуждал не один Струве, в этом ему следуют все социал-реформаторы с Каутским во главе, у них вовсе не ставился даже самый вопрос о пролетарской революции, эта проблема ими постоянно откладывается, путь становится всем, конечная цель ничем, она исчезает за горизонтом.

Подобная установка уничтожает смысл социализма, который остается вне рассмотрения, центр внимания обращается к всевозможным социальным реформам. Непрерывность, понимаемая как несовместимая с прерывностью, становится главным аргументом отрицания социальной революции. Но, более того, извращение методологического принципа ведет к извращению понимания самой социальной эволюции. Ведь, эволюция означает все же известное изменение, пусть совершающееся незаметно, малыми шагами, во все же и в эволюции есть переход от определенного *А* к определенному *В*, следовательно от *А* к не-*А*. Как ни затушевывать диалектический момент, он несомненно все же на-лицо в самой постепенной эволюции, а следовательно, прерывность не может быть вычеркнута, раз не хотим зачеркнуть вместе с тем и самое эволюцию. Ленин показывает, что тот, кто, несмотря на эти очевидные положения, все же пытается это делать, тот отказывается на практике не только от революции, но и от эволюции, тот становится в силу необходимости поборником застоя, реакционером, и если сверх того он именует себя социалистом, то превращается в ренегата. Рассуждения Каутского как раз и свидетельствуют об этом, его защита демократии есть по существу реакционный акт, он словно не видит, что демократия, если она утверждается серьезно, ведет от демократии буржуазной к демократии пролетарской.

Ленин, подчеркивая в непрерывности не только элемент тождества, но также и различия, получает возможность истолковать непрерывное развитие не только в узко-реформистском значении, но и в значении революционном. Непрерывное развитие полагает противоречие и переход в прямую противоположность.

Непрерывность развития свойственна далеко не только одним мирным временам, в противоположность временам революционным,— как раз напротив: всякая революция, как бы стихийно она ни развивалась, какими бы скачками и разрывами с прошлым ни характеризовалась, в то же время будет всегда иметь в себе элементы непрерывности, тождества перехода от одного состояния в другое. Революционный процесс протекает закономерно, как и всякий вообще процесс.

Революция вовсе не есть чистый хаос и беспорядок. Так могут представлять себе дело революции лишь обыватели или бакунисты: сознательный общественный деятель, „делающий“ революцию, должен хорошо понимать эту закономерность революционных событий, сознавать закон, по которому развертывается серия этих явлений и согласно с этим пониманием ставить задачи для своей революционной практики.

Противники марксизма очень часто указывали, что переход от необходимости к свободе, совершающийся прерывно, революционно, скачком, является остатком и пережитком утопизма в научном социализме. Нужно признать, что у самого Маркса о деталях грядущей катастрофы ничего не говорится. Маркс сознательно от подобного детализирования отказывался. Маркс указывал лишь на те тенденции, которые ведут капиталистическое общество к катастрофе. Ленин жил в совершенно иных условиях, он находился в самом кризисе, в самой революции. С методологической точки зрения главная особенность революционной тактики Ленина в том, что он научно подошел к весьма своеобразному новому революционному опыту, он видел в нем порядок и закономерность. Ленин, оставаясь строго на почве научной диалектики, следя за закономерным и непрерывным ходом революции, в то же время вполне учитывал все своеобразие требований революционного опыта, его прерывность. Это он мог сделать только благодаря весьма оригинальному истолкованию и пониманию непрерывного процесса, как в то же время процесса прерывного.

Чтобы глубже осветить эту весьма сложную проблему, нужно принять во внимание не только аргументы Ленина против правых социалистов, но и против левого течения в коммунизме. Только в этом случае возможно методологически выявить его приемы.

VII.

Те же самые диалектические принципы, которые легли в основу полемики Ленина против социал-реформистов, обусловливают и возражения его против представителей так называемых левых течений в коммунизме, поэтому с методологической стороны весьма любопытно проследить, как ведется борьба Лениным на этом фронте.

На первый взгляд может показаться, что тактика Ленина среди прочих группировок занимает среднее место,—правее его стоят Каут-

ский и каутскианцы и левее—группы, склонные так или иначе к анархизму. Но подобный взгляд не может быть признан соответствующим действительному положению дела.

Ленин обвиняет левых не в левизне, а, напротив, в реакционности; левизна левых—мнимая левизна, на самом деле она ведет не к интенсивности и углублению революционной борьбы, а к ее ослаблению.

Обоснованию этого тезиса посвящены как некоторые страницы „Гос. и рев.", так и книга „Детская болезнь левизны", в ее целом.

В германском коммунизме эта „детская болезнь" выразилась в форме противопоставления диктатуры вождей —диктатуре масс.

„Две коммунистические партии стоят друг против друга,—читаем мы в одной немецкой брошюре.—Одна—партия вождей, которая стремится организовать борьбу и управлять ею сверху, идя на компромиссы и на парламентаризм. Другая—массовая партия, которая ожидает подъема революционной борьбы снизу. Там диктатура вождей, здесь диктатура масс. Таков наш лозунг".

Ленин прежде всего разоблачает догматизм подобной концепции. Ленин признает, что новейший империализм (XX века) создал максимально привилегированное положение для нескольких передовых стран, и на этой почве везде во II Интернационале обрисовался тип вождей-предателей, оппортунистов, социал-шовинистов, отстаивающих интересы своего цеха, своей прослойки рабочей аристократии. Частный случай, когда действительно массы противостоят своим вождям, не может и не должен быть обобщаем. „Договориться по этому поводу до противоположности вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная нелепость и глупость".

Но не только в неправильном обобщении тут дело. Ошибка левых германских коммунистов вовсе не только в неверном умозаключении от частного к общему, их обобщение диалектически неправильно. Ленин критикует левых германских коммунистов тем, что показывает развитие их мысли, он критикует их диалектически, приводя к абсурду. „Отрицание партийности и партийной дисциплины"—вот что получилось в оппозиции. А это равносильно полному разоружению пролетариата в пользу буржуазии" (курсив Ленина).

С точки зрения логики формальная мысль есть прежде всего определенное, замкнутое, покоящееся содержание, это содержание может утверждать или отрицать. Ленин, подходя к делу диалектически, указывает, во-первых, частную значимость общей мысли левых, а во-вторых он подчеркивает диалектическую, действенную сторону мысли, куда она ведет, куда она направлена.

В дальнейшем эта диалектическая критика еще заостряется. „Отрицать партийность с точки зрения коммунизма—значит делать прыжок от кануна краха капитализма в Германии не к низшей и от нее к средней, а к высшей фазе коммунизма".

Этот же аргумент только в более развитом виде имеется в „Гос. и рев.". Там он указывает, что социал-демократы спорили с анархи-

стами не так, как можно и должно спорить марксистам. Нужно было показать, что „анархическое представление об отмене государства путано и нереволюционно“ (курсив мой *Н. З.*). „Анархисты именно революцию в ее возникновении и развитии, в ее специфических задачах по отношению к насилию, авторитету власти, государства видеть не хотят“.

Если уже из этих слов Ленина видно, что главный его аргумент против анархистов, а также и против обычной критики анархических учений, состоит в неспособности и неумении мыслить диалектически, то из следующего места это становится очевидным.

„Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости“: мы-де признаем государство, а анархисты—нет. Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное, он подчеркивает, что все социалисты признают исчезновение государства, как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, этот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную разработку анархистам. И ставя этот вопрос Энгельс берет быка за рога: не следовало ли Коммуне больше пользоваться революционной властью государства, т. е. вооруженного, организованного в господствующий класс пролетариата. „Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой филистера, либо в лучшем случае уклончиво саркастическим „там видно будет“. И анархисты получили право говорить против социал-демократии, что она изменяет своей задаче революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам, и по отношению к государству“.

Конечно, все знающие язык и стиль Ленина согласятся, что термины „конкретный, конкретно“, выдвинутые здесь против социал-демократов и анархистов, аналогичны терминам „диалектический“, „диалектично“.

Можно показать, что действительно эти соображения Ленина глубоко основаны на существе диалектического метода, что левизна левых есть мнимая, что их предположения реакционны—идут в пользу буржуазии.

Чтобы вскрыть с полной прозрачностью это диалектическое отношение, вспомним учение о диалектическом отрицании, столь характерное для этого метода.

Мы видели, что Ленин пользовался при выводе своего положительного содержания учения о государстве отрицанием: нужно „разбить“, „сломать“ старую машину государства,— настаивал Ленин, но эта разрушательная работа тотчас же переходила в положительную:

чем заменить буржуазное государство, как организовать государственную власть при диктатуре пролетариата, как революционно использовать государство. Отрицание намечает пути и средства положительного строительства. Это возможно только потому, что разрыв с прошлым в то же время понимался Лениным, как непрерывность, как изменение; отрицание было углублено диалектически, как „определенное отрицание“.

Анархисты отрицают государство „вообще“; эта неопределенность отрицания делает их позицию зыбкой и неясной. Неопределенность отрицания не имеет той последовательности, которая свойственна отрицанию определенному. Ведь, всякое В по отношению к данному А может рассматриваться как отрицание, как не-А, и тем не менее А и В могут отлично уживаться и совмещаться друг с другом. В самом деле, напр., суждение „эта книга интересна и поучительна“ можно изобразить в логической схеме: А (эта книга) есть В (интересна) и не-В (поучительна). Здесь, несмотря на наличие отрицания, есть в то же время и полная совместимость в одном и В, и не В. Точно также, несмотря на отрицание буржуазного строя, анархизм в то же время может легко совместиться и уживаться с ним и даже быть ему полезным, поскольку он своим неопределенным отрицанием ослабляет классовую борьбу; анархизм, несмотря на свое различение себя от буржуазии, в то же время является одной из разновидностей, именно буржуазной идеологии; вступая в борьбу с идеологией пролетарской, он становится реакционным. Неопределенное отрицание анархистов, которое может очень многим рисоваться, как весьма радикальное, на самом деле при попытке его продумать обнаруживается, как нечто диаметрально-противоположное.

Неопределенное отрицание свойственно догматическому мышлению, отрицание собственно диалектическое, для диалектики характерное, есть отрицание определенное. В определенном отрицании данному А не противопоставляется не-А вообще; как А, так и не-А мыслятся сталкивающимися в одном, противоположными (opposita), а не только противоречащими (kontraria), если выражаться языком формальной логики.

Переход неопределенного отрицания в определенное совершается через утверждение тождественного момента в утверждении и отрицании. Первоначально всякое не-А обозначает только нечто различающееся от А. Понятое в таком смысле и значении, оно может обозначать все, что угодно, за исключением А; так в формальной логике „не-белое“ означает все, что угодно, за исключением „белое“; не-белое в этом смысле может обозначать и „синее“, и „шкаф“, и „электрификация“, это чисто отрицательный, неопределенный термин. Но если последовательно продумать различие, в чем оно заключается, то, конечно, придется признать, что на неопределенном отрицании остановиться нельзя; в самом деле различающиеся различаются друг от

друга в чем-нибудь,—напр., один человек отличается от другого своими нравственными качествами, или ростом, или цветом глаз, всегда есть что-то общее у различающихся, то, в чем вкоренено само различие. Таким образом отрицание правильно истолкованное всегда встречается с утверждением и в нем основано.

Левые коммунисты мнят, что своим отрицанием они становятся весьма радикальными, что благодаря крайнему своему отрицанию они занимают крайнюю позицию. На самом деле, их отрицание, весьма неопределенное логически и весьма хаотическое тактически, левые коммунисты недостаточно последовательны в своем отрицании, они остановились на полдороге. Последовательное отрицание, доведенное до конца, отрицание диалектическое и определенное, всегда удерживает нечто общее с тем, что его отрицает; это общее и есть арена столкновения, действительное диалектическое противоречие.

Это весьма глубокая методологическая мысль, имеющая значительнейшие тактические последствия. Здесь диалектический метод находит в себе неожиданное оправдание. Если мы возьмем сложный процесс, каковым представляется переход от капитализма к коммунизму, то мы должны брать фазы этого перехода в их чередовании, и, следовательно, в переходе этих фаз друг в друга будет заключено максимальное противоречие; именно здесь будет максимально-интенсивная борьба политическая и социальная. С догматической точки зрения кажется, что концевые фазы этого процесса представляют подлинную крайность. На самом же деле здесь крайность, ослабленная всеми промежуточными переходными формами. Капитализм и завершенный коммунизм, взятые вне процесса, вне переходных моментов, являются различными общественно-экономическими конструкциями,—в таком виде они не сталкиваются на общей почве, они не являют собой непрерывности, а следовательно, и борьбы. Как мы видели диалектически истолкованная непрерывность есть борьба, которая может возникать лишь у смежных стадий, когда разрушение одного момента есть созидание другого. Поэтому левизна здесь является мнимой левизной, как логически, так и тактически, и эту мнимость разоблачает диалектика: левые не преодолели в себе еще догматических предрассудков.

VIII.

Эти догматические предрассудки прежде всего сказываются в вопросе о компромиссах.

Сильвия Панкхерст формулировала свою позицию следующим образом: „Коммунистическая партия не должна заключать компромиссов. Она должна сохранить свою доктрину чистой, свою независимость от реформизма незапятнанной, ее миссия—итти вперед не останавливаясь, не сворачивая, прямой дорогой к коммунистической революции“.

Подобные позиции Ленин называет доктринерскими. Весьма любопытно, как он аргументирует.—Вот его слова: „Коммунисты должны приложить все усилия, чтобы направить рабочее движение и общественное движение вообще самым прямым и самым быстрым путем к всемирной победе Советской власти и диктатуре пролетариата. Это бесспорная истина. Но стоит сделать маленький шаг дальше, хотя бы все в том же направлении, и истина превратится в ошибку. Стоит сказать, как говорят немецкие и английские левые коммунисты, что мы признаем только один, только прямой путь, что мы не допускаем лавирования, соглашательства, компромиссов,—и это уже будет ошибкой, которая способна принести, частью уже принесла и приносит серьезный вред коммунизму".

Читателю, надеюсь, ясно, на основе каких методологических предпосылок Ленин здесь говорит, почему маленький шаг дальше превращает истину в ошибку, почему возникают иллюзии у левых коммунистов.

Если говорить чисто логически, то придется сказать, что критика „левых" у Ленина основана на диалектическом понимании отрицания в противоположность догматическому отрицанию.

„Левое доктринерство,—пишет Ленин,—упирает на безусловное отрицание определенных старых форм, не видя, что новое содержание пробивает себе дорогу... через всяческие формы, что обязанность коммунистов овладеть всеми формами, с максимальной быстротой дополнять одну форму другой, заменять одну другой".

Проблему смен левые коммунисты проглядели, и потому их отрицание перестает быть действительным, динамическим и диалектическим.

Крайне характерно, что Ленин не преминул эту свою критику подытожить одним весьма знаменательным указанием: в основе ошибка левых коммунистов одна и та же, что и у правых социалистов.

В самом деле, в чем состоит основная ошибка правых социал-реформистов, „что произошло,—спрашивает Ленин,—с такими высокоучеными марксистами и преданнейшими социализму вождями II Интернационала, как Каутский, Отто Бауэр и др.".

Ленин тут же отвечает на этот вопрос: „они вполне сознавали необходимость гибкой тактики, они учились и других учили марксовой диалектике, но в применении (курсив Ленина) этой диалектики сделали такую ошибку, или оказались на практике такими недиалектиками (курсив мой, *П. З.*)..., что судьба их немногим завиднее судьбы Гэда и Плеханова".

Основная причина их банкротства состоит в том, что „они загляделись на одну определенную форму роста рабочего движения и социализма, забыли про ее односторонность, побоялись увидеть ту крупную ломку, которая в силу объективных условий стала неизбежной".

Ошибка правых социалистов заключается таким образом в неправильном применении и истолкования диалектики, они подчерки-

вают старые формы, непрерывность развития к социализму; внимание левых в свою очередь было поглощено всецело новым содержанием, они настаивали на прерывном моменте, на отрыве от старого, они также рассуждали не диалектически, просто противополагали „новое содержание", как говорит Ленин, „старым формам".

Старые формы лопнули,—подытоживает свою мысль Ленин,—ибо оказалось, что новое содержание в них, содержание антипролетарское, реакционное, достигло непомерного развития. У нас есть теперь, с точки зрения развития международного коммунизма, такое прочное, такое могучее содержание работы—за Советскую власть, за диктатуру пролетариата, что оно может и должно проявить себя во всех формах, и новой и старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые—не для того, чтобы со старыми помириться, а для того, чтобы уметь все и всяческие, новые и старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы коммунизма.

Как известно, для противников Ленина это была „слишком хитрая, сложная тактика". Своим противникам Ленин весьма решительно отвечал: „Не сваливайте своего догматизма на массы". Ленин **сознательно и решительно сделал диалектику основой своей тактики.** По сравнению с Марксом он весьма расширил область и сферу применения диалектики.

Маркс применял диалектику, главным образом, к сфере научных изысканий. Условия его времени, его личная судьба были таковы, что ему не удалось стать во главе большого революционного движения и притом торжествующего. Ряд долгих лет он был погружен в кабинетную научную работу, он применял свою диалектику к критике политической экономии. Главная работа Ленина протекала в атмосфере ожесточенной борьбы,—он был, главным образом, тактиком социально-политической борьбы. Новый предмет потребовал и новых методологических подходов. Применяя диалектику к тактике революционной борьбы, Ленин добился неожиданных результатов; хаотическую на первый взгляд стихию революции возможно стало рационализировать. Диалектическая мысль осветила совершенно новым светом развертывающиеся события. Приемы тактики вытекли из диалектического анализа.

Н. Звенигородцев.

Фрейдизм и марксизм[1]).

Распад современной буржуазной культуры происходит под флагом привлекательного эстетизма и стилизации.

Так бывало, впрочем, всегда на гранях двух исторических эпох. Плотин эстетизировал и стилизировал Платона, идея рая Магомета нашел свое „прекрасное" выражение на стенах зал Кусейр-Амры, потеряв вместе с тем весь свой исторический пафос, превратившись в ненужную игрушку чисто эстетического наслаждения...

Буржуазия уже вошла в этот фазис. Его приближение заметил, между прочим, и Шпенглер, чуткий исследователь ее разложения и сладострастный его апологет. Есть, однако, одна отличительная черта современного буржуазного эстетизма. Он драпируется в научный костюм, исходит из „последнего слова науки". Зародыши этого эстетизма были уже раньше налицо. Мы помним все, как причудливо переплеталась Геккелева натурфилософия с Геккелевой поэзией, как многоцветные амебы его великолепных атласов вдруг превращались в аргументы в пользу абсолюта Шеллинга,—обстоятельство, которое странным образом заставило Жоржа Сореля говорить об элементах „пролетарского искусства" у архи-буржуазного Геккеля.

Выражением этой эстетизирующей тенденции является и фрейдизм. Это утверждение может показаться парадоксом. Является же теория Фрейда последним словом современной психиатрии, подтверждается же она многими опытами и т. д. Но это только внешность. Несомненно—научные истины, которые на одном, ограниченном участке науки останутся действительным вкладом в нее, успели обрасти различными посторонними элементами, выросли в широкое мировоззрение, которое у Фрейда, и особенно у его учеников, давно перешагнуло свои прежние рамки и превратилось в несвязный конгломерат из различных течений буржуазной философии.

Чего только нельзя найти, перелистывая странички Фрейда и фрейдистской литературы!

Осталось в тени строгое, сосредоточенное, несколько скептическое (в духе присущего науке боевого скептицизма) лицо Шарко, учителя Фрейда; мы переносимся в полумрак современной Walpur-

[1]) Прим. ред. Редакция считает одной из очередных задач марксистской философии критику Фрейда и фрейдизма с точки зрения диалектического материализма.

gisnacht, с ее дикими криками, беспорядочными танцами. В этом хороводе подают друг другу руку и человеконенавистник Шопенгауэр, который свой буржуазный сплин драпировал в облачения философии Упанишад, и офицер Гартман, концом шпаги чертивший на волнах бессознательного контуры прусской логики, и Ницше, и Бергсон. Поистине вавилонское столпотворение! Впрочем, оно только выражение глубокого исторического разума. Является же смыслом всей истории, по учению **Ранка**, переход всего человечества в состояние истерии[1]). Когда-то Маркс говорил, что современный буржуа даже не подозревает, что у его колыбели стояли великие тени древнего Рима. Современный фрейдист заклинает и вызывает эти тени. Но определенные линии их громадных здоровых фигур он заменяет тонкими арабесками их трещин...

Впрочем, эстетизм, который мы встречаем в фрейдизме, вполне понятен. Родившийся в Вене и Будапеште, в стране, находящейся на окраине истории капитализма, не пропитанной традициями героической эпохи буржуазии, процветающей без больших усилий на спинах высасываемых до мозга костей кроатских, словенских, далматских и сербских мужиков, фрейдизм многое воспринял от духа этого капитализма. Для него мрачная драма истории превращалась в водевиль венской Gemütlichkeit, для которой все возможно. Здесь под покровом „гениального синтетика", христианского социалиста **Луэгера**, который старался слить воедино и синюю блузу рабочего заводов Wiener Neustadt'а и зеленую с перышком шляпу габсбургского Alpenjäger'а, образовать одну симфонию из тактов революционной рабочей песни, рассказывающей о тайнах капитализма, и из тупоумного „Jodeln" альпийского крестьянина,—проводились разные „синтезы". Тут соединял **Эвальд** Авенариуса с Бэме, и вещий „ренессансовый" **Бар** набрасывал на плечо ницшеанского сверхчеловека вуаль рококовой грациозности. Тут **Альтенберг** превращал мир в пестрый подвижной калейдоскоп из цветных камешков воображения, полагая, что терраса кафе является подножьем истории, тут—кузница различных „марксистских" синтезов, которые кончились еще до войны полным крахом австрийской социал-демократии.

Над ними всеми витает тень болезненно-гениального **Вейнингера**, последнего рыцаря-романтика и искателя blaue Blume, растущих на трясинах буржуазного декаданса.

Сегодня фрейдизм в соединении с препарированным ad hoc вагнерьянством, с реставрированным идеализмом, подкрашенным на современный лад, проникает незаметно в лагерь марксистов, пока несмело, вкрадчиво нащупывая почву. Но все-таки его влияние уло-

---

[1]) У народов обнаруживается все сильнее женская сторона; активная сначала, культурная деятельность уступает место чисто пассивной бездеятельности, обусловленной большими размерами сексуального вытеснения. И род превращается в женщину в невротическом смысле этого слова; а так как культурные средства разряжения, наконец, исчерпываются, усиливаются внутренние сопротивления, пока народ не станет истеричным (разрядка моя *В. Ю.*). Dr **Otto Rank**, Ansätze zu einer Sexualpsychologie, стр. 49.

вимо для каждого, кто хорошо знаком с духом фрейдизма. Это его влияние—тон изящества, симпатичная „urbanità“, свойственная стилю столь многих западных коммунистов.

У нас фрейдизм проникает в марксистский лагерь в очень упрощенном, грубоватом виде, при чем мысли Фрейда сливаются с... рефлексами Бехтерева. До сих пор незаметно в нашей марксистской литературе следов более глубокого изучения Фрейда, широкого знакомства с фрейдистской литературой; все защитники Фрейда не вникают в сущность его учения, цепляются только за слова, находя таким образом все новые „подтверждения“ правильности философских основ марксизма.

Настоящая статья—чисто критическая—предполагает знакомство с основами учения Фрейда.

I.

Помнится год тому назад т. Троцкий писал в „Правде“ приблизительно следующее. Что опыты Павлова ведут к материализму, подтверждают его,—это несомненно для каждого, кто хотя до некоторой степени знаком с Павловым и с основами материализма. Но до сих пор еще нельзя ответить на вопрос, согласуемы ли с материализмом теория Эйнштейна [1]) или учение Фрейда.

Относительно фрейдизма я осмеливаюсь это отрицать и постараюсь доказать свое утверждение.

Конечно, на первый взгляд Фрейд кажется материалистом. Он ссылается всегда на физиологию, все время толкует о нервных процессах и т. д. Но мы не должны увлекаться внешней скорлупой учения, научного жаргона, которым автор пользуется. Современный идеалист Теодор Циген является автором психологии написанной с чисто физиологической точки зрения, он же и автор физиологической теории познания. Никто не проводит с такой последовательностью, с такой научной „жестокостью“ ее идей на каждой странице своих книг, при чем эта последовательность доводит его порой до прямо чудовищных упрощений и схематизаций. Никто другой, как Беркли, был творцом „физиологической“ теории возникновения идеи пространства. Но известно, кем был Беркли.

Между тем, не нужно копать глубоко, чтобы убедиться, что Фрейд не является материалистом. Это откровенно заявляют фрейдисты: один из самых рьяных учеников Фрейда, Аврель Кольнай, заявляет откровенно в своей книге „Психоанализ и социология.

1) В противовес утвердившемуся в марксистском лагере другому мнению я уверен, что теория Эйнштейна подкрепляет диалектический материализм. В соединении с топологией, чисто качественной ветвью математики (срв. Kérékjártó, Vorlesungen über Topologie, стр. 1), она может дать основы для действительно современной диалектики природы. В ближайшее время я постараюсь изложить в статье основы этой диалектики. Здесь я хочу только указать, что благодаря классическим работам Брувера — теперь мы уже близки к образованию теории аналитических функций без метрических понятий (Kérékjártó, стр. 15), с применением только свойств непрерывности.

Этюды по психологии масс и общества", на стр. 8: „Вместе с тем он (т.-е. психоанализ. *В. Ю.*) является освобождением от материалистического обскурантизма предыдущих десятилетий". И Фрейд и фрейдисты не признают даже психо-физического параллелизма. Наоборот, они вменяют Фрейду в большую заслугу, что он в противовес прежним психоневрологам ищет причин нервных заболеваний не в физиологических, а в чисто психических изменениях. Это исходный пункт фрейдизма, повторяемый много раз различными авторами (Ср. Фрейд, „По ту сторону принципа удовольствия", стр. 28).

Упомянутый выше Кольнай говорит: „Прежде всего имеет значение то обстоятельство, что психоанализ явно афизиологичен, одним из главных его источников является отвращение к жонглированию с „нервной системой" (в кавычках, как у Авенариуса) и с „центрами" (Кольнай, op. cit., стр 6). Фрейдизм признает чисто психическое действие, даже „действие на расстоянии" психических элементов. „Психоанализ помогает нам открывать социальные отношения уже благодаря тому, что он представляет себе душу чисто динамически, как систему действий, не связывая ее с физиологическим истолкованием исследуемых процессов. Где, однако, вся сущность заключается в действии, там должна иметь решающее значение та часть нашей среды, которая связана с единичной душой не физиологически, а путем действия на расстоянии, путем действий" (Кольнай, стр. 37—38).

В одной из последних, зрелых, систематических своих работ, в книге, под назван. „По ту сторону принципа удовольствия" („Jenseits des Lustprinzips", стр. 8), Фрейд говорит: „После тяжелых механических потрясений, вследствие столкновения поездов и других несчастных случаев, связанных с опасностью для жизни, образуется состояние, которое получило название травматического невроза. Страшная, только что кончившаяся война была причиной большого количества таких заявлений; она положила конец попыткам сведения их к органическим повреждениям нервной системы, происшедшим путем действия механических сил", при чем для подтверждения он ссылается на мнение Ференци, Зиммеля и Джонса. Тут ясно противопоставляются, с одной стороны, механические потрясения и, с другой,— независимость заболеваний от возможных органических повреждений, которые имеют свой корень в механических действиях (Срв. кроме того: „По ту сторону принципа удовольствия", стр. 23–31).

Но все-таки Фрейд не отрицает, что психическое имеет некоторые точки опоры в физиологическом, в мозге. Но какого характера эти точки опоры?

Через всю историю идеализма проходит красной нитью взгляд на зависимость психического от физического, взгляд неуловимый, который имеет всю видимость материализма, но который в сущности его отрицает. Это—взгляд, утверждающий, что физиологический мир является средой, стесняющей полное развертывание психического. Психическое

представляется каким-то вневременным, внепространственным резервуаром психических потенций, которые должны приспособляться к твердым стенкам мозга и благодаря тому обнаруживаются только частями, в исковерканном виде.

Этот взгляд мы находим у Платона, в более ясной и продуманной (или, вернее сказать, более рельефно мифологизированной) форме у Плотина. Гениально подметил его Ламеттри в полемике с бреславским доктором Траллесом, причем он окрестил этот взгляд названием „superstitio Tralliana" (суеверием Траллеса). В наше время самым блестящим его приверженцем и виртуозом является основоположник современного спиритуализма Бергсон и... Фрейд. Все мы помним блестящие страницы „Материи и памяти", где Бергсон пользуется всей богатой литературой по современной психопатологии, чтобы отбросить, наконец, ее основы. Психическое у него не является функцией физиологического; психическое выступает на сцену, как доказательство человеческой свободы в тех точках, где прорывается связь механических процессов, тогда, когда перед нами стоят различные возможности выбора, так сказать, „в прорехах" физиологии, когда останавливается плавное течение физиологического процесса. Из того факта, что физиологический ряд сопровождает психический, нельзя выводить, что физиологическое объясняет нам психическое; такая точка зрения была бы pars pro toto; она равнялась бы мысли, что винт является пароходом потому, что без винта пароход не движется. В случае ощущений существует еще некоторое соответствие между психическим и физическим. Но ощущения находятся на грани психического и физического, они не являются психическими функциями par excellence. Память—это выражение духа—уже независима от мозга. Мозг может быть **поводом**, но не **причиной** ее возникновения. Чем дальше в глубину духа мы опускаемся, тем яснее и очевиднее становится его самостоятельность. Существует много „плоскостей" (les plans) в человеческой жизни. Только в плоскости обычного действия душа зависит от материальных процессов, в других плоскостях они являются только преградой для обнаружения всех ее богатств. Фрейд тоже не довольствуется обычной психологией; его не интересуют те области души, которые, соприкасаясь всегда с нашим материальным и социальным миром, успели уже стереть все специфическое. В противовес психологии он хочет построить новую науку, **метапсихологию**, открывать тайны душевных миров, в сравнении с которыми наш обычный мир „ассоциативной", вульгарной психологии является только бледным и бедным отблеском. Последнее время Фрейд стал с большим усердием работать именно в области метапсихологии, которую он сам иногда называет в высокой степени спекулятивной и мистической („По ту сторону принц. удовол.", стр. 21). При этом концепции Фрейда и Бергсона почти совпадают. Ощущениям Бергсона, этим „нечистым" проявлениям духа, соответствуют у Фрейда „влечения" (Triebe), находящиеся на грани психического и

физического, являющиеся физическим в психическом; эта смесь истолковывается фрейдистами, как „падение“ психического, его „разложение“ (Ранк, „Художник“, стр. 49, 65), совершенно в духе ослабевания Бергсона. И у Фрейда фигурирует теория „прорех“ в смысле Бергсона. Психические образования не обнаруживаются, если в организме образуются раны[1]); следовательно, когда психическое не принуждено „напирать“, сгущаться, нагромождать все возможности выбора, чертить изначальный план всех возможных путей своего истечения, а может „разрядиться“ без препятствий. Такой смысл имеет Фрейдо-Брейеровское деление психических энергий на связанные и свободные, т.-е. такие, которые разряжаются автоматически; самые низкие ступени сознания (W.-Bewusstsein) — это свободные энергии, совершенно как у Бергсона (ср. „По ту сторону принципа удов.“, стр. 24).

Как у Бергсона, так и у Фрейда весь наш кортикальный аппарат не является приемником внешних впечатлений, а скорее средством защиты от раздражений (Reizschutz, „По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 24), который имеет целью только сигнализировать возможность развертывания психического. О соответствии психического и физического тут не может быть речи.

Можно, правда, возражать, что дело здесь идет о ненормальных явлениях; но именно ненормальные явления были для Фрейда толчком для его обще-психологической теории, точь-в-точь как у Бергсона, для которого психопатология является ключом психологии.

И у Бергсона, и у Фрейда психическое внепространственно и вневременно. Бергсон признает, правда, за психическими процессами „длительность“ (durée). Но эта „длительность“ — не время в нашем обычном значении; психическое, как durée, заражается, войдя в мир тел, нашим „опространствованным“ временем, теряя свою сущность. У Фрейда психическое или основа психического — бессознательное — тоже вневременно и внепространственно. Он подтверждает теорию Канта о субъективности пространства и времени, что Фрейд особенно подчеркивает: „Я позволю себе коснуться здесь бегло одной темы, которая заслуживает основательной обработки. Утверждение Канта, что время и пространство являются необходимыми формами мышления, может быть сегодня подвергнуто опять обсуждению благодаря некоторым познаниям, достигнутым психоанализом. Мы убедились, что бессознательные процессы сами по себе невременны, что они не плывут во временном порядке, что время ничто в них не изменяет, что представление о времени к ним не применимо“ („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 25).

---

1) „В травматическом неврозе интересны две черты, которые наводят на размышление: во-первых, то обстоятельство, что главная причина их возникновения кроется в моменте испуга, страха, во-вторых, что возникшие одновременно повреждения или раны в большинстве случаев противодействуют возникновению невроза. („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 8—9).

Психическое витает, по Бергсону, где-то в неопределенной области, но, применяясь к потребностям практики, оно как-будто подвергается процессу „мимикрии“, приспособляясь к миру тел, теряя свой чистый облик. У Фрейда видна тоже эта двойственность; и у него психическое является выразителем двух противоположных принципов: принципа удовольствия (Lustprinzip) и принципа реальности (Realitätsprinzip). Принцип удовольствия—это чистая психика; принцип реальности—психика исковерканная.

Как мы видим, мозг играет тут, как и у Бергсона, только роль исказителя, а не основы психического.

О точках соприкосновения фрейдизма с волюнтаризмом Шопенгауэра поговорим потом.

У Бергсона психической жизнью par excellence является жизнь воспоминаний. С воспоминанием мы входим в область психического,—говорит он в „Материи и памяти“. Воспоминания напирают все время на наш мозг, они хотели бы пройти целиком сквозь его каналы. Но напрасно они стучатся в двери ганглиевых узлов. Проходят только те, которые могут приспособиться к потребностям данного практического действия. Точь в точь то же самое встречаем мы и у Фрейда. Психическая жизнь в чистом виде для Фрейда—тоже жизнь воспоминаний. Невротики больны воспоминаниями—вот крылатая фраза фрейдизма. Мир воспоминаний богаче нашего сознательного мира. Туда пробирается только то, что может пройти сквозь преграды нашей цензуры, сквозь ворота принципа реальности, основой которого, по теории, изложенной в „По ту сторону принципа удовольствия“, является внешняя часть мозговой коры. Можно ли условие считать основой, может ли ключ, открывающий дверь сокровищницы, сказать что-нибудь о сокровищах?—может спросить вслед за Бергсоном Фрейд.

II.

На первый взгляд кажется, что система психологии Фрейда является стройной конструкцией, где каждая часть занимает определенное место, находится в строго определенных отношениях к другим частям, что, одним словом, его системе свойственен монизм, восхваляемый его приверженцами и рекомендуемый как пример, достойный подражания.

При более тщательном исследовании оказывается, что никакого монизма тут нет, что даже его чисто-психологическая теория—не говоря уже о социологической—кишит невероятными противоречиями, которые должны поражать каждого, кто, освободившись от влияния стиля, потока очень красивых выражений и действительно остроумных „aperçus“, подойдет со скальпелем трезвого исследователя.

В основном взгляде на психическое заметны у Фрейда и фрейдистов большая неуверенность и колебания. С одной стороны, у

Фрейда существует, если можно так выразиться, „гидродинамическая“ концепция психического, при чем автором использованы почти все понятия гидродинамики. В одной из последних работ психическое рассматривается Фрейдом под углом зрения термодинамических понятий (связанная, свободная энергия = скрытая, свободная теплота), при чем даже закон энтропии фигурирует в виде мертвого „анорганического“ равновесия, несмотря на то, что этот закон в термодинамике сильно поколеблен Нернстом. С другой стороны, мы видим у него Гербартовскую атомистическую концепцию психического, при чем эти атомы-реалы (Reale) обладают, как и у Гербарта, динамическими свойствами: они притягиваются или отталкиваются взаимно, передают друг другу импульсы, тормозят друг друга во время перехода в область сознания и т. п... Психика уподобляется некоторой коробке с атомами на манер кинетической теории газов,— коробке, которую уже многие психологи высмеивали в полемике с Гербартом. Правда, многие психологи ассоцианисты видят в законах ассоциации нечто вроде закона всеобщего психического тяготения. Но психология Фрейда выросла как протест против ассоциативной психологии, которая, по мнению фрейдистов, „слишком обща и поэтому ничего не объясняет.

Фрейда называют обычно самым выдающимся теоретиком бессознательного, и он сам видит главнейшую свою научную заслугу в более широком, чем это было до сих пор, применении этого понятия. Между тем, строго продуманной и однородной теории бессознательного у него нет или, вернее говоря, у него существует на этот счет несколько теорий. Чтобы это доказать, нам надо познакомиться с его учением о структуре сознания в широком смысле этого слова.

Всю психику Фрейд разделяет (схема этого разделения представлена автором яснее всего в книге „Я и оно“) на три части: на бессознательное (Unbewusstes), досознательное (Vorbewusstes) и сознательное (Bewusstes). Досознательное—это те элементы нашей психики, которые в данное время не находятся в поле сознания, но могут туда перейти.

Как определить бессознательное? Бессознательное—это та часть психического, которая ни в коем случае и никогда не может подняться выше порога сознания. Его содержанием являются сексуальные влечения различного характера, так как психика — сексуально-полиморфна,—влечения, которые не могут быть осознаны потому, что они, как социально вредные, подавляются цензурой сознания, оставаясь вне порога сознания и производя свои действия в сознании окольным путем, в замаскированном виде.

Тут уже сразу видны громадные затруднения фрейдизма. Во-первых, как можно указывать на содержание бессознательного, не будучи в состоянии его анализировать, так как оно не поднимается никогда выше порога сознания. Фрейд колеблется. С одной стороны, он приближает бессознательное к сознательному, устраняет непро-

ходимую грань, которая должна по теории между ними существовать, с другой стороны, он признает за бессознательным что-то качественно совершенно отличное.

Мы уже ранее приводили цитату о вневременности и внепространственности бессознательного. Но Фрейд подчеркивает (в книге под названием „Острота и ее отношение к бессознательному") его алогичность [1]. О ней говорит и Кольнай в вышецитированной книге: бессознательное полагает только психические элементы рядом друг с другом, отношение- или-или, противоречие ему неизвестны; его основным свойством (находящимся в связи с прежними свойствами) является подвижность (ассоциация не зависима от внешнего впечатления) и вневременность, пренебрежение к обстоятельствам внешнего мира. (Кольнай, стр. 44, и Фрейд: „Бессознательное. Наука о неврозах", IV, стр. 319).

Спрашивается, как может сознательное подвергнуть цензуре, вытеснять то, что существует вне всякой логики,—непонятно! Должно же вытесняемое иметь определенное содержание, должны же, по крайней мере, существовать основные тенденции этого содержания. В противном случае цензура является вещью, совершенно необъяснимой. Эту трудность заметили уже ученики Фрейда, и они поставили на место сексуального влечения влечение вообще, без определенного содержания, благодаря чему было устранено в фрейдизме все специфическое, и последний покатился по наклонной плоскости к Шопенгауэру (Ранк, „Художник").

Фрейд видел противоречие этой теории. В своей „Науке о неврозах" он развил новую теорию „осуждения" (Verurteilung), которая должна заменить хромающую теорию „вытеснения" (Verdrängung). В этой новой концепции то, что раньше было бессознательным, значит, все сексуально-антисоциальные влечения, известны сознанию по своему содержанию и вытесняются сознанием нарочно, именно ввиду их социально-вредного характера.

„Развитой формой преодоления противообщественных желаний является **осуждение**, **критическое отстранение** (разрядка моя. *В. Ю.*) и неудовлетворение данного влечения. Оно (осуждение. *В. Ю.*) дозволяет, даже требует признания того, что соответствующее желание действительно существует и что его устранение требует усилий" (Кольнай, op. cit., стр. 50). И другое очень важное место: „Осуждение не только не идет на уступки бессознательному, но, наоборот, является освобождением личности от бессознательности" (Кольнай, op. cit., стр. 53).

Тут выступает бессознательное в другом свете. Его содержание, во-первых, нам **известно**, с другой стороны, весь акт вытеснения происходит в области сознания и является **преднамеренным стремлением сознания**. Понятия вытеснения и осуждения

[1] Тут некоторые будут склонны видеть аргумент в пользу „диалектичности" психологии Фрейда. О его мнимой диалектичности мы поговорим потом.

противоречат друг другу, и роль бессознательного меняется. Кроме того, получается еще другая трудность. Является же у Фрейда невроз следствием конверсии бессознательного, при чем больным не сознается содержание бессознательного. Вся теория неврозов должна быть теперь построена или на другом принципе, или надо сказать, что только у невротиков бессознательное является действительно бессознательным, в чем и заключалась бы сущность болезни.

Фрейдисты стараются выпутаться из затруднения, приписывая осуждение только высшим культурным ступеням. Так, напр., говорит Кольнай: „Система осуждения присуща другой, совершенно иначе построенной общественной структуре, чем система вытеснения" (Кольнай, стр. 50). Но и такой оборот дела не может облегчить затруднения. Все-таки остается неустранимым вопрос, когда же и при каких обстоятельствах система вытеснения заменяется осуждением, и как такая система возможна. С другой стороны, мы знаем, что с развитием культуры мы переходим все больше в эпоху истерии (по Ранку), число неврозов увеличивается, и, наоборот, бессознательное должно опускаться все глубже и глубже. Замена системы осуждения системой вытеснения должна бы быть логическим выводом последнего взгляда; но указанное противоречие еще не есть самое крупное.

Мы уже говорили, что бессознательное алогично; оно тоже аморально и поэтому нуждается в цензуре. Таково было, по крайней мере, мнение фрейдистов до последнего времени. Но в своих последних работах Фрейд сошел со своего прежнего пути (вообще последние работы Фрейда во многом отступают от прежних, главным образом в смысле отречения от монизма и сознательного подчеркивания дуализма,—этой ревизией обязан Фрейд отчасти посторонней критике, отчасти тому, что внутри фрейдизма образовалось много отличающихся друг от друга направлений, при чем многие выдающиеся фрейдисты отошли совершенно от фрейдизма). Тут бессознательное наделяется очень высокими свойствами сознания: так, Фрейд, например, говорит о чувстве вины, как об основном свойстве бессознательного, при чем он сам подчеркивает, что такое мнение расходится резко с тем, чему он раньше учил. „Но еще более странен другой опыт. Мы узнаем путем наших анализов, что существуют лица, у которых самокритика и совесть, следовательно, очень высокие душевные функции, бессознательны и в качестве бессознательных производят большие действия; бессознательный характер отпора (против обнаружения наших сексуальных влечений. *В. Ю.*) во время анализа—не одиночное явление этого рода. Новые опыты, которые заставляют нас, вопреки возможным критическим возражениям, говорить о б е с с о з н а т е л ь н о м ч у в с т в е в и н ы, з а п у т ы в а ю т н а с в с е б о л ь ш е и с т а в я т н а м н о в ы е з а г а д к и (разрядка моя. *В. Ю.*), особенно, если мы приходим все больше к убеждению, что такое бессознательное чувство вины играет в очень многих случаях неврозов экономически решающую роль и выдвигает большие пре-

пятствия влечению. Если мы теперь возвратимся к нашей шкале ценностей, мы должны сказать: „Не только самое низкое, но и самое высокое в „Я“ может быть бессознательным“ („Я и оно“, стр. 29—30).

Тут опрокидывается не только теория бессознательного, но и теория неврозов, как чисто асоциальных явлений. Как сможет сам Фрейд согласовать этот свой новый взгляд с прежним учением, до сих пор еще неизвестно [1].

Чем дальше, тем больше отходят Фрейд и фрейдисты от своего понятия абсолютного бессознательного. Это понятно. Отделяя сознательное и бессознательное, они образуют между ними такую непроходимую пропасть, что переход от одного к другому становится необъяснимым. Многие склонны думать, что здесь возможен некоторый „диалектический скачок“. Но такой скачок может иметь место только там и только в таком случае, если количество достигает определенной грани. Но как можно здесь говорить о количественном в применении к тому, что не подвержено пространственно-временным определениям, что никакому определению вообще не поддается. Так же неизвестно, что назвать качеством бессознательного.

Последнее время Фрейд и фрейдисты определяют бессознательное как не социализированное в слове: „В другом месте я сделал уже предположение, что действительное различие между бессознательным и досознательным представлением (мыслью) заключается в том, что первое работает в материале, который нам неизвестен, в то время как в случае последнего, досознательного, играют роль словесные представления. Тут впервые делается попытка указания для двух систем, досознательного и бессознательного, черт, которые ничего общего не имеют с фактом сознавания (разрядка моя. *В. Ю.*). Вопрос: как что-либо сознается, целесообразнее было бы поставить так: как что-нибудь становится досознательным. И ответ должен звучать: путем соединения с соответствующими словесными представлениями“ („Я и оно“, стр. 19—20). И Кольнай: „Совершенно другое дело получается с бессознательным: основная его черта заключается не в том, что оно не может играть никакой роли в душе, так как это верно только до некоторой степени (раньше это было совсем неверно!! *В. Ю.*), — только в том, что оно не может предстать перед обществом. В бессознательном является все то, что в сознании было органической формальной грамматической конструкцией, в виде только сырого материала“ (Кольнай, стр. 44).

Бессознательное играет тут роль психологического материала для некоторой логической обработки; оно сознается, но оно не

[1] Тут, несомненно, влияние Канта и его учения о моральном, как метафизической сущности „я“. Учение о первобытном чувстве вины сходно с учением Анаксимандра о метафизической вине и еще больше с das radikale Böse Канта, развитием которого оно и является (сравни „Психология масс и анализ я“, стр. 10). На этой почве многие фрейдисты из чистых литераторов внесли немало элементов соответственно обработанной достоевщины в ученье фрейдизма.

о с о з н а н о. В этих местах Фрейд соприкасается с т е о р и я м и с о ц и о м о р ф и з м а. Все наши понятия, основные категории мышления являются словесно-грамматической обработкой неупорядоченного материала. Фрейд, конечно, не додумал своей мысли до конца. Он не подозревает, что такое логическое доведение до конца повело бы к полному отрыву от действительности или к кантианству, если, следуя последней цитате Кольная, истолковывать сознательное как мир форм. Такой оборот приняла теория Фрейда под влиянием лейб-социолога фрейдистов Дюркгейма (Durkheim). Природа, например, превращается у него только в категорию общества. С этим Кольнай согласен: он характеризует только фрейдистский социоморфизм как психологический в противовес гносеологическому социоморфизму Дюркгейма. „Дюркгейм, предмет и исходные точки которого совершенно отличны, утверждает в сущности то же самое. Он приписывает не только религии, но и идеям пространства, времени, причинности и группы социальное происхождение. Его „социологизм“ более гносеологичен, „социологизм“ психоанализа—психологичен“ (К о л ь н а й, стр. 38). Но это вопрос второстепенный. Важно, что тут мы дошли до полного отрицания фрейдистского бессознательного; круг замыкается—мы дошли до отрицания, только—увы!!—не до отрицания диалектического.

III.

В введении к статье я говорил об эстетизме и стилизации Фрейда. Здесь хотел бы я объяснить точнее мою мысль и дать доказательства наличия этой черты в фрейдизме. Под эстетизмом мировоззрения я понимаю нанизывание вокруг какой-нибудь идеи других идей, которые имеют только отдаленное сходство с данной идеей, но округляют данную идею в целое, действующее посредством эстетических моментов мировоззрения. Эстетизированной и стилизированной была, например, идея демократии у английского романтика Шелли (Queen Mab и др.) или у польского романтика Словацкого; эстетизированным является современный индустриализм у Маринетти и футуристов, являющийся блужданием людей, лишенных совершенно производственной психологии; эстетизированным является современный маринизм в дешовых географических одах Уитмена, но и психология производителя перешла в стилизацию у синдикалиста Сореля, где она соединяется с полупоэтическим, полувиталистическим понятием élan Бергсона. Эстетизация—установка, чисто-паразитическая, интеллигентская. В к о м м у н и с т и ч е с к о м л а г е р е э л е м е н т ы с т и л и з а ц и и з а м е т н ы у Л у к а ч а; всякая критика, направленная против него, должна исходить отсюда. Все другие его ошибки имеют тут свой корень.

Я утверждаю, что фрейдизм все больше и последовательнее переходит в область стилизации. У Фрейда, серьезного человека науки, она раньше почти не замечалась, но сейчас обнаруживается

все больше и больше, главным образом под влиянием его собственных учеников. Эти ученики—типичные культурно-рафинированные интеллигенты, с очень широкими интересами в области литературы и искусства, в области этнологии,—при чем и тут привлекают их в первую очередь эстетические моменты,—в области философии, но в тех ее частях, где она соприкасается больше всего с эмоциональным миром, или витает в увлекательном полумраке мистики и поэзии.

Я говорю о метафизическом фоне, который дали Фрейд и фрейдисты своему учению о бессознательном и психическом вообще, чтобы, с одной стороны, указать на эстетизирующий эклектизм их учений, а, с другой, подорвать легенду о материалистических основах фрейдизма.

Свою метафизику Фрейд изложил, главным образом, в двух последних работах: в „По ту сторону принципа удовольствия“ и в „Я и оно“. Ее можно характеризовать как комбинацию аристотелизма в его современном неовиталистическом одеянии, фихтеанства, выраженного в прекрасных образах Бергсона, отчасти Фехнера,—Фехнера не психофизика, а мечтателя, и Ницше.

Фрейд и фрейдисты исходят из понятия влечения. Это понятие соединяется у них с понятием Tathandlung Фихте и с понятием воли Шопенгауэра. На основании этих понятий Фрейд строил свою картину мира. Характер ее приблизительно таков: из неосознанных недр нашего я плывут бесконечные потоки психических энергий, какая-то стихийная лава, вечнодействующая и слепая, которая стремится „разлиться безбрежно“. Эта психическая сила—поток жизни, который хотел бы охватить все, вовлечь все в свой водоворот. Но в недрах этого потока, который Фрейд часто по платоновски определяет как эрос, родится другой противоположный ему принцип—„принцип реальности“. „Наблюдение, что с увеличивающимся осложнением отношений не каждое влечение может быть удовлетворено, и что желание должно замолчать, ожидая прихода момента, более благоприятного для его удовлетворения,—ведет к образованию психической системы, названной Фрейдом принципом реальности, который является надежным проводником господствующего раньше безраздельно принципа удовольствия, по трясинам действительности“ (Ранк, „Художник“, стр. 33).

Мир разлагается на две части: с одной стороны, мы имеем слепое самовлюбленное влечение, с другой стороны—чувство реальности, твердых контуров действительности; оно-то образует органы чувств и то, что мы называем рассудком. Как у Шопенгауэра, так и у Фрейда, мир—это проекция нашего „я“ с целью регулирования наших влечений. Там и тут весь мир ощущений играет служебную роль, он—орудие в руках эроса. „Одновременно с развитием жизни влечений и психического аппарата была человеку дана возможность извлечения из внешних вещей—по аналогии с сексуальным объектом (разрядка моя. *В. Ю*)—все большего удовольствия. С помощью органов чувств, дифференцировавшихся из раздражимой

везде кожи, при содействии эротических влечений и для сохранения жизни образовался рассудок" (Ранк, „Художник", стр. 36). Тут видна связь эротики с образованием мира. Это стадия умеренного шопенгауэрьянства. Мысль фрейдистов здесь еще очень скромна: влечение действует внутри существующей вне его материи, при чем вопрос первенства еще не ясен.

Более ярко выступает идея примата влечения над материей, при чем материя играет уже роль пассивной среды, в „Я и Оно". Каждому из этих двух родов влечений соподчинен специальный физиологический процесс (строительство и распад), и в каждом куске живой субстанции действуют оба эти влечения, но не в равных пропорциях, так что одна субстанция могла бы взять на себя главную функцию эроса" („Психология масс и анализ я", стр. 50). В „По ту сторону принципа удовольствия" мысль о примате я, о человеке, как творце мира, достигает совершенно отчетливого выражения. Подобно Шопенгауэру Фрейд достигает этого путем признания миротворческого значения проекции (с другим значением проекции мы познакомимся потом). Человеческий мозг состоит, по Фрейду, из нескольких пластов: верхняя его часть является основой сознания: она представляет собой анорганическую мембрану, которая воспроизводит точно влияния внешнего мира. Она—основа ощущений, которые проходят вместе с исчезновением раздражителя. Целью этой внешней мембраны является не столько восприятие мира, сколько защита (Reizschütz) от внешних раздражений. Ниже этого пласта находятся центры воспоминаний. Фрейд, как известно, в противовес всем физиологам, перенес физиологические основы некоторых психических функций вглубь мозга; в этих глубоких недрах мозга действует собственно наш дух, тут и происходит драма миротворчества. Нам уже известно из прежних рассуждений, что основным ядром нашего духа являются влечения, погруженные в пену неясных образов—зародышей представлений. Наше я старается устранить неприятные чувства, связанные с неудовлетворенным влечением. Чтобы это осуществить,—оно выбрасывает вовне содержание этих чувств. Таким путем оно может воспользоваться защитой внешней мембраны. Благодаря этому собственные психические содержания превращаются во внешний мир, верхняя мембрана мозга становится узлом, где происходит эта мистика проекций.

Тут, наконец, поставлена точка над i. Абсолютный субъективизм стилизирован в пышный костюм физиологии—и Беркли-Фихте говорят теперь на железном языке топологии мозга. Недоумевающего читателя отсылаю к „По ту сторону принципа удовольствия", стр. 26.

Это—вторая попытка изображения генезиса мира и чувства. Первая попытка была сделана Гурвичем (Hurwics), но не встретила никакого сочувствия. Фрейдистская имеет больше шансов встретить такое сочувствие в наш век, падкий на сенсации.

Несомненно большое значение наших влечений в психической

жизни привело к их абсолютизации и превращению их в составные камни мироздания. Они и повели к научно-стилизаторской драпировке некоторых предрассудков идеализма. Я уже раньше говорил об афизиологизме фрейдистов. Под предлогом победы в наше время неовитализма (тоже одна из идеологий распада), фрейдистами проводится чисто-идеалистическая теория взаимодействия. Комбинируя идею доминантов Дриша с теорией влечений, фрейдисты образовали „третье царство“, не то физическое, не то психическое, царство влечений. „Психическое является ослабленным, утонченным благодаря устранению либидо, физическим, и во влечениях, которые Фрейд рассматривает как пограничные понятия между телесным и духовным, происходит этот процесс онтогенетически с большой ясностью“ (Ранк, „Художник“, стр. 33).

Это переходное царство, о котором, впрочем, говорил уже Декарт в своих „Principes“, дает фрейдистам два преимущества. Во-первых, оно дает им теоретическую возможность образования „чистой“ психологии; если чисто психологические процессы не могут „выручить“ и надо прибегнуть к физиологии, надо (в противовес законам сохранения энергии) вставить физиологический процесс, как равноценное звено в цепи психических процессов; фрейдисты могут это преспокойно сделать, так как у них физиологическое тоже до некоторой степени психическое. Во-вторых, такая постановка вопроса дает им возможность вести „янусообразную“ политику по отношению к материализму и идеализму. Ущемленные материализмом, они указывают на свои „влечения“, как на физическое в психическом; ущемленные идеализмом, они действуют наоборот: влечение превращается в психическое в физическом. Модным созерцателям современности, всем артистическим, аристократическим душам, они могут предложить свой чистый дух, освобожденный от либидо, платоновско-шопенгауэровское созерцание Sic itur ad astra. Впитывающая в себя все, неопределенность играет цветами радуги божественной универсальности.

IV.

В последнее время фрейдизм переходит все сознательнее на дуалистические рельсы. Фрейдистский дуализм является или психоаналитической интерпретацией учения Бергсона и Канта, или апологетизмом современного разложения. В новейших работах Фрейд сознательно стал философом разложения; этот факт бросает яркий свет на молекулярные процессы, происходящие в недрах современной буржуазной культуры, являясь, вместе с тем, предостережением для марксистов, склонных искать в фрейдизме точек опоры для „углубления“ некоторых проблем исторического материализма.

До недавнего времени стремление к удовольствию, к наслаждению, Libidoprinzip, было основным стержнем учения Фрейда. Его философской основой был гедонизм в широком смысле этого слова,

который у различных авторов принимал различную окраску, но в общем был для всех фрейдистов исходной аксиомой.

Но некоторые наблюдения склонили Фрейда отойти от прежней позиции. Он убедился, например, что многие дети, которых на протяжении целого дня покидала мать, бросали предоставленные им игрушки в угол комнаты, испуская при том звуки о-о-о; которые Фрейду удалось интерпретировать как выражение того, что игрушки нет, что игрушка „ушла“, „исчезла“. Потом они опять находили игрушку. Фрейд объяснял эту игру как инсценировку ухода и возвращения матери. Казалось бы, что принцип удовольствия тут тоже удовлетворяется, так как все действие кончается благополучно, исчезнувшее возвращается опять. Но с течением времени Фрейд убедился, что ударение лежит не на второй, а на первый части игры. Тут основной гедонистический тезис не оправдывается. „Этому (принципу удовольствия. *В. Ю.*) противоречит наблюдение, что первый акт, уход, часто инсценизировался как самостоятельная игра и притом гораздо чаще, чем вся игра, доводимая до благополучного доставляющего удовольствие конца“ („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 12).

Но Фрейд не покидал сначала гедонистических позиций. Он объяснял все это явление таким образом: ясно, что факт исчезновения матери доставляет ребенку большое неудовольствие. Но это неудовольствие исчезает, если это исчезновение будет выражаться как свободное желание ребенка. Игрушка, которую в данном случае представляет мать, исчезает по воле ребенка. Это чувство силы, Machtprinzip, является для ребенка источником удовольствия. Ребенок изменяет совсем смысл неприятного ему раньше явления и почерпает удовольствие из того, что само по себе должно доставить ему неудовольствие. Таким образом он спас свою доктрину.

Но эта победа оказалась мимолетной и кажущейся. Наблюдая многих невротиков, он убедился, что многие из них не могут вспоминать переживаний, легших в основу конверсии и вызвавших болезнь, а „разыгрывают“ их, повторяют их. Так как содержанием травмы является так-называемый комплекс Эдипа (о нем будет речь ниже), то они повторяют его, перенося на личность врача. Это явление навело Фрейда на другую идею, подрывающую в корне его прежнее воззрение и ведущую круто к дуализму. Он открыл у больных, а потом, конечно, и у всех других людей, новое влечение, принудительное влечение к повторению, Wiederholungszwang. Организм и личность стремятся повторять прежнее состояние. Каждому, знакомому с современной философией, бросается в глаза аналогия с Бергсоном. Мы знаем, что Бергсон различает в „Материи и памяти“ два рода памяти—чистую память, mémoire pure, и двигательную память, mémoire motrice, которая воспроизводит прошлое в форме движения, не связывая его с конкретными образами прошлого.

Что воспроизводит это навязчивое влечение к повторению? Уже тот факт, что влечение к повторению обнаруживается в первую оче-

редь у больных, дает доказательство, что восстанавливаются первичные бессознательные асоциальные состояния, das Perverse. Отсюда появляется общее правило: организм стремится к возврату к прежним более простым состояниям. Это стремление является „демоническим“ принципом у человека. Организмам присуща какая-то судьба, над ними висит неумолимый рок, „дух направления“ („Получается впечатление преследующего их рока, демонической черты в их переживаниях“,—„По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 18).

Автор не скрывает, что тут мы покидаем область чисто-рационального, что мы имеем дело с каким-то мистическим принципом. Вообще надо здесь прибавить, что вся работа „По ту сторону принципа удовольствия“ навеяна мистическим духом, который чередуется со строгими, чисто-научными анализами, полемикой с Вейсманом и т. д., так что мы недоумеваем перед ней так же, как недоумевал Кант перед фокусами Сведенборга, как-будто исходившими из мира физических данных, но кончавшимися где-то в фантастических, непостижимых мирах.

Эта идея судьбы, которая присуща организмам,—тоже одна из любимых идей современного буржуазного распада. Она появляется как idée maîtresse у Шпенглера, который старается дать органическую теорию истории; ее духовным отцом является Шопенгауэр (Über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen),—еще одно из доказательств тесной связи шопенгауэрианства и фрейдизма. Доказательством современного идейного дальтонизма является тот довольно странный факт, что Шпенглер критикует резко и Шопенгауэра и Спенсера, последнего как творца органической теории истории.

Сходство навязчивого влечения к повторению с идеей Ницше о возврате равного (Wiederkehr des Gleichen) бросается в глаза. Сходно тоже и субъективное отношение к этому возврату. У Фрейда выступает оно как сладострастное влечение к повторению, у Ницше как гордое amor fati. Оба эти отношения являются выражением отвращения к истории современной буржуазии, неверия в ее творческие силы. Для буржуазии история кажется бессмысленным до бесконечности повторяющимся прибоем волн к заброшенному берегу апатии, образующему как свой результат лишь липкую грязную пену будней. Этот мотив известен был уже тоже Шопенгауэру. Пока мы еще не порвали с принципом удовольствия. Но Фрейд идет дальше. Он уже доказал, что влечение к повторению обнаруживается в первую очередь в неврозах, следовательно в состояниях очень малоценных в смысле положительных, жизненных ценностей. Теперь он договаривает свою мысль до конца. Навязчивое влечение к повторению превращается в метафизический принцип, и его смыслом является стремление к возврату, к низким состояниям вообще, стремление к смерти, к разложению. Когда-то появились в мертвой материи посредством действия неизвестных нам сил признаки и свойства жизни. Они пронизывают материю, стараясь поднять ее на более высокую ступень.

Но влечение к повторению тормозит это движение. Оно вырывает у материи самое ценное у нее—жизнь и влечет ее к смерти. „Смыслом жизни является смерть“ („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 36). Принцип удовольствия тут заброшен, ему противополагается влечение к смерти. Все взгляды, которые исходят из принципа самосохранения—в корне неверны. Они должны уступать все более место противоположному принципу и он является в окончательном счете победителем. „Теоретическое значение влечения к самосохранению, к силе и значению (Geltung) умаляется с этой новой точки зрения; это только частичные влечения (Partialtriebe), значение которых заключается в том, чтобы обеспечить для организма свой собственный путь к смерти и устранить все другие возможности возврата к неорганическому: загадочное, противоречащее идее организма стремление организма к самосохранению во что бы то ни стало, отпадает“ („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 37).

Фрейд выражает здесь новый закон „органической“ инерции, наподобие такого же физического закона. Казалось бы на первый взгляд, что тут нет ничего метафизического, что этот принцип выражает факт разложения организмов. Но на самом деле это не так. Смерть является смыслом живого. С большой горячностью и нетерпением повторяет Фрейд вслед за современной биологией (мы знаем все, какую цнность имеют сейчас общие идеи в биологии), что развитие сопровождается всегда регрессом, разложением в других областях, при чем, наконец, побеждает именно разложение. Он оспаривает теорию Вейсмана, по которому зародышевая плазма является элементом поддерживания и развития жизни, поднятия ее на более высокую ступень, и цепляется за опыты Мопа (Maupas) и Калькинса (Calkins), по которым размножение ведет, наконец, к смерти. Свои „наблюдения“ он обобщает, развивая теорию отрицания, стремления к усовершенствованию и усовершенствование вообще. „Многим из нас будет трудно отказаться от веры, что человеку присуще стремление к усовершенствованию, которое подняло его на современную высоту духовных достижений и этического развития и от которого ожидали, что оно доведет до развития сверхчеловека. Но я не верю в такое внутреннее влечение и не нахожу повода щадить эту приятную (wohltuende) иллюзию“ („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 40).

И незаметно, медленно, но верно, мы приближаемся к надежной пристани всех банкротов нашего времени—всеспасающей философии Шопенгауэра. „Но мы не должны скрывать перед собой, что мы незаметно причалили (eingelaufen sind) к пристани философии Шопенгауэра, для которого смерть является „собственным результатом“, а следовательно, и целью жизни, сексуальные влечения—осуществлением стремления к жизни“ („По ту сторону принципа удовольствия“, стр. 49). Мы проделали довольно большой путь: от пенящейся жизненной силы, от радостного принципа жизни, от бурных потоков

органического творчества, в мертвые воды Нирваны. Фрейд так и говорит теперь о принципе Нирваны [1].

Таким образом он становится теперь на дуалистическую почву. Он различает теперь „влечения" „я" (Ich-Triebe) и сексуальные влечения (Sexualtriebe); первые являются выражением принципа смерти, вторые выражением принципа отсрочки смерти. Вторые влечения должны играть только роль гарантии того, что смерть придет по имманентным, не внешним причинам, что она—метафизическая сущность мира. Он воюет со строгой последовательностью со своим учеником Юнгом, который не хочет отойти от прежнего монизма. С неимоверной силой анализа открывает он все консервативное в природе. Он отрицает положительный характер чувства удовольствия, и вслед за Фехнером истолковывает его как выражение некоторого равновесия в организме, ставя во главу угла всего мира Фехнеровский принцип постоянства (Stabilität), вслед за Авенариусом вводит он понятие жизненной разницы (Vitaldifferenz), видя в удовольствии только выражение устранения этой разницы.

Но Фрейд этим не удовлетворяется. Принцип разложения, как принцип организма, еще не общий принцип. Ему еще не хватает универсальности, он еще не всеобщий закон. Еще блестят в лучах солнца зеленые, свежие луга истории, они не покрыты еще все замораживающим саваном Нирваны. Но Фрейд пробирается и туда. Его теория достигает, наконец, окончательного завершения и превращается действительно в мировоззрение. Это обобщение принципа Нирваны осуществляет Фрейд в 1923 г., в книге под названием „Я и оно".

Уже раньше нашел Фрейд у нас какую-то мазохистскую слагаемую влечений к мучениям, сладострастия в уничтожении. Эту слагаемую самоуничтожения спрягали на многие лады различные фрейдисты в более или менее мистических „концепциях", причем насчет спекулятивности перещеголяла всех Сабина Шпильрейн, статью которой даже Фрейд назвал не очень прозрачной для себя, хотя он сам тогда пребывал довольно глубоко в стихии „Träume eines Geistersehers".

Свою мысль развивает он теперь дальше, немножко в измененной постановке, хотя, как мы увидим, это изменение имеет принципиальное значение, обозначающее опять отход на другие, заранее не подготовленные позиции. В „Я и оно" влечение „я" является центром влечений самосохранения и удовольствия. Но в нас существует целый клубок чувств и влечений, связанных с комплексом Эдипа. Это, с одной стороны,—чувство ревности матери к отцу, неприятные и враждебные по отношению к отцу чувства, вытекающие из инцестуозных стремлений сына к матери, с другой стороны, на осно-

[1]) Странным образом, Гегель в своей „Феноменологии духа" говорит о такой же „комбинации наслаждения" и разложения в главе об удовольствии и необходимости. Еще более странно, что он такую культурную „фазу" помещает перед революцией (французской). Не являются ли его слова пророческими и теперь?

вании закона амбивалентности чувств, т.-е. колебания между двумя противоположными полюсами—чувства уважения к отцу, стремления к подражанию ему, к отождествлению. Этот комплекс чувств выражается положительно и отрицательно таким образом: ты должен быть таким как отец, ты не должен быть таким, как отец, т.-е. ты не должен делать многое, что делает он (т.-е. по отношению к матери); он—несовместим с прежним комплексом, так как он не вмещается в рамки самоутверждения. Поэтому индивид образует над „я" пласт сверх-„я" или идеального „я". Это идеальное „я" (Ich-Ideal) является в первую очередь миром морали. В то время как „я" старается самоутвердиться, не обращая внимания ни на какие препятствия, сверх-„я" ставит ему эти препятствия. Сверх-„я" превращается теперь в принцип разложения. „Оно" внедряется в „я" и вызывает в нем чувство вины. Но, как мы увидим дальше, отец является символом государственной власти и права. Таким образом все эти образования (т.-е. государство, право, мораль и т. д.) являются проекцией чуждых „я" элементов сверх-„я", и они являются продуктами разложения.

Фрейд идет дальше; проекция частей „я" в сверх-„я" (я хотел сказать вслед за Фихте—в не-„я") дает исходные точки для деления мира, на внутренний и внешний: „я" является источником внешнего, сверх-„я"—внутреннего мира („Я и оно", стр. 43 и друг.). Таким путем мы приходим к Кантовско-Фихтеанской концепции моральной сущности нашего „я" и моральной в конечном счете сущности мира.

Но все-таки здесь имеется принципиальное различие. В то время, когда тот „морализм" дышит безмерным пафосом оптимизма и веры, у Фрейда „морализм" настроен на пессимистический лад. Весь этот мир морали—выражение разложения „я". Сверх-„я" рисуется Фрейду на страницах „Я и оно" каким-то врагом человечества, затаенным убийцей, который обманным образом проник в нашу психику, разрушая рай ее гармонии, превращая в крик отчаяния веселые тона свирели Пана. В какую-то разъедающую тоску по Высшему превратилась самоудовлетворенная, лесная мудрость человечества—и inde incipit tragoedia! На минуту нам кажется, что мы перенеслись в знакомую нам, счастливую, богатую предчувствиями эпоху, когда Фейербах в земли новой человеческой истории бросал свои здоровые зерна мыслей об антропологии, когда Штирнер призывал к устранению разъедающих человечество, но им же самим сотворенных, призраков (Spuck). Эти мысли кончились образованием марксизма.

Но мы в другой эпохе. Мысли Фрейда отдают отчаянным воем Ницше о декадансе. Мысли Фрейда, это только—транспозиция на другой лад идей Ницше об „охристианении" Европы. Нет уже Цезарей Борджиа—представителей чистого „я". Оно приготовило себе яд, который доведет его до смерти. И у Фрейда и у Ницше психическое отдает затхлой, гнилой атмосферой лазарета.

При этом все основные элементы человеческой психики подвергаются еще раз основательному перемещению, хотя причина этого

перемещения и его связь с прежними „констелляциями“ не указана. В то время как раньше „я“ являлось представителем моральной цензуры, бессознательное чем-то аморальным, роль бессознательного берет теперь на себя „я“. Мы поднимаемся „этажем выше“.

Впрочем, тут все в порядке. Мы уже раньше указали, что чем дальше, тем больше фрейдисты уничтожали свою теорию бессознательного: это выражалось между прочим замещением понятия вытеснения понятием осуждения. Таким образом теряются все больше специфические черты фрейдизма, и мы все решительнее плывем в безбрежное море неопределенности.

V.

Чем дальше, тем больше исчезает ясность учения фрейдизма, сглаживаются его острые контуры и фрейдизм превращается в течение, которое всем может объяснить все. Мы потом увидим результаты такого явления. Мы все помним начало полемики Энгельса с Дюрингом,—в Анти-Дюринге Энгельс упрекает Дюринга в том, что тот исходит из какого-то неопределенного, туманного единства, из которого потом выделяется сознание и материальный мир. Получается какое-то ἄπειρον Анаксимандра, такое же хаотическое, как и у этого последнего. Такое понятие ἄπειρον вводит Фрейд под названием загадочного „оно“ („Es“). Фрейд никогда точно не определил „Оно“, хотя оно стало уже предметом даже фрейдистских романов (Georg Groddeck, „Das Buch vom Es“). „Оно“—нечто психическое, но находящееся еще глубже бессознательного. Это область, где „я“ входит в стихию природы, не обладает еще никакой действенностью или обладает ею только в зародыш в зачатках.

Фрейд злоупотребляет этим понятием, оно становится, наконец, asylum ignorantiae, которое должно спасать автора от всех трудностей, возникающих в области сознательных и сверхсознательных процессов. С понятием „оно“ мы входим в область, где все кошки серы. Происхождение „оно“—очевидно. Это отрыжка немецкого философского романтизма, модернизированный абсолют Шеллинга. Как у Шеллинга из недр абсолюта выделяется природа и дух, так и у Фрейда из „оно“ выделяется „я“ и сверх-„я“. Таким путем у Фрейда выступает идея полярности, которая нашла уже теоретическую почву в основном метафизическом дуализме его последних работ. И подобно тому как для Шеллинга его полярность была удобной схемой, позволяющей ему без большого умственного напряжения, без искания сложной диалектики и динамики вещей, вмещать все явления в готовые ящики,—занятие, которое потом стало предметом неумолимых атак и насмешек Гегеля, так и Фрейд переносит в область „оно“ разрешение противоречий, неразрешимых в других областях. При том „оно“ играет различные роли. То оно является чем-то вроде absolutum indifferentiae („Я и оно“, стр. 46); то принимает на себя функции бес-

сознательного, превращаясь в выразителя принципа удовольствия („Я и оно", стр. 27); то оно является удобным средством, которое должно объяснить нам происхождение наших ощущений („Я и оно", стр. 21).

Мы уже говорили раньше, что мир внешних вещей является выражением принципа реальности. Теперь Фрейд „углубляет" эту теорию. Весь мир реально заключен в зародышевом состоянии в „оно", в этих самых глубоких недрах нашего психического существа. Оно представляется Фрейду как неописуемая амальгама зачатков образов, которые развертываются и становятся яснее в высших частях духа. Получается что-то вроде мира неясных перцепций Лейбница, к которым сводилась в конечном счете вся природа. Она была для Лейбница только „оно", где ядро действенного центра было еще не развито и пребывало в полусонном состоянии грезы [1]). Фрейдисты часто говорят о женском начале, следуя тут идеям Вейнингера. В особенности Ранк построил новую философию мужского и женского, при чем женское начало было выражением грезящей пассивности. Это das Ewig—Weibliche неопределенности заканчивает симфонию фрейдизма. Мы говорили раньше о полярности философии Фрейда. Это обстоятельство могло бы заставить неискушенного читателя искать у Фрейда диалектику. Поэтому придется и нам сказать несколько слов о диалектике Фрейда. Есть диалектика и „диалектика". Очень часто диалектика превращается у многих в удобное средство, которое должно нас „выручить" там, где нет ясной мысли, где нет убедительных аргументов. Так бывает у Фрейда. Меланхолию, например, Фрейд объясняет элементом садизма, который присущ каждому человеку. Садизм—это только мазохизм наизнанку. Таким образом получается „единство противоречий"—и мы можем играть как пешками садизмом и мазохизмом, отождествляя их или ставя их в противоречие, как нам это в данном случае удобно.

Своеобразную теорию диалектики дает нам Фрейд в своей работе под названием „Острота". Острота является той функцией психической деятельности, в которой освобождаются заключенные в нас силы и энергии бессознательного. Характерное свойство остроты—это внезапные переходы от противоречий к противоречиям, „изящная" насмешка над логикой. Эти прыжки являются выражением врожденного психике с т р е м л е н и я к б е с с м ы с л и ц е и отражают алогическую сущность бессознательного. Нам казалось бы, что автор стремится дать психологическое объяснение диалектике, подобно тому как в свое время старался Кант дать в психологической части критики чистого разума обоснование трансцендентальной логики. Но диалектика является для Фрейда именно бессмыслицей: она прорывается в остроте, но вся деятельность сознания направлена на то, чтобы эту бессмыслицу устранить. Взгля-

[1]) Или, как метко говорит Гегель во второй части „Логика": „Перцепции монад уподобляются игре цветных пузырей".

ды Фрейда напоминают в этом отношении до мельчайших подробностей точку зрения Гартмана. И Гартман говорит об алогической структуре бессознательного, при чем бессознательное для него является основой мира, чем-то вроде фрейдовского „оно“. Вся работа мысли заключается в том, чтобы логизировать это бессознательное. Мы помним все те ушаты ругани, которые Гартман вылил на „диалектическую голову“ Гегеля.

О диалектичности психологии или—выражаясь термином Фрейда—метапсихологии Фрейда мы могли бы говорить по поводу его теории о так называемой амбивалентности чувств. Фрейд утверждает, что все чувства способны переходить в свою противоположность, что любое чувственное отношение к любой вещи или лицу может дать те же интеллектуальные результаты, как противоположное ему отношение, при чем эти противоположные отношения сосуществуют. Не чистая ли тут диалектика? Но, к сожалению, Фрейд старается поспешно отгородиться от построенной им же „диалектики“. Для устранения последствий, вытекающих из теории амбивалентности чувс Фрейд прибегает к теории проекции. Сущность этой теории заключается в том, что из некоторого психического комплекса выделяется одна его составная часть, находящаяся с другими частями в противоречии, и олицетворяется в другом психическом образовании. Так, например, утверждает Фрейд, что по отношению к любимому существу мы питаем и чувство ненависти. Это явление объясняется тем, что сексуальные влечения заключают в себе всегда некоторую долю садизма. Получается амбивалентность чувств. Но психика старается в высших своих пластах устранить эту амбивалентность. Отношение ненависти „проецируется“, олицетворяется в других лицах, которые будто угрожают счастью и безопасности данного лица. У нас рождается чувство симпатии, сострадания к данному лицу, возникающее благодаря тому, что любимое нами лицо подвергается опасности и т. п. Чувство симпатии логически „согласуемо“ с нашим любовным влечением и таким образом „диалектический“ характер чувств устраняется.

Теперь мы видим ясно, что никакой диалектики тут нет. О диалектике может быть речь только на очень низких ступенях сознания, совершенно как у Леви-Брюля в его „Les fonctions mentales dans les sociétés inferieures“. Можно, наконец, в пользу „диалектики“ у Фрейда выдвинуть еще одно соображение: Фрейд признает, что наше сознание имеет ступенчатую структуру; между этими ступенями могут происходить диалектические скачки. За эту идею схватиться тем легче, что по Фрейду некоторые высшие формы сознания имеют свой прообраз в низших, являются, следовательно, прежними ступенями на „расширенном базисе“. Но мы видели уже раньше, что эти „зародыши“ являются выражением теоретической беспомощности автора. С другой стороны, автором не указаны диалектические переходы от ступени к ступени. О ступенчатой структуре сознания говорит Гегель в своей „Феноменологии“, но он дает нам великолепную, захватывающую,

широко эпическую картину диалектических узлов этих ступеней. А в этом и все дело!

В начале этой главы я говорил о неясности, расплывчатости, слишком широком толковании некоторых понятий Фрейда[1]). Эта неясность продолжается и у его учеников (Ранк, „Художник", стр. 24). Ранк с своей книге, которая должна была быть обоснованием сексуальной психологии, так широко раздвигает понятие сексуального, что специфические его свойства исчезают совсем. Сексуальное влечение превращается у него во влечение вообще. Тут мы собственно покинули поле фрейдизма. Все решительнее сексуальные влечения превращаются только в аттрибут чего-то более глубокого. Что это более глубокое—неизвестно. Такое направление мысли подготовил, впрочем, сам Фрейд, противопоставляя психологическим исследованиям метапсихологические. Так как автор не определил точно ни предмета, ни границ своей метапсихологии, фактически же в своих метапсихологических исследованиях ударяется в крайнюю мистику, то тем самым он дал своим ученикам „placet" на очень широкое толкование всего учения, что, наконец, довело это учение до крайнего разжижения в фарватере современных, соответственно стилизированных философских течений.

VI.

До сих пор нам пришлось заниматься главным образом проблемами индивидуальной психологии. Но Фрейд и фрейдисты, которые старались некоторые частные наблюдения и полученные на их основании результаты раздвинуть до рамок общего мировоззрения, натолкнулись необходимо на вопросы социальной психологии и социологии. Это имеет место особенно последнее время, когда под влиянием колоссальных социальных потрясений во всем мире вопросы развития и судеб обществ стали актуальными. Особенно подействовала на фрейдистов революция в России, и они с большим вниманием изучали российские события, стараясь дать им психо-аналитическое истолкование.

Такими путями образовалась фрейдистская социология, которая хочет стать рядом или даже старается заменить материалистическое истолкование истории, которое фрейдистам кажется „хозяйственным

[1]) Вот как он трактует свое центральное понятие либидо: „Либидо—это выражение, взятое из теории аффектов; мы называем так рассматриваемую как количественную величину, хотя до сих пор еще неизмеряемую, энергию таких влечений, которые относятся ко всему тому, что мы называем любовью. Ядром называемого нами любовью является то, что обычно называют любовью и о чем поют поэты (Sic!!!), половая любовь с целью полового соединения. Но мы не отделяем от этого понятия ничего, что имеет отношения к слову (!!!) любовь, с одной стороны—любовь к себе, с другой стороны—родительскую любовь и любовь детей, дружбу и общую любовь к человечеству и, наконец, жертвование собой (Hingebund) в пользу конкретных вещей и абстрактных идей",—„Психология масс и анализ", стр. 42).

мистицизмом" (Кольнай, стр. 64). Социология фрейдизма является самой слабой частью системы психоанализа, она полна прямо чудовищных противоречий; кроме того, она является выражением слепой, бешеной ненависти по отношению к марксизму, что будет доказано дальше.

Основной первородный грех фрейдизма заключается в сравнении невротиков с дикарями. „Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в психологии первобытных народов, как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились благодаря психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомые уже истории и в той и в другой области" („Тотем и табу", стр. 15). Везде, где имеется явление невроза, Фрейд ищет параллели таких же состояний у диких народов. Кольнай идет даже дальше. Невротиков он считает даже более „общественными", чем первобытные народы (стр. 25).

Но это противоречит основам фрейдизма. По классической теории Фрейда все сексуальные извращенные влечения, которые не могут быть оправданы судом цензуры, или вытесняются или конвертируются путем „вогнания" их в организм—начало неврозов, или сублимируются, образуя над собой надстройку „высоких" идеологий. В неврозах человечество образует в исковерканной, искаженной форме то, что путем сублимации дает социально ценные результаты. „Нельзя освободиться от впечатления, что больные делают в не-социальной форме те же самые попытки решений своих конфликтов и умиротворения давящих на них потребностей, которые называются поэзией, религией, философией, если они совершаются в форме, обязательной для большинства" (Фрейд, в предисловии к книге Рейк'а: „Проблемы психологии религии", стр. IX). Или Рейк в названной книге: „Невроз является индивидуальной попыткой решения тех проблем, которые стараются решить крупные институции человеческого общества. Тут надо сейчас обратить внимание на то, что именно отступление на задний план социального фактора и перевес сексуальности является отличительной чертой неврозов и моментом, который не может дать этого решения (разрядка моя. *В. Ю.*), стр. XVI). Сейчас же появляется неустранимая трудность: раз неврозы—явления антисоциальные, то или нельзя искать параллели между дикарями и невротиками, или надо отказаться от возможности объяснения „социализации человека".

Фрейд решения не дает, а только к прежней, первоначальной путанице присовокупляет новые серии путаницы, о которых пойдет речь потом. Тут можно бы выдвинуть в пользу Фрейда следующий контр-аргумент, который имеет за собой некоторую видимость вероятности: дикари похожи на невротиков в том смысле, что у них происходит в сознательной форме то, что у невротиков происходит в бессознательной. Но такой аргумент выдвигает опять новую трудность,

являющуюся еще более роковой для фрейдизма.—Если эти влечения невротиков были антисоциальны, то как могло возникнуть общество, если же общество существовало сначала, то как объяснить, что цензура появилась в определенное время, а не раньше?

Можно бы точку зрения Фрейда защищать еще таким образом, что сумма антисоциальных влечений была сначала небольшая, так что и при их наличии общество могло существовать; но Фрейд ничего не говорит нам о развитии различных форм эротики, а принимает всю ее совокупность, как данную,—наоборот, она подвергается все более регрессивным процессам. Или можно сказать, что асоциальные, эротические явления развились только у некоторых обществ или у некоторых частей обществ, которые погибли в первоначальной борьбе за существование. Но этот аргумент не спасает теории Фрейда. Во-первых, Фрейд считает явления извращенной эротики всеобщими, во-вторых, извращенные эротические явления сохранились до сих пор, следовательно, не уничтожены борьбой за существование. Фрейд не может дать ответа на следующий вопрос: в метапсихологической основе всех коллективных психических образований, как религия, философия, народное искусство, лежат бессознательные инцестуозные влечения. Но существовали ли эти коллективные образования тогда, когда эти влечения были сознательны? А сознательными были они долгое время, по утверждению Фрейда. Придется выбирать две возможности: или принимать период психической стерильности, отсутствия коллективного творчества, период, обнимающий многие тысячелетия, что прямо нелепо и чему противоречат все данные этнологии, или принимать, что „Spiritus movens" этого творчества было другое какое-нибудь, бессознательное содержание. Но об этом Фрейд не говорит ничего, хотя так поставили вопрос некоторые неофрейдисты. Тут — грех фрейдизма, которого ему устранить не удается.

Но Фрейд совершает в другом месте еще один очень недиалектический „прыжок". Он отрицает en bloc основу своих психологических и социально-психологических теорий. Вот это место („Психологические этюды", стр. 15): „На основании этого сходства и аналогии можно было бы смотреть на навязчивый невроз, как на патологическую копию развития религии, определить невроз как индивидуальную религиозность, религию, как всеобщий невроз навязчивых состояний (разрядка моя. *В. Ю.*). Важнейшее сходство состояло бы в лежащем в основе факте воздержания от удовлетворения природных страстей, существеннейшая разница — в природе этих страстей, которые при неврозе—исключительно сексуального происхождения, в религии—эгоистического". Поистине вавилонское столпотворение противоречий!! По прежней теории невротические явления являются следствием неудачного вытеснения сексуальных влечений; социально-психологические образования были следствием удачной

сублимации, следовательно устранения возможностей образования неврозов. Теперь оказывается, что и продукты социального творчества обладают невротическим характером. Что такое социальный невроз и каков характер этой болезни? Тут Фрейд сам делает брешь в своей теории. Он порвал со своей теорией сублимации и дал новый образчик невроза, причин, корней и форм которого он не указал. Такая постановка вопроса у Фрейда стоит в неразрешимом противоречии с другими частями системы, уничтожает их. Дальше Фрейд проводит строгое различение между сексуальными и эгоистическими влечениями; до сих пор об этом различии не говорилось. Наоборот, неврозы были par excellence выражением всех антисоциальных, эгоистических тенденций, а идеологии— попытками социализации их путем сублимации. Почему здесь вдруг появилось отступление от ортодоксального учения?

В анализе социологии фрейдизма в первую очередь нас интересует вопрос, существует ли для фрейдистов классовая психология, и как она ими понимается. Выяснению этого вопроса посвящена специальная книга Фрейда под названием: „Массовая психология и анализ „я" и много других работ, написанных учениками Фрейда, как Федерн, Штрассер, Блюэр, Кольнай и др. На этот кардинальный вопрос фрейдисты дают очень сбивчивые ответы. Так, например, Фрейд заявляет, что вопрос о существовании массовой психологии не имеет принципиального значения: „Различие индивидуальной и социальной или массовой психологии, которое на первый взгляд может нам показаться значительным и существенным, теряет при более детальном исследовании свою остроту" („Психология масс", стр. 1). Но в той же книге Фрейд выделяет индивидуальную психологию от массовой психологии, указывая на то обстоятельство, что индивид ведет себя в массе с психологической точки зрения по совершенно другим законам. „Она (психология. *В. Ю.*) должна бы выяснить этот поразительный факт, что этот понятый ею (с точки зрения индивидуальной психологии. *В. Ю.*) индивид чувствует, мыслит, действует при определенных условиях совершенно иначе, чем можно было бы от него ожидать, а этим условием является включение (Einreihunug) его в толпу людей, которая приобрела свойство „психологической массы" („Психология масс", стр. 46).

Противоречие между этими положениями очевидно. Ученики Фрейда, не колеблясь, считают психоанализ методом индивидуальной психологии, оставляя вопрос о методе массовой психологии открытым; на практике же они переносят методы индивидуальной психологии на общество. „По нашему мнению, не может психоанализ, основной целью которого остается всегда индивидуальная психология и метод которого останется всегда индивидуально-психологическим (разрядка моя. *В. Ю.*), стремиться к приобретению преобладающей (dominirende) роли в социологии"

(Кольнай, стр. 9). Это пишется в книге о фрейдистской социологии, в книге, которая старается дать решительный бой марксизму. Автор признается, что фрейдизм, как таковой, мало пригоден для социологических исследований. „Он (психоанализ) дает для социологии больше, если он остается в своей собственной области и не обнаруживает чисто-социологических тенденций“ (Кольнай, стр. 11). Ранк исходит из положения, что социальные явления надо истолковывать индивидуально-психологически, и поэтому он предлагает изучать, например, не течения в искусстве, а становление выдающихся личностей в искусстве. „По отношению к многосторонней и разветвленной проблеме становления художника была заброшена (Vernachlässigt) индивидуально-психологическая точка зрения, которая и является психоаналитической в чистом смысле этого слова, в пользу генетической“ (Ранк, „Художник,“ стр. 4; разрядка моя. *В. Ю.*). Тут, несомненно, мы имеем дело с точкой зрения Риккерта и его теории о неповторяемости и индивидуальности исторических процессов. „Благородная изящность“ философии Риккерта не преминула оказать свое влияние на стилизаторские тенденции фрейдистов. Карлейль является сейчас опять кумиром для многих прекрасных душ.

Самого понятия массы, наконец, у Фрейда нет. Под массой он понимает то случайные скопления любой, называемой им „психологическою“, массы, в духе Лебона, то, следуя за Dougall'ем, под массой он понимает длительные, прочные соединения определенных человеческих групп, приблизительно то, что мы назвали бы классом. Но отсутствие знакомства с кардинальными вопросами социологии заставило его видеть в церкви и в армии типические формы масс. Фрейд далек от мысли о классовом строении общества, или, вернее, он не придает этому явлению принципиального значения. Уже это одно обстоятельство осуждает социологические изыскания Фрейда на полнейшую бесплодность. Всю концепцию масс он воспринял от Лебона, который, в свою очередь, всю свою теорию массы спрепарировал для целей борьбы с социализмом, который, по мысли Лебона, является врожденным свойством французской нации и причиной ее современного упадка; в пример французам он ставит мощные либеральные, антисоциалистические течения англо-саксонской расы. Эта „англо-саксонская ориентация“ сквозит сквозь все произведения Фрейда и фрейдистов, которые свой политический идеал формулируют как „либеральный социализм“.

Дальнейшей характерной чертой коллективной психологии Фрейда является ее формализм. Он рассматривает только формы некоторых коллективных процессов, общие для всех времен и эпох, не обращая внимания на их содержание. А в них же и вся суть. В этом отношении он является продолжателем социологии Зиммеля, которая хотела быть только формальной наукой об обобществлении. Зиммель, в свою очередь, воспринял эту идею форм от Канта, стараясь только перенести приемы кантианства (пропущенные сквозь сито современ-

вого возвышенного агностицизма и скептицизма) на социологию. Такой формализм является тоже одним из проявлений современного аисторизма. Раз формы общественных движений всегда одни и те же, тогда история собственно не творится, не дает ничего нового, а топчется на месте. Социологический формализм—это форма страха буржуазии перед исторической ответственностью. Он выражается, например, в работах венского теоретика права и коллеги Фрейда по университету—Кельсена, для которого диктатура пролетариата является тоже формой государственного давления, следовательно, по существу, не отличается от любой буржуазной диктатуры. Зачем в таком случае поднимать напрасный шум?

Следуя за Лебоном, и Фрейд видит в массовых движениях и выступлениях явление возврата к первобытным психическим состояниям, явление регресса. „В массе,—говорит Лебон,—исчезают индивидуальные достижения лиц, теряется их своеобразие, массово-бессознательное выступает наружу, разнородное тонет в однородном. Мы можем сказать: психическая надстройка, которая развилась у различных личностей различно, сметается, и открывается однородная для всех бессознательная основа“ („Психология масс“, стр. 9). Другими словами: в массовых действиях мы возвращаемся опять в стихию первобытной сексуальности. Мы увидим потом, какие выводы строит Фрейд па этом факте. Тут отмечаем только факт глубокого отвращения автора к массовым действиям, которые, по мнению Фрейда (и по мнению Лебона), обнаруживают „животное“ в человеке. Но не подрывает ли это основы фрейдистской теории? Массовое действие—это одна из форм социализации человека. Но по Фрейду она ведет к обнаружению асоциальных его черт, к их господству, к полнейшей диссоциализации. В социальном действии представляет человек именно в самой яркой форме образ blonde Bestie первобытного человека, т.-е. невротика. Как возможна фрейдистская социология, если она исходит из понятия, уже a limine отвергающего возможность построения социологии? Но очень часто у стилизаторских натур логическая невязка (а не диалектика!) является связующим звеном прекрасного пафоса и das Fortleitende очень остроумных социологических теорий. У Фрейда очень часто работает сознательно бессознательный механизм ассоциации. И позабыв совершенно о своих антисоциологических построениях, помня только звук „rassenmässig“, он развивает свою расовую теорию уже не в отрицательном, а в положительном смысле. Он рассказывает прекрасные слова о расовой душе и всю ту чепуху, которую в изобилии преподносили нам буржуазные социологи. Как вяжется эта теория о расовых душах с теорией полной однородности человеческого бессознательного, проповедуемого им в другом месте, один Аллах ведает!! Но как возможна современная (modern!!!) социологическая теория без расовых декламаций? Фрейду вторят другие фрейдистские социологи. Расе посвящает прочувственные странички Кольнай, Медер

(A. Maeder, „Psychoanalytische Eindrücke von einer Reise in England", Imago 1912) дает цельную теорию английской расы, Фрейд занимается изысканием более „глубоких" бессознательных основ венского филистера. Факт, что у англичан the ship (судно) — женского рода, является для фрейдистов откровением, которое дает им объяснение дружбы английского народа с морем. И все это преподносится в серьезном тоне с соответствующими кивками в сторону марксизма и использованием реакционной мудрости католического Ницше — Шеллера!!

Механизм образования масс — чисто-сексуальный. Каждая масса имеет вождя или вождей. Масса без вождей не мыслима. Вождь является сексуальным объектом массы. Масса завязывает с вождем „узы любви" (в смысле либидо). Тут уже вкрадывается невязка. Ибо сексуальные отношения — полиморфны, многосторонни. Трудно допустить, чтобы одна и та же личность „вождя" могла быть тождественным объектом так отличных друг от друга сексуальных влечений. Но это затруднение второстепенное. Либидо связывает массу с вождем. Но что связывает членов массы друг с другом? Для объяснения этого явления вводит Фрейд понятие „отождествления" (Identifizierung), в сущности являющееся психоаналитическим перепевом Einfühlung Липпса. Отождествление заключается в следующем: каждый член массы стремится к реализации своего либидо по отношению к вождю. Но он не уверен во взаимности вождя: может быть, вождь предпочитает не данного индивида, а его соседа из массы. Каков выход? Данный индивид отождествляет себя с другим, счастливым членом массы и таким образом переживает в воображении счастье осуществления либидо. Таким образом образуются среди членов массы узы солидарности, которые превращают массу во что-то цельное и прочное. Эта теория массы не только не выдерживает критики ввиду своей фантастичности, но и ввиду своей внутренней противоречивости.

Отождествление — это только выражение амбивалентности чувств. В его основе лежит ненависть, вытекающая из убеждения, что вождь предпочел данному лицу другое. Эта ненависть проецируется в сознательное, как любовь, привязанность, чувство общности. Другими словами — гармония Смита среди противоречий интересов, с той только разницей, что смитовская гармония является объективной категорией, чем-то стоящим над обществом, wealth of nations, в то время как эта солидарность чувствуется индивидуумами.

„Социальное чувство заключается в изменении бывшего ранее враждебного чувства в положительно окрашенное чувство с характером отождествления". Фрейд говорит дальше, что образование так называемого общего духа (esprit de corps) является обратной стороной медали—взаимного недоверия, при чем враждебные чувства играют роль бессознательных, приязненные — сознательных. Но — увы!! — психологическая масса отличается тем именно, что в ней сбрасы-

вается верхушка сознательного, и члены массы подпадают под влияние действия бессознательного. Эти чувства ненависти должны обнаружиться. Впрочем, и амбивалентность чувств здесь не проведена последовательно, так как и в области бессознательного, и в области сознательного, взятых отдельно, амбивалентности нет, а существует тут и там одно определенное чувство. Эти затруднения видит и сам Фрейд, и поэтому он не настаивает на своей теории отождествления. „Наш анализ кажется нам самим неисчерпывающим“, говорит он уныло на стр. 98 „Психологии масс“ и рыщет в обетованный край спенсерианства, сравнивая стадное влечение (Herdentrieb) общества с влечением к многоклеточности у организмов. Впрочем, это спенсерианство уже было достаточно подготовлено расовыми теориями. Куда же делся психоанализ?

VII.

Мы уже не раз подчеркивали стремление фрейдизма — никогда не осуществленное — к монизму. В конечном счете этот монизм должен был охватывать не только психические, но и общественно-исторические явления. Мы уже указывали не раз на то, что этот монизм никогда не осуществлялся фрейдизмом, или осуществлялся тогда, когда основной тезис фрейдизма воспринимался очень широко, расплывался так, что от чистого фрейдизма ничего не оставалось. Новейшие, более вдумчивые фрейдистские авторы отошли совершенно от идеи монизма, как методологии исследования социальных явлений. У них мы уже имеем дело с цельным учением, которое можно бы противопоставить историческому материализму,—с теорией факторов. „Здесь дело совсем не в том, чтобы построить систему обоснованной психоаналитически психологии религии, а показать только на примерах, которые имеют представительное (repräsentativ) значение, что может дать психоанализ средствами, которые находятся сейчас в его распоряжении, в деле выяснения трудных проблем религии. Психоаналитические исследования не задаются целью сделать излишними работы специальных наук, но стараются дополнить их с определенной стороны. Поэтому их целью должно быть выдвигание тех сторон проблем, о которых можно предполагать, что ими можно овладеть психоаналитическим методом. Притом мы никогда не забывали, хотя это не всегда специально подчеркивалось, что есть другие стороны, что религиозные проблемы обладают очень сложным характером, и что только исследования их, предпринятые со всех сторон, могут повести к полной оценке“ (Рейк, „Проблемы психологии религии“, стр. XIV).

Мы, исторические материалисты, тоже не отрицаем колоссального значения всех специальных наук для выяснения общественных явлений с историко-материалистической точки зрения. Не кто другой, как Энгельс, говорит, что исторический материализм не должен быть

схематической общей формулой, которая должна нас освободить от тяжелого и упорного труда исследовательской работы. Но процесс исследования мы подчиняем одному принципу. Тут говорится совершенно другое. Психоаналитический метод является одним из методов, равноценным другим методам. Другими словами, получается теория факторов. В таком случае нельзя говорить о психоаналитической социологии. Это утверждение приобретает еще более веса потому, что основные социологические понятия фрейдизма отличаются, как мы уже имели случай убедиться, такой путаницей, что значимость метода сводится к нулю. И в конце концов, это убеждение преобладает у фрейдистов. Но вся суть дела в том, что, отрицая теоретически применимость психоаналитических методов к социологии, на деле они пользуются преспокойно психоаналитическим методом в конкретных социологических исследованиях. Часто они покидают его и под флагом психоанализа проводят совершенно другие точки зрения, как мы убедимся потом.

Взгляд на применимость психоанализа к социологическим явлениям претерпевает, очевидно, постоянное decrescendo. Кольнай, например, утверждает, что психоанализ может объяснить только некоторые социальные явления. Он может объяснить только те явления, где чувство реальности не играет большой роли: в первую очередь мифы, сказки, отчасти религии. Чтобы защитить психоанализ, ему приходится отрицать общественный характер философских систем (Кольнай, стр. 24) Хорош метод, который может объяснить только часть принадлежащих к одному кругу явлений (идеологии)! Кольнай подчеркивает, что психоанализ не может дать никаких объяснений в области политических движений. „Эти вопросы — дело политики и не имеют ничего общего с психоанализом, который, например, в области дискуссии об аграрной реформе или в вопросах о программах может сказать очень мало" (Кольнай, стр. 66). Следовательно, в тех областях, которые марксисты считают сердцевиной истории, психоанализ не может сказать ничего. Иногда просыпается у фрейдистов чувство значения исторического материализма, и даются попытки соглашения этих методов. Но не в значении „доставки" материала психоанализом, а опять в духе теории факторов, при чем данное явление истолковывается отчасти психоаналитически, отчасти историко-материалистически. „Эта задача (исследования социальных явлений. *В.Ю.*) труднее, чем анализ мифов, потому что элементы, чуждые реальности, являющиеся областью психоанализа, уступают большое место экономическим закономерностям и рациональным умозаключениям (!!?), и так переплетаются с ними, что их вышелушивание (Ausschälung) является далеко не легким. Какой трудной задачей было бы, например, выяснение в развитии капитализма участия имманентного разложения средневековья и участия анального характера [1]) и связи

---

[1]) Капитализм является для фрейдистов сублимацией анальной эротики. Золото маммонизма—это сублимация кала!!

обоих" (Кольнай, стр. 85). Здесь, очевидно, в объяснении капитализма принимают участие и разложение средневековья (wirtschaftliche Gesetzmässigkeit), и психология анальной сексуальности, как что-то поставленное рядом с первым.

При чем этого нельзя понимать так, что фрейдисты дают психоаналитическую теорию зачатков всех идеологий, возникших тогда, когда человек находился на стадии развития между человеком и животным в более узком смысле этого слова, и потом уже исследуют перемены этих идеологий в зависимости от экономической структуры общества. Следовательно: или теория факторов, или чисто-психоаналитическое объяснение общественных явлений, при чем исторический материализм отстраняется как „экономический мистицизм" (Кольнай, стр. 64).

Мы уже раньше говорили, что у многих фрейдистских авторов вера в применимость фрейдистского метода к общественным явлениям претерпевает все растущее decrescendo. Следующим этапом этого decrescendo является утверждение, что психоанализ применим только к регрессивным, а не аналогическим (идущим по линии прогресса) общественным явлениям. „Психоанализ может отдаться с наибольшим успехом исследованию таких образований, в которых чуждые реальности тенденции — самые сильные. Массовые импульсы он может объяснить легче, чем развитие различных фаз индустрии. Особенно силен он в области регрессов" (Кольнай, стр. 85). Поэтому Кольнай посвящает много труда и времени психоаналитическому исследованию анархо-коммунизма (который, впрочем, сливается у него с коммунизмом вообще), как типическому регрессивному явлению. Этому анализу я думаю посвятить потом еще несколько строк.

Тут хочу я проследить дальнейший и окончательный этап этого decrescendo. В „Психоанализе и социологии" говорит Кольнай: „До сих пор сравнивали с невротическими регрессиями в первую очередь первобытные общественные идеи, а не регрессии современного общества. Несомненно, что индивид, хотя он подымается над массой, сохранил в сексуальности чисто-видовой характер более неприкосновенно, чем общественная группа". Тут выражено так ясно, как это только возможно, убеждение о неприменимости психоанализа в области общественных явлений. Кольнай разделяет здесь недвусмысленно „биологического" человека от общественного и видит ясно несостоятельность всяких попыток перетаскивания биологизма в область социологии.

Отсюда это непрерывное шатание и колебание в объяснении социальных явлений, являющееся самым веским доказательством несостоятельности учения. Я хочу указать на самые главные из них. Явления религии имеют у психоаналитиков четыре различных объяснения. Фрейд ставит религию в связь с так-называемыми навязчивыми представлениями (Zwangsvorstellungen) и навязчивыми действиями (Zwangshandlungen). Ядром религии является

ритуал, — совокупность действий, повторяемых в определенное время с сознанием их необходимости, что является обратной стороной медали вышеуказанного невроза. В „Я и оно“ дает он другое объяснение происхождения религии: она стоит в связи с отцовским комплексом и сверх-„я“ и выражается в чувстве зависимости и моральной несостоятельности (продукт отождествления с отцом) данного индивида. „Легко показать, что идеальное „я“ соответствует всем запросам, которые ставятся высшей сущности в человеке. Как заместительное образование (Ersatzbildung) тоска по отцу заключает оно в себе зародыш, из которого образовались все религии. Чувство собственной несостоятельности, возникающее из сравнения „я“ со сверх-„я“, дает начало покорному религиозному чувству, на которое ссылается исполненный тоски верующий („Я и оно“, стр. 44). Совершенно по Шлеермахеру!

Ранк дает совершенно другое объяснение религии. У него религия является проекцией человеческой сексуальности. Первобытному сексуальному полиморфизму соответствует религиозный политеизм, который параллельно сужению „сексуального поля“ переходит постепенно в монотеизм, продолжением которого является наука. Таким образом наука является последним звеном в развитии религии. Действительно оригинальная теория! Как можно с такой точки зрения объяснить существование науки в Греции при несомненном наличии там политеизма? С другой стороны, такая теория происхождения религии идет в разрез с теорией Фрейда. Религия является формой сублимации человеческой сексуальности. Но основным принципом теории психоанализа является утверждение, что человечество до сих пор сексуально полиморфно. Следовательно, человек не должен идти дальше политеизма!! Впрочем, эту теорию религии нельзя брать всерьез; она была нужна Ранку для сохранения стильной линии в одном месте его книги, где автор отдается con amore ницшеанским словоизлияниям; потом Ранк дает еще одно объяснение религии, в основе своей и по замыслу почерпнутое из Фрейда, но по выполнению противоположное.

Рейк, о котором придется нам говорить еще подробно, ставит возникновение религии в связь с отцовским комплексом, но в другом смысле, чем Фрейд. В то время как у Фрейда религиозное чувство является выражением чувства тоски по убитому отцу, у Рейка религия, связанная с религиозным ритуалом, является выражением ненависти убитого отца по отношению к детям. Тут господствует дух мести, свойственный семитским религиям. Навязчивые действия не играют у него в конкретной обработке большой роли, хотя в теоретическом предисловии он много о них говорит. Зато Ранк очень часто переходит в своих религиозных исследованиях на точку зрения Фрезера там, где психоанализ оказывается несостоятельным. Впрочем, и сам Фрейд не чужд многим идеям Фрезера.

У фрейдистов получается еще очень странный курьез, дающий

бьющее в глаза доказательство полной произвольности их построений. Для Фрейда религия является выражением навязчивого невроза, философия - выражением паранои (выражением паранои является, впрочем, как мы увидим потом, и... марксизм). С такой точкой зрения согласен и Кольнай. Но Ранк становится на противоположную точку зрения: „Образование систем, которые в качестве религиозного или мифологического фасада расширяют проекции индивидуальных решений конфликтов до пределов и значения космического, находят свой патологический образ в построениях многих параноиков, нарцистические отождествления которых с богом бросают свет на психологию основателя религии, в то время как невротик, страдающий навязчивым неврозом, по своей психической структуре стоит близко к философу" (Ранк, „Художник", стр. 60).

Так превратился фрейдизм, наконец, в систему нескольких понятий, при помощи которых мы можем образовать по нашему произволу различные конструкции. В этом ли выражается научность фрейдизма и неумолимый детерминизм, о котором часто разглагольствуют?

VIII.

„Clou" учения Фрейда является его **теория комплекса** Эдипа или **отцовского комплекса**, развиваемая этим автором во многих его трудах, всего же яснее и определеннее в „Тотем и табу". Сама эта теория является в дальнейшем продолжением такой же теории **Робертсона Смита**, который, однако, с присущей ему осторожностью называет ее только гипотезой. Сущность этого учения заключается в следующем. У сыновей семейств существует инцестуозное стремление к матери, как с другой стороны у дочерей—инцестуозное влечение к отцу. Такие же влечения существуют между братьями и сестрами. В первобытной орде, которая является по Фрейду зародышем общества, сыновья ревновали мать к отцу и видели в нем своего соперника. Это чувство ревности росло все больше и превратилось, наконец, в жгучую ненависть; она-то, наконец, заставила сыновей сговориться и убить его совместными усилиями. Но убийство не решило задачи. Братья, освободившись от соперничества отца, стали сами соперниками, сами превратились все в отцов. Это обстоятельство заставило их отказаться от инцестуозных влечений к матери и положило начало **экзогамии**. С другой стороны, убийство отца вызвало у них угрызения совести: личность умершего, бывшего прежде предметом ненависти, превратилась в предмет почитания и тоски. Братья решили соединиться во имя символа отца, сплотиться крепко, что стало возможным благодаря введению экзогамии. Символ отца превратился в социализирующее начало: он-то заставил братьев повиноваться начальнику рода, который стал олицетворением образа отца, в виде тотема—предка рода, отец дал начало

религии. Вообще нет ни одной области из общественной жизни, где бы не применялся Фрейдом и фрейдистами отцовский комплекс, который превратился в конек фрейдизма.

Это убийство отца и следующие за ним перевороты были чем-то вроде первородного греха человечества (фрейдисты его так и называют) и имели место во всех без исключения ордах. Отзвуки этого убийства остались во многочисленных народных легендах, в самой чистой же форме—в греческом мифе об Эдипе, который убил отца и женился на матери,—откуда и название комплекса. Комплекс Эдипа является фрейдистской аксиомой, которая принимается догматически, доказательства которой нигде не приводятся, аксиомой, на которой зиждется надстройка многочисленных конструкций.

А между тем, он является чистейшей фантазией!! Уже фрейдисты не доводят своей мысли до конца. Почему они всегда говорят о комплексе отца, никогда же о комплексе матери? Принимают же они у дочерей то же инцестуозное влечение по отношению отцу. Это инцестуозное влечение должно было вызвать у них тоже трагедии по образу трагедии Эдипа. Почему от них не осталось никакого воспоминания? Или, может быть, можно это объяснить таким образом, что женщина была полом более „слабым“, ее трагедии остались незаметными? Но этому противоречит существование матриархата (а не только материнского права). На основании материнского комплекса можно бы тоже построить целое здание социологии, которое при соответствующей ловкости и наличии игривости ума дало бы, вероятно, внешние результаты. Могут же фрейдисты получать тождественные результаты, исходя из противоположных предпосылок (параноя=философия, навязчивый невроз=религия, параноя=религия, навязчивый невроз=философия)! Нужно только хотение! Говорил же Фрейд, что великая страсть является источником самой строгой логики (=страсть, не выносящая никакого противоречия)! Впрочем, уже Фрейд сам разрушил чистоту своей теории. По его же собственной теории каждый человек бисексуален: одновременно он играет роль сына и дочери. Это маленькое обстоятельство запутывает в большой мере логические выводы системы, в чем Фрейд и сознается в работе под названием „Я и оно“, стр. 38—39, немного беспокоясь о судьбах своей теории. „Это вторжение бисексуальности запутывает в высокой степени загадку первобытных выборов предмета и их понятное описание“. И на таких хрупких фундаментах построена вся теория! Но беспокоиться нечего! Найдутся люди, которые и на бисексуальности построят великолепный синтез. Один Ранк чего стоит! Вот хотя бы один из возможных синтезов: известно, что раньше мужские боги имели свои женские counterparts; об этом повествует на сотнях страниц, доводя читателя до полного ошеломления, небезызвестный Фрезер. Что легче, чем применить тут теорию бисексуальности и, пользуясь фрейдистским понятием проекции, дать новую теорию мифологии. Нужны амбивалентные чувства, необходимые по Фрейду,

для каждой бисексуальности? Сколько угодно! Не являются ли отношения Зевса и Геры олицетворением амбивалентности? (Ilias, carmen I, III, etc.).

Между тем, для отцовского комплекса и для комплекса Эдипа можно дать другое объяснение, не прибегая к произвольным комбинациям Фрейда. Дает его Фрезер на стр. 332 своей книги: „The Golden Bough. Abridged edition. London, Macmillan, 1923). Там он говорит: „Среди историй, которые рассказывали о Кинирасе, предке королей — священников Пафоса, и об отце Адониса, некоторые должны привлечь наше внимание. Прежде всего говорят, что он застиг врасплох своего сына Адониса в инцестуозных отношениях со своею же дочерью Миррой во время праздника в честь богини урожая; во время этих праздников женщины должны были в белых одеяниях приносить в жертву снопы злаков, как первые плоды жатвы, и воздерживаться в течение девяти дней от половых сношений. Подобные случаи инцеста королей с дочерьми являются предметом многих рассказов. Кажется невероятным, что такие рассказы лишены всякой основы, или что они являются выражением случайных взрывов неестественной страсти. Мы склонны думать, что они основываются на практике, имеющей место и сегодня в определенных случаях. И теперь случается часто, что в странах, где королевская кровь текла только в жилах женщин, и где, следовательно, король исполнял свою должность благодаря браку с наследственной принцессой, которая была действительным сувереном, — принц женился на собственной сестре, королевской принцессе, чтобы сохранить с ее рукой ее корону; ибо в противном случае она могла бы дать титул другому мужчине, может быть, иностранцу. Не послужило ли то же самое правило наследования мотивом инцеста с дочерью? Является же естественным корреларием для такого правила то, что король должен был покидать престол в случае смерти своей жены, королевы, так как он сохранял его только благодаря своему браку с ней. Когда же этот брак кончался, кончалось вместе с тем и его право на престол и переходило к мужу его дочери. И поэтому, если король желал царствовать после смерти своей жены, единственным путем, по которому он мог законно продолжать свое царствование, был брак с дочерью. Только таким образом он мог сохранить свой титул, который сохранял раньше благодаря ее матери". Подобно тому мог сын, который был женат на сестре, на случай ее смерти сохранить королевскую власть, только женясь на матери (случай Эдипа). Впрочем, женитьба на матери имела раньше место не только в королевском роде и не только в эпоху матриархата. Послушаем, что говорит Эрнст Гроссе в книжке под названием „Формы семьи и формы хозяйства": „Но в прежнее время покупная цена так крепко привязывала женщину, что она по смерти супруга при всяких обстоятельствах передавалась наследникам вместе с прочим оставшимся имуществом. Если наследник был еще ребенком, то вдовы должны были ожидать его совершеннолетия. Эти факты совсем не двусмысленны" (стр. 163).

Королевский сын не мог стать наследником королевской власти, так как она передавалась через дочь. Он должен был или совершить инцест, или жениться на чужой королевской принцессе, т.-е. покинуть дом. В более позднее время, когда уже матриархат исчез, потомки не могли понять этого явления ухода сына из дома. И тогда-то, говорит Фрезер, образовались сказания о сыне-убийце (murderer). Комбинацией этих двух возможностей является легенда об Эдипе. Ее основой является матриархат и материнское наследование (Mutterfolge), а не фрейдистская метапсихология полов.

На этой метапсихологии полов построена вся психология и философия религии у Рейка (Reik, „Probleme der Religionspsychologie"). Уже из прежнего изложения видно, какова ее ценность. Рейк рассматривает, главным образом, так называемые сыновьи религии, т.-е. религии, центром которых является восставший против отца-бога сын (Прометей, Христос, Моисей в интерпретации Рейка, Дионис, Аттис и др.). Сын обычно потом свергается и наказывается, при чем часто с течением времени личность сына сливается с отцовской личностью на основании фрейдистской теории сгущения. Но Фрезер доказал, что эти легенды о смерти сына бога-отца, имеют корни в первобытной магии.

Началом религии была по Фрезеру магия, подразделяющаяся на т. н. подражательную и магию соприкосновения (contagious magic). Возникновение магии тесно связано с хозяйственными потребностями того времени. Личность мага была и королем, и богом, и священником. Но в то время существовала вера, что магическая сила с течением времени исчезает. Чтобы все-таки предотвратить возможные бедствия, могущие возникнуть из-за исчезновения магической силы у короля, подданные заставляли его принимать бой с каждым, кто пожелал бы выступить против него, оспаривая его магическую силу и притязая на замещение его. Потом был установлен определенный срок, по истечении которого магическая сила считалась исчезнувшей, вследствие чего бога-мага среди соответствующих пышных церемоний умерщвляли. На острове Крите еще в классическое время показывали сотни гробов Зевсов. Он мог избегнуть смерти, только убивая своего сына, впитывая в себя его молодую кровь. Вот эта-то жертва сына является прообразом сыновьих религий (религий сыновей-спасителей). Она легла в основу библейской легенды об Исааке, а не, как утверждает Рейк, месть отца сыну за его инцестуозные влечения к матери.

Идеи Фрезера известны фрейдистам; но они не старались ни разу выразить ясно свое отношение к ним: — ни разу, например, не старались воспользоваться рассуждениями Фрезера относительно инцеста и отцовского комплекса. Зато они пользуются ими обильно там, где их собственная система дает трещины. Так, например, Фрейд вводит в свою систему идеи Фрезера о магии под названием идеи о-

„всемогуществе мысли“, которой он объясняет многие явления первобытной общественной жизни. Но у самого Фрейда это вовлечение идей Фрезера не нарушает хотя бы внешне стройности его здания. Зато у учеников Фрейда использование фрезеровских идей ведет к какому-то чудовищному логическому дальтонизму. Так, например, „гениальный“ Ранк ставит рядом две теории о возникновении искусства: одну—сексуальную, другую—обоснованную на идеях магии. Посвятив всю свою книгу психоаналитическому исследованию сущности художника и искусства, он вдруг заявляет, что искусство связано с верой в магию, с убеждением, что владение над изображением какого-нибудь животного или какой-нибудь вещи есть одновременно и господство над животным и самой вещью. Ранк оставляет совершенно открытым вопрос, какая гипотеза по его мнению верна, — это предоставляется читателю. Впрочем, типичному литератору Ранку это совершенно безразлично. Идеи Фрезера внешне довольно привлекательны, не в меньшей мере, чем фрейдистская сексуальная метапсихология. Логика? В наше время давно уже замещает логику стремление к эффекту, а стройность мысли заменил интеллектуальный базар...

IX.

Мы уже имели возможность убедиться, что фрейдизму присущи универсалистские тенденции, что он стремится превратиться в своего рода религию будущего, в качестве такового он должен был сразиться с марксизмом и высказать свое отношение к нему. Эту работу проделал Кольнай (не считая Адлера, Федерна и др.) в своей книге „Психоанализ и социология“. Эта книга является одним из гнуснейших пасквилей на марксизм и революционное движение пролетариата вообще. Все мотивы из оперы l'homo delinquente, которые были пущены в ход буржуазией в ее борьбе с социализмом, бледнеют и не выдерживают никакого сравнения со страницами Кольная. Тут говорит только слепая злоба, так что кончаешь книгу с чувством невыразимого отвращения. Стихийная какая то ненависть заставила автора нагромождать абсурды на абсурды, прибегать к таким противоречиям, по сравнению с которыми разложение мысли у Каутского кажется вершиной логической стройности.

Автор говорит в первую очередь об анархо-коммунизме, но это дела не меняет, по следующим причинам: во-первых, автор не различает ясно различных течений среди социализма, во-вторых, в течение своих рассуждений он бессознательно (или - вернее—сознательно) переходит к критике коммунизма, хотя внешне говорит об анархо-коммунизме, в-третьих, вводит большевизм, как разновидность марксизма и анархизма, и ему (специально большевизму в России) посвящает свои заключительные страницы. С другой стороны, эти все рас-

суждения ценны как образчик фрейдистской социологии и обнажают полное ее убожество.

Прежде всего надо подчеркнуть, что все социалистические движения Кольнай рассматривает как движения регресса. Стремление к социализму—это стремление общества назад, к той первобытной стихии, когда начала только образовываться современная культурная „социальная душа". Это основная, исходная, принципиальная установка дает уже ключ к решению подробностей. Мы уже раньше видели, что государство является проекцией комплекса отца. Следовательно, анархизм будет выражением ненависти к отцу. На этой канве вышивает Кольнай узоры своей социологии анархизма. Бомба анархизма — это символ первобытного убийства отца. Но ненависть к отцу сопровождается инцестуозным влечением к матери. Оно образует вторую слагаемую анархизма—коммунизм. Коммунизм — выражение стремления к слиянию с матерью, вечная тоска о возврате в uterus матери. Коммунизм старается сковать всех людей воедино, спаять их в одно нераздельное целое, подобно тому, как после убийства отца братья стремятся „потонуть" в чреве матери. Это стремление к uterus особенно заметно в аграрно-коммунистических течениях, так как земля, как известно, является символом матери. Этим сопоставлением мать—земля жонглирует Кольнай до тошноты!

Анархизм отличается строгой внешней логичностью; уже любовь к заготовлению бомб, „технический пафос" (Technizität) у анархистов является доказательством этой логичности. Логицизм анархистов—выражение силы любовной страсти к матери, которая не терпит противоречий (diese Logik ist die physisch keinen Widerspruch duldende Logik der Leidenschaft). Так путем игры слов решается проблема культурной структуры большого революционного течения!

Коммунизм и анархизм являются видами общественного невроза типа сумасшествия: коммунизм стоит к анархизму в таком отношении, как паранойя к парафрении (dementia praecox). Следует картина классовой психологии пролетариата; революционизм пролетарских масс объясним тем, что пролетариат, как класс, нагромоздил в течение веков большой запас либидо, бессознательных сексуальных влечений, которые не могли сублимироваться из-за его низкого культурного уровня, и который теперь со всей силой стремится к освобождению. Специально русский пролетариат сублимирует теперь, после Октябрьской революции, свои садистские влечения. Сейчас он взял на себя в России роль бывших норманских князей-завоевателей.

По культурному своему значению рабочее коммунистическое движение является попыткой возврата к детскому состоянию. Лозунг коммунизма: работай по своим способностям, получай по своим потребностям—чисто инфантильный! Он вызывает образ „хорошего" ребенка. Это „ребячество" ком-

мунизма выражается еще в том, что труд в будущем он мыслит себе как своего рода игру (тут Кольнай ссылается на Каутского). У коммунистов отсутствует та суровая гедоника труда, которая свойственна высокоразвитым обществам, ее заменяет психология учения и игры. Совершенно как у детей! Коммунизм не отрицает современной высокоразвитой техники, наоборот, он хочет оставить ее и в будущем строе, разрушая, однако, всю вызвавшую ее организацию. Коммунистическое общество рисуется коммунистам как общество с колоссально развитой техникой и слабой общественной организацией. Это второй признак инфантилизма (возврата к психологии ребенка) коммунистов. Его можно определить как возврат к вере во всемогущество мысли, присущее всем диким народам, живущим в период магического мировоззрения!

Выражением паранои является и „машинизм“ коммунистов, доказательство их логицизма. Влечение к „машинизму“ имеет отчасти свои корни и в уретральной инфантильной эротике [1]).

Основа марксистского учения, исторический материализм, является, с одной стороны, только парафразой капиталистического маммонизма (капитализм, по учению Фрейда, не что иное, как выражение анальной эротики), с другой стороны—воскрешением феодальных концепций Гегеля. Вся разница заключается в том, что на место идеи Гегеля марксизм поставил „мистическое“ хозяйство. **Коммунизм является собственно неофеодализмом.**

Марксизм отличается верой в историческую роль пролетариата. Эта вера является только одним из выражений распространенного мотива об исключительной спасительной роли самого младшего сына или вообще малоценной, „нищей духом“, личности. Этот мотив—только фантазия желания (Wünschphantasie) ребенка, который, несмотря на свою слабость и сексуальную малоценность, надеется победить отца в борьбе за мать. Непрерывные жалобы на угнетение рабочего класса буржуазией—сублимация мании преследования.

Строгая диалектика Маркса, стройность его теории стоимости — тоже выражение паранои, которая вместе с мистической верой в роль пролетариата приобретает формы религиозной паранои. Вершин паранои и парафрении достиг Фурье!

Оценка ревизионистов, Бернштейна и т. д., немножко выше. Для них сфабриковал даже Кольнай „своего“ Маркса, который вдруг становится антиматериалистом! Ниже оценка синдикализма. Зато по отношению к большевизму, который Кольнай уже в 1920 году на-

[1]) Возникновение современной гидростатики в северной Италии в XVI и XVII столетиях, которое, по истолкованию исторического материализма, стоит в связи с канализационными и оросительными работами в Ломбардии и с потребностями регулирования ревущих альпийских потоков, истолковываются фрейдистами, как научная сублимация уретральной эротики. Уже само сопоставление двух этих толкований решает полный провал второго. Интересно заметить, что Мах, который сначала был фрейдистом, отказался от фрейдизма, когда стали появляться фрейдистские „объяснения“ развития механики!

зывает ленинизмом, автор не знает никакой меры. Ленинизм является, собственно говоря, военным психозом и должен истолковываться только в связи с войной! Он — чудовищное соединение паров крови и логарифмов (Кольнай, стр. 143). Отцовский комплекс обнаруживается тут в том, что большевизм изгоняет капиталистов и купцов—символы отцов, чтобы тем беспрепятственнее развить свой цезаризм, основанный на новом принципе отца (Кольнай, стр. 145). Ленинская концепция, по которой после усиленного террора должен следовать безгосударственный рай – не что иное, как мистическая схема: интраверсия — возрождение. Необычайный рост милитаризма у большевиков и другие признаки (присвоение феодальной политики иезуитизма, система подкупа, agents) доказывают, что большевизация мира равнялась бы его атомизации!

Лозунг: „пролетарии всех стран, соединяйтесь!"—не что иное, как классовое выражение гомосексуализма!

Наконец, автор дает „классический" синтез: на деле надо под большевизмом понимать феодальный средний путь между прямолинейной регрессией анархизма и параноидной регрессией марксистского социализма (Кольнай, стр. 144).

Автор считает большевизм специфически русским явлением и дает, ссылаясь на „глубокие" историко-философские, „rassenpsychologische" исследования Гессе („Die Brüder Karamasoff oder der Untergang Europas", —„Neue Rundschau" 1920), такое определение большевика: большевик—это переходный тип между европейским пролетарием и „русской душой". Русская же душа — это выражение регресса, возврата в азиатскую родину, в прамать (комплекс Эдипа), отвращение к какой-либо этической норме, влечение к единству добра и зла. Одним словом, „опасный, чувствительный, безответственный, обладающий притом нежной совестью, мягкий, мечтательный, жестокий, глубоко-детский (kindlich) русский человек". Круг замкнут: акушером психоанализа стал Мережковский!!!

Другие авторы повторяют то же самое, только с меньшей силой выражения. И иначе не может быть, так как идея комплекса Эдипа должна быть для психоанализа исходной точкой их социологических построений. С отрицанием же этой идеи рушится и весь психоанализ.

В заключение я хочу дать еще фрейдистское истолкование выступления на историческую сцену Наполеона, данное Екельсом (Jekels, „Der Wendepunkt im Leben Napoleons"). Критическим моментом для Наполеона было его отпадение от Паоли и объявление войны Англии Французской республикой. Тайные переговоры Паоли с англичанами вызвали у Наполеона отвращение к представлению: attaquer la patrie avec les étrangers (нападать на родину вместе с чужеземцами) и „свести мать с чужим". Франция играла для Наполеона роль матери. Смерть Лю-

довика XVI и освобождение таким образом матери от соперника отца была для Наполеона сигналом для действия. И тут стремление инцеста стало ключом к величайшей исторической драме.

* * *

Фрейдисты—натуры героические. Они детерминисты и считаются с явлением социализма, как с непредотвратимым фактом. Что социализм — это выражение деградации и распада общества, от того дело не меняется. Они не знают сантиментов. Они читали Шпенглера, его книжка не даром написана. Социализм является необходимым „моментом“ в их историософии. Социализм, который является возвратом человечества к детству, будет и концом, и началом новой эпохи. Крепкий, первобытный, природный народ вытеснит высоко - культурные народы (Ранк). История начнется сызнова.

В последние дни перед Великой Французской революцией французская пресыщенная аристократия замечтала вдруг об естественности. Идиллический Грез (Greuze) и сильный, первобытный, крепкий, природный китаец—стали ее кумиром.

Не является ли это совпадение симптоматическим?..

В. Юринец.

О законах случайных явлений.

I.

Понятие случайного появилось впервые, как результат эволюции анимизма, того мировоззрения, согласно которому все в природе „полно богов, демонов и душ“. Анимист чувствовал себя окруженным мелкими божествами; последние служили для него в качестве причинного обьяснения явлений; волевыми импульсами этих божеств он обьяснял различные события, происходящие вокруг него в природе. В ходе эволюции анимизма число божеств уменьшалось, им приписывалось большее могущество, но и большее удаление от человека, меньшее участие в окружающих событиях. В результате этого окружающие человека явления природы остались вовсе без объяснения, в мировоззрении образовалась пустота, которая и нашла выражение в понятии случайного. На смену анимистическому объяснению сразу не могло притти научное; естественно-научные понятия выработались значительно позднее. За тот большой промежуток времени между анимистическим и естественно-научным обьяснением сложилось и упрочилось убеждение, что в мире вещей повсюду царствует случайность.

Древние представляли себе мир вещей как бы разделенным на

две области. В первой области—в области хорошо знакомых трудовых процессов — все происходит с некоторой правильностью; здесь существует закон, неизменное чередование явлений. В этой области возможно предвидеть, что будет дальше, возможно строить расчеты, например, сеять и собирать жатву. Но эта область казалась только оазисом в мире хаоса. В другой области все неустойчиво и беспорядочно, там нет никаких законов, и ничего нельзя предвидеть. Эти две области различались не резко: всегда допускалась возможность спутывающего все расчеты вторжения хаоса в область знакомого и привычного.

Вместе с прогрессом техники область правильных, закономерных явлений непрерывно расширялась за счет случайного. При этом причинность и случайность рассматривались как понятия взаимно исключающие: если событие признавалось случайным,—это означало, что оно не детерминировано никаким законом; если какую-либо группу явлений удавалось подчинить причинному закону, тем самым случайность из нее изгонялась. В особенности с развитием экспериментальной науки причинный закон начал быстро вытеснять случайность из ее убежищ. Наконец, успехи естественных наук привели к убеждению, что области случайного вовсе не существует, что всякое явление во всех деталях определено точным законом — движение каждой пылинки в воздухе, каждой струи водопада, ничто не случайно, все имеет свою причину. Случайность теперь стали рассматривать, как мнимую случайность, как понятие только субъективное: случайно то, что до сих пор не поддавалось научному анализу, то, чего причины мы не знаем, и только до тех пор, пока не знаем. Причинный закон был распространен на все явления; тем самым понятие случайности, как объективного свойства вещей, было упразднено.

В новое время, уже после того, как всеобщность причинного закона была в естествознании установлена с полной определенностью, в области истории и социологии буржуазная наука упорно удерживала понятие случайного, противопоставляя его причинному объяснению событий. И это вполне понятно. Исторические законы имеют ярко выраженный динамический характер, они являются тенденциями развития. Эти тенденции неизбежно ведут к обострению классовой борьбы, к революционным сдвигам, к завоеванию политической власти угнетенными классами. В понятии случайности они видели средство затушевать диалектику истории, создать впечатление отсутствия исторических законов и иллюзию прочности существующего порядка. Только марксизм подчинил события истории причинному объяснению.

Однако та же самая буржуазная наука, которая отстаивала значение случайностей в истории, охотно примирилась с полным детерминизмом в области естествознания. Мало того, гармонический, закономерный порядок в природе стал излюбленным аргументом буржуазных идеологов; они использовали его для „примирения веры и разума“ и в качестве „физико-телеологического доказательства“ бытия бога.

Но пиэтистам пришлось разочароваться, так как естествознание также приобретало все более диалектический характер и, следовательно, становилось неудобным для использования в смысле пиетических аргументов.

В особенности замечательный метод был введен в физику Максвеллом и Больцманом; этот метод был применен сперва в кинетической теории газов, но скоро вышел за ее пределы и охватил почти всю физику. Мы говорим о методе статистической механики. Статистическая механика основывается на исчислении случайностей, на исследовании общего результата многочисленных неупорядоченных движений частиц. Такой метод видит в стройных законах природы только общий результат хаотического движения атомов или электронов. Статистическая механика, таким образом, не ограничивается противопоставлением случайности и механической причины, хаоса и всеобщего детерминизма, она включает в себя единство указанных противоположностей и на этом единстве строит свои выкладки.

После введения статистического метода в физику, стало возможным говорить о законах случайных явлений; это единство закона и случая является одной из наиболее увлекательных проблем естествознания.

Таким образом, понятие случайного в физике не противопоставляется детерминизму, но имеет специальное значение. В связи с этим те определения, которые приписывают случайности только субъективное значение, становятся недостаточными. Например, известный английский статистик проф. Боули дает такое определение: „Мы полагаем, что то или иное явление есть дело случая, если наступление этого явления обусловливается многими независимо действующими причинами и если мы не можем исследовать влияния всех этих раздельно действующих причин“ [1]).

Применим это определение к какому-либо конкретному вопросу. Мы не знаем причин, которые привели к тому расположению звезд на небе, какое мы наблюдаем в настоящее время; именно поэтому, согласно проф. Боули, расположение звезд считается случайным. Но допустим, что мы знаем все постоянные причины, все силы, действующие между звездами. Это мало подвинет разрешение вопроса. Для того, чтобы объяснить, почему звезды размещены так, а не иначе, надо знать предшествовавшее расположение звезд, например то, которое имело место 10.000 лет тому назад, а также скорости звезд в ту эпоху. Но прежнее расположение звезд так же мало может быть объяснено общими законами, как и настоящее, и вытекает, в свою очередь, из предшествующего расположения: последнее также вполне беспорядочно и случайно и т. д. Таким образом выяснение причин приводит только к тому, что одно случайное расположение по строгим законам механики сменяется другим, не менее случайным.

---

[1]) Цит. по М. Смит, „Основы статистической методологии“, вып. первый, Госиздат, 1923.

Рассмотрим еще такой пример: обваливается оконный карниз и убивает идущего мимо прохожего. Оба причинных ряда: падение карниза и путь прохожего поддаются анализу; но если бы пространственно временное расположение объектов было несколько иным, катастрофа не имела бы места. Таким образом все дело здесь в неустойчивом расположении объектов; поэтому в физике под случайным понимается то, что проистекает из неупорядоченного расположения частей.

Неустойчивое и беспорядочное расположение является объективным свойством вещей, напр., молекул и атомов. Каждое такое расположение сменяется другим, столь же неустойчивым и беспорядочным. Если в такой смене неупорядоченных расположений и можно найти какие-либо законы, то только законы сводного, статистического характера. На этом и основывается применение статистического метода в физике, применение его к молекулам, атомам и электронам.

Но определение проф. Боули является неудовлетворительным и в области его собственных работ, и в области экономической статистики. Первый и главный закон случайных явлений заключается в том, что в массовом масштабе случайности сами себя упраздняют, что действия случайностей не накопляются, а компенсируют друг друга, вследствие чего вполне определенно выступают устойчивые законы, которые в малом масштабе маскируются индивидуальными отклонениями. Если бы влияния случайных отклонений могли накопляться вместе с расширением круга наблюдений, тогда статистика вообще не была бы возможной. Но как объясняет проф. Боули, почему взаимно уничтожаются, а не накопляются, действия неизвестных нам причин? Подобный закон — взаимно уничтожаются влияния тех обстоятельств, которых мы не можем исследовать — был бы очень шатким основанием для статистики. Точно так же непонятно, почему должны уничтожать друг друга следствия, если причины действуют раздельно и независимо.

Для того, чтобы объяснить, почему влияния случайных расположений, в конце концов, взаимно компенсируются, необходимо подвергнуть подсчету все возможные расположения объектов, а для этого надо обратиться к помощи математической комбинаторики, или теории вероятностей.

Рассмотрим еще теорию случайности, какую дает Анри Пуанкаре. Пуанкаре сводит случайность к неустойчивому равновесию или к тому роду причинной связи, когда из ничтожных причин проистекают крупные последствия („Наука и метод"). Например, конус, поставленный на вершину, находится в неустойчивом равновесии; бесконечно-малого наклона в ту или иную сторону достаточно для того, чтобы конус упал; поэтому падение конуса случайно. Падение шарика рулетки на тот или иной сектор также случайно, так как бесконечно-малой разности в силе удара достаточно для того, чтобы шарик остановился на красном, а не на черном секторе. Траэктории газовых

молекул случайны, так как достаточно отклонить молекулу до удара на величину бесконечно-малую для того, чтобы она после удара оказалась отклоненной на конечную величину.

Теория Пуанкаре имеет тот недостаток, что она не определяет случайности, но только отодвигает ее в область весьма малых величин. Крупные события, например, падение конуса, шарика рулетки и проч., можно признать случайными лишь тогда, если случайны те малые причины, которые их вызвали. Если же эти малые причины не случайны, то и следствия не могут быть случайными. Пуанкаре говорит, что мы знаем законы природы только приблизительно; он указывает на то, что причины, нарушающие состояние неустойчивого равновесия, не поддаются точному наблюдению вследствие их малости, почему мы и принуждены считать их случайными. Следовательно, Пуанкаре, как и проф. Боули, случайным называет неизвестное.

II.

В математической теории вероятностей понятие „вероятность" имеет двоякое значение. Во-первых, оно выражает отношение числа случаев, благоприятствующих какому-либо событию, к числу всех возможных случаев. Во-вторых, „вероятность" означает ту степень уверенности в наступлении события, на какую нам дает право указанное отношение. В этом втором смысле вероятность, равная или же близкая к 1, означает достоверность наступления события; вероятность, весьма близкая к 0, означает достоверность ненаступления события; вероятности, близкие к $^1/_2$, означают полную неопределенность; прочие значения, принимаемые вероятностью, дают право на ожидание одного предпочтительно перед другим, однако с большим или меньшим риском обмануться.

Отсюда следует, что если для изучения каких-либо объектов применяется теория вероятностей, то научное значение имеют только вероятности, весьма близкие к 0 и 1. В самом деле, тот, кто принимает какую-либо гипотезу, похож на игрока, который ставит все свое достояние на одну карту: он не может застраховать гипотезу, не может разделить риск на части; он может только или принять гипотезу в целом, или отвергнуть. Поэтому необходимо, чтобы такая игра велась наверняка, чтобы гипотеза была близка к достоверности.

Теория вероятностей в своем развитии начала с изучения азартных игр, стремясь вычислить, сколько шансов за и против имеет игрок в том или ином отдельном случае. Но она давно переросла подобные вопросы. Применение теории вероятностей к отдельным испытаниям не имеет в настоящее время никакого самостоятельного значения и служит только для выяснения основных понятий этой науки, а также в качестве примеров для упражнений. Действительная область применения теории вероятностей—это массовые испыта-

ния,—та область, где может быть применен закон больших чисел. Исчисление вероятности для какого-либо отдельного случая имеет совершенно ничтожное значение. Пусть, например, две игральных кости бросаются три раза. Вероятность выпадения дублета (одинакового числа очков на обеих костях) равняется 0,421296. Выпадет дублет, или нет? Можно ожидать и того, и другого. Вероятность несколько менее половины. Что означает этот длинный хвост десятичных знаков? В данном случае он имеет одно значение горькой насмешки над нашим почти полным незнанием. Но ту же самую дробь мы можем рассматривать, как точный закон, если испытание будет повторено большое число раз. Пятый и шестой десятичные знаки будут иметь тогда значение и ценность.

Таким образом истинной задачей теории вероятностей является исследование тех условий, при которых вероятность стремится к 0 и 1, т.-е. при которых она обращается в достоверность.

Теперь рассмотрим важнейшие понятия и метод теории вероятностей.

Теория вероятностей исчисляет различные случаи, к которым приводит какое-либо явление. Все эти случаи или статочности делятся на классы. Когда какой-либо случай включается в определенный класс, то говорят, что случай благоприятствует некоторому событию. Когда в результате испытания один из случаев, входящих в данный класс, становится достоверным,—говорят, что данное событие осуществилось. Каждому классу соответствует событие, и наоборот. Класс, отвечающий какому-либо событию, может обнимать собою один или несколько случаев. Наступление двух и более событий или повторение того же события может рассматриваться как сложное событие; сложному событию благоприятствуют классы более сложных случаев. Вероятностью события называется отношение числа случаев, входящих в соответствующий класс, ко всем возможным случаям.

Теория требует, чтобы все случаи или статочности были всевозможные, несовместимые, равновозможные. Случаи называются всевозможными, если известно, что при некоторых условиях один из случаев должен непременно наступить или стать достоверным. Несовместимость случаев достигается правильным делением на классы. Элементарные случаи, неразложимые далее, собственно могут быть или тождественны, или несовместимы; условие же несовместимости событий заключается в том, чтобы различные классы не имели общих членов.

Но основное значение для теории имеет вопрос о равновозможности случаев. Какие-либо расчеты вероятности возможны только тогда, если все случаи, к которым сведены ожидаемые события, являются равновозможными. В чем же заключается эта равновозможность? Лаплас определяет равновозможные случаи, как такие, существование которых для нас было бы одинаково неопределенно[1].

[1] Лаплас, Опыт философии теории вероятностей, 12 стр. русск. пер.

Таким образом равновозможность случаев, согласно Лапласу, есть признак, всецело субъективный. Случаи равновозможны для нас, поскольку мы не имеем основания ожидать наступления одного случая преимущественно перед другими. Иными словами: равновозможные случаи представляют собою не что иное, как гипотезы, в равной степени для нас проблематичные. Теория вероятностей, следовательно, сводится к подсчету гипотез, к определению отношения числа гипотез, благоприятствующих некоторому событию, к общему числу одинаково проблематичных гипотез. Например, в урне содержится пять белых и пять черных шаров; возможно сделать 10 гипотез о выходе того или иного шара, из которых пять гипотез благоприятствуют появлению белого шара. Отсюда вероятность этого события равна $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$.

Д.-С. Милль вслед за Лапласом высказывается таким образом о вероятности: „Мы должны помнить, что вероятность того или другого события не есть качество самого этого события, а лишь название для той степени основательности, с какой мы или кто-нибудь другой можем его ожидать. Вероятность данного события, как она представляется одному лицу, отлична от вероятности того же самого события для другого лица или даже для того же самого лица, раз оно получит новые данные относительно этого события[1]).

Однако материализм в данном вопросе должен итти другим путем.

Эмпиризм Лапласа и Милля приводит к совершенно неудовлетворительному решению. Несостоятельность взглядов Лапласа и Милля в данном вопросе легко обнаруживается при ближайшем рассмотрении теории вероятностей.

В математической теории рассматриваются два рода испытаний: зависимые и независимые от исхода предшествовавших испытаний. Представим себе опять урну с шарами. Пусть нам известно, что урна содержит черные и белые шары, но количество тех и других неизвестно. Испытания состоят в том, что из урны берется наудачу шар, замечается его цвет, после чего шар возвращается в урну, содержимое которой перемешивается. Вероятность выхода белого и черного шаров одинакова, так как оба случая равно неопределенны для нас до выяснения обстоятельств; по выяснении же обстоятельств вероятность принимает значение, отличное от прежнего. При повторении испытаний исход предшествовавших опытов всегда является некоторым указанием, которое содействует выяснению обстоятельств, а потому влечет за собою составление новых гипотез и изменяет вероятность прежних. Таким образом вероятность при каждом испытании зависит от исхода предшествовавших испытаний. Такая вероятность называется в математической теории вероятностью гипотез; к ней вполне подходят указанные определения Лапласа и Милля; но такого рода испытания имеют второстепенное значение.

[1]) Милль, Система логики, пер. Ивановского, 2 изд., 487 стр.

Другого рода испытания имеют место, когда бросается монета или кость, или если известно количество шаров того и другого цвета в урне. Здесь испытания независимы, так как все устойчивые обстоятельства выяснены; предшествующие события не могут влиять на вероятность последующих, и вероятность при повторении испытаний не меняется. При бросании кости равновозможность вскрытия каждого из шесть очков не может быть сведена к равной неопределенности в представлении субъекта, но основывается на вполне объективном качестве: на симметрии кости. Из симметрии граней кости вытекает строго одинаковое отношение к внешним влияниям. Положим, что при бросании кости вскрылось одно очко. Но если бы в бросающей руке расположение первой грани занимала какая-либо другая грань, то вскрылась бы эта последняя. Таким образом одно и то же движение руки может привести к шести различным исходам в зависимости от шести возможных вполне эквивалентных и друг друга замещающих начальных положений кости в руке. Отсюда следует также, что исследование внешних влияний излишне; все дело в неустойчивом расположении кости по отношению к внешним влияниям и в симметрии самой кости. Если все шары в урне одинакового размера и веса, то они также вполне симметричны в отношении к внешним влияниям, и каждое движение руки может извлечь из урны любой шар в зависимости от расположения последних.

Но только вероятность, основанная на симметрии, имеет значение при массовых испытаниях. Если симметричная кость бросается 6.000 раз, то можно быть уверенным, что число выпадений одного очка будет близко к 1000. Если 10.000 раз вынимается шар из урны, содержащей 5 белых и 5 черных шаров, то белый шар будет извлечен около 5.000 раз. Если же число белых и черных шаров в урне неизвестно, то хотя вероятность и равна опять половине, но ожидать выхода белого шара около 5.000 раз при 10.000 испытаний нет никаких оснований.

Таким образом понятие вероятности, которое дают Лаплас и Милль, вовсе не применимо к массовым испытаниям, а относится только к единичным испытаниям и является пережитком младенческого периода теории вероятностей, когда ее предметом было исследование шансов в азартных играх.

Теорема Бернулли и все другие теоремы, на которых основывается закон больших чисел, в своем условии требуют ряда независимых испытаний. Но субъективная вероятность не может дать независимых испытаний. Следовательно, закон больших чисел основывается не на субъективной вероятности, а на объективных свойствах вещей.

В теории вероятностей имеет важное значение различие вероятности a priori и вероятности a posteriori. Вероятность при независимых испытаниях называется также вероятностью a priori. Если мы не знаем свойств объекта, над которым производятся испытания, то

мы можем получить приближенное значение истинной вероятности a posteriori после большого количества испытаний. Так, если 1000 раз вынимался шар из урны, при чем белый шар появился 296 раз, то мы можем заключить, что отношение числа белых шаров в урне к общему количеству шаров равно $^3/_{10}$ и, следовательно, такова будет объективная вероятность выхода белого шара.

Рассуждая отвлеченно, казалось бы, что вероятность a posteriori имеет преимущество перед вероятностью a priori: мы не можем знать с полной точностью всех свойств объектов, над которыми производятся испытания, не можем иметь абсолютно симметричной кости или монеты, а следовательно, не можем вполне точно a priori определить вероятность. После весьма большого количества испытаний мы можем определить вероятность весьма точно. Следовательно, вероятность a posteriori имеет преимущество.

Но в действительности дело обстоит как раз наоборот. Возможно, например, так точно выточить кость или отчеканить монету, что преимущество той или другой стороны будет совершенно ничтожно. Убедиться в том, что здесь имеет место неполная симметрия и некоторое ничтожное преимущество орла или решетки, или какой-либо грани кости и найти поправку к априорной вероятности возможно только после такого колоссального количества испытаний, какое вовсе не доступно для эксперимента, для которого не хватило бы многих человеческих жизней. Таким образом есть много случаев, где априорная вероятность имеет определенное преимущество. В нашем распоряжении имеется ограниченное количество испытаний; поэтому статистические выводы не бывают строго точными.

Указанное различие очень важно, так как именно на нем основывается различие методов статистической механики и статистики. Статистическая механика применяет вероятность a priori, статистика — вероятность a posteriori.

III.

Теорема Бернулли занимает центральное положение в теории вероятностей, так как закон больших чисел представляет только ее обобщение. Теорема Бернулли формулируется так: если имеем неограниченный ряд независимых испытаний, и для всех их в отдельности вероятность некоторого события E одинакова и равна p, то при достаточно большом числе испытаний будет сколько угодно близка к достоверности, т.-е. к единице, вероятность, что отношение числа появлений события E к числу испытаний сколько угодно мало отличается от p.

Мы уже указывали, что доказательство теоремы Бернулли основывается не на подсчете гипотез, равно проблематичных, а на подсчете действительно возможных расположений исследуемых объектов и следовательно имеет под собой вполне реальную почву. Идея дока-

зательства теоремы Бернулли сводится с следующему: над некоторыми объектами производятся испытания, при чем в результате каждого испытания или появляется, или не появляется событие E. Итог испытаний зависит, во-первых, от постоянных свойств объектов, над которыми производятся испытания, и, во-вторых, от расположения объектов. Пусть мы знаем все те постоянные свойства объектов, от которых зависит исход испытания, однако неустойчивого расположения причин, действующих при каждом отдельном испытании, мы не знаем и знать не можем. В таком случае необходимо найти такие условия, при которых и не нужно вовсе знать неустойчивых расположений, когда всякое расположение, за ничтожными исключениями, приводило бы к тому же самому результату. Подобные условия имеют место при весьма большом количестве независимых испытаний. Пусть испытания производились n раз, например n раз бросалась кость или монета или вынимался наудачу шар из урны. Будем рассматривать ряд из n испытаний как одно сложное испытание, ряд из n событий—как одно сложное событие, и подсчитаем, сколькими способами может осуществиться это сложное событие. Пусть такое событие может осуществиться N способами[1]). Разделим все N возможностей на два класса. К первому классу отнесем все те случаи, при которых отношение числа появления события E к числу испытаний очень близко к априорной вероятности p. Все остальные способы осуществления события отнесем ко второму классу. Техническая часть доказательства теоремы Бернулли сводится к подсчету количества расположений, входящих в указанные классы и в определении отношения этих количеств к общему числу N расположений. В результате подсчета обнаруживается, что при достаточно большом значении n подавляющее число расположений относится к первому классу, и что число расположений, входящих во второй класс, исчезающе мало по сравнению с общим числом N расположений.

Итак, мы имеем доказательство того, что итог большого количества случайностей уже не является случайным и не зависит от тех или иных расположений, так как всякое расположение, за совершенно

ми, приводит к тому же самому итогу. Теорема Бернулли, следовательно, объясняет, почему случайности взаимно компенсируются и в массовом масштабе сами себя упраздняют.

Анри Пуанкаре иначе смотрит на устойчивость итога случайностей. В согласии с своей теорией он пытается объяснить законы случайного длинной предшествовавшей эволюцией, в течение которой

ные причины способствовали образованию смеси элементов и все нивеллировали, приводя к однообразию. „Состояние неустой-

---

1) Очевидно, что число N всевозможных, несовместимых и равновозможных расположений, которые могут иметь место при N испытаниях, равно: $N = \sum C_n^i$, где n—

$i = 1, 2, 3 \ldots n$.

3... n—числа появления события E при n испытаниях

C_n^i —число сочетаний из n элементов по i.

чивого равновесия—говорит Пуанкаре,—которое мы называем начальным, является на самом деле лишь заключительной точкой длинной предыдущей истории". По его мнению, кривые случайностей в начале имели неправильный характер, но в результате эволюции они сделались непрерывными—„время нивеллировало кривые вероятности". Однако Пуанкаре не доказывает ни существования этой эволюции, ни способа ее действия. Вообще объяснение отдельных примеров по схеме Пуанкаре носит совершенно искусственный характер; в некоторых же случаях эта схема оказывается вовсе не применимой.

„Применение исчисления вероятностей к точным наукам тоже встречает немало затруднений. Почему распределяются по законам случая десятичные знаки таблицы логарифмов, десятичные знаки числа π? В другом месте мне пришлось исследовать этот вопрос в отношении логарифмов, при чем ответ оказался нетрудным: ясно, ведь, что малая разность в аргументе дает малую разность в логарифме, но большую разность—в шестом десятичном знаке его. Опять мы встречаем здесь тот же критерий. Но в отношении числа π ответ труднее, и здесь я ничего хорошего сказать не имею"[1]).

Между тем, решение вопроса ясно и очевидно. Число π удовлетворяет тому условию, что его десятичные знаки распределяются по законам случая, просто потому, что почти все большие многозначные числа удовлетворяют этому условию; количество чисел, не удовлетворяющих этому условию, исчезающе мало по сравнению с общим количеством возможных значных чисел, при чем это отношение стремится к нулю с возрастанием π. Пуанкаре не мог этого не знать. Но ответить на поставленный им вопрос для него значило показать, как из ничтожной причины проистекают большие последствия, или же показать, как „время нивеллирует кривые вероятностей". Вот, мне кажется, превосходный пример того, как ложная предвзятая идея отклоняет от ясной и очевидной истины самые блестящие умы!

IV.

Законом больших чисел Пуассон назвал теорему, в которой он обобщил теорему Бернулли; теорема Пуассона в свою очередь была обобщена, и выведенные таким образом общие предложения также получили название закона больших чисел.

Сущность закона больших чисел можно изложить так: средняя арифметическая однородных независимых величин, при условии достаточно большого количества последних, будет как-угодно мало отличаться от средней арифметической математических ожиданий этих величин. Но математическое ожидание какой-либо величины, в свою очередь, есть не что иное, как a priori вычисленная средняя арифметическая результатов нескольких действительных или возможных испытаний. Поэтому, переведя закон больших чисел с

[1]) А. Пуанкаре, Наука и метод, 72 стр. русск. пер.

технического языка математики на обыкновенный, получим: a priori вычисленная средняя однородных независимых величин будет как угодно мало отличаться от средней, найденной a posteriori (путем массовых наблюдений), при условии рассмотрения достаточно большого количества независимых величин.

В тех случаях, когда мы знаем все постоянные причины, влияющие на исход независимых испытаний, закон больших чисел позволяет нам предвидеть результат массовых опытов, так как при достаточно большом количестве испытаний влияния неустойчивых расположений сами собою исключаются.

Закон больших чисел позволяет также решать и обратную задачу: по результатам массовых наблюдений, сводя вместе большое количество данных в опыте случайных величин, найти с известной степенью приближения тот тип явлений, ту среднюю величину, которой благоприятствуют неизвестные постоянные причины, влияющие на объекты наблюдений.

Таким образом существует не один метод применения теории вероятностей к массовым явлениям в различных науках, как обычно думают, но два принципиально различных метода.

Область применения первого метода сравнительно ограничена. Он может применяться в тех случаях, когда объекты относительно просты, чрезвычайно многочисленны и сходны друг с другом, находятся в непрерывном движении. Такие условия мы находим в мире атомов, молекул, электронов,—здесь и применяется первый метод—статистическая механика.

Другой метод имеет более обширное применение в различных областях знания: в общественных науках, в биологии, метеорологии, физике (напр., исключение случайных ошибок наблюдений), астрономии и проч. Так как один и тот же метод применяется во многих науках, то под статистикой в широком смысле следует понимать всякое обратное применение закона больших чисел.

Статистический метод применяется в тех случаях, когда действуют в точности неизвестные, но устойчивые причины, и в то же время вместе с ними действуют переменные влияния, зависящие от беспорядочного распределения некоторых факторов. Эти переменные влияния создают индивидуальные отклонения, но в большом объеме взаимно компенсируются. Получаемая при этом устойчивость больших статистических чисел объясняется не чем иным, как устойчивостью постоянных причин, действующих в исследуемой области. Если бы переменных влияний не было, то влияние постоянных причин можно было определить в каждом отдельном случае. Например, было бы достаточно опытов с 3—6 растениями, чтобы установить законы менделизма. В действительности же необходимо проделать опыты с несколькими сотнями растений для того, чтобы законы наследственной передачи признаков выступили с полной ясностью. Даже в массовом масштабе случайности компенсируются не вполне, так что выводы статистики всегда имеют ограниченную точность.

Постоянно действующие в какой-либо области причины благоприятствуют некоторой средней величине, не зависящей от индивидуальных отклонений. Значение этой величины мы могли бы найти a priori, если бы знали в точности природу действующих постоянных причин. Но в тех случаях, когда явления слишком сложны, нам остается другой путь: сводя вместе результаты многочисленных наблюдений частных случаев, найти истинную среднюю a posteriori. В простейших случаях арифметическая средняя наблюденных зарегистрированных величин дает приближенное значение той истинной средней, которой благоприятствуют устойчивые причины. Убедиться в близком совпадении истинной и a posteriori найденной средней можно, рассматривая отклонения от найденной средней величины. Случайные отклонения от истинной средней дают характерную картину, изображаемую хорошо известной кривой, которую можно найти во всех учебниках статистики. Такой простой результат получается, когда все исследуемые объекты однородны, т.-е. если во всех случаях наблюдений производят действие одни и те же постоянные причины. Если же объекты наблюдений не однородны, т.-е. если в различных случаях действуют различные причины, тогда средняя арифметическая имеет значение лишь счетной абстракции и не выражает собою никакого общего закона.

Пусть, например, определяется средняя продолжительность человеческой жизни. Здесь объекты не однородны, так как в городах и селах действуют различные причины, благоприятствующие различным значениям средней для городских и сельских жителей; кроме того, средняя продолжительность жизни беднейшего населения города, средних слоев и богачей будет различна. Простая арифметическая средняя всех наблюдений, собранных вместе, поэтому будет иметь малое значение; это сейчас же и обнаружится, так как кривая отклонений не будет иметь указанного простого характера.

Часто бывает не так легко решить, имеем ли мы дело с однородными или же с неоднородными величинами; поэтому вывод истинной средней из многих наблюдений является далеко не простой задачей. Необходимо, далее, в данном статистическом материале отобрать все однородные величины и исключить величины другого рода или же выделить их в особые группы и вывести для них особые средние арифметические. Все такие задачи нахождения типических средних из наблюдений над объектами не вполне однородного характера решаются посредством теории вероятностей, т.-е. посредством скрытого в математических формулах подсчета результатов всех возможных расположений. Иногда бывает невозможно в силу каких-либо причин добыть необходимый статистический материал путем наблюдений, и приходится делать выводы из недостаточных данных; такие выводы могут быть сделаны также только при помощи теории вероятностей. Впрочем, было бы бесполезно перечислять здесь все возможные приложения теории вероятностей к статистике.

Однако простое производство наблюдений и их математическая обработка сами по себе могут дать мало ценных результатов. В самом деле, мы видели, что комплекс устойчивых причин благоприятствует некоторому конечному результату, некоторой определенной средней. Этот конечный результат, общее действие комплекса причин можно открыть при помощи методов теории вероятностей с тем или иным приближением. Общий комплекс причин может быть иногда разбит на частные комплексы; влияние частных комплексов может быть выделено. Но, во всяком случае, мы находим обычно только конечный результат влияний многих факторов, связь которых с полученными результатами—только эмпирическая. Каждый фактор в отдельности остается нам неизвестен, и неизвестна его степень устойчивости; следовательно, и обобщать полученные результаты можно только с осторожностью, не выходя значительно за пределы места и времени полученных результатов.

Иная картина получается, если статистическим исследованием руководит теоретическое мышление, которое хорошо изучило процессы, происходящие в среде наблюдаемых объектов. Только теоретическое мышление сможет разложить комплекс совместно действующих причин, разложить на их составляющие и оценить устойчивость каждого фактора в отдельности. Только ясное понимание природы изучаемых процессов позволяет выделить однородные группы объектов и вообще находить подходящие объекты и масштабы для исследования.

С своей стороны и теоретическое мышление во всех спорных вопросах должно опираться на статистически обработанный материал.

V.

Итак, статистика характеризуется апостериорной вероятностью, эмпирической связью комплексов причин с найденным конечным результатом; эмпирическим значением обобщений, большими пространственно-временными границами исследований и, наконец, возможностью более или менее значительных отклонений результатов от величины, признанной наивероятнейшей.

Совершенно иную картину дает нам статистическая механика. Основная концепция статистической механики представляет собою не что иное, как логическое развитие атомизма. Здесь мы исходим из допущения весьма большого количества малых элементов—молекул, атомов, электронов,—из которых состоят тела. Мы допускаем также, что все явления, как известные нам с внешней стороны, так и те, которые мы желаем открыть, представляют собой суммарные эффекты, производимые движениями большого количества однородных элементов. Мы предполагаем, что расположение элементов друг относительно друга неустойчиво. Постараемся представить себе скопление многих биллионов подобных элементов. В таком скоплении господствуют случайность и полный беспорядок. Миллиарды частиц,

ничем не связанных между собою, приходят лишь на короткое время во взаимодействие, и такими случайными встречами определяются все их движения; одно расположение частиц сейчас же сменяется другим, третьим и т. д.; каждое скопление миллиардов элементов представляет собою настоящий хаос. Иногда расположения элементов могут быть связаны теми или иными постоянными условиями, но всегда при этом остаются степени свободы, позволяющие происходить беспорядочной и непрерывной смене расположений. Однако движения элементов суммируются и дают в результате некоторый общий эффект, в котором скопление элементов выступает перед нами как целое. Различные расположения элементов могут давать или различные, или те же самые суммарные эффекты. Во всех случаях необходимо знать не то или другое конкретное расположение элементов, но тот класс расположений, к которому он принадлежит. Все возможные расположения элементов разбиваются на классы; в класс соединяются все те расположения, которые производят тот же самый суммарный эффект. Важнейшие постоянные свойства элементов газов, излучений и проч. предполагаются известными.

Из этих посылок можно вывести a priori вероятность тех или иных суммарных эффектов и, следовательно, наступление тех или иных явлений, как результатов движения элементов; указанная вероятность явлений зависит, очевидно, от количества возможных расположений в соответствующем классе. Вычисление показывает, что подавляющее количество расположений принадлежит к одному классу,—к классу равномерного неупорядоченного расположения вещества и энергии. Наивероятнейшей, поэтому, представляется следующая картина: элементы распределены приблизительно равномерно по всему объему, им предоставленному; столь же равномерны и неупорядочены движения; через каждое сечение некоторого объема, занятого элементами, в одинаковое время проходит приблизительно одинаковое количество материи и энергии по всем направлениям. Одно равномерное расположение сменяется другим, также равномерным. Исключения в высшей степени редки, их вероятность практически равна нулю. Следовательно, при выводе суммарных явлений из движения элементов нужно принимать во внимание только один указанный класс расположений. Вероятность явлений, производимых беспорядочными равномерными расположениями элементов, будет практически совпадать с единицей.

Указанные допущения позволяют вывести с большой точностью свойства многих тел и законы, управляющие явлениями, а также предсказать результаты многих экспериментов. Представим себе, например, что в сосуде находятся два различных газа отдельно друг от друга, при чем перегородка, их разделявшая, удалена. Эти соприкасающиеся скопления частиц двух сортов, какими являются газы, имеют все шансы перемешаться благодаря случайным беспорядочным движениям. Но, перемешавшись, они уже почти не имеют шан-

сов разделиться вновь. Мало того, наиболее вероятным будет самое полное смешение газов; как бы ни было мало скопление частиц одного газа в какой-либо части сосуда, в него неизбежно будут проникать случайные частицы другого газа. Смешение или диффузия газов, стало быть, будет совершаться не в силу специального „закона диффузии", а просто в результате случайностей. Произойдет нечто подобное, если мы будем тасовать колоду карт. В результате более или менее продолжительной перетасовки карты будут располагаться все в большем беспорядке, при чем карты какого-либо сорта будут иметь ничтожное число шансов собраться вместе, а, наоборот, будут распределяться приблизительно равномерно.

Первым триумфом описываемого метода было создание кинетической теории газов и механической теории тепла. При помощи небольшого числа простых допущений: что газы состоят из молекул, что молекулы эти совершенно упруги, что они движутся и расположены в беспорядке—были выведены тепловые законы газового состояния тел.

Универсальное значение статистической механики выяснилось лишь в последнее время. Оказалось, что и электричество имеет атомистическое строение, что явления лучеиспускания также представляют собою суммарные эффекты неупорядоченных движений. Область применения статистической механики в физике все расширяется. Можно указать следующие отделы физики, где объяснение явлений основано на методах статистической механики: механика газов, жидкостей (броуновское движение), теплота, растворы, электролиз, теория электронов, лучеиспускание и абсорбция, радиоактивность,—словом, вся физика, за исключением отдельных ее уголков [1].

Все выводы статистической механики имеют точный характер. Элементы принимаются настолько малыми, что в малейшем объеме вещества заключаются миллиарды элементов. Если мы возьмем, например, объем газа в ничтожную долю кубического миллиметра в ничтожную долю секунды, то в указанных границах будет существовать некоторый риск уклонения в распределении молекул газа от наиболее вероятного. Если же взять кубический миллиметр газа в течение секунды, то риск уклонения от вероятнейшего состояния можно принять равным нулю. Статистическая механика, как и всякая теория, не может, конечно, достичь абсолютно точного совпадения теоретических величин с опытными, но всякая неточность должна быть отнесена на счет не полной точности основных посылок.

Что касается основных посылок, то статистическая механика делает только такие допущения о природе и свойствах элементов, производящих явления, какие могут быть проверены многими другими способами. В общем статистическая механика принимает только

[1] См. А. К. Тимирязев, „Кинетическая теория материи". В книге с применением высшей математики, но сравнительно доступно, рассмотрены все важнейшие применения закона больших чисел к физике.

то, что уже известно и твердо установлено в физике. Атомная теория, являющаяся предпосылкой статистической механики, давно перестала быть гипотезой; установлены и проверены важнейшие данные о числе, размерах и проч. различных элементов. Только кванта энергии остается пока гипотетическим детищем статистической механики.

Связь между явлениями, которую устанавливает статистическая механика, имеет не эмпирический, но рациональный характер; поэтому статистическая механика служит могучим орудием объяснения законов природы.

VI.

Понятие случайности необходимо рассматривать в связи с понятием механической причины. Таким путем мы можем обнаружить, что между этими понятиями никакой пропасти не существует и что они могут переходить одно в другое.

Разыскание причин может производиться в двух направлениях. Во-первых, можно искать так называемую полную причину явления, т.-е. найти все факторы, обусловливающие какое-либо единичное событие или же состояние системы в определенный момент времени. События получаются всегда в результате соединения некоторых обстоятельств. Следовательно, полной причиной такого события является совокупность тех же самых обстоятельств в момент, непосредственно предшествовавший их соединению. Вообще полной причиной состояния изолированной системы в какой-либо данный момент времени t является состояние системы в предшествовавший момент. Но состояние какой-либо системы в данный момент характеризуется неустойчивым расположением ее частей. Причиною данного неустойчивого расположения частей системы в момент t может быть только предшествовавшее неустойчивое расположение, которое, в свою очередь, имеет причину в предшествовавшем расположении, и т. д. Как бы далеко мы ни спускались в этом ряду, мы нигде не сможем натолкнуться на первоначальное расположение, которое объяснило бы определенным законом, почему части системы—напр., молекулы газа или звезды в пространстве — располагаются так, а не иначе. Таким образом разыскание ряда предшествовавших обстоятельств при изучении явлений природы во многих случаях ровно ни к чему не приводит и дает только случайные причины, знание которых нисколько не подвигает науку вперед.

Но, во-вторых, можно задаться вопросом о причинах целого процесса, о причинах всего ряда непрерывно следующих друг за другом состояний. Разыскание предшествовавших обстоятельств не может дать ответа на этот второй вопрос. Причинами какого-либо процесса, взятого в целом, можно считать только устойчивые обстоятельства, обусловливающие собою течение всего процесса, т.-е. непрерывную смену состояний, и остающиеся в этой смене неизменными. Таким

образом нахождение причин в этом втором смысле заключается в сведении явлений к устойчивым связям и неизменным законам. Именно указанный второй способ причинного объяснения преобладает в естествознании; естествознание и состоит преимущественно в знании законов природы.

Однако не все в природе может быть сведено к причинам устойчивого характера. Если допустить, что когда-либо будут открыты все законы природы, т.-е. все устойчивые связи явлений, какие только существуют,—все они, взятые вместе, не могли бы все-таки объяснить данного неустойчивого расположения частей системы.

В таком случае взглянем на дело с другой стороны: если неустойчивое расположение не может быть объяснено законами природы, то оно само является наилучшим объяснением для законов природы!

Сведение неустойчивых расположений к устойчивым законам невозможно; но обратное сведение возможно, и оно осуществляется в физике посредством посылок статистической механики. Классы неустойчивых расположений могут быть весьма устойчивы; поэтому законы природы могут быть сведены к классам неустойчивых расположений. Наблюдаемая нами устойчивость явлений оказывается только итогом, суммарным эффектом сменяющих друг друга неустойчивых расположений; за этой относительной устойчивостью повсюду кроется хаотическое движение частиц. Мы видели, что посылки статистической механики постепенно вытесняют эмпирические посылки из различных областей физики. И если прежде успехи естествознания привели к заключению, что области случайности, противоречащей причинному закону, вовсе не существует, то в настоящее время успехи атомизма в физике приводят к заключению, что область случайности совпадает с областью рациональной механической причины явлений!

Позитивисты обычно противопоставляют статистическое объяснение явлений причинно-механическому объяснению. Но такое противопоставление не выдерживает ни малейшей критики и свидетельствует только о недиалектическом способе мышления. Статистическое объяснение в физике является механическим объяснением, так как оно сводит явления к материи и движению. Оно является наилучшим механическим объяснением; в самом деле, всякое другое объяснение выводит закон А из закона В, закон В из закона С и т. д., причем цепь должна быть достаточно длинной, чтобы дойти до атомных и электронных движений; между тем, статистическая механика непосредственно дедуцирует законы явлений из неупорядоченного движения частиц.

Утверждают также, что физика вынуждена прибегать к статистическому методу ввиду неопределенности данных, ввиду того, что точное расположение частей системы, точное значение координат атомов в какой-либо момент остается неизвестным. Но и это неверно. То или иное конкретное расположение движущихся частиц для нас

совершенно безразлично: для нас важен только тот класс, к которому принадлежит расположение частиц. Но мы хорошо знаем, что всякое расположение молекул (за совершенно не имеющими значения исключениями) принадлежит к одному классу,—классу неупорядоченных равномерных расположений. А только это и требуется для объяснения законов природы. Следовательно, если бы даже мы узнали точные координаты и точные пути каждой молекулы, — это ровно ничего не прибавило бы к нашему объяснению явлений.

Статистическое объяснение является наилучшим механическим объяснением также потому, что оно исключает всякую телеологию, всякую попытку со стороны благочестивых буржуа усмотреть „гармонию", „разумное начало" и т. под. в системе законов природы. Статистические законы природы стихийны в полном смысле этого слова: они являются естественным результатом вечного движения атомов,— результатом непрерывной смены неупорядоченных расположений.

VII.

Мы говорили, что почти все расположения элементов какой-либо системы равномерны, неустойчивы, беспорядочны, за совершенно ничтожными исключениями. Однако рассмотрим эти „совершенно ничтожные исключения", так как в мировом космическом процессе они играют колоссальную роль. Среди всех возможных расположений системы, кроме обычных неупорядоченных расположений, возможны также упорядоченные комбинации, а среди последних такие, которые обладают устойчивостью и способностью к сохранению и эволюции. Случайное возникновение таких упорядоченных расположений чрезвычайно мало вероятно; однако, если мы допустим, что наша система элементов расширена до размеров вселенной, то и наименее вероятные комбинации рано или поздно должны возникнуть. Возникновение таких упорядоченных расположений является делом случая, и в то же время оно необходимо: эта необходимость предусматривается также математической теорией. Обратимся опять к теории вероятностей.

При неопределенном продолжении испытаний среднее арифметическое наблюденных результатов испытаний как угодно близко подойдет к средней величине математических ожиданий указанных результатов. Это справедливо для всего ряда весьма большого количества испытаний. При этом распространение испытаний в пространстве имеет такое же значение, как и продолжение их во времени. Если же взять отдельные участки этого ряда, то здесь неизбежны более или менее значительные отклонения средней арифметической результатов от вероятнейшего значения. Как велики могут быть указанные отклонения? На различных участках ряда отклонений могут быть больше или меньше, но при достаточном продолжении испытаний

всегда может быть найден такой участок, где отклонения от вероятнейшего результата как угодно велики, т.-е. больше всякой заданной величины. Таким образом теория предусматривает как близкое совпадение среднего результата большого ряда испытаний с наиболее вероятной величиной, так и неизбежность отклонений от вероятной величины в отдельных случаях.

Образование упорядоченной системы из хаоса неупорядоченных движений есть событие весьма мало вероятное. Но упорядоченное расположение молекул, тем не менее, принадлежит к числу возможных; следовательно, как ни мала вероятность образования упорядоченной системы, она все же отлична от нуля. В таком случае можно вывести следующие два положения: во-первых, при неопределенно продолжающейся смене расположений, т.-е. при продолжающемся движении частиц, всякое возможное упорядоченное расположение возникает с неизбежностью. Пусть p означает вероятность возникновения упорядоченной системы за время одного года; при чем p в данном случае весьма малая дробь. Вероятность ненаступления нашего события, т.-е. невозникновения упорядоченной системы в течение года равна $1-p$. В течении n лет вероятность невозникновения системы равна $(1-p)^n$, а вероятность возникновения $1-(1-p)$. Но величина n растет безгранично. Следовательно, как бы ни была умопомрачительно мала дробь p, вероятность невозникновения системы стремится к нулю, а вероятность возникновения стремится к единице, т.-е. наступление события необходимо.

Во-вторых: при неопределенном продолжении беспорядочного движения частиц упорядоченные расположения будут возникать периодически, при чем средняя величина периода есть функция о вероятности, класса упорядоченных расположений.

Возьмем такое n, чтобы $(1-p)^n = \frac{1}{2}$; отсюда $n = -\frac{\log 2}{\log(1-p)}$; так как $\log (1-p)$ чрезвычайно малая отрицательная величина, то n—весьма большое положительное число. Пусть s лет будет период времени весьма большой по сравнению с n. В таком случае, согласно теореме Бернулли, упорядоченное расположение возникнет приблизительно $\frac{s}{2^n}$ раз в течение периода s, при чем n есть указанная функция от p.

Полученный результат может быть применен, например, к вопросу о происхождении живых существ. Первичное живое существо представляет собою некоторую комбинацию молекул. Ни про одну комбинацию молекул нельзя сказать безусловно, что вероятность ее возникновения равна нулю. Во всяком случае, такая комбинация молекул, как в простейшей клетке, имеет некоторую вероятность возникнуть при некоторых особо благоприятствующих условиях. Эти условия в свою очередь могут возникнуть вследствие благоприятных совпадений в ходе эволюции какой-либо планеты. Как бы ни была ничтожна вероятность самопроизвольного зарождения организован-

ного существа, но если ареной его возможного происхождения служит вселенная, безграничная во времени и пространстве, то эти организмы должны неизбежно возникнуть. Таково происхождение жизни с точки зрения атомизма.

Возьмем более обыденный пример: один их игроков в винт имеет на руках большой шлем. Такой расклад карт в любой данный момент случаен и зависит от расположения обстоятельств; но при неопределенном продолжении игры наступление такого расклада необходимо, потому что вероятность его отлична от нуля.

Подобные выводы могут нам указать процессы, обратные по отношению к всеобщему закону рассеяния энергии. Согласно принципу Карно, всякая энергия стремится перейти из более ценной формы в менее ценную, т.-е. в форму, менее способную совершать полезную работу. Механическая, электромагнитная, химическая и т. под. энергии переходят в тепло, а тепло стремится рассеяться в пространстве. Всякие разницы температур стремятся выровняться; а так как для совершения работы необходима разность температур, то энергия в природе все более и более обесценивается. Параллельно с понижением качества энергии и с падением ее ценности возрастает энтропия, некоторая функция состояния тела. Энтропия выражает собою меру обесценения энергии системы. Принцип рассеяния энергии может быть также выражен в такой форме: энтропия вселенной стремится к максимуму. Вследствие этого миру угрожает так называемая „тепловая смерть“, т.-е. состояние полного выравнивания температур, полного истощения полезной энергии и невозможности какой бы то ни было работы.

Физики тщетно искали каких-либо процессов в природе, которые давали бы в результате уменьшение энтропии, и только Л. Больцман показал, что стремление к рассеянию энергии и переходу в менее ценные формы объясняется движениями мельчайших частиц. Совокупность частиц в какой-либо системе стремится перейти к менее упорядоченному, более равномерному и вообще к более вероятному расположению, следствием чего и является обесценение энергии. Энтропия, с этой точки зрения, есть не что иное, как логарифм вероятности состояния системы, как особого класса расположении. Стремление энтропии к максимуму означает стремление частиц к вероятнейшему, т.-е. к наиболее равномерному и неупорядоченному, расположению.

Допустим теперь, что „тепловая смерть“ вселенной наступила, и вселенная находится в наиболее вероятном состоянии. Мы видели, что математическая теория предусматривает неизбежность отклонений от наивероятнейшего состояния: материя и энергия могут в некоторых пунктах концентрироваться, образовать упорядоченную систему. Так как вселенная безгранична, то и размер таких отклонений может быть больше всякой заданной величины. В общем масштабе вселенной эти отклонения ничтожны; но с нашей точки зрения они могут

быть колоссальны; они могут быть достаточны как для образования отдельной туманности, так и целой звездной системы, подобной млечному пути.

Больцман первый обратил внимание на неизбежность грандиозных отклонений от вероятнейшего течения процессов в бесконечности пространства и времени.

Среди современных исследователей аналогичные взгляды высказывает В. Нернст. Нернст принимает, что атомы всех элементов вселенной разлагаются с течением времени, при чем радиоактивные элементы отличаются от прочих только быстротой распада. Конечным продуктом разложения атомов, согласно Нернсту, является первичная субстанция, которую он отождествляет с мировым, междупланетным эфиром. В этом заключается процесс рассеяния. Но Нернст указывает также на неизбежность обратного процесса: в эфире должны осуществляться всевозможные группировки, даже самые невероятные, и таким путем время-от-времени могли бы вновь образоваться атомы различных элементов. По расчетам Нернста, если в сотне литров мирового эфира может возникнуть один атом урана в период несравненно более громадный, чем 1000 миллионов лет, тогда распад атомов будет компенсирован и масса мира в среднем будет постоянной [1]).

Таким образом, быть может, „тепловая смерть“ представляет собою нормальное состояние вселенной; вселенная в целом всегда находится в своем наивероятнейшем состоянии; космические системы возникают из хаоса, как неизбежные исключения согласно тому же закону вероятности, как и большой шлем получается в карточной игре. Но раз подобная космическая система возникла, частицы, ее составляющие, опять стремятся возвратиться к наиболее вероятному состоянию, и во всех процессах опять получает господство закон увеличения энтропии. Подобный взгляд мог бы нам объяснить также чрезвычайную редкость космических систем, громадные расстояния между небесными телами в сравнении с величиной последних.

Итак, законы случая проливают свет на происхождение космических образований.

И. Орлов.

[1]) В. Нернст, Мироздание в свете новых исследований.

Дени Дидро [1].

Вопрос: Ваш любимый прозаик?
Ответ: Дидро.
(Из анкеты-исповеди К. Маркса).

„Мы знаем ныне, что царство разума представляло собою не что иное, как идеализированное царство буржуазии; что вечная справедливость выразилась в буржуазной юстиции; что равенство свелось к гражданскому равенству перед законом; что одним из существеннейших прав человека провозглашена была буржуазная собственность, и что государство разума, общественный договор Руссо, воплотилось в жизнь и могло воплотиться только как буржуазная демократическая республика. Подобно всем своим предшественникам, великие мыслители XVIII века не могли преступить границы, поставленной их собственной эпохой“ [2]).

Тот факт, однако, что передовые представители французской буржуазии вынуждены были защищать ее интересы под знаменем материализма делает основательное штудирование французского материализма необходимой прелюдией к изучению диалектического материализма Маркса-Ленина [3]). Из французских материалистов представляет, пожалуй, наибольший интерес глава энциклопедистов, Дени Дидро, которому и посвящена данная статья.

1. Несколько биографических замечаний.

Мы считаем необходимым сказать несколько вводных слов, относящихся к биографии Дидро, которые нам нужны постольку, поскольку они дают ключ к пониманию важнейших моментов в развитии его взглядов.

Дидро родился в Лангре (Шампани) в 1713 году. Сам Дидро говорил про себя, что он своей подвижностью ума и впечатлительностью характера обязан климатическим условиям своей родины. „У жителей моей родины,—говаривал он,—голова походит на флюгарку, и это потому, что тамошний климат очень непостоянен: в течение суток холод сменяется жарой, тихая погода—бурей“. Но эта живость характера и ума уживались у Дидро в течение всей его жизни с унаследованными от семьи крепкими и устойчивыми традициями в области морали, выдержкой, трудолюбием,—словом, всеми

---

1) Эта статья представляет собой доклад, прочитанный в философском семинарии Института Кр. профессуры Никаких дополнений я сюда не вносила, так как продолжаю работать над этой темой и намереваюсь выпустить отдельной книгой.

2) Фр. Энгельс, Анти-Дюринг, русск. перев., стр. 12.

3) Надо заметить, что Владимир Ильич выражал беспокойство по поводу того, что у нас мало изучают и издают французских материалистов, и даже лично предпринимал шаги, чтобы двинуть это дело вперед.

теми качествами, которые присущи тому общественному слою, к которому принадлежал Дидро.

Дидро был типичным выходцем из низов третьего сословия. Морлей про него остроумно замечает, что „Дидро тоже мог гордиться аристократизмом своего рода: в его семье целых двести лет, из поколения в поколение, передавалось ножевых дел мастерство"[1]. и даже отец Дидро был ножевщиком. Старик Дидро был очень энергичным, прямодушным и трудолюбивым человеком. Его уважала вся округа. Он был великолепным рассказчиком; после работы, когда он садился рассказывать, у них собирался полный дом слушателей. Старик Дидро, несомненно, оказал очень сильное влияние на знаменитого впоследствии сына. Хотя Дидро и бежал из иезуитской школы, куда его определил отец, и не остановился на той профессии, которую избрал для него отец (он его прочил в адвокаты), а предпочитал жить голодной жизнью богемы в Париже[2]), лишь бы изучать всевозможные науки, тем не менее, между ними обоими сохранились великолепные отношения, и даже впоследствии, когда Дидро стал руководителем всего интеллектуального движения Франции, он с большой любовью вспоминал отца и высказывал сожаление, что у него нет портрета отца, где он, „одетый в зеленый фартук, с очками на носу, вертит рукой точильное колесо"[3]). Недаром Рудольф Касснер[4]) говорит про Дидро: „Он всегда полон воспоминаний и тащит за собой прошлую жизнь. Он постоянно оставался сыном, братом".

Посмотрим теперь на социальные условия Франции времени Дидро.

2. Франция времени Дидро.

Современная Дидро Франция в области политической представляла собой абсолютную монархию, являвшуюся орудием классового господства феодального дворянства, духовенства и верхушки финансовой буржуазии. В области экономической Франция далеко ушла по пути буржуазно-капиталистического развития, и соотношение сил в экономической области с каждым годом все больше изменялось к выгоде третьего сословия. Буржуазия выступала на историческую арену. Ей нужно было оттеснить от власти своих конкурентов по эксплоатации народных масс, ей нужно было завоевать эту власть и приспособить к потребностям буржуазного развития страны. Как и всегда в таких случаях, первым выступлением нового класса было выступление в области идеологической. Новому классу, его идеологам предстояло разрушить идеологию господствующих классов, разбить цепи религии, противопоставить религии науку и формулировать во всех остальных областях позицию нового класса.

В этой огромной работе, которую проделала прежде всего просветительная французская философия XVIII века, как и во всей работе по формированию новой идеологии, принимали участие различные элементы общества, шедшие за буржуазией, различного социального положения, с различной социальной психологией. Три социальных слоя участвовало в идейной политической борьбе с феодальным обществом. Промышленная и торговая буржуазия, перебежчики в ла-

---

[1]) Морлей, Дидро и энциклопедисты, пер. Невядомского, изд. 1882 г.

[2]) В „Племяннике Рамо" он сам смеется над своим убогим, потрепанным костюмом: „серый вытертый плюшевый камзол с разорванным рукавом и черные чулки, заштопанные сзади белыми нитками".

[3]) См. „Беседа отца с своими детьми".

[4]) Rudolf Kassner, Diderot, S. 35, Herausgeg. Georg Brandes Literat.

герь буржуазии от господствующих классов, дворян и духовенства и, наконец, огромная пехота буржуазии, ее резерв—мелко-буржуазные слои населения, ремесленники, мелкие торговцы, крестьяне и зародыши мелко-буржуазной интеллигенции. Великая Французская революция в своем ходе с полнейшей ясностью выявила этот различный состав тех сил, которые стремились к ниспровержению абсолютизма.

Но в рассматриваемый нами период внутри коалиции боровшихся с монархией сил не было очень резкого идейного раскола, а были лишь различные оттенки мысли и направления, напоминавшие о классовой пестроте их социального базиса.

3. Классовая основа взглядов Дидро.

Три основных струи можно заметить в предреволюционной идеологии XVIII века. Одна струя, которая исходила от умеренных в политическом отношении слоев крупной буржуазии, и ее дворянских перебежчиков. Это тот слой, который позже, во время революции, не хотел итти дальше конституционной монархии, выдвинувший Мирабо и Лафайета. Вторая основная струя исходила от средней буржуазии в собственном смысле, если можно так выразиться, от буржуазного центра, впоследствии выдвинувшего жирондистов. Третья струя шла из мелко-буржуазных демократических слоев и политически воплотилась впоследствии в диктатуре Робеспьера.

Идеологами первого слоя в рассматриваемый нами период были Вольтер и все сторонники английского деизма и умеренно-либеральной английской философии.

Идеологами буржуазного центра были в общем и целом энциклопедисты (Гельвеций, Гольбах и др.).

Струю мелко-буржуазного радикализма в предреволюционную эпоху ярко представлял Руссо.

К какому же из этих течений примыкал Дидро? На этот вопрос не так просто ответить. В процессе своего умственного развития Дидро некоторое время находился на фазе деизма. Но скоро он освободился от этого идеологического греха своей молодости и превратился в области философской в одного из самых крайних и ярких материалистов. Но в то же время, как в области философии он стоял на крайней левой материализма, в области морали он не только долгое время находился под влиянием английских моралистов (Шефтсбери), но, в сущности, и впоследствии не разделял точки зрения аморализма[1]) и эгоизма, защищавшейся Ламеттри, Гельвецием и др. Так, например, когда появилась книга Ламеттри в 1749 г., Дидро отзывается об авторе, как „о развратном, бесстыдном человеке".

Это своеобразное сочетание в мировоззрении Дидро философского материализма с гораздо более консервативной (с точки зрения его века) позицией в области морали отнюдь нельзя объяснить индивидуальными чертами характера Дидро, как это делает Ланге [2]) и др., а нужно искать его в социальной психологии провин-

[1]) Слово аморализм мы здесь употребляем не в смысле отрицания морали вообще, чего не видим у французских материалистов, а в смысле отрицания ими христианской морали, выдаваемую за вечную, общечеловеческую мораль.

[2]) „Гораздо больше, чем на Вольтера, должны были действовать положительные черты мировоззрения Шефтсбери на такого человека, как Дидро. Этот могучий руководитель интеллектуального развития был вполне энтузиастом. Такой человек мог воодушевляться не только „моралистом" Шефтсбери, но и романами Ричардсона... (Ланге, История материализма, русск. перев., стр. 235).

циального мелкого буржуа. Этот слой обыкновенно идет гораздо дальше буржуазии в области политической, как это доказал период диктатуры якобинцев, но он гораздо более консервативен в области моральных взглядов и моральных устоев жизни. Стоит лишь вспомнить не только о Руссо, который не был аморалистом, но и еще в большей степени о Робеспьере, с его моральными воззрениями и личной жизнью „честного и добропорядочного" мелкого буржуа. В этой стороне жизни и воззрении Дидро проявляется его мелко-буржуазное происхождение и та прочность моральных принципов провинциального мещанского быта, которые сохранил Дидро в своей жизни в кипучем Париже.

Эта наша характеристика Дидро будет доказана путем анализа произведений Дидро в разных областях, по двум основным характерным периодам его жизни (деизма и материализма).

4. Эволюция религиозных и философских взглядов Дидро.

В то время как Ламеттри выпускает свою книгу, законченную в материалистическом духе, Дидро в 1745 году начинает с того, что знакомит своих соотечественников с сочинением „Принципы нравственной философии, или опыты г. Шефтсбери о достоинстве и добродетели". В своих примечаниях к этому произведению Дидро даже пытается сгладить нападки Шефтсбери на христианство. И если считать, что это было им сделано из предусмотрительности, то все же мы должны признать, что тут Дидро был еще почти теистом. В порядке природы он видит написанную яркими красками картину истины и блага. Нравственная жизнь кажется ему еще на этой первоначальной ступени проистекшей из религиозной: „Не может быть добродетель без бога и счастье без добродетели" [1]). Но уже годом позже в „Pensées Philosophiques", 1746 г. („Философские размышления") он доходит до взгляда о независимости нравственности от религии. Он ищет корни нравственности в собственной сущности человеческой природы. Эту веру в добродетель и глубокие основания для нее в натуре нашего духа он видит затем постоянно, что его так роднит с Шефтсбери.

„Шефтсбери, а вслед за ним Дидро,—говорит Морлей,—облагородил человеческую натуру тем, что поместил принципы добродетели и доброты внутри человеческого сердца" [2]).

В этом своем произведении Дидро восстает уже против аскетизма, он требует раскрепощения всех сил человеческих. „Люди,—говорит он,—постоянно восстают против страстей. Они приписывают страстям все человеческие страдания, забывая, что эти же самые страсти служат для них источником наслаждения. Считается оскорблением рассудка, если кто-либо осмелится сказать слово в пользу этих врагов его. Однако одни только страсти способны возвышать нашу душу до великих подвигов. Скромные наклонности порождают пошлость. Подавленные страсти лишают человека его выдающихся способностей. Гнет уничтожает природное величие и силы. Было бы в высшей степени безрассудно замышлять гибель своих страстей".

Это вполне отвечало идеологическим запросам и классовым интересам того сословия, представителем

1) „Principes de la Philosophiae morale", Oeuvres complettes, Tome premier, p. 6—121.
2) Морлей, Дидро и энциклопедисты, русск. перев., стр. 61.

которого был Дидро и которое начинало освобождаться от стесняющих пут церкви.

В „Pensées Philosophiques“ Дидро, как деист, выступает против атеизма:

„Механизм животного,—говорит Дидро,—вынуждает нас к признанию абсолютного интеллигентного существа, устроителя вселенной: крыло бабочки, глаз мошки представляют наглядное опровержение атеизма“. Но, выступая против атеизма, он пытается опереться в своих возражениях не на метафизиков, а на физиков. Он говорит: „Не от руки метафизиков были нанесены атеизму самые тяжелые удары. Возвышенные размышления Декарта и Мальбранша были менее способны пошатнуть материализм, чем какое-нибудь отрывочное замечание Мальпиги. Благодаря произведениям великих людей, вроде Ньютона и др., люди нашли удовлетворительные доказательства того, что есть существо с высшим интеллектом, что мир перестал быть богом, а что мир—это машина с особыми снастями, пружинами и гирями“.

И хотя в этом произведении Дидро и выступает против атеизма, но бог, в которого он верует, уже не таков, как бог обыденной веры. Здесь веет уже совсем иной дух. А порой прорываются даже пантеистические тенденции; он говорит: „Люди изгнали бога из своего сердца и загнали его в храм. Безрассудные,—восклицает он,— разрушьте эти стены, стесняющие вашу мысль. Расширьте бога на весь мир. Узрите его всюду, где он есть, или скажите, его нет совсем!“ И очень правильно замечание Ланге по этому поводу: „Непосредственно рядом с сокрушением атеизма бьет ключом источник самой обильной пищи для социального атеизма, т.-е. того атеизма, который опровергает и отвергает бога, признаваемого в существующем обществе, в государстве, церкви, семье и школе“. Это относится к тому месту, где Дидро, вспоминая о стонущих в темницах и слыша их вздохи и вопли, спрашивает: „Какие преступления учинили эти несчастные? Кто осудил их на эти муки? Бог, которого они оскорбили? Кто же этот бог?—Бог, полный благости. Как бог, полный благости, может находить удовольствие в том, чтобы купаться в слезах? Судя по наклонностям его бога к гневу, по множеству тех, кому он дает погибнуть, самая праведная душа могла бы пожелать, чтобы его не существовало“. Если, значит, бог таков, каким его представляют верующие, то лучше пожелать, чтобы он не существовал вовсе. Но Дидро не мог долго удержаться на позиции деизма, на котором застыло большинство английских мыслителей, а из французов в первой половине XVIII века—Вольтер.

Противоречия классовых интересов были во Франции гораздо более резкие, чем в Англии. И это должно было найти свое отражение в более крайней позиции буржуазии, в вопросах религии и веры. Деизм мог служить лишь первой ступенью в освобождении от схоластики и авторитета церкви.

Об этом Плеханов говорит: „Французские философы восхищались философией Локка. Но они шли гораздо дальше своего учителя. Это потому, что тот класс, который они представляли, во Франции ушел, в своей борьбе против старого режима, гораздо дальше того класса английского общества, стремления которого выразились в философских сочинениях Локка“.

И далее он продолжает:

„Локк, несомненно, был учителем огромного большинства французских философов XVIII века (Гельвеций называл его величайшим метафизиком всех веков и народов). И, однако, между Локком и его французскими учениками как раз то самое расстояние, которое отде-

ляло английское общество времени glorious revolution от французского общества, каким оно было за несколько десятилетий до „great rebellion“ французского народа.

„Истинные социалисты“ Германии 40-х годов ввозили свои идеи прямиком из Франции. И, однако, на эти идеи, можно сказать, уже на границе налагалось клеймо того общества, в котором им предстояло распространяться“ [1])...

Насколько французские философы пошли дальше английских по пути материализма и атеизма по сравнению с половинчатой позицией деизма, можно видеть из следующего факта:

„Когда Юм приехал во Францию, французские философы приветствовали его, как своего единомышленника. Но вот однажды, обедая у Гольбаха, этот несомненный единомышленник французских философов заговорил об „естественной религии“. „Что касается атеистов,—сказал он,—то я не допускаю их существования: я никогда не встречал ни одного“. „Вам очень не везло до сих пор,—возразил ему автор „Системы природы“,—на первый раз вы видите здесь за столом семнадцать атеистов“. Тот же самый Юм имел решительное влияние на Канта, которого он, по собственному признанию этого последнего, пробудил от его догматической дремоты. Но философия Канта значительно отличается от философии Юма. Тот же самый фонд идей приводит к воинствующему атеизму французских материалистов, к религиозному индифферентизму Юма, к „практической“ религии Канта. Дело в том, что религиозный вопрос Англии того времени играл не ту роль, какую играл он во Франции, а во Франции не ту, какую в Германии. А это различие в значении религиозного вопроса обусловливалось тем, что в каждой из этих стран общественные силы находились не в том взаимном отношении, в каком находились они в каждой из остальных. Одинаковые по своей природе, но не одинаковые по степени развития, общественные элементы различно сочетались в различных европейских странах и тем причинили то, что в каждой из них было очень своеобразное „состояние умов и нравов“, выразившееся в национальной литературе, в философии, в искусстве и т. д. Вследствие этого, один и тот же вопрос мог до страсти волновать французов и оставлять холодными англичан, к одному и тому же доводу передовой немец мог относиться с почтением, а передовой француз—с горячей ненавистью“ [2]).

И мы видим, что в очень короткий срок Дидро от деизма пришел к скептицизму, который опять-таки служил для него лишь мостиком для перехода к атеизму и материализму.

В продолжении философских мыслей, озаглавленных—„О достаточности натуральной религии“ (1747 г.), он идет уже дальше: он нападает на религию откровения и говорит: „Закон откровения не заключает в себе никаких нравственных правил, которые не были бы предписаны и не исполнялись бы на практике под влиянием законов природы“. На этой ступени он даже отказывается определить сущность бога, он говорит: „Что такое бог? Вот вопрос, который мы задаем детям и на который философы очень затрудняются ответить“. Он приближается к скептицизму Бейля и Монтеня, когда говорит в этом же произведении: „То, что никогда не было подвергнуто сомнению, не могло быть доказано. То, что не было расследовано без предвзятых идей, не было расследовано основательно. Скептицизм есть пробный камень и первый шаг к истине“.

---

[1]) Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, стр. 173—174.

[2]) Там же, стр. 174—175.

Хотя скептицизм еще довлеет над ним некоторое время, он говорит еще после этого: „Признание недостаточности своих знаний—великий урок; у людей часто бывает повод давать такой урок; не лучше ли приобрести доверие других искренним заявлением: я ничего не знаю“, но он долго не мог оставаться на позиции скептицизма. „Несмотря на все уважение Дидро к скептикам—Монтеню и Бейлю,—говорит Морлей,—он чувствовал потребность продвинуться вперед, далее того пункта, на котором остановились Бейль и Монтень. При всем его пылком влечении к удовлетворяющим его внутреннее чувство несомненным истинам, он с трудом мог довольствоваться нерешительными мнениями и сомнениями. Серьезные занятия естествознанием, особенно физиологией, постепенно приводили Дидро к атеизму, пантеизму, монизму и материализму.

Уже в произведении — „Прогулка скептика“, написанной еще в 1747 г. (которая, между прочим, была у него отобрана полицией, произведшей обыск по доносу одного из просителей, которому Дидро помогал), где он рисует спор между деистом, пантеистом, субъективным идеалистом, скептиком и атеистом (стр. 180), он становится на точку зрения атеиста, выступающего против откровения и натуральной религии. И в ответ на мысль представителей последней, — „что звездное небо вызывает обычно восхваление творца таких красот“,—он вкладывает в уста атеиста следующие слова: „Все это дело воображения: это не что иное, как догадки. Перед нашими глазами незнакомый вам аппарат, над которым сделаны некоторые наблюдения. Невежественные люди, рассмотревшие только одно из его колес, в котором близко познакомились едва ли более, чем с одним или двумя зубцами, делают догадки о том, как его колеса приспособлены к взаимному действию с сотнями других колес. А затем они, как настоящие ремесленники, наклеивают на это произведение ярлык с именем автора“. На возражение деиста: „Для всякого ясно, что конструкция и правильность хода таких часов суть дела интеллигентного существа“,—Дидро отвечает устами атеиста:

„Нет, здесь идет речь о разнородных предметах. Такое законченное произведение, происхождение и творец которого вам известны, вы сравниваете с ложным до бесконечности предметом, которого начало, настоящее положение и конец одинаково вам неизвестны, и о творце которого вы не имеете никаких более положительных сведений, чем одни догадки“.

Но окончательно сформировались атеистические взгляды Дидро в „Письме о слепых в назидание зрячим“ (1749 г.). Начиная с „Писем о слепых“,—говорит В. Сережников [1]),—философия Дидро является законченной. Он в нее не вносит больше изменений. Уступки, которые он делал иногда, внушались ему осторожностью, но они не имеют большого значения для его мировоззрения. Характерно, что в том же самом году (1749) в заключительных словах своего письма к Вольтеру мы видим, что мир он окончательно отождествляет с богом: „Очень важно, чтоб ядовитую траву не принимать за петрушку, но вовсе не важно, верить или не верить в бога. По словам Монтеня, мир — это мячик, который бог дал философу для того, чтоб они бросали его то туда, то сюда. Я мог бы то же самое сказать и о самом божестве“. А в самом произведении он не решается те же взгляды так открыто высказывать. Цензурные условия того времени в сильной степени мешали излагать им свои мысли с ясностью и полнотой. Недаром Дидро и Даламбер писали в „Энциклопедии“, что их надо уметь читать между строк.

[1]) См. предисловие к русск. перев. Избр. философск. сочинен. Дидро.

В „Мыслях по поводу объясн. природы" (1754 г.) он в духе пантеизма deus sive Natura говорит: „**Раз мир может быть бесконечным, то мир может быть богом**". Он доказывает тут же единство всей природы и необходимость толковать и объяснять природу не при помощи посторонней силы, а из нее самой, из внутреннего строения самой природы.

Таким образом прежняя теория дуализма заменяется у Дидро законченным и последовательным монизмом.

О самой религии он очень смело и определенно высказывается в более поздних произведениях.

В „Разговоре философа с супругой маршала" (1776 г.) **Круdели** спрашивает: „Не думаете ли вы, что ужасные опустошения, произведенные религией в протекшие времена, и те, которые она произведет в будущем, в достаточной степени компенсируются этими нищенскими выгодами маленьких благ. Подумайте: она создала и поддерживает самую разнузданную вражду между нациями. Нет мусульманина, который не воображал бы, что, искореняя христиан, которые, со своей стороны, не более его веротерпимы, он делает угодное богу и святому пророку дело. Подумайте: она создала и поддерживает такие раздоры среди народов одной и той же страны, которые редко утихают без пролития крови. Наша история представляет в этом отношении слишком свежие и слишком мрачные примеры. Подумайте: она создала и питает сильнейшую и упорнейшую вражду в обществе между гражданами, в семье между родными". И он же отвечает: „**Религии, как и монастырские уставы, со временем увядают. Это—утопия, которая не может устоять против постоянного напора природы, возвращающей нас под сень своих законов**" (Курсив наш. *И. В.*).

5. Философские взгляды Дидро.

Проследив, таким образом, всю эволюцию воззрений Дидро, нашедших свое завершение в монизме и материализме, остановимся теперь на философских взглядах Дидро, как материалиста.

Дидро в своей философии опирался на целый ряд предшественников, с некоторыми из них он знакомился не непосредственно, а через Вольтера. Он примыкает прежде всего к Бэкону — в смысле безусловного признания эмпирического метода, как единственно-научного; к Ньютону — в смысле возможности объяснения мироздания естественными, механическими и физическими законами; к Локку и Кондильяку — в смысле признания наших чувств главным источником наших представлений, понятий и идей и к механической стороне учения Декарта [1], а также к некоторым идеям Лейбница (монадология). Своими же монистическими тенденциями он напоминает Спинозу [2]).

Прежде, чем перейти к отдельным философским взглядам Дидро, посмотрим, в чем состояли, по его мнению, задачи философии. Наряду с другими мыслями, высказываемыми Дидро по этому вопросу, необходимо прежде всего отметить, что Дидро стоял за широкую популяризацию философских и иных идей. Он стоял за демократизацию знания и философии. В этом отношении он резко отличался не только

[1]) **Маркс** говорит: „Французский механический материализм примкнул к физике Декарта, поскольку она являлась противоположностью его метафизики, ученики его были антиметафизиками, а именно, физиками" („Святое семейство", русск. перев., стр. 41).

[2]) Дидро сам считал себя и своих единомышленников нео-спинозистами (Spinosistes modernes) см. статью его „Spinosiste" в XI т. „Энциклопедии".

от английских либеральных философов (Болингброка и др.), которые свои либеральные взгляды боялись сделать доступными широким массам, чтобы не вызвать бунта черни против господ, но и от своих соратников по „Энциклопедии", в частности Вольтера. И в этой его позиции сказывалось, несомненно, его происхождение из более низовых элементов буржуазного класса. У него философия—действенная, агитаторская.

Так, о необходимости приблизить философию к жизни и народным массам он говорит:

„Поспешим сделать философию популярной: если мы хотим, чтобы философы прогрессировали, доведем народ до уровня философов. Могут ли они сказать, что есть произведения, которые никогда не будут доступны простым умам? Сказав это, они лишь покажут, что они не знают того, что может сделать хороший метод и продолжительный навык" („Мысли по поводу объясн. природы", 1754 г.).

„Интересы истины, казалось бы, требуют, чтобы те, которые мыслят, соблаговолили, наконец, объединиться с теми, которые действуют, чтобы спекуляция была предрасположена (? *И. В.*) отдаваться движению". И далее: „...есть только одно средство сделать философию ценной в глазах простонародья: показать ее полезность".

Переходим к общефилософским взглядам Дидро.

Дидро в этом же произведении резко обрушивается на метафизику и, подобно Бэкону, стоит за экспериментальное познание вещей: „Истинная философия,—говорит он,—дозволяет мне предполагать в предметах только то, что я могу ясно усмотреть в них". Ибо абстрактные науки слишком долго держали всех в плену. „Понятия не имеющие опоры в природе, подобны тем лесам севера, где деревья без корней. И тут достаточно одного факта, чтобы перевернуть лес идей". Поэтому: „Вся философия должна быть только объяснением природы".

Поэтому: „Время, посвященное исследованию природы, никогда не будет потерянным". Ибо: „Природа,—говорит он,—подобна женщине, которая любит наряжаться и которая, показывая из-под своих нарядов то одну часть, то другую, подает своим настойчивым поклонникам надежду узнать ее когда-нибудь всю".

Интересно отметить, что Дидро считал недостаточным чисто математическое познание природы. Еще в XVIII веке, когда математика играла большую роль в философских концепциях, он гениально предсказал, что в этой области—„Даламбер, Бернулли и др. поставят геркулесовы столбы".

„Мы в преддверии великой революции в области наук". Чтобы быть философом, надо быть, по мнению Дидро, „физиком и химиком".

6. О теоретико-познавательных взглядах Дидро.

Характерно, что в то время, как у Ламеттри проглядывает отчасти агностицизм („какое безумие,—говорит он,—мучиться о вещах, знание коих невозможно, и если бы мы их знали, мы бы не стали счастливее"), Дидро считает, что главной задачей философии должно быть познание внешнего мира, и что этот объект постепенно может быть познан [1]).

---

[1]) Но в отличие от других философов и в духе известного тезиса Маркса о Фейербахе („до сих пор философы только объясняли мир, а задача состоит в том, чтобы его изменить"), Дидро считал, что философия, помогая познавать внешний мир, научает и изменять этот мир в интересах человека. „Опыт — вот рычаг, коим философия задалась весь мир перевернуть". „Приспособлять чувства к природе, пользоваться природой для изобретения инструментов, инструментами—для исследований и усовершенствования ремесл".

„Я представляю себе необъятную область наук широким полем, усеянным темными и светлыми пятнами. Цель наших работ должна заключаться в том, чтобы расширить границы светлых пятен, или в том, чтобы умножить на поле источники света. Первое — дело гения, второе — дело совершенствующейся прозорливости“ („Мысли по поводу объяснения природы“).

Важнейшим вопросом всякой философии является вопрос об объективности внешнего мира, объективности его законов и об отношении субъекта познания к объекту. В этом отношении Дидро является последовательным материалистом. Он признавал существование внешнего, объективного мира, действующего на наши чувства и приводящего в движение наши органы восприятия и познания. Изменения в этом мире совершаются по объективным законам, которые наше сознание может лишь регистрировать. Вот место из „Разговора с Даламбером“.

Даламбер спрашивает: „Например, не совсем понятно, как согласно вашей системе мы образуем силлогизмы и выводим следствия“.

Дидро: „Мы не выводим их: все они выводятся природой. Мы только регистрируем соприкасающиеся, известные нам из опыта явления, между которыми существует необходимая или условная связь“.

Вот другое место: „Поскольку вещи существуют только в нашем представлении, они являются нашими мнениями. это наши понятия, которые могут быть истинными или ложными, спорными или бесспорными. Они становятся прочными только в связи с внешними предметами“.

Но человек для Дидро лишь часть природы, часть органической материи; субъект—лишь часть объекта, только одаренная чувствительностью и памятью. Как происходит самый процесс воздействия внешней природы на познающего субъекта, Дидро иллюстрировал знаменитым сравнением воспринимающего природу человека с самоиграющим фортепьяно.

В „Разговоре с Даламбером“ Дидро приводит следующее:

Даламбер говорит: „Мы—инструменты, одаренные чувствительностью и памятью. Наши чувства—клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто ударяют сами по себе: вот что, по моему мнению, происходит в музыкальном инструменте. организованном так, как вы и я. Причиной, лежащей в инструменте или вне его, вызывается известное впечатление; от впечатления рождается ощущение, более или менее длительное, так как невозможно представить, чтобы оно возникало и замирало в неделимо-кратчайший миг; за ним следует другое впечатление, причина которого равным образом кроется вне или внутри инструмента, другое ощущение и голоса, выражающие их в естественных или условных звуках“.

Способность человеческого сознания к ассоциациям Дидро пытается объяснить чисто материалистическим путем, аналогией со струнами инструмента, звучащими одна от другой, и этим освобождая от всякого мистицизма сознание...

На вышесказанное Даламбером Дидро отвечает: „Я того же мнения. Это-то обстоятельство заставляло меня иногда сравнивать фибры наших органов с чувствительными вибрирующими струнами. Чувствительная вибрирующая струна дрожит, звучит еще долго спустя после того, как ударили по ней. Вот именно такое дрожание. нечто вроде такого резонанса, необходимо для того, чтобы предмет стоял перед разумом в то время, как разум занят рассмотрением присущего ему свойства. Но вибрирующие струны имеют еще другое свойство: они заставляют звучать другие струны, и точно таким же образом первая мысль вызывает вторую, они обе — третью, все три—

четвертую, и т. д., так что нельзя поставить границ мыслям, пробуждающимся и сцепляющимся в голове у философа, который размышляет или прислушивается к своим мыслям в тиши полумрака. Этот инструмент делает удивительные скачки, и пробудившаяся мысль вызывает иногда целую гармонию мыслей, стоящих с первоначальной в непонятной связи. Если такое явление наблюдается у звуковых струн, инертных и отделенных друг от друга, то почему бы не иметь ему места среди точек, одаренных жизнью и связанных между собою, среди фибр беспрерывных и одаренных чувствительностью".

Инструмент-философ одарен чувствительностью, он—музыкант и инструмент в одно и то же время. Как в существе чувствующем, в нем возникает сознание звука тотчас же, как только он производит его, а как животное он удерживает его в памяти. Эта органическая способность, связывающая в нем звуки, производит и сохраняет в нем мелодию. Предположите музыкальный инструмент, одаренный чувствительностью и памятью, и скажите, разве он самостоятельно не будет повторять арий, которые вы раньше исполнили на его клавишах.

На вопрос, что же является для нас источником познания внешнего мира, Дидро отвечает вместе с Локком и Кондильяком: „Наши ощущения и впечатления, получаемые от внешнего мира". Об этом говорится в приведенной нами цитате, говорится и в других местах.

Еще в своем раннем произведении „Письма о слепых" (1749 г.) Дидро, находясь под влиянием Кондильяка, который в своем „Трактате об ощущении" [1]) рассматривает мышление, как видоизмененное ощущение, исследовал вопрос о том, в какой мере природное отсутствие одного из наших пяти чувств должно изменять обыкновенные понятия, приобретаемые нами при наличии нормальных чувственных способностей. Он в этом своем раннем произведении говорит:

„Я никогда не сомневался в том, что состояние наших органов и наших чувств имеет большое влияние и на нашу метафизику, и на нашу нравственность".

Каков же тот инструмент, который перерабатывает впечатления, полученные чрез наши чувства?

Все психические явления Дидро выводит из чисто-физиологических функций организма, и в этом отношении он предвосхитил многие идеи современной психофизиологии. „Все сведено к чувствительности". Так, в „Сне Даламбера" он говорит: „Все сведено к чувствительности, памяти и органическим движениям... На место психологии выступает механизм физиологии нервов".

В отличие от Гельвеция, он придает большое значение строению мозга, он считает локализацию сознания в одном месте—в мозгу. „Вы представляете себе,—говорит д-р Борде (в „Сне"...),—что где-то

---

[1]) На Дидро, пожалуй, большее еще влияние, чем Локк, имел Кондильяк, который в обосновании сенсуализма идет дальше Локка: у него нет внутреннего и внешнего чувства. Ощущение (чувственное восприятие) является действительным и единственным источником познания. Вся сознательная деятельность развивается из чувственных восприятий. Она есть преобразованное ощущение. Так, внимание состоит в сосредоточении на одном из ощущений, а воспоминание—в последующем действии ощущения. Аналогии и суждения не что иное, как рассматривание двух одновременных ощущений. Одно лишь соседство двух таких ощущений приносит с собой понятие отношения или связи, представление и воля. Абстрагировать, значит отделять одно ощущение от другого. Постепенное возникновение и развитие чувственных ощущений Кондильяк доказывает тоже на примере человека и статуи. Как в статуе постепенно пробуждается одно чувство за другим и должны изменить духовную деятельность. Сначала низшее чувство обоняния, наконец, лишь высшее чувство осязания, которое уже вызывает в нас представление объективного мира.

внутри вас, в каком-то уголке вашей головы, в том, например, который называется мозговыми оболочками, есть один или несколько пунктов, куда сносятся все ощущения, вызванные в волокнах".

Поэтому, продолжает он,— „голова может распоряжаться ногами, но нога не может распоряжаться головой, начало—побегами, а не побег—началом, ибо если бы сознание было рассеяно, мы мыслили бы всеми частями тела". Это Дидро поясняет и в следующем разговоре в „Сне Даламбера": М-lle Леспинас спрашивает: „А какая, скажите пожалуйста, разница? Действительно, почему я не думаю всеми частями тела?"

Дидро устами Борде отвечает: „Потому что сознание находится только в одном месте. Оно может быть только в одном месте, в центре всех ощущений, там, где находится память, там, где делаются сравнения. Каждый способен воспринять только определенное число впечатлений, ощущений, последовательных, изолированных, незадерживающихся. Начало воспринимает их все, регистрирует, хранит в памяти или беспрерывно ощущает их, и животное с первого момента своей формации связывается с ними, фиксирует их в себе и существует с ними".

Память для Дидро не более, „чем свойство центра, специфическое чувство, начало ткани, подобно тому, как зрение есть свойство глаза, и нет ничего удивительного в том, что память не сосредоточена в глазу, как неудивительно то, что зрение не находится в ухе". И само сознание, по мнению Дидро, основано на памяти (Selbstbewusstsein: „Без памяти не было бы сознания себя, так как, чувствуя свое существование только в момент восприятия ощущения, существо не имело бы истории своей жизни. Его жизнь представляла бы из себя беспрерывный ряд чувствований, ничем не связанных между собой" („Разговор" и т. д.).

На вопрос Леспинас: „А если бы мой палец мог иметь память?" Борде у Дидро отвечает: „Ваш палец мыслил бы" („Сон Даламбера").

По вопросу об органическом и неорганическом или, как сам Дидро выражается, по вопросу о способности к „чувствительности", философ держался приблизительно следующего взгляда. Нет никакой непроходимой пропасти между живым и мертвым. На наших глазах постоянно происходит переход из одного состояния в другое.

В „Разговоре с Даламбером" он приводит знаменитый пример с мрамором и телом. На вопрос Даламбера: „Какая разница между мрамором и телом?"—он говорит: „Очень незначительная,—из мрамора можно сделать тело, а из тела—мрамор. Я дроблю мрамор, превращаю его в мельчайший порошок, примешиваю его к земле, образую из них одну массу, сею на ней хлеб, и хлеб этот я могу есть". Значит, установлен постоянный переход от неодушевленного к одушевленному. А поэтому „родиться, жить, исчезать—это значит менять формы" („Сон Даламбера"). „Остается признать,—говорит он в „Разговоре с Даламбером",—существование только одной субстанции во вселенной, в человеке, в животном". Тут очень ярко выступает монизм Спинозы у него.

Таким образом, Дидро еще задолго до Ламарка определенно указывал на отсутствие границ между органическим и неорганическим, между животным и растительным царством.

„Но как может быть, что существует не одна материя: или живая, или мертвая? Живая материя всегда ли, действительно, остается живой? И мертвая материя всегда ли, действительно, остается мертвой?

Разве живая материя не умирает? Разве мертвая материя никогда не начинает жить?" („Мысли по поводу объяснения природы").

Этот материалистический монизм последовательно развертывается у Дидро в его взглядах на природу в ее целом, где он прямо-таки обнаруживает диалектическое мышление.

Все явления Дидро рассматривает в их взаимной зависимости, находя во всех мировых процессах постепенную преемственность и переходы из одного состояния в другое.

„... Все существа взаимно скрещиваются, следовательно, и все виды их... и все находится в состоянии беспрерывной изменчивости... Всякое животное более или менее — человек: всякий минерал более или менее—растение; всякое растение более или менее—животное. Нет ничего постоянного в природе... Нет ничего, что по своей сущности было бы особым существом... Несомненно, нет, так как нет в природе вещей такого свойства, к которому не было бы причастно всякое существо...

„А вы говорите об индивидах, бедные философы, оставьте ваших индивидов и отвечайте мне. Существует ли в природе хотя один атом, безусловно похожий на другой?.. Нет... Разве вы несогласны, что все в природе взаимно обусловлено, и невозможно допустить, чтобы в цепи вещей недоставало одного звена? Что же вы хотите сказать своими индивидами? Их вовсе нет, нет, они не существуют... Есть только один великий индивид,—целое. В этом целом, как в машине, как в каком-нибудь животном, есть одна какая-нибудь часть, которую вы назовете так или иначе, но, называя эту часть целого индивидом, вы поступаете так же неправильно, как в том случае, когда вы даете название индивида птичьему крылу, перу от крыла... И вы говорите о сущностях, бедные философы. Оставьте ваши сущности. Окиньте взором всю громаду мироздания; если же у вас слишком ограниченное воображение, остановитесь мысленно на начале вашего происхождения, на вашей конечной фазе... Что такое существо?.. Совокупность известных тенденций... Могу ли я быть чем-нибудь иным?.. Нет, я иду к определенному пределу... А виды? Виды—не что иное, как только тенденции с общим свойственным им пределом... А жизнь?.. Жизнь—последовательный ряд действий и противодействий... Живым я действую и противодействую в форме массы.. мертвым я действую и противодействую в форме молекулы... Следовательно, я вовсе не умираю... Несомненно, нет, в этом смысле я совершенно не умираю, ни я, ни что другое... Родиться, жить, исчезать,—это значит менять формы... А не все ли равно: та или другая форма? С каждой формой связано свойственное ей счастье и несчастье. От слона до мушки, от мушки до чувствующей и живой молекулы, начала всего, нет во всей природе ни одной точки, которая не страдает или не наслаждается".

О мире, как об едином целом, находящемся в непрерывном развитии, он говорит (из „Писем о слепых"): „Что такое мир? Сложное целое, подверженное бесконечным переворотам. Все эти перевороты обнаруживают постоянную наклонность к разрушению, это—быстро изменяющийся ряд существ, следующих друг за другом, стремящихся вперед и исчезающих; это — скоропреходящая симметрия и порядок на одно мгновение...

„... Вы судите о продолжительности существования мира точно так, как судило бы однодневное насекомое о продолжительности вашего существования. Мир вечен для вас точно так же, как вы вечны для тех существ, которые живут лишь одним мгновением".

В таком случае „... все наше знание природы становится тогда

столь же преходящим, как слова; то, что мы принимаем за историю природы, является не больше, как очень неполной историей одного момента".

Характерно, что из французских материалистов только у Дидро мы встречаемся с довольно отчетливо формулированной идеей эволюции. Плеханов [1]) говорит по этому поводу: „Весь французский материализм XVIII века, как и вообще всякий материализм до Маркса, имеет свою ахиллесову пяту. Коренной недостаток этого материализма—отсутствие всякой идеи эволюции. Лишь у Дидро мы находим порой гениальные догадки, которые могли бы сделать честь крупнейшим из новейших эволюционистов". В то время, как Гольбах трудится над выработкой сколько-нибудь подходящей гипотезы происхождения нашей планеты или человека, Дидро еще в своих ранних произведениях—в „Письмах о слепых" устами слепого Саундерсона указывает, что „если бы мы перенеслись к эпохе зарождения вещей и картины природы и посмотрели бы на то, как материя находится в движении, а хаос медленно исчезает, мы увидели бы множество бесформенных существ вместо того, чтобы найти очень немного существ, прекрасно организованных".

Далее он говорит: „Абсолютный покой — абстрактная концепция, не существующая в природе; движение же есть свойство такое же реальное, как длина, ширина, глубина".

Задумываясь над историческим процессом в природе, он видит непрерывную эволюцию, борьбу за существование и приспособление к внешним условиям (ср. мысль Дарвина).

„В этой борьбе, — говорит он, — все неудовлетворительные комбинации материи исчезли, и остались в живых те из первых животных, в механизме которых не было каких-нибудь важных недостатков, и которые были способны поддерживать себя и размножаться". „Но почему же я не должен думать о мирах то же, что думаю о животных? Сколько уродливых, не достигших совершенства миров случайно распадались, потом преобразовывались и потом снова разлагались в недоступных нам отдаленных пространствах, где благодаря движению соединяются и не перестанут соединяться массы материи до тех пор, пока они не попадут случайно на такой склад (? *И. В.*), в котором они смогут окончательно окрепнуть"... И человек при отсутствии того или иного „мог бы быть до сих пор предметом общего очистительного процесса во всей вселенной, и то надменное существо, которое называет себя человеком, будучи рассеяно и разбросано между частицами материи, может быть, до сих пор существовало бы лишь в числе возможностей".

О том же, но более осторожно Дидро говорит и в „Мыслях по поводу объяснения природы".

По поводу неразрешимой для Гольбаха задачи о приоритете яйца и животного Дидро говорит в „Разговоре":

„Если вас смущает вопрос о приоритете яйцах пред курицей—или курицы пред яйцом, то это происходит от того, что вы предполагаете животных в начале такими же, какими мы их видим теперь. Какая бессмыслица! Ведь, совершенно же неизвестно, чем они были прежде, равно как неизвестно и то, чем они будут впоследствии. Невидимый червячок, который возится в грязи, находится, может быть, на пути к превращению в большое животное, а огромное животное, которое ужасает нас своей громадой, является, может быть, необычным, мимо-

[1]) Плеханов, Очерки по истории материализма, стр. 19, изд. „Моск. Раб.".

легным произведением нашей планеты и превратится, может быть, в червячка".

„Кто знает человека только в том виде, в каком он представляется при рождении, тот не имеет ни малейшего представления о нем. Его голова, ноги, руки, все его члены, все его сосуды, все его органы, нос, глаза, уши, сердце, легкие, внутренности, мускулы, кости, нервы, перепонки, собственно говоря, не что иное, как простые отпрыски ткани, которая развивается, растет, расширяется, разбрасывает множество невидимых волоконцев („Сон"...).

Там же Борде говорит: „Как бы там ни было, но вы видите, что в вопросе о первообразовании животного слишком недальновидно останавливать свой взгляд и размышления на окончательно сформировавшемся животном, что следует восходить до его первоначальных зачатков, и что вам необходимо отвлечься от вашей настоящей организации и вернуться к тому моменту, когда вы были только мягкой, волокнистой, бесформенной, червеобразной субстанцией, скорее похожей на луковицу и корень растения, чем на животное".

Таким образом из всех приведенных цитат мы видим, что Дидро высказал много таких взглядов и догадок, которые в дальнейшем, при развитии естествознания, были целиком подтверждены.

Такой взгляд на природу, как на единое целое, где нет ничего случайного и все процессы совершаются по законам естественной необходимости, естественно, должен был предполагать отрицание всякой телеологии и признание детерминизма. И действительно, у Дидро мы находим несколько мест, определенно говорящих об этом.

„При исследовании природы нужно отказаться от вопроса: к чему? а надо заняться вопросом: как?".

„Исследование конечных, разумных целей существующего противоречит знанию и ведет к произвольным предположениям". „Сколько, — восклицает Дидро, — нелепых идей, ложных предположений, химерических понятий в тех гимнах, которые смело сочинялись в честь создателей некоторыми безрассудными поборниками конечных причин!" „Мы — продукт природы. И поскольку в природе он отрицает теперь порядок, управляемый целями, то все в одинаковой степени — продукт ее необходимости: человек — обычное явление, урод — явление исключительное, но оба одинаково естественны, одинаково необходимы, одинаковы в порядке вещей во вселенной" („Сон Даламбера"). В таком случае нет больше долженствования, а есть только необходимость, зависимость от условий. „Почему (спрашивает Даламбер в разговоре с Дидро) я такой? разве нужно, чтобы я был таким?" „Здесь, — отвечает он, — да".

Тогда Даламбер говорит: „Я, следовательно, стал таким потому, что нужно было, чтобы я стал таким. Измените все, и вы безусловно измените и меня".

Ту же мысль о причинности он иллюстрирует примером из биологической области: „Органы производят потребности, и, наоборот, потребности производят органы". „Предположите, — говорит у него Борде во „Сне", — длинный ряд безруких поколений, предположите наличность беспрестанных усилий, и вы увидите, как обе эти конечности все больше и больше удлиняются, скрещиваются на спине, вытягиваются наперед, образуют, может быть, пальцы и превращаются в руки. Первоначальная конфигурация их изменяется или совершенствуется под влиянием необходимости и отправления обычных для них функций. Мы так мало ходим, так мало занимаемся физическим трудом и так много работаем умственно, что, по моему мнению, человек будет представлять из себя, в конце концов, одну голову".

Закон каузальности не терпит никаких исключений. Он рушится, если ему противоречит хотя бы один факт; вместе с тем рушится и философия, опирающаяся на закон причинности. В „Мыслях по поводу объяснения природы“ он говорит:

„Абсолютная независимость хотя бы одного факта несовместима с идеей о целом, а без идеи о целом нет философии“.

Переходим теперь ко взгляду Дидро на материю, движение и способность молекул к ощущению.

Монизм философской концепции Дидро был бы непоследовательным, если бы он не признал весь материальный мир в той или иной форме способным к ощущению. „Дух является отцом материи и первичным началом в мире“, говорили идеалисты. Сознание есть свойство материи, говорит Дидро. Если первая точка зрения может быть названа идеалистическим монизмом, то вторая характеризует материалистический монизм на том уровне развития, какого он достиг у французских материалистов XVIII века, и каковой был возможен при том состоянии наук, какое было в то время[1]).

Дидро, приняв теорию Бюффона об органических молекулах, перенес на них еще до Робинэ способность к ощущению.

Способность к ощущению потенциально заложена во всей природе. Она подобна способности к движению, которая также составляет имманентное свойство всякой материи. Однако при анализе этой части воззрений Дидро делается не вполне ясным, высказывал ли он лишь другими словами позже обнародованные взгляды Робинэ, или же он полагал, что органические свойства материи не присущи атомам, как таковым, а возникают лишь при известных их соединениях; иными словами, что органическое отличается от неорганического лишь другим типом связи элементов и другими формами их движения. Примеры Дидро, как будто, подтверждают второй взгляд, а формулировки и выводы — первый[2]). Но что взгляд Дидро был далеким от витализма и аналогия с ним поверхностна, можно видеть из его рассуждения о том, что от куска мрамора до чувствующего существа гораздо дальше, чем от существа, которое чувствует, до существа, которое думает. Отсюда и из ранее приведенных цитат видно, что Дидро не видел принципиальной и качественной разницы между органическим и неорганическим. Потому что, ведь, разница между низшим органическим существом и существом высшим лишь в степени развития, а не в субстанции.

Но в нижеприводимых цитатах Дидро, как будто, склоняется к универсальному витализму, к взгляду Лейбница (монады).

„Если, — говорит он (в „Мыслях по поводу объяснения природы“, 1754 г.), — согласиться, что вселенная — целое, где среди элементов господствует не меньший порядок, чем среди частиц их, реально

[1]) „Уже Локк допускал, что материя могла бы обладать способностью мышления. Для Гольбаха это допущение представляется наиболее вероятным „даже, если принять теологическую гипотезу, т. е. допустить, что материю движет всемогущий двигатель“. Вывод Гольбаха очень прост и действительно очень убедителен. „Так как человек есть материя, которая является источником его идей, и в то же время обладает способностью мыслить, стало быть, материя способна мыслить или способна к особому видоизменению состояния, называемому нами мышлением“ (см. Плеханов, Очерки по истории материализма стр. 16—17).

[2]) Гольбах принимает обе гипотезы, представляющиеся ему одинаково вероятными. Можно допустить, что чувствительность материи „есть результат свойственного животному расположения, соединения, так что мертвая не чувствующая материя перестает быть мертвою и становится способною к ощущению, когда она анимализируется, т. е. соединяется

различимых или только воспринимаемых умом, или среди элементов в животном, тогда придется признать, что вследствие такого всемирного сцепления у мира, подобно громадному животному, имеется душа, что раз мир может быть бесконечным, душа мира — я не говорю — является, но может быть бесконечной системой перцепций".

Дидро предвосхитил идеи Робинэ о способности молекул к ощущению. Свои положения Дидро для виду излагает в виде полемики с Бауманном (псевдоним Мопертюи, автора книги, вышедшей по тому вопросу в то время): ощущение является связанным с молекулами, и он считает, что оно становится свободным при непосредственном соприкосновении молекул-атомов между собой, вследствие этого ощущения разных атомов приобретается способность к слиянию.

„Животных надо рассматривать, как систему различных органических молекул, которые под влиянием импульса ощущения, подобного тупому и неопределенному осязанию, комбинируются до тех пор, пока каждая из них не встретит подходящее для ее фигуры и для ее покоя место".

В дополнение к „Мыслям по поводу объяснения природы", „Философские принципы" и т. д. Дидро говорит: „Всякую молекулу нужно рассматривать, как одушевленную тремя родами действий: действием тяжести или тяготения, действием ее силы, интимной и свойственной ее природе, как молекулы воды, огня, воздуха, серы, и действием всех других молекул на нее. Этими своими положениями он напоминает учение о монадах Лейбница.

Переходим к его взгляду о материи и движении.

„По природе присущих ему свойств тело полно действия и силы, будете ли вы рассматривать его в молекулах или в массе". „Чтобы представить себе это движение,—говорит он, —многие философы допускают лишь силу, действующую на нее, но молекула, одаренная присущим ее природе свойством, есть сила активная"... „сила же, действующая на молекулу, иссякает; в то время как сила интимная, свойственная молекуле, не иссякает. Она неизбежна и вечна" („Философские принципы материи и движения").

Он считает глубоко ошибочным мнение некоторых философов, будто „тело не одарено само по себе ни действием, ни силой" („Философские принципы материи и движения", 1770 г.).

„Когда люди откажутся рассматривать вещи в своей голове и будут рассматривать их во вселенной, тогда они убедятся, на основании разнообразия в феноменах, в разнообразии элементарных материй, в разнообразии сил акций, реакции, в необходимости движения, а, допустив все эти истины, они не будут больше говорить: „...я вижу материю существующей, я вижу ее сначала в покое, ибо они почувствуют, что это значит допускать абстракцию, из которой нельзя сделать никаких выводов. Существование не вызывает ни

и отождествляется с каким либо животным". С другой стороны, приемлемо также и то предположение, что чувствительность свойственна всякой материи, но лишь при определенной организации она бывает интенсивной, т.-е. та гипотеза, какой придерживался больше Дидро и Ламеттри, которая была выставлена Дидро в „Разговоре между Даламбером и Дидро". „Некоторые философы,—пишет там Дидро,—полагают, что чувствительность есть общее свойство материи. В таком случае бесполезно искать источника этого свойства, известного нам по его действиям. Приняв подобную гипотезу, придется последовать примеру тех, которые различают в природе два рода движения: одно под именем живой силы, другое под именем мертвой силы, и различать два рода чувствительности: одну—активную или живую, другую—пассивную или мертвую; тогда анимализация вещества станет лишь уничтожением задержек, препятствующих ей стать деятельною и чувствительною".

покоя, ни движения; но существование (субстанция? *И. В.*) не есть единственное свойство тел".

„Перемещение тела с одного места на другое не есть движение, а только следствие его. Движение есть как в движущемся теле, так и в неподвижном. Уберите препятствие с пути неподвижного тела, и оно передвинется. Разрядите внезапно воздух, окружающий ствол этого огромного дуба, и вода, содержащаяся в дубе, под влиянием внезапного расширения разорвет его на сотни тысяч частиц. То же скажу я о вашем теле" („Разговор с Даламбером").

Итак, мы видим, что взгляды Дидро на материю и движение очень близки к точке зрения диалектического материализма. Он не допускает дуализма материи и движения [1]). Он рассматривает движение, как внутреннее свойство материи. Но если движение есть неизменное свойство материи, так сказать, субстанциональное ее свойство, то и обратно,—т.-е. не только материя, но и движение, т.-е. энергия,—материальна; иными словами, весь мир, все бытие, вся природа есть лишь поток непрерывно движущейся материи, материи, которую и представить себе нельзя в состоянии покоя.

В числе прочих гениальных догадок Дидро учением об ощущающих молекулах еще до открытия клеточки фактически говорил уже о ней.

„Каждый организм—это соединение других организмов, одаренных чувствами; каждая особь—это соединение микроорганизмов, находящихся в неразрывной связи, т.-е. является обществом живых существ". Это он великолепно доказывает примером с пчелами: „Видели ли вы когда-нибудь, как рой пчел вылетает из своего улья? Мир или вся масса материи,—это улей... Вы видели, как они образуют на конце ветки длинную гроздь маленьких крылатых животных, схватившихся друг за друга лапками... Эта гроздь—существо, индивид, некое животное... Но эти грозди должны были бы все походить друг на друга... Да, если предположить только одну однородную материю... Если одна из этих пчел вздумает ужалить каким-нибудь образом другую пчелу, за которую она ухватилась,—как вы думаете, что произойдет тогда?—Другая ужалит следующую, во всей грозди будет столько укусов, сколько в ней маленьких животных, все заволнуется, задвигается, изменит свое положение и форму, поднимется шум, писк, и человек, никогда не видевший, как образуется подобная гроздь, примет ее за животное с 5—6 стами головами и с 1000—1200 крыльев..." („Сон Даламбера"). И далее: „Представьте пчел такими маленькими, такими маленькими, что их тело ускользает от грубого острия ваших ножниц; вы можете продолжать ваше сечение, сколько угодно, но вы не умертвите ни одной из них, и это целое, образованное из невидимых пчел, будет настоящим полипом, которого вы сможете уничтожить не иначе, как раздавив его. Разница между гроздью беспрерывных пчел и гроздью смежных пчел такая же, какая существует между обыкновенными животными, вроде нас и рыб, и червями, змеями и полиповыми".

---

[1]) Энгельс 30 мая 1873 г. (следов., более, чем через сто лет) пишет по тому же поводу Марксу:

„Сегодня утром в постели мне пришло в голову следующее диалектическое построение по поводу естественных наук.

Предмет естественной науки—движущаяся материя, тела. Тела нельзя отделить от движения. Формы и виды тел можно познать только в движении. О телах ничего нельзя сказать, не касаясь движений, не касаясь различных отношений к другим телам. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно из себя представляет. Естествознание, таким образом, познает тела, рассматривая их и их соотношения друг к другу, в движении. Познание различных форм движения и есть познание тела" („Briefwechsel zwischen Marx und Engels") Bnd IV.

И прав Геттнер[1]), когда он говорит: „В новейшем материализме нет вопроса, который не был бы затронут у Дидро; новейший материализм старается с помощью развивающегося естествознания дать этим его смелым выводам лишь более прочную основу“.

Переходим теперь к морально-общественным взглядам Дидро.

7. Морально-общественные взгляды Дидро.

Для того века, в котором жил Дидро, возможны были три позиции в области морали: 1) понятие об абсолютной морали, обязательной для всех людей всех времен. независимо от того, была ли эта мораль освящена церковью или нет; 2) отрицание всякой морали аморализм и, наконец, 3) признание всяких моральных норм относительными, в зависимости от времени, места, потребностей общества и т. д. Спрашивается, какую из этих позиций занимал Дидро? Прежде всего отметим, что взгляды Дидро в этой области обнаруживают известное противоречие, при чем Дидро чаще становится на точку зрения абсолютной, общественной морали. Например, в „Племяннике Рамо“[2]) Дидро говорит: „Поносить науку и добродетель для того, чтобы жить, это значит покупать себе хлеб слишком дорогой ценой“.

Здесь Дидро говорит о добродетели, как о само собой разумеющейся вещи, как о чем-то абсолютном и всем известном.

И далее: „Есть два генеральных прокурора—один находится у ваших дверей и наказывает преступления против общества а другой—природа. Последняя ведает всеми пороками, ускользающими от установленной законом кары. Вы предаетесь разврату—у вас будет водянка; вы пьянствуете—у вас будет болезнь легких; вы открываете двери всем и живете в их обществе—вас будут обманывать, поднимать на-смех, презирать; всего проще подчиниться этим справедливым приговорам и сказать самому себе: так должно быть; одно из двух: или надо встряхнуть упами и исправиться, или оставаться таким, каков есть, но при упомянутых выше условиях“ (Там же, стр. 171).

Отсюда мы видим, что Дидро даже естественные законы в природе переносит на общество.

„Я готов,—продолжает Дидро,—сделать вывод, что гениальный человек, отвергающий всеобщее заблуждение или настаивающий на признании какой-либо великой истины, всегда достоин нашего глубокого признания. Может случиться, что такой человек станет жертвой предрассудков и законов; но есть два рода законов: одни, обязанные своим происхождением всеобщей, абсолютной справедливости, а другие случайные, черпающие свою санкцию в ослеплении или стечении временных обстоятельств. Эти последние покрывают виновного в их нарушении лишь преходящим позором, который со временем падает на судей и на народ и никогда не сходит с них. Кто в ваших глазах запятнан позором: Сократ или суд, который заставил его выпить цикуту?“ (Там же, стр 108).

И в данном случае Дидро говорит о каких-то абсолютных законах морали, не определяя их конкретного содержания.

И даже его „Племянник Рамо“ с его люмпенпролетарской психологией и лозунгами: „лови момент“ и „хватай где можно“, даже этот Рамо говорит о всеобщей совести:

[1]) Геттнер, История литературы Франции в XVIII веке, стр. 288, рус. перев.
[2]) Стр. 157, русск. перев. Сорежникова.

„Существует же философия,—говорит Рамо,—всеобщая совесть точно так, как существует всеобщая грамматика и, сверх того, существуют в каждом языке исключения, которые называются у ученых людей идиотизмами... Каждому общественному положению присущи свои исключения из всеобщей совести, которые я охотно назвал бы идиотизмами ремесла".

Дидро ему отвечает: „Понимаю. Фонтенель, например, говорит хорошо, пишет хорошо, хотя его стиль кишит французскими идиотизмами".

Рамо: „А государи, министры, финансисты, судьи, военные, литераторы, адвокаты, прокуроры, коммерсанты, банкиры, ремесленники, учителя пения, учителя танцев, —все это очень честные люди, хотя их образ действий во многих отношениях отступает от общей совести и полон нравственных идиотизмов. Чем древнее существующие учреждения, тем больше идиотизмов; чем несчастнее времена, тем более размножаются идиотизмы".

Уже из этой цитаты мы можем видеть, что Дидро не стоит целиком на позиции общеобязательной морали нравственного закона и совести, а обнаруживает известное колебание в сторону признания относительности моральных норм.

„Не следует, впрочем, забывать, что в таком изменчивом предмете, как нравы, нет ничего безусловного, существенного и вообще верного или ложного".

И дальше: „В природе взаимно пожирают друг друга виды; в обществе пожирают друг друга сословия" („Племянник Рамо", стр. 137).

Что касается жизненной философии самого Дидро, то его собственная жизнь (беседы с дочерью) и ряд мест из его произведений характеризуют его, как противника одних только чувственных удовольствий, безудержного эгоизма и культа личного интереса.

Не отрицая того, что наши поступки, наши стремления обусловливаются личным нашим удовольствием, он, тем не менее, решительно отрицал, что это удовольствие, главным образом, состоит в удовлетворении чувственности. Спбря по поводу этого положения, выставленного Гельвецием, он говорит: „Я мыслю, я создаю Илиаду, и когда я прохожу, вы восклицаете: вот он, который написал Илиаду... и я вполне удовлетворен".

Когда племянник Рамо говорит, „что, если бы все люди были мудры и философы, согласитесь, что тогда мир был бы чертовски скучен. По-моему, да здравствует философия и мудрость Соломона: Пить хорошие вина, наедаться хорошими кушаньями, возиться с хорошенькими женщинами, отдыхать в мягкой постели: за исключением этого, все прочее - пустяки" (стр. 140),—то Дидро ему возражает:

„Однако есть такое существо, которое не нуждается в пантомиме,—это, именно, философ, ничего не имеющий и ничего не просящий".

Дидро предпочитает жизнь Диогена в бочке сытой жизни в обществе с унижениями. Он говорит:

„Ручаюсь головой, что так гораздо лучше, чем пресмыкаться, унижаться и проституировать себя".

Дидро говорит далее:

„Кто позволяет себе все ради достижения богатства, тот должен быть очень неловок, если остается бедняком; но, ведь, есть и такие люди, как я, которые не считают богатство за самую ценную вещь в мире".

Эта бедняцкая философия морали очень характерна для Дидро, как представителя мелко буржуазной ремесленной Франции. В этом пункте он резко отличается от группы буржуазных материалистов типа Гельвеция, Ламеттри и др.

Он стоит на почве нравственных устоев того мелкого буржуа, который относится с гордым пренебрежением к богатству, которого он и не надеется получить, и делает из своей нужды добродетель.

В морали Дидро проявляются сильно альтруистические тенденции:

„Иногда я с удовольствием принимаю участие в обществе друзей в довольно шумных пирушках, но я не скрою от вас, что для меня бесконечно приятнее притти на помощь какому-нибудь несчастному, дать спасительный совет, прочесть что-нибудь поучительное и т. д.“.

И совсем в духе Бентама он считает, что:

„...человек, наиболее приносящий пользу обществу, есть в то же время и наиболее нравственный“.

Тот же детерминизм, который выявился в его взглядах на природу, проглядывает у него и во взглядах на общество.

В письме к сотр. Энц. Ландуа Дидро говорит: „Слово хочу—это пустой звук, свобода, воля—это предрассудок“.

„Мы представляем из себя то, что делает из нас общий строй, воспитание и смена фактов. Все это нас окончательно подчиняет. Живое существо не может действовать без внешнего повода, как коромысло весов не приводится в движение без тяжести. Мотив всегда бывает внешний, нам чуждый, и в заблуждение нас вводит бесконечное разнообразие наших действий в связи с привычкой, приобретенной нами уже в детстве, смешивать поступок произвольный со свободным“. А в „Рамо“ он говорит: „Каков человек, таково и ремесло, и, наоборот, бывает и так, в конце концов, что каково ремесло, таков и человек“.

Подводя итоги всему сказанному, мы видим, что Дидро, в области своих моральных воззрений, был значительно ближе к мелкобуржуазному радикалу Руссо, чем к своим соратникам по Энциклопедии, стоящим на позиции аморализма. У Дидро, правда, сохранились отчасти мелко-буржуазные нравственные устои как в его частной жизни, так и в его философии морали. Это отличало его от буржуазных аморалистов, но это, однако, нисколько не мешало ему быть последовательным материалистом и философом.

Из всего вышесказанного также видно, насколько вздорными являются утверждения Форлендера и других, будто Дидро был идеалистом, загнанным в лагерь материалистов лишь обстоятельствами времени, или следующая характеристика Дидро, которую мы находим у Ланге [1]): Эта благодарная натура,—заключавшая в себе все добродетели и недостатки идеалиста, главным образом: рвение к благу людей, самоотверженную любовь к друзьям и непоколебимую веру в доброе, прекрасное и истинное, и в прогресс мира, — была вовлечена в материализм потоком времени, так сказать, против воли“.

На самом деле, теоретический материализм может уживаться с большим практическим идеализмом и—наоборот. Этим всем филистерам, думающим подобно Форлендеру, дает ответ Энгельс [2]):

---

[1]) Ланге, История материализма, стр. 281, русск. перев.

[2]) Фр. Энгельс, Людвиг Фейербах, стр. 50, рус. перев. Плеханова.

„Филистер понимает под материализмом обжорство, пьянство, плотские наслаждения, алчность к деньгам, скупость, корысть, жажду к наживе и биржевые плутни, словом, все те грязные пороки, которым он сам предается в тишине: а под идеализмом он понимает веру в добродетель, общечеловеческую любовь и вообще „лучший мир", которым он реномирует перед другими, и в который он, в лучшем случае, только верит постольку, поскольку он вслед за своим обычным „материалистическим" развратом переживает похмелье или банкротство, и при этом он распевает свою любимую песенку: что есть человек—полузверь, полуангел".

Итак, если в области философских воззрений и взглядов на природу мы находим у Дидро идеи эволюции и постепенного развития, то в области взглядов на общество и мораль он остается метафизиком. Это было характерным для всех материалистов того века. Как правильно указывают Энгельс и Плеханов, материалистический метод в истории есть продукт следующего века, но между Дидро и его соратниками была и здесь разница. В то время, как все прочие материалисты были метафизиками аморализма, Дидро был скорее метафизиком в абсолютной и общеобязательной морали. Надо, однако, заметить, что поскольку Дидро было больше, чем остальные, способен мыслить диалектически [1]), это сказалось и всего взглядах на мораль. Это видно из приведенной выше цитаты; это видно и из того, что и науку о морали он считает условной.

Что касается социально-политических взглядов Дидро, то он, хотя и не был таким радикалом, как Руссо, однако проявлял явно демократические устремления. Об этом говорят многие места из его произведений.

Мы остановимся только на наиболее характерных из них:

„Сделайте так, чтобы благо отдельных лиц было тесно связано с общим благом; чтобы гражданин не мог повредить обществу, не повредив самому себе. Обеспечьте за добродетелью награду, как вы обеспечили злому делу наказание; дайте доступ к высшим постам в государстве всем достойным людям, без различия религиозных воззрений, и к каким бы общественным слоям они ни принадлежали, и тогда у вас останется незначительное меньшинство злых людей, тяготеющих к пороку по своей испорченной природе, которую ничто не может исправить. Искушение слишком близко, а мучение ада слишком далеко; не ждите ничего хорошего от системы воззрений, которые можно внушить только детям, которые надеждой на искупление подстрекают к преступлению, которые посылают провинившегося просить у бога прощения за обиду, нанесенную человеку, и подтачивают строй естественных и моральных обязанностей, подчиняя его строю химерических обязанностей" (разговор философа с супругой маршала). Но, тем не менее, Дидро в этой области не применяет материалистического метода.

В объяснение слова Journalier (предисловие к III т. Энциклопедии) он писал:

„Если поденщик в нищете, то и вся нация бедна".

В другом месте говорится:

„Равномерно распределенные чистые прибыли всего общества должны быть предпочитаемы более крупным прибылям, неравномерно

[1]) Интересно при этом привести мнение Энгельса, он говорит:
„Вне собственно философской области они также способны были создавать мастерские произведения диалектики: напомним только сочинение Дидро: «Племянник Рамо» (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 14).

распределенным, так как эти последние распределяют народ на два класса: на людей, утопающих в избытке, и на людей, гибнущих в нищете".

И далее:

„Вместо того, чтобы строить богадельни, лучше предотвратить нищету".

С этими взглядами не совсем мирится другое замечание Дидро, „что масса населения невежественная и пошлая толпа, мнению которой не следует доверять ни в вопросах морали, ни в вопросах философии".

Что касается политических воззрений, то в этой области он не высказал ничего самостоятельного и оригинального. Но характерно то, что в отличие от Гельвеция и других единомышленников он не верил во всемогущество законодательства. Дидро оспаривал мнение Гельвеция, что форма правления, политические учреждения создают и определяют характер общества [1]).

В заключение отметим очень радикальную фразу в духе космополитизма:

На указание, что „надо защищать отечество", он отвечает: „Пустяки, нет никакого отечества, от одного до другого полюса я ничего не вижу, кроме тиранов и рабов" („Рамо").

8. Метод работы Дидро.

Мы не останавливаемся тут на многих гениальных его мыслях, высказанных в разных областях наук, рассеянных им на многих его гипотезах и догадках, брошенных им вскользь, подхваченных затем и блестяще подтвержденных позднейшей наукой. Ибо сила Дидро вовсе не в написанных им трудах. И кто стал бы искать „системы Дидро", философии Дидро, или какого-либо сочинения его, которое систематически излагало бы его взгляды, тот был бы вполне разочарован: ни такой системы, ни такой философии, ни даже такого труда он у Дидро не найдет. Его собственные работы при всем блеске его стиля и богатстве мыслей, разбрасываемых по всем направлениям и по всякому поводу, представляют из себя скорее отрывочные наброски, чем что-либо целостное и законченное. Помимо того, сама манера Дидро излагать свои мысли вредила их стройности и законченности: „Пусть мои мысли выходят из-под пера в таком порядке, как предметы отражаются в моем воображении", говорит Дидро в „Мыслях по

---

[1]) Наилучшей проверкой социальных корней их взглядов было бы испытание этих взглядов на практике франц. революции. В ходе самой революции они вынуждены были бы выявить свое классовое лицо и показать, интересы каких слоев буржуазии они защищают: кто из них примкнул бы к клубу фейльянов, кто оказался бы в рядах жирондистов, кто ушел бы на левый фланг — к якобинцам. Но, разумеется, история не могла им устроить этого экзамена, и нам остается лишь делать предположения об их возможных позициях во время франц. революции. Одно из таких предположений делает Плеханов, когда он говорит: „Дидро наверно сочувствовал и шел бы даже далее, чем Гольбах, который считал, что „гражданин не может, не нарушая долга, отказаться от принятия стороны угнетенных против тирании". „Гримм вероятно рукоплескал..., хотя он изменил свои взгляды, когда вместо салона буря разразилась на великой исторической арене".

Как поступил бы сам Гольбах после событий 10 августа? Попав в собрание якобинцев, стал ли бы он повторить свои слова: „Тиран есть ненавистнейшее существо, какое может быть создано преступлением". Говоря откровенно, судить трудно. Но, всего вероятнее, что он не захотел бы иметь ничего общего с этими „дикими" республиканцами и счел бы их в свою очередь тиранами, врагами отечества, фанатиками и политическими шарлатанами" (Плеханов, Очерки по истории материализма, стр. 38, изд. „Моск. Рабочий", под ред. Рязанова).

поводу объяснения природы". И сам автор не дорожил своими литературными произведениями и своим авторством. Мы не говорим о произведениях его, сожженных по приказанию Сорбонны. Характерно, что рукопись его произведения „Рамо" была Дидро забыта в Петербурге (во время пребывания у Екатерины II), и лишь благодаря тому, что ее обнаружил один государственный чиновник, Шиллер, родственник немецкого поэта, который и переслал рукопись последнему, свет увидел ее в переводе Гете, которого Шиллер просил это сделать. Гете при этом указал, что он вложил всю душу в перевод этой талантливой вещи. И далее, рукопись „Сон Даламбера" была Дидро разорвана, ибо „встревоженная любовь (м-ль Леспинас) пожелала ее уничтожения; тираническая дружба настояла на этом, а слишком уступчивая натура согласилась". И это, несмотря на то, „что эти диалоги вместе с некоторыми записками по математике, которые я, может быть, когда-нибудь решусь опубликовать, были единственными,— говорит Дидро,— из всех моих произведений, которыми я любовался". Свет увидел их лишь благодаря сохранившейся у друзей копии, опубликованной лишь в 1830 г. (написано оно было в 1769 г.). Наконец, надо помнить и о том, что Дидро был великолепным пропагандистом и импровизатором и предпочитал влиять на людей путем передачи из уст в уста новых идей, вместо того, чтобы самому систематически развить их в форме научных исследований. „Его можно понять,—говорит Розенкранц,—лишь приняв во внимание, что он учил как Сократ. более устно, чем письменно". С той только разницей, как это правильно указал Морлей, что „он был распространителем положительных и применяемых к жизни идей". „Его письма,—говорит Гете,—лучше, чем его книги, а его речи еще лучше, чем его письма".

Если бы Дидро учил и работал позже, когда существовали уже народные трибуны, он был бы, несомненно, лучшим оратором своего времени, но в его время он принужден был ограничиваться салонами и кружками. Но и здесь мы видим, как он оплодотворял умы своего века, будучи неиссякаемым источником знаний. Меньше всего он заботился о судьбе своих книг и своего творчества. „С невероятной щедростью,—говорит Дю буа-Раймонд[1],—равнодушный к судьбе своих произведений, не заботясь об авторской славе, он разбрасывал налево и направо драгоценные дары, подобно тому, как дерево сбрасывает с себя созревшие плоды". Свои идеи, замыслы и творческие проекты он сыпал направо и налево, а другие подбирают их и развивают. Равнодушный к своему авторству и к собственной литературной известности, он охотно и постоянно писал для других. При этом он постоянно говорил:

„Суть не в том, чтобы дело было сделано именно мной, а в том, чтобы оно вообще было сделано, и притом хорошо сделано". Так, например, аббат Вениаль подсунул ему свою рукопись философской и политической истории торговли. Дидро, владея блестящим стилем, вписывает в эту сухо написанную работу одну огненную страницу за другой, так что первоначальный труд разрастается в вдвое большую книгу. В корреспонденции Гримма он пишет целые отделы, длинные отчеты о художественной выставке и т. д. Все, даже буржуазные, историки философии сходятся на том что „Система натуры" Гольбаха в своей заключительной части выполнена пером Дидро.

И на Гельвеция он имел неизменное влияние. Судя по тому, что сам Гельвеций о себе говорил, что он любит охотиться за чужими мыслями (faire la chasse aux idées), можно представить себе, сколько

---

[1]) Emil Du-Bois-Reymond, Zu Diderots Gedächtnis, Reden etc., Band II.

мыслей Гельвеций заимствовал у Дидро. Работы Гельвеция, его рассуждения о свободе воли и т. п. есть фактически повторение высказанных Дидро идей.

Если Ламеттри написал свои материалистические произведения, когда Дидро был еще деистом, то зато, когда он становится материалистом, он уходит дальше Ламеттри. Идеи о движении, об ощущении, сознании и мн. друг. получают у Дидро более законченную и утонченную формулировку. И именно в таком виде, как их изложил Дидро, они были подхвачены наукой дальнейшей и продолжены.

И на Руссо Дидро имел неизменное влияние вплоть до их разрыва. Характерно, что и Дидро под влиянием гонений переносился в мечтах к иному общественному строю, основанному на нравственной чистоте и свободных естественных отношениях. В своем „дополнении к путешествию Бугенвиля“ он чуть ли не готов был идеализировать первобытную простоту жизни, и желает возврата ее лучших сторон, не разрывая, однако, ради этого, подобно Руссо, с цивилизацией. Наоборот, он никогда не оставлял мысль о прогрессе, но этот прогресс он не мыслил себе без активного участия в цивилизации народных масс, с одной стороны, без развития промышленности, с другой стороны.

Итак, мы видим, что для того, чтобы судить о Дидро, надо проследить все литературно-философские достижения того времени и, главным образом, Энциклопедию, инициатором, вдохновителем и руководителем которой он был до конца. Дидро как бы весь растворился, весь изошел в том коллективном предприятии, каковым явилась Энциклопедия.

Виндельбанд [1]) правильно говорит, что невозможно проследить идеи каждого мыслителя того времени в отдельности, что вся духовная жизнь их была общей. Будучи все соединены в Париже и постоянно сталкиваясь в обществе, они, собственно, образовывали единый философский индивидуум. Этот коллективный дух творчества мы видим не только у Дидро, но отчасти и у всех энциклопедистов и анонимных участников этого предприятия. Мы привыкли к тому, что буржуазные ученые и литераторы являются большими индивидуалистами в своей работе. Они тщательно скрывают до опубликования под собственным именем все новые мысли, к которым они приходят, и оберегают свои авторские права на них и особенно право приоритета. С другой стороны, они всячески стараются отличаться от своих предшественников и часто в ущерб истине доводят до парадоксальной крайности свои выводы, чтобы быть оригинальными. Среди них всегда царит большая конкуренция и коллективный труд им в тягость. Наоборот, у энциклопедистов и в особенности у Дидро мы наблюдаем гораздо меньше культа „личного эгоизма“ в работе и больше коллективного духа. Объяснение этому найти не трудно. Буржуазия тогда была угнетенным классом. Ее передовых представителей преследовали. Новый класс мог победить тем скорее, чем большей он мог добиться сплоченности в своих рядах и классового самопожертвования, как бы это ни противоречило тому индивидуализму, к которому буржуазию тянет органически.

Классовые интересы буржуазии этого момента требовали ограничения индивидуализма и внутри-классовой конкуренции перед лицом общего, еще не побежденного врага. Этим нужно объяснить дух коллективности и сотрудничества, наблюдавшийся в известной степени у энциклопедистов и особенно ярко представленный личностью и деятельностью Дидро. Дидро, как автор, лично много

[1]) См. Виндельбанд, История философии, ч. 2: Эпоха просвещения.

потерял от того, что не заботился о систематическом изложении своих мнений и не связал со своим именем какого-либо большого, индивидуально ему принадлежащего труда. Но все дело его жизни— Энциклопедия, а, следовательно, буржуазный класс на его пути к победе от этого выиграл.

9. Дидро—глава энциклопедистов.

В 1750 г. Дидро объединяет все эти силы для издания Энциклопедии.

„С „Энциклопедией“ начинается новый период в истории просветительного движения,—говорит Шахов—Это грандиозное предприятие собирает разрозненные стремления просветителей; сплачивает и соединяет между собой литераторов на работу по одному делу. Образуется кружок философов, лагерь энциклопедистов, о котором в 50-х годах начинают говорить, как о целой общественной партии. Просветительные начала в Великой Энциклопедии были приведены в систему и сгруппированы. Мыслители сблизились, столковались и сосчитали свои силы“.

„Энциклопедия была первая брешь, пробитая в Бастилию“, говорит Морлей. Это уже был фактическим отдаленный гул приближавшейся Великой Французской революции. Благодаря Дидро, его неутомимой энергии, преданности делу и обилительному характеру, к сотрудничеству в „Энциклопедии“ были привлечены лучшие силы. Достаточно упомянуть, что рядом с ним сотрудничали—Даламбер, Вольтер, Руссо, Бюффон, Монтескье, Гольбах, Кондорсе, и многие другие. Преследования и цензура заставляли пуститься на разные уловки и хитрости. Сам Дидро в статье „Э н ц и к л о п е д и я“ указывал, объясняя читателю свои приемы. Он постоянно говорил, что их надо уметь читать между строк И когда Вольтер жаловался, что эта двойная бухгалтерия слишком затрудняет дело, то Даламбер ему ответил: „в р е м я п о м о ж е т о т л и ч и т ь т о, ч т о м ы д у м а л и, о т т о г о, ч т о м ы г о в о р и л и“.

Когда около 1760 г. преследования усилились, Даламбер, второй редактор, струсил и удалился. Руссо отошел и даже выступил против энциклопедистов. Вольтер уговаривал Дидро отойти на время от этого дела или перенести издание в более свободную страну—Голландию—и этим спасти и предприятие, и талант Дидро. „Нет,— отвечал Дидро в письме к Вольтеру в 1752 г.,—отказаться от предприятия, значило бы покинуть поле битвы и делать именно то, что желают от нас преследующие нас негодяи. Если бы вы знали, с какой радостью встретили они весть об удалении Даламбера“...

Дидро понял, что, перенеся издание в другую страну, он оторвет его от родной почвы и тех живительных соков, которыми питалась Энциклопедия. На расстоянии и ее действие потеряло бы ее революционность.

Благодаря именно Дидро и самому характеру „Энциклопедии“, к ней „примкнуло множество непрошенных добровольцев“. По выражению Вольтера, „и офицеры армии, и моряки, и судьи, и медики, и литераторы, и геометры, и физики—все соединялись для дела столь же полезного, сколь и трудного, без всякого личного интереса и даже не ища известности, так как многие из них скрывали свое имя“.

„Чем более мы продвигаемся вперед,—говорили издатели в предисловии к шестому тому (1756 г.),—тем более замечаем мы приращение как содержания, так и числа тех, кто любезно предлагает нам свои услуги". Что „Энциклопедия" находила себе сочувствие даже иногда среди высших классов, видно из того, что Мальзерб, управляющий по делам печати, тайно выдает им запрещенные цензурой рукописи. А в другой раз он своевременно предупреждает их о предстоящем обыске и соглашается рукописи спрятать у себя.

И чем дальше, тем преследования становятся безуспешнее. Стеснение свободы, наказания увеличивают славу мыслителей. В просветительное движение втягивается все общество, которое становится в оппозицию к официальному порядку, государственному строю и существующим учреждениям (Шахов). „Энциклопедия" стала боевым предприятием, орудием философской пропаганды. Она вела борьбу с общественными предрассудками и суевериями. Энциклопедия была, по словам Кабаниса, святой конфедерацией против фанатизма и тирании. Ее успех объясняется еще тем, что она предназначалась для средних слоев, к ним она прокладывала путь тем, что раскрывала перед глазами широких масс и делала им доступными достижения наук во всех областях, в разных странах. Она открывала,—говорит Морлей,—живую панораму побед, одержанных человеческим искусством и трудолюбием.

Заслуга Дидро в „Энциклопедии", помимо его общего руководства и редактирования, помимо того, что Дидро написал статьи самого разнообразного содержания по философии, грамматике, риторике, политике, морали, по древностям, эстетике, — заключается, главным образом, в том, что он первый на страницах „Энциклопедии" сумел связать технику с культурным развитием человечества вообще. На нем лежал отдел техники, описание ремесл и технических производств. И таких статей он написал до тысячи. Дидро для этого сам отправлялся в мастерские, изучал на практике процесс производства. Заказывал диаграммы и чертежи, сопровождая ими свои статьи. «Он внес, — говорит Розенкранц, — в свои рассуждения и описания новый дух—дух уважения к труду, он как бы опоэтизировал труд". Такое отношение Дидро к труду было обусловлено двумя причинами: с одной стороны, каждый буржуа в то время обычно противопоставлял себя в качестве представителя трудящейся части общества белоручке—феодалу, который жил паразитически; с другой стороны, в Дидро в данном случае говорил потомок ремесленников, т.-е. той части общества, которая не только говорила о труде в полемике с феодалами, но и фактически трудилась.

Мы охарактеризовали тут Дидро, как философа-материалиста, моралиста, общественного деятеля, издателя „Энциклопедии". Мы не охарактеризовали его, как публициста, хотя он является одним из самых замечательных, если не самым замечательным, публицистом Франции вообще. Это не входило в задачу настоящей работы и может быть темой особой статьи.

П. Виноградская.

Теория относительности Эйнштейна и диалектический материализм.

В специальной научной литературе, посвященной физике, все чаще и чаще появляются обстоятельные статьи, содержащие веские возражения против принципа относительности Эйнштейна [1]). Отчетливо намечаются новые пути к решению задач, поставленных этой „революционной“ теорией, при чем оказывается, что нет никакой необходимости принимать многочисленные, парадоксальные и в то же время недоказуемые с физической точки зрения гипотезы, которыми изобилует теория Эйнштейна. Таким образом в мире специалистов период немого восторга и безоговорочного принятия на веру [2]) самых парадоксальных взглядов, какие только когда-либо появлялись в науке, сменился порой холодной, трезвой критики. За 19 лет своего существования теория предсказала всего только три факта: именно движение перигелия Меркурия, искривление светового луча и смещение спектральных линий в спектре солнца. По сравнению с другими теориями это очень и очень не много. Эти три „блестящих“ пророчества, исполнение которых было возвещено как в общей, так и в специальной печати и от времени до времени повторно возвещается в газетах всех стран, оказались очень и очень далекими от сколько-нибудь серьезной опытной проверки. Многое теперь говорит скорее даже против теории, чем за нее. Экспериментальные исследования тонкой структуры спектральных линий, теория которой была разработана Зоммер-

---

[1]) Например, G. V. Gleich, Zeitschr. f. Physik. 25, p. 230. 1924. Annalen d. Physik, 72, 73. 1923. Lenard, Annalen d. Physik, 73, 1923. E. Grossmann, Astronom. Nachricht. 24. 1921. Gehrke und Lau, Annalen d. Physik, 67. 1922. Raschevsky, Zeitschr. f. Physik, 10 1922. Очень хорошая сводка литературы дана в брошюре S. Mochorovicici, Die Einsteinsche Relativitäts Theorie u. ihr Mathem. Physik u. Philosoph. Character, Berlin. W de Gruyter, 1923 (Философская сторона слаба).

[2]) С 1905 по 1911 гг. в специальной печати возражений почти не было; большинство физиков безоговорочно согласилось с Эйнштейном. Теперь возражение следует за возражением. Эта справка, как нельзя лучше, опровергает избитую, ходячую „истину“: „Все новое встречается враждебно“. Пока для специалистов теория Эйнштейна была нова, против нее не спорили, и только теперь, когда в ней разобрались, — стали спорить и возражать. Вообще приходится скорее удивляться обратному явлению: как легко серьезные люди принимают на веру все, что угодно, и как мало развит дух критики.

фельдом на основе формулы Эйнштейна, выражающей зависимость массы электрона от его скорости, показали, что формула Эйнштейна не годится. Оказалось, что теория Абрагама, называемая теперь часто в противоположность теории относительности — „абсолютной“ теорией, много лучше изображает наблюденные факты [1]), чем теория относительности. Хотя сам Зоммерфельд, несколько поторопившись, уже в 1921 г. объявил о новой победе Эйнштейна! Наконец, повторенный на горе Вильсон, на высоте 1800 метров над уровнем моря опыт Майкельсона [2]) дал положительный результат! На-ряду с этим популярная литература наперебой расточает победные гимны по поводу окончательного и бесповоротного подтверждения теории относительности, закладывающей фундамент для нового „революционного“ мировоззрения: все же возражения систематически замалчиваются или обходятся, как несущественные. Все это вместе, конечно, оправдывает тот живой интерес, который проявляют к теории относительности наш журнал и широкие круги революционных марксистов и объясняет тот страстный характер, который принимает дискуссия. За текущий год появились две статьи, носящие тот же заголовок, что и настоящая. Одна напечатана в №№ 3—4 5 — „Под Знаменем Марксизма“ и принадлежит тов. З. Цейтлину, другая вышла отдельной брошюрой, изданной Госиздатом Украины, и представляет стенографическую запись доклада тов. С. Ю. Семковского. Так как пишущий эти строки далеко не совсем согласен с статьей тов. Цейтлина и совсем не согласен с тов. Семковским: он считает необходимым также высказаться. На этот раз, однако, ввиду целого ряда новых фактов, принесенных нам текущей журнальной литературой, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть и развить ту точку зрения, которую мне неоднократно приходилось высказывать в печати и на всевозможных диспутах и дискуссиях [3]), тем более, что мои уважаемые противники многие из приводимых мною аргументов упускают из виду.

Прежде всего остановим наше внимание на первой редакции теории Эйнштейна, на его „специальной“ теории, как ее принято теперь называть. Эта первая теория, которая, по мнению самого Эйнштейна, целиком вошла как часть в его всеобщую теорию, покоится, как известно, на двух положениях. I. Все явления природы, изученные наблюдателем А, должны протекать совершенно так же и для наблюдателя В, движущегося вместе с изучаемыми им объектами по отношению к А равномерно и прямолинейно [4]). II. Скорость света также под-

---

[1]) E. Gehrke und Lau, Annalen der Physik, 67. 1922.

[2]) Dayton Miller. Physikal Review, 19, p. 407—408. 1922.

[3]) См. А. К. Тимирязев, „Красная Новь“ № 2, 1921. Сборник: „Материализм и современном естествознании“, Москва 1923. Издание общества взаимопомощи студентов I МГУ. Статьи „Под Знаменем Марксизма“, 1922—1924.

[4]) Всеобщая теория обобщает это положение словами: „движущегося как угодно по отношению к А“.

чиняется правилу, изложенному в положении I. Так, если мы в какой-либо лаборатории измерим скорость света, то ту же величину получит другой наблюдатель, движущийся вместе со своей лабораторией (если, например, лаборатория находится в вагоне ж.-д. поезда) по отношению к первому равномерно и прямолинейно.

Поэтому совершенно тщетны были (с точки зрения Эйнштейна и его последователей, конечно!) попытки Майкельсона определить движение земного шара на основании измерений скорости света производимых на земном шаре. Принимая I и II положения, мы должны будем сказать, что скорость света получится одна и та же, движется ли земля или нет. В 1922 г., как мы уже упоминали, Дейтон Миллер получил положительный результат, но об этом речь впереди. Что касается первого положения, то оно ни в ком решительно не вызывало и не вызывает никаких сомнений. Это положение лежит в основе механики Ньютона и Галилея и всей т.-н. „классической механики". Мы знаем, что если сидеть в вагоне поезда или каюте парохода, идущего хотя бы и очень быстро, но все-таки равномерно и прямолинейно, то все механические процессы должны протекать и действительно протекают так, как будто бы поезд или пароход стояли на месте. Брошенный на пол предмет попадет на то же самое место пола независимо от того, стоит ли поезд или идет прямолинейно и равномерно. Обобщение этого принципа на все явления природы равносильно утверждению, что все явления природы — все более сложные формы движения материи, как скажет последовательный материалист,—подчиняются тому же самому принципу, которому подчиняются простейшие случаи движения, изучаемые в классической механике. Но тут надо сделать оговорку, которую упускают всегда из виду. Необходимо, чтобы все, что находится в поезде или в каюте парохода, до воздуха включительно, двигалось вместе с поездом или пароходом. Вы уронили в вагоне лист газеты: он упал у ваших ног. Но представьте себе, что вы сидите не в закрытом вагоне, а на открытой платформе быстро несущегося поезда. Даже в самый тихий, безветренный день воздух, рассекаемый поездом, будет рвать из ваших рук газету, и если вы ее уроните, то она будет сметена этим ветром, и, во всяком случае, не упадет к вашим ногам, как это случится, если поезд будет стоять на станции. Ветер, ведь, получается только вследствие движения: — день предполагается безветренным!

Противоречит ли это обстоятельство принципу относительности Галилея-Ньютона, т.-е. I положению теории Эйнштейна? Нисколько! Ведь в этом случае явление с падающей газетой происходит не только в движущемся поезде, но и в воздухе, который только в незначительной своей части приводится в движение поездом; поэтому мы не можем сказать, что явление протекает целиком в системе движущейся во всех своих частях одинаково равномерно и прямолинейно по отношению к поверхности земли, т.-е. в движущемся поезде, а ведь это предполагается в положении I, правда, иногда при формулировке этого

положения об этом обстоятельстве как-будто забывают. Но так как оговорка насчет воздуха и ветра, развивающегося при движении поезда, может вызвать у человека, не утратившего способность мыслить физически, весьма и весьма грешные мысли—грешные с точки зрения правоверного релятивиста,—то Эйнштейн перед началом своих рассуждений о наблюдателях, частью сидящих в несущемся поезде, а частью стоящих вблизи полотна железной дороги, делает весьма хитрое замечание: „пусть воздух над ним (полотном железной дороги. *А. Т.*) удален“ (! *А. Т.*)—„Die Luft über demselben wollen wir uns weggepumpt denken“ [1]). Итак, против I положения с указанной оговоркой, от которой Эйнштейн искусно отводит мысли своих читателей, никто не возражает; не упоминает об этой оговорке ни тов. З. Цейтлин, ни тов. С. Ю. Семковский. Вообще это вошло в рутину и у „революционных“ теорий, видно, создаются свои застарелые привычки и „косность мысли“! Факты неудобные просто отводятся: их не отрицают—это ведь невыгодно, так как факты вещь жестоко-упрямая. Теперь переходим ко II положению, к „постулату“ или „принципу“ постоянства скорости света. Всякий свежий ум, не посвященный в тайны принципа относительности, с изумлением скажет: при чем тут постулат? [2]) Ведь скорость света измеряют на опыте и притом многими способами, к чему же тут что-то постулировать, когда можно попросту измерить скорость света, и конец! Даже у самих релятивистов на этот счет нет единодушия, по крайней мере, в самой формулировке: одни говорят—это постулат, другие говорят—это постулат, „обобщающий все известные в физике факты“, а иные и просто „постоянство скорости света доказано на опыте“. Я не буду приводить длинных цитат, из которых вытекает, что „постоянство скорости света“ будто бы доказано на опыте, ограничусь одной только выпиской из книги Эйнштейна „Основы теории относительности“ [3]): „Однако все опыты показали, что электромагнитные и оптические явления протекают по отношению к земле, как телу отсчета, так, что влияние движения земли не обнаруживается“ и немного далее на той же странице — „свет распространяется в пустоте с постоянной скоростью С“ („принцип постоянства скорости света“).—Это утверждение является совершенно надежным“ (! *А. Т.*). Эта несогласованность в определениях, наблюдающаяся иногда даже у одного и того же автора, объясняется очень просто. **Опытов, доказывающих постоянство скорости света, никто нигде и никогда не производил!** Да, мои уважаемые противники, не пожимайте плечами! Ввиду того, что я этот тезис давно уже выдвинул (на заседаниях физического общества имени П. Н. Лебедева в 1916 г. и в печати, см. „Красная Новь“ № 2 1921 г.), и ввиду того, что

[1]) Einstein, Ueber die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (gemeinverständlich), Sammlung Vieweg, p. 12, 1920.

[2]) Постулат, или требование, есть предположение, которому нельзя привести доказательства, Propositio practica indemonstrabilis. Kirchner, Philosophisches Wörterbuch.

[3]) Книгоиздательство „Сеятель“, Петроград 1923 г., стр. 23.

на него никто из моих противников не желает обращать внимания, придется его еще раз обсудить, тем более, что на него теперь обращено внимание и в специальной литературе[1]). Читатель готов уже выйти из терпения. Как же никаких опытов не было произведено? А опыт Майкельсона и Морлея. Ведь первые известия об удачном повторении опыта пришли только теперь! Дело заключается в следующем: если бы даже полученное из Америки известие оказалось ошибочным, то все-таки отрицательный результат этого опыта и целого ряда ему подобных не решает вопроса о влиянии движения земли на скорость света. Во всех этих опытах луч света, идущий по прибору в любом направлении, проходит этот путь дважды туда и назад, а при этом значительная часть влияния движения земли сама собой исключается, об этом как будто очень многие основательно забыли!

В самом деле, пусть галка летит вдоль полотна железной дороги, обгоняя медленнее ее идущий поезд. Ясно, что она будет лететь вдоль каждого вагона дольше, чем если бы она пролетела вдоль поезда, стоящего на станции. Ясно также, что если она летит навстречу движущемуся поезду, то она будет пролетать вдоль каждого вагона в более короткий срок. Вот в том-то и дело, что мы не имеем пока возможности определить продолжительности прохождения света в одном направлении. Пользуясь наглядным сравнением с галкой, мы можем в опыте Майкельсона сравнивать два промежутка времени: время, в течение которого галка пролетела вдоль всей длины вагона туда и

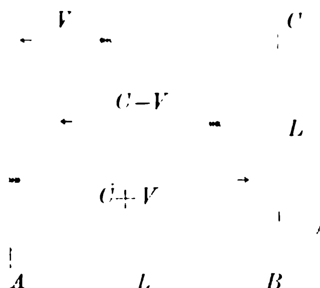


Рис. 1.

назад, и время, в течение которого она от окна вагона отлетела в сторону на такое же расстояние, т.-е. на длину вагона под прямым углом к железнодорожному полотну и вернулась обратно к поезду. Но ясно, что в первом случае влияние перемещения поезда в значительной степени уже исключено, галка в одну сторону летит медленнее вдоль вагона, в обратном быстрее, чем при стоящем поезде, а в сумме получается промежуток, очень близкий к тому, который нужен

[1]) См., напр., Raschewsky, Zeitschrift für Physik, 14 том, 1923 г.

галке, чтобы пролететь вдоль вагона взад и вперед, когда поезд стоит на месте. Выясним все это на простых математических формулах, которыми обыкновенно пользуются для объяснения опыта Майкельсона. Луч света из В (см. рис. 1) проходит путь АВ два раза, он отражается от зеркала в А и идет обратно в В. Если земля с прибором движется, как указано на чертеже стрелкой, а свет распространяется в эфире, который в этом движении не участвует, то свету, как галке в нашем примере, придется догонять зеркало А, он будет двигаться со скоростью $C - V$ относительно прибора АВ, время, потребное ему для перехода из А в В будет $t_1 = \frac{L}{C-V}$. В обратном направлении ему потребуется меньше времени: прибор АВ движется ему навстречу $t_2 = \frac{L}{C+V}$. Если бы мы могли измерять в отдельности t_1 и t_2, то вопрос был бы решен, но в том-то и дело, что в опытах Майкельсона мы сравниваем промежуток $t_1 + t_2$ с промежутком t_3, который необходим свету, чтобы пройти путь СВ туда и назад. Не остананавливаясь на вычислениях, укажем, что $t_3 = \frac{2L}{\sqrt{C^2 - V^2}}$ или $\frac{2L}{C}\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{V}{C}\right)^2 + \ldots\right]$, где мы отбросим члены, содержащие $\left(\frac{V}{C}\right)$ в степени выше второй. Далее, применяя правила алгебры (сумма членов бесконечно нисходящей прогрессии) мы, имеем для t_1 и t_2 следующие выражения:

$$t_1 = \frac{L}{C}\left[1 - \left(\frac{V}{C}\right) + \left(\frac{V}{C}\right)^2 + \ldots\ldots\right]$$

$$t_2 = \frac{L}{C}\left[1 + \left(\frac{V}{C}\right) + \left(\frac{V}{C}\right)^2 + \ldots\ldots\right]$$

складывая t_1 и t_2, мы замечаем, что наиболее существенная часть влияния движения земли скрадывается, члены „первого порядка" $\left(\frac{V}{C}\right)$ и $-\left(\frac{V}{C}\right)$ сами собой исключаются:

$$t_1 + t_2 = \frac{2L}{C}\left[1 + \left(\frac{V}{C}\right)^2 + \ldots\ldots\right]$$

Опыт Майкельсона позволяет определить разность между $t_1 + t_2$ и t_3, т.-е. величину:

$t_1 + t_2 - t_3 = \frac{2L}{C}\,\frac{1}{2}\left(\frac{V}{C}\right)^2$, т.-е. члены так называемого „второго" порядка.

Определим теперь относительную величину членов I-го и II-го порядка: скорость земли $V = 30$ килом. в секунду и $C = 300000$ килом. в секунду $\left(\frac{V}{C}\right) = \frac{1}{10000}$ и $\left(\frac{V}{C}\right)^2 = \frac{1}{10000}$ от одной десятитысячной, т.-е. члены второго порядка в десять тысяч раз меньше членов первого. Таким образом опыт Майкельсона, если он дает положительный результат, дает одну десятитысячную долю всего влияния движения земли! Заклю-

чать, что движение земли не отражается на величине скорости света только потому, что члены второго порядка не обнаружены (пусть даже Дейтон Миллер ошибся и опыт дает отрицательный результат) похоже на следующее легкомысленное заключение. Известно, что кто-нибудь мог получить 100 руб. и одну копейку, и вот некоему лицу поручено проверить это, после проверки мы узнаем следующее: я ручаюсь, говорит наш контролер, что одной копейки не было получено, об рублях я не думал и не проверял их, но раз копеек не было получено, значит и рублей также!

Положился бы финотдел на такого инспектора или нет?!

Известно, что Лоренц и Фиц-Джеральд объяснили опыт Майкельсона тем, что прибор укорачивается в направлении движения и как раз пропорционально отношению $\left(\frac{V}{C}\right)^2$. Таким образом насколько должен запаздывать луч света, настолько его путь укорачивается, стало быть, запаздыванья не будет. Это вовсе не гипотеза, придуманная ad hoc, как это по установленной традиции принято говорить. Необходимость этого сокращения вытекает из основ электродинамики. Во всяком случае если опыт Майкельсона дает отрицательный результат, то все-таки это не исключает влияния движения земли. Для решения вопроса надо определить время, потребное для луча света, чтобы пройти какой-либо путь в одну сторону, т.-е. требуется определить отдельно t_1 и t_2. В применении к звуку мы это делаем, со светом мы этого сейчас сделать не можем, так как не можем определять момент выхода и прихода светового сигнала с точностью до ста миллионных долей секунды—очень уж быстро движется свет. Но можно ли это считать принципиально невозможным? По Эйнштейну—да! Его постулат именно и прячется за эту практическую невозможность при теперешней технике осуществить измерение скорости света.

Раз мы приняли этот постулат, то само собой мы должны ожидать, что опыт Майкельсона не может дать положительного результата, раз движение земли в силу этого постулата не влияет на скорость света. Но Эйнштейн ведь идет еще дальше: он свой постулат полагает в основу определения времени—сверки часов. Действительно, как установить наблюдателям A и B, находящимся в двух пунктах на земном шаре, что у них часы идут согласно? Эйнштейн говорит: единственный способ—сверять часы с помощью световых сигналов, принимая при этом постулат постоянства скорости света. Пусть сигнал выпущен из A в момент t_0, в момент t^1 он прибыл в B и в тот же момент отразился от зеркала в B и к моменту t_1 прибыл в A. Принимая постулат постоянства скорости света, мы должны сказать, что свет шел туда и обратно совершенно одинаково и что промежуток времени $t^1-t_0=$ $=t_1-t^1$ время прохождения светом от A до B равно времени прохождения от B к A, независимо от того, движутся ли A и B вместе по отношению к чему-либо третьему или нет. Из приведенного равенства

имеем $t^1 = \frac{t_0 + t_1}{2}$. По Эйнштейну это единственный способ определять время, а потому это и есть настоящее время. Так как существует только то, что я измеряю—так рассуждает Эйнштейн, по крайней мере. Можно ли с помощью таким образом установленных часов проверить, выполняется ли постулат Эйнштейна или нет? Ясно, что мы попали в порочный круг: часы устанавливаем на основе постулата, а потом с этими часами хотим проверять постулат! Но есть другой способ, на который указывает Рашевский и о котором мы уже вскользь говорили. Мы можем сверить стоящие в одном и том же месте C часы A и B, а потом отнести часы B в какое-либо место, отстоящее от C на некоторое расстояние L, и произвести опыт измерения скорости света по одному направлению, т.-е. не заставляя луч света итти туда и обратно и предполагая, что точность отсчета времени выхода сигнала и его прихода какая угодно. Мы освобождаемся тогда от порочного круга и установки часов по Эйнштейну. Но нам могут возразить „релятивисты": а почему вы знаете, что при переноске часов их ход не изменился? Как вы это докажете? Рашевский считает, что положение безвыходное и что мы никогда не в состоянии будем ни подтвердить, ни опровергнуть постулат Эйнштейна, что измерение скорости света в одном направлении задача принципиально не разрешимая. Я лично считаю, что это метефизика, что нельзя ставить границ искусству экспериментатора. Я только обращаю внимание на одно, не прав ли я, утверждая, что теория относительности пока что искусно забронирована от опыта, недоступна практической, опытной проверке, что, думается мне, должно наводить на серьезные размышления всякого марксиста. Ведь „критерий практики" есть единственный критерий истины! Что же пишут по этому поводу марксисты, пытающиеся примирить учение Эйнштейна с диалектическим материализмом? Тов. Семковский, обсуждая опыт Майкельсона, пишет: „Оказалось, что свет проходит в секунду все те же триста тысяч километров, как если бы земля вовсе и не двигалась в эфире" (l. c., стр. 25). Мы только что видели, на сколько обоснован этот вывод! Далее тов. Семковский утверждает: „точность опыта Майкельсона, основанного на интерференции световых волн, ни одним физиком не оспаривается". Дейтон Миллер не только оспаривает, но на опыте получает противоположные результаты! Тов. З. Цейтлин идет еще дальше: „Опыт Майкельсона, повторенный несколько раз (1881, 1887, 1904, 1909), дал отрицательный ответ. Это великая победа механической картины мира и, следовательно, диалектического материализма, который полагает, что все явления природы—это движение материи" („Под Знаменем Марксизма", № 3, стр. 105). „Согласно принципу относительности механики опыт Майкельсона не мог дать положительного результата, ибо все явления природы—это движение материи, т.-е. подчиняются законам механики. Если физики думали иначе, то они плохо думали". Так, очень хорошо! А вот плохо думающие физики в 1921—1922 г.г. повторили опыт

Майкельсона и получили—о, ужас!—положительный результат! Диалектически материализм сокрушен. Свет не есть движение материи и т. д. и т. д. А что еще занятнее—есть „плохо думающие“ физики, которые думают, что положительный результат опыта Майкельсона не опровергает принципа относительности Ньютона-Галилея и есть марксисты, которые совсем не боятся за судьбу диалектического материализма! Но посмотрим прежде всего, в чем же состоят эти вновь открытые факты. Оказывается, что еще при повторении опыта Майкельсона в 1904 году на более возвышенном месте над уровнем моря, чем в опытах 1887 г., были замечены маленькие смещения интерференционных полос и как раз при таких положениях прибора, при каких благодаря движению земли их можно было ожидать; но только эти смещения были значительно меньше по абсолютной величине, чем те, которые ожидали по обычной теории опыта Майкельсона. Смещения лежали почти в пределах неизбежных ошибок опыта и потому Морли и Миллер о них ничего не сообщили. В 1921—1922 г.г.[1]) Дейтон-Миллер, сотрудник Морли, повторил опыт на высоте 1.800 метров над уровнем моря. Полосы интерференции смещались уже значительно больше, но все-таки это смещение достигает $^1/_{10}$ того смещения, которое ожидалось по элементарной теории опыта Майкельсона. Тем не менее смещение значительно больше, чем ошибки опыта, и, главное, оно наблюдается при положениях прибора, при которых движение земли и должно было вызвать эти смещения! Кроме того обнаружилось еще одно побочное явление—небольшое смещение полос интерференции, повторяющееся при повороте прибора на 360°. Это смещение Дейтону Миллеру удалось изолировать от эффекта движения земли, но он еще не нашел причины этого побочного смещения. предосторожности он опубликовал предварительно сообщение с оговоркой, что, пока он не выяснит причин этого побочного явления, он воздерживается от каких бы то ни было выводов. Какой приятный контраст представляет эта осторожность и добросовестность неутомимого экспериментатора с теми поспешными провозглашениями побед принципа относительности, которые через несколько месяцев оказываются мнимыми!

Физики не эйнштейньянцы, а их гораздо больше, чем обыкновенно думают—потому что большинство в печати и на собраниях не выступают против Эйнштейна по причинам житейски вполне понятным [2]),—объясняют этот факт следующим образом. Одни (Ленар, фон Глейх) полагают, что эфир частью увлекается движением земли, но чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем это увлечение

---

[1]) Dayton Miller, Phys. Rev., 19, p. 407—408, 1922.

[2]) „Герке борьба против теории относительности дорога обошлась; несмотря на его многочисленные исключительного значения экспериментальные исследования, факультеты не предлагают ему ординатуры“ (не утверждают ординарным профессором) (Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Physik, Prof. I. Stark, p. 12, 1922). Другой противник, проф. Мохоровичич в печати заявляет о получении и им угрожающих анонимных писем, в ответ на его критику теории Энштейна. Мохоровичича сам Эйнштейн считает наиболее сильным своим противником. Mohorovicic, Die Einsteinsche Relativitätstheorie, Leipzig 1923, p. 53.

меньше. Другие, к ним принадлежит и пишущий эти строки, полагают, что причиной, препятствующей положительному результату опыта Майкельсона, является воздух. Проф. Эйхенвальд несколько лет назад начал готовиться к повторению опыта Майкельсона в безвоздушном пространстве: опыт очень сложен и труден и до конца ему не удалось его довести; он ожидал, что, устранив в значительной степени воздух, увлекаемый землей и влияющий на скорость света, можно будет получить полное смещение полос интерференции в приборе Майкельсона. Опыт Дейтон Миллера находится в полном согласии с этим предположением. На высоте 1.800 метров воздух более разреженный, чем на уровне моря, оттого и должно было получиться частичное смещение полос интерференции. Во всяком случае вопрос вступил в новую фазу—теперь уже ни Эйнштейн, ни кто другой не запугают тем, что „опыт принципиально не может дать положительного результата". Вера в догмат теории Эйнштейна подорвана. Надо ожидать поэтому большого оживления в экспериментальных исследованиях, посвященных доказательству движения земли относительно эфира, почти совсем прекратившихся, так как с точки зрения Эйнштейновой теории это все равно, что искать „перпетуум мобиле". Таким образом в этом отношении „революционная" теория несомненно способствовала попятному движению в науке.

Но опровергает ли положительный результат опыта Майкельсона—принцип относительности Галилея-Ньютона и с ним вместе диалектический материализм, как полагает тов. Цейтлин?—Нисколько! Движение земли, которое мы этим путем определим, будет не „абсолютным", но всего только „относительным" по отношению к эфиру! Это так же мало опровергает принцип относительности Галилея-Ньютона, как и ветер, наблюдаемый пассажиром, едущим в поезде в безветренный день, о чем мы уже говорили.

Первое положение Эйнштейна остается, второе—падает. Мне совершенно непонятно, почему тов. Цейтлин, также отвергающий постулат постоянства скорости света и называющий его „великим эмпирическим софизмом Эйнштейна", не видит, что первое положение нисколько не нарушено, если эфир не принимает участия в движении земли. Тогда по отношению к нему можно определить относительное движение земли, также как и движение поезда по отношению к воздуху над лесом и полем, мимо которых мы едем.

Но как же быть с Лоренцовым сокращением, которое вытекает из электродинамики и которое пропорционально отношению $\left(\frac{V}{C}\right)^2$, так же как и ожидавшееся и не наблюденное в свое время Майкельсоном запаздывание луча света?

Дело в том, что еще требует доказательства, одинаковы ли коэфициенты, стоящие при $\left(\frac{V}{C}\right)^2$ в том и другом случае: только тогда получится компенсация. Одного доказательства, что сокращение пропор-

ционально $\left(\frac{V}{C}\right)^2$, еще не достаточно; возможно, что сокращение хотя и пропорциональное $\left(\frac{V}{C}\right)^2$ не в точности компенсирует запаздывание— раз коэфициент при этих членах в обоих случаях не одинаков. Может быть, поэтому и не получается то смещение в опыте Дейтона Миллера, какое мы могли бы ожидать по элементарной теории. Словом, мы имеем целый ряд вполне понятных физически предположений, и перед нами длинная и интересная работа. А с легкой руки Эйнштейна опыт Майкельсона уже был как будто сдан в архив!

Но отчего же тов. Цейтлин запутался? Оттого, что ему хочется показать, что вся наука и весь диалектический материализм целиком растворяется в философии и физике Декарта. Ему хочется показать, что Декарт дал полный план развития всей науки на вечные времена вперед. Я продолжаю все-таки думать, что наши познанья в области наук о природе неизмеримо расширились со времен Декарта и что, в конце концов, живая практика, в которую включается само собой разумеется вся деятельность физиков экспериментаторов, есть высший и единственный судья. Продолжаю думать, что эта точка зрения не расходится с марксизмом.

Теперь переходим к вопросу об эфире.

Обыкновенно излагающие специальный принцип Эйнштейна[1] преподносят отрицание эфира, как несколько неожиданный вывод, являющийся математическим следствием теории, и не замечают, что отрицание эфира уже предрешено одновременным принятием первых двух положений Эйнштейна, о которых у нас идет речь. Волны света и радиотелеграфа движутся в эфире, говорит физик, не допускающий возможности существования волн без существования того, что волнуется. Скорость света одинакова как в системе A, так и в системе B, движущейся равномерно и прямолинейно по отношению к A говорит Эйнштейн. Если скорость света и в A и в B одинакова, значит эфир или покоится по отношению к A и по отношению к B, или движется одинаковым образом как по отношению к A, так и по отношению к B. Но как это может быть, когда B движется по отношению к A? Получается следующая картина: я сижу на скамейке вагона и не двигаюсь, поезд идет полным ходом в Ленинград, но я в с е-т а к и н е п о д в и ж е н по отношению к платформе Московской станции! Здравый смысл не мирится с этим противоречием, и вот Эйнштейн до 1920 г. следовал здравому смыслу; несмотря на то, что т. Семковский очень не долюбливает этот самый здравый смысл! Какой в самом деле выход? Прежде всего, не существует таких пассажиров, которые одновременно сидят и в мчащемся поезде, и на станции! Посмотрим, что говорит по этому поводу сам Эйнштейн: „пусть K будет некоторая координатная система, по от-

[1]) Эйнштейн, как известно, отрицал эфир до 1920 года. О том новом эфире, который Эйнштейн вводит в свою теорию, у нас речь будет впереди.

ношению к которой эфир Лоренца находится в покое, тогда по отношению к K уравнения Максвеля-Лоренца будут справедливы прежде всего. Но на основании специальной теории относительности те же самые уравнения в совершенно неизменном виде будут справедливы и относительно всякой новой координатной системы K', движущейся равномерно и прямолинейно относительно системы K. Теперь невольно возникает вопрос, почему я должен приписать системе K в отличие от физически совершенно подобной ей системе K', то свойство, что эфир относительно нее неподвижен? Такая ассиметрия теоретического построения, совершенно не опирающаяся ни на какую ассиметрию опытных данных (вспомним постулат о скорости света! *А. Т.*), не допустима для теоретика"... „Ближайшей точкой зрения, на которую можно встать в этом вопросе является такая—эфир вообще не существует [1]). Электромагнитные поля не суть состояния некоторой среды, а самостоятельно существующие реальности..." (Эйнштейн, Эфир и принцип относительности, Научное книгоиздательство, Петроград 1922, стр. 14 и 15). Эта точка зрения среди релятивистов была господствующей до 1920 года, ее и излагает Эйнштейн в приведенном нами отрывке его речи, прочтенной 5 мая 1920 г. Но в ней же он устанавливает и новую точку зрения. Приведем его собственные слова: „между тем ближайшее рассмотрение показывает, что специальная теория относительности не требует безусловного отрицания эфира. Можно принять существование эфира, не следует только заботиться о том, чтобы приписывать ему определенное состояние движения, иначе говоря—нужно путем абстрагирования отнять от него последний признак, который ему еще оставил Лоренц" (стр. 16, там же). Окончательный вывод Эйнштейна еще более определенен. „Гипотеза существования эфира не противоречит специальной теории относительности. Нужно только остерегаться приписывать эфиру состояние движения". Но известно—аппетит приходит с едой. Эйнштейн уже не ограничивается одним эфиром: „обобщая, мы можем сказать, мыслимо расширяя понятие физического предмета, представить себе такие предметы, к которым нельзя применить понятия движения. Их нельзя мыслить (! *А. Т.*) состоящими из частей, поддающихся исследованию во времени". Теперь посмотрим, какой из этого делает вывод тов. Семковский. „Нет ни абсолютного неподвижного эфира, ни тел, которые находились бы в абсолютном покое" (!!! *А. Т.*), а дальше, чтобы показать, что все это находится в полном согласии с диалектическим материализмом, приводится известная выдержка из Энгельса о том, что „неподвижное состояние материи оказывается одним из самых пустых и нелепых представлений, чистым горячечным бредом".

Достигает своей цели тов. Семковский весьма простым и грубым приемом, он приводит только ту часть мысли Эйнштейна, в которой говорится, что „все изменение, которое произвела теория относитель-

[1]) Читатель видит, что эта мысль Эйнштейна вполне совпадает по смыслу с приведенным мной примером о пассажирах, одновременно сидящих на станции и в несущемся поезде.

ности в понятии об эфире, состояло в отнятии у эфира и этого последнего его механического свойства—неподвижности" и ни одним словом не упоминает о том, что к эфиру нельзя применять понятия движения и что его нельзя мыслить состоящим из частей, которые можно исследовать во времени. Действительно, если читатель не заглянет сам брошюру Эйнштейна, то он будет уверен, что все обстоит благополучно и что теория Эйнштейна удалила из естествознания последние остатки „горячечного бреда"; о том же, что она вводит еще худший горячечный бред—понятие о физическом теле, к которому нельзя даже применять понятие движения—читатель, полагающийся на тов. Семковского, так и не узнает и будет пребывать в блаженном заблуждении, а, ведь, известно: „тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман". С каких только пор этот принцип стал марксистским? Вот до чего доводит безумная любовь к модной теории и неудержимое желание „соединить" теорию относительности с диалектическим материализмом. Невольно вспоминаются слова из старинной трагедии Озерова: „О должность! О любовь!".

Тов. Семковский подтверждает свое „толкование" принципа относительности, согласное с диалектическим материализмом ссылкой на слова Эйнштейна, написанные им еще в 1905 году по поводу теории Лоренца: „понятию абсолютного покоя не соответствуют никакие свойства явлений". Другими словами, добавляет тов. Семковский, „понятие абсолютного покоя лишено всякого реально-физического смысла, или, что то же самое, **абсолютного покоя нет**. Нет ни абсолютно неподвижного эфира, ни тел, которые находились бы в абсолютном покое".

Легковерный тов. Семковский на-слово поверил Эйнштейну и всем его популяризаторам, а также философам, утверждающим, что теория Лорентца есть теория абсолютно неподвижного эфира. Когда, вообще, серьезные люди и всерьез высказывают эту „истину", то физику трудно удержаться от улыбки. Что, в самом деле, дают факты, на которых построена теория Лоренца? Опыты показывают, что движущиеся тела, например, вращающиеся диски, в знаменитых опытах проф. Эйхенвальда, сделанных в Москве, в 1901 году, не вызывают движения эфира во всей его массе. Новейшие исследования показывают, что атомы, из которых построено вещество, представляют собою подобие планетных систем, масштаб которых следующий. Если мы ядро атома представим в виде горошины, то внутреннее кольцо электронов будет иметь радиус около 10 метров, а наружное будет величиною с трамвайное кольцо Б в Москве! Так как электронов в атоме—даже в самом тяжелом—несколько десятков, и так как электроны при выбранном масштабе имеют размер также с горошину, то для нас ясно, что распределенные на такой большой территории несколько десятков горошин не смогут поднять сильного ветра, если бы даже эти горошины и летели с громадной скоростью. Конечно, в непосредственном соседстве с горошиной, окружающая ее среда будет приве-

дена в движение, но это будут области не много больше горошины. А, ведь, размеры атома в данном масштабе—это размеры трамвайного кольца Б! Таким образом, по этой схеме, ничтожная часть среды, окружающая отдельный атом, будет приведена в движение. Вот как физики, опирающиеся на факты, разрешают противоречия: тело движется в эфире и его не увлекает! Вот, почему, если я махаю рукой, в которую вставлено перо, которым я пишу эту статью, то громадная часть эфира, заполняющая эту ручку и перо, не придет в движение. Утверждать, что если я, махая карандашом, не могу привести в движение эфира, значит он абсолютно неподвижен, по моему мнению, похоже на приступ мании величия. Но посмотрим, что писал сам Лоренц еще в 1895 году, когда Эйнштейновой теории еще не было. „Что об абсолютном покое эфира не может быть и речи, само собой понятно: это выражение не имело бы даже смысла. Если я для краткости говорю, что эфир покоится, то это значит, что одна часть этой среды не смещается по отношению к другой, и что все наблюдаемые движения небесных тел являются относительным движением по отношению к эфиру“ [1]). Утверждать, что эфир Лоренца абсолютно неподвижен, просто смешно, и если это делает такой гениальный математик, как Эйнштейн, то видно „на всякого мудреца довольно простоты“!

Новый Эйнштейновский эфир, который и стоять не стоит, и двигаться не двигается, к которому не приложимо самое понятие „движения“, очень нравится тов. Цейтлину. „Тов. Тимирязев,—пишет он,—очень удивляется эфиру Эйнштейна, в котором нет частей „и к которому „неприложимо понятие движения“. „Но почему не удивляется он эфиру Лоренца? Эфир Эйнштейна мало чем отличается от эфира Лоренца (! *А. Т.*) и более того, о таком роде эфира усиленно рассуждали древние физики и все великие ученые и философы нового времени (Декарт, Спиноза, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, Кант и др.)“. Почему я удивляюсь? А вот почему: эфир Лоренца — реальная среда, переносящая волны лучистой энергии. Я не могу сообщить ей поступательного движения во всей ее массе, двигая какое-либо тело, и я понимаю почему. Электроны и ядра атомов, как мы только что видели, занимают ничтожную, малую часть той области пространства, в которой помещается „атом“. Поэтому самая плотная материя, например, платина, с этой точки зрения, очень редкое решето, сквозь которое легко проходит эфир, увлекаясь движением атома только вблизи его ядра и электронов. Я вполне согласен с Лоренцом, Дж.-Дж. Томсоном другими физиками и философами, в том числе и с тов. Цейтлиным, что можно и должно рассматривать „атомы как местные модификации эфира“. Но я не могу понять одного, как тов. Цейтлин не видит, что во всем этом немаловажную роль играет „понятие движения“, которое не применимо к эфиру Эйнштейна, и как можно говорить, что эфир Эйнштейна мало чем отличается от эфира Лоренца?

---

[1]) У меня не было под руками статьи Лоренца; цитирую из статьи E. Wiechert'a в Annalen d. Physik, 63. 1920. p. 372.

Тов. Цейтлин пишет: „Эфир Лоренца — это Евклидово пространство, как физическое тело, единственное свойство которого — это протяженность и движение". Опять движение! Да, ведь, Эйнштейн, кажется, недвусмысленно запретил вам применять к эфиру понятие движения! Но здесь мы видим опять разгадку всей путаницы. Опять надо доказать, что все, над чем ломает голову современная физика, было уже разрешено Декартом. Декарт считал, что пространство и первичная материя—это одно и то же. От этого тов. Цейтлин путается: когда он говорит об этом пространстве как веществе, он говорит и о движении; когда же на первом плане пространственные соотношения — он говорит о неподвижности. Вот образец рассуждений тов. Цейтлина: он пользуется терминологией Декарта и отождествляет эфир с первичной материей Декарта (prima materia), ее модификацию, т.-е. электроны и атомы материи, он называет вторичной (materia secunda). Но в чем отличие первой материи от второй? „В том, что первая материя — это та абстрактная „материя, как философская категория" (это эфир, передающий волны света и радиотелеграфа — абстракция, не так ли?! *А. Т.*), из которой помощью движения образуется конкретная материя. Я говорю „абстрактная", ибо нет материи, которая была бы лишена движения". Значит, эфир лишен движения или это недомолвка? Увы, нет! На стр. 98 читаем: „Вообразим, что у нас имеется некоторое количество первой материи, т.-е. материи, лишенной всякого движения" (!!! *А. Т.*). Поистине, возражения Энгельса Дюрингу не устарели!

Это стремление уложить всю физику, всю современную науку в рамки Декартовой физики заставляют тов. Цейтлина, хорошо знакомого с физикой, искажать ее выводы. Вот еще очень наглядный пример: „Что такое волна? (стр. 99). Это „двигательный модус" газа, жидкости или твердого тела. Общеизвестно, что при волновом движении среда „неподвижна", а распространяется движение". Тысячу раз нет, тов. Цейтлин! Все частицы среды, при распространении волны, находятся в движении, и порой довольно-таки сложном! Из того, что частицы среды топчутся на месте, а не переносятся вместе с волной на большие расстояния, вовсе не следует, что среда неподвижна: именно из их движений и слагается движение волны.

Итак, рассмотрим схематически, как весьма близкая к „горячечному бреду" Дюринга среда или физические предметы, к которым не применимо самое понятие движения, примиряются с диалектическим материализмом, подтверждая истину: весь мир есть материя, находящаяся в движении.

Метод № 1, тов. Семковского.

Надо прежде всего скрыть, что Эйнштейн не допускает самого понятия движения по отношению к эфиру, электромагнитному полю и т. д. Надо особенно подчеркивать, что эфир не может покоиться, сделать отсюда вывод, что нет ничего абсолютно неподвижного и кри-

чать ура: диалектический материализм торжествует, по теории Эйнштейна все течет, все движется!

Метод № 2, тов. Цейтлина.

Эйнштейн правильно делает, что лишает подвижности эфира, так как эфир — это „первая материя“ Декарта, это — пространство, как физическое тело, это—абстрактная материя, материя, как философская категория, лишенная движения. Итак, ура! Все течет, все движется! Грешный человек: не убеждают меня эти доказательства! Плохо все-таки вяжется с диалектическим материализмом, забронированная от физического опыта, умозрительная теория Эйнштейна, издающая для природы декреты, к сведению и к исполнению, запрещающая „применять самое понятие движения“ к целым категориям предметов, и запрещающая мыслить предметы, состоящими из частей.

Переходим теперь к другой группе вопросов.

А. Тимирязев.

(*Продолжение в следующей книжке*).

Дарвинизм и теория мутаций с точки зрения диалектического материализма[1]).

В марксистской литературе, главным образом, по историческому материализму часто проскальзывает сравнение теории Дарвина с теорией мутаций де-Фриза, при чем обыкновенно первую склонны рассматривать как теорию реакционную, уже отжившую, отражающую идеологию почившей на лаврах буржуазии, боящейся и в науке всего, что напоминает скачки, катастрофы и революции.

Наоборот, теорию мутаций выставляют как более современную и революционную, так как она медленное, постепенное развитие органического мира заменяет скачкообразным со взрывами новых форм, которыми только и движется развитие, но отнюдь не медленной постепенной эволюцией. Таким образом теория мутаций должна как будто бы больше отвечать идеологии борющегося пролетариата, чем теория Дарвина.

Г. Плеханов в своем труде „Основные вопросы марксизма“, между прочим, пишет: „Мы напомним читателю, что в течение последних двадцати лет теория, видящая в процессе развития одни только постепенные изменения, стала терять под собою почву даже в биологии, где она раньше пользовалась едва ли не всеобщим признанием. В этом отношении работам Армана Готье и Гуго де-Фриза суждено, повидимому, составить эпоху. Достаточно сказать, что созданная де-Фризом теория мутаций представляет собой учение о скачкообразном развитии видов. По мнению этого выдающегося натуралиста, слабой

---

[1]) Статья дискуссионная. Редакция предлагает т.т. марксистам, сторонникам теории мутации, высказаться на страницах журнала в защиту своей точки зрения.

стороной Дарвиновой теории происхождения видов является именно мысль, что это происхождение может быть объяснено постепенным изменением. Интересно также и очень метко замечание де-Фриза, что господство теории постепенных изменений в учении о происхождении видов было неблагоприятно для экспериментального исследования относящихся сюда вопросов".

Еще определеннее высказывается К. Каутский в своей книге „Социальная революция". В одном месте он говорит... „Не случайно, что теория эволюции Дарвина возникла именно в Англии,—стране, где в течение 250 лет замечаются лишь зачатки революционных движений".

Далее он пишет: „...С одной стороны увеличивается тяготение к консервативным теориям, которые даже и эволюцию сводят до минимума, с другой стороны факты вынуждают снова отводить в области развития природы более широкое место катастрофам. Замечательный пример в этом отношении представляют наблюдения, и сообщение де-Фризом на последнем съезде естествоиспытателей в Гамбурге. Он нашел, что виды животных и растений долго остаются неизменными: одни, в конце концов, погибают, когда сделаются устарелыми и неприспособленными к жизненным условиям, изменившимся за это время; другие виды счастливее, они, как выражается сам де-Фриз, внезапно взрываются, чтобы дать жизнь множеству новых форм, из которых некоторые выживают и размножаются, а остальные не соответствующие условиям жизни, погибают. С легкой руки Плеханова и Каутского те же положения повторяются и другими марксистами, причем этот взгляд настолько укрепился в нашей марксистской литературе, что его бесспорность принимается почти как очевидность.

На самом деле это далеко не так. Моя задача и будет заключаться в том, чтобы доказать, что, как раз наоборот, теория мутаций глубоко противоречит взглядам диалектического материализма и поэтому не только не революционна, а реакционна и метафизична. Не говоря уже о том, что она несостоятельна и с точки зрения современного естествознания.

Теория же естественного подбора Дарвина всегда и во всем строго отвечает диалектическому мировоззрению.

Прежде чем приступить к детальному разбору своих теорий с точек зрения диалектического материализма и современного естествознания, необходимо хотя бы вкратце изложить сущность обеих теорий.

Теория естественного подбора Дарвина в основных своих пунктах заключается в следующем: животные размножаются вообще чрезвычайно быстро, так что их потомство, казалось, должно бы расти пропорционально числам 2, 4, 8, 16 и т. д. Несмотря на это, в общем число особей каждого вида остается на земле приблизительно постоянным. Лишь при особо благоприятных условиях некоторые виды размножаются чрезвычайно быстро.

Такое равновесие в природе объясняется упорной борьбой за существование, которая царит во всем органическом мире. В этой борьбе большинство гибнет, и лишь ничтожная часть выживает и дает новое потомство. Потомство обыкновенно близко напоминает своих родителей, так что от родителей данного вида происходят всегда представители того же самого вида или разновидности (так, от кошек могут произойти только кошки, от зайцев зайцы и т. д.). Однако, хотя в целом детеныши очень похожи на своих родителей, и вообще все представители одного вида—друг на друга, между ними все же существуют бесчисленные, мелкие особенности и уклонения, заметные лишь при сравнительном изучении. Все органы варьируют, отклоняясь

в обе стороны от средней величины. Варьируют оттенки цветов, величина органов, их пропорциональность, качества, способности, инстинкты и многое другое.

Особи с вредными уклонениями оказываются малоприспособленными в жизненной борьбе и в большинстве случаев гибнут; экземпляры с полезными уклонениями в смысле большей остроты органов чувств—обоняния, зрения, слуха, более сильные, быстрые, ловкие и т. д. сказываются лучше приспособленными, легче выживают и преимущественно сохраняются.

Поэтому среди общего количества выживших и давших потомство большинство оказывается наилучше приспособленными к соответствующим условиям жизни. Эти избранные передают свои полезные признаки потомству, последние благодаря скрещиванию особей с преобладающими полезными уклонениями в потомстве еще более усиливаются. Продолжающаяся борьба за существование уничтожает и в новых поколениях все неприспособленное.

Таким образом в процессе этой борьбы вырабатываются особи, содержащие наибольшее количество полезных уклонений, а так как условия существования непрерывно изменяются, полезными признаками делаются то те, то другие, то и вид постепенно удаляется от своего исходного положения.

Так как индивидуумов тысячи, а органы варьируют бесконечно разнообразно, то всегда окажется достаточное количество подходящих к данным условиям особей, которые и будут исходными для образования нового вида. Представители одного вида, попадая в различные условия, так же постепенно расходятся в признаках, образуя совершенно различные формы.

Таким образом теория Дарвина, отдавая должное внимание непосредственному влиянию среды, климата, близости человека, привычкам, подражанию и другим причинам, все же главнейшим и могущественнейшим фактором в происхождении видов и их изменении считает естественный подбор.

Познакомимся теперь с теорией мутаций.

Голландский ученый де-Фриз, занимаясь разведением вечернего первоцвета (Oenothera Lamarciana), заметил в 1895 г. среди его всходов один экземпляр, который настолько отличался своими особенностями, что его можно было принять за особый вид. Он выделил этот вид (Gigas), оплодотворил во время цветения его же собственной пылью, при чем возможность участия насекомых в оплодотворении была совершенно исключена, и полученные зерна посеял. Спустя несколько лет он получил новый вид („Oenothera Gigas"), так как признаки новой формы оказались устойчивыми и передались потомству.

На основании этих наблюдений де-Фриз в 1901 г. и предложил свою теорию мутаций. Согласно ей, виды животных и растений в обычное время остаются неизменными, лишь слегка колеблясь в небольших пределах около среднего положения. Но эти уклонения ничтожны и влияния на изменение вида иметь не могут. И лишь когда для вида наступает период мутаций, он как бы взрывается и дает ряд новых форм в своем потомстве. Признаки их передаются потомству, и, стало быть, возникает ряд новых устойчивых видов. Старые же виды продолжают существовать. Те из новых видов, которые оказываются приспособленными к существующим условиям, выживают и размножаются, неприспособленные же гибнут и постепенно исчезают.

Сущность этой теории таким образом в том, что не накопление бесчисленного множества мелких изменений создает новые виды, а

внезапные крупные изменения старых видов в новые в периоды их мутаций.

Как видно, эта теория очень заманчива на первый взгляд, ее революционность по сравнению со старой теорией Дарвина бросается в глаза. Но не все то золото, что блестит, и ее истинная сущность сразу выявляется беспощадным анализом диалектического метода.

Основное положение диалектики есть:—все течет, все изменяется непрерывно... Удовлетворяет ли ему теория мутации? Безусловно нет. Ведь, она говорит: „Вид остается постоянным, лишь колеблясь неопределенное время, в узких пределах, пока не наступит период мутаций,—тогда он дает новые формы, а старые продолжают существовать в неизменном виде".

Где же тут принцип непрерывного изменения? Изменяется все—среда, климат, тысячи других факторов, а вид до мутаций и после них существует в прежних, старых, неподвижных застывших формах. Лишь появилось несколько новых форм,—и только, но старые неизменны и абсолютны.

Далее диалектика учит:—„Ни одно явление нельзя рассматривать отдельно, изолированно от окружающего его внешнего мира, а лишь в тесной связи со всей окружающей его обстановкой и средой. Теория мутаций совершенно игнорирует влияние среды и других внешних условий. Как бы ни менялась среда,—вид неизменен до и после мутаций, — следовательно, он совершенно независим от внешних условий.

Совершенно иное показывает теория естественного подбора,—согласно ее положениям, вид непрерывно, изменяется в зависимости от изменения среды, пищи, условий существования и остроты борьбы. Полезные раньше признаки впоследствии могут оказаться вредными,—то одни, то другие уклонения оказываются нужными и пригодными приспособлениями. В жизненной борьбе непрерывно изменяются требования к качествам и признакам видов, и поэтому виды беспрестанно изменяют свои нравы, инстинкты, окраску, форму и величину, постепенно все более и более удаляясь от первоначального вида.

Мы видим, что теория естественного подбора вполне отвечает требованию непрерывного изменения видов и его тесной зависимости от внешних условий.

Согласно диалектике, каждое явление действием тех самых сил, которые обусловливают его существование, в конце концов, в течение своего развития неизбежно превращается в свою собственную противоположность, в свое собственное отрицание.

Иначе говоря,—согласно диалектическому мышлению, процессы развития не могут быть непрерывной эволюцией, т.-е. изменением в одном и том же неизменном и определенном направлении, — а в конце концов — останавливаются под влиянием развивающихся в них сил, — и начинают итти в новом направлении.

Теория мутаций не в силах удовлетворить и этому положению диалектики. В самом деле, мы видели, что, согласно взглядам де-Фриза, вид до момента мутаций, когда он, взрываясь, дает ряд новых форм, а также и после, сам продолжает существовать и далее в своей прежней форме; далее придет новая пора мутаций, вид даст новые формы и т. д. Хорошо, если среди новых видов окажутся более приспособленные, тогда они впоследствии смогут заглушить своих родоначальников, но если среди новых видов не окажется хорошо приспособленных, что весьма вероятно, ибо мутации редки, да и виды, как мы видим, не зависят от внешних

условий, и, следовательно, мутации с окружающей средой ничем не связаны, — в этом случае новые формы быстро исчезнут. А старый вид будет продолжать существовать еще неопределенное время, никаких противоречий в нем нарастать не может, и он будет оставаться в своей вечной, неизменной и абсолютной форме.

Приняв теорию де-Фриза и распространив ее на весь органический мир, т.-е. на всю живую природу, мы должны допустить, что развитие в природе идет не диалектическим путем, то-есть, приняв теорию мутаций, мы отказываемся от закона, что „диалектика—принцип жизни". Вот она революционность теории де-Фриза!

Теория естественного подбора, наоборот, шутя выдерживает это испытание. Так чем больше полезных уклонений накапливается в признаках данного вида, чем он делается более приспособленным к условиям окружающей среды, т.-е. чем больше он специализируется к существованию в ней,—тем более это самое приспособление угрожает дальнейшему существованию вида.

Во-первых, потому, что вид, размножаясь чрезмерно, создает опасность недостатка пищи для всех, и, кроме того, чем вид более специализировался, тем ему труднее поспевать за непрерывно изменяющимися условиями; такому виду трудно приспособиться к новым условиям, и он гибнет в жизненной борьбе, если только ценой полного изменения своей формы, строения и привычек не приспособит себя к изменившимся условиям (примером могут служить вымершие ящеры, бронтозавры, игуанодоны и др. погибшие именно благодаря своей высокой специализации, — быстрое изменение среды не дало им времени для приспособления).

Пойдем далее: диалектическое развитие есть изменение количества, которое, достигнув известной степени вследствие накопившихся противоречий, прерывается, — наступает перебой постепенности, — скачок, в момент которого явление меняет свой характер, т.-е. происходит переход количества в качество.

Взглянем на теорию мутации еще раз,—согласно ее данным, как мы уже видели, виды неизменны до и после мутации, они не зависимы от влияния среды и внешних условий. Что же может изменяться в этих видах? Какие противоречия будут нарастать? Какие материальные величины могут накапливаться внутри таких видов? Ведь, они независимы от внешних условий, они неизменны. Единственно, что может накапливаться в видах, развивающихся по теории мутаций, это время, протекшее с момента предшествующей мутации до настоящей, или число поколений вида от мутации до мутаций, т.-е. могут нарастать лишь отвлеченные величины, но не материальные количества.

Где же тут перерыв постепенности, где накопление противоречий, где, наконец, переход количества в качество? Ничего этого нет.

Мутации определяются, стало быть, не изменениями организма, живущего в непрерывно изменяющейся и находящейся с ним в тесной связи среде, как это требовала бы диалектика, а по теории де-Фриза внутренними свойствами организма, совершенно независимыми от внешних условий. Разве это не метафизика? И не правда ли, что из глубины чудесного свойства мутаций, таинственно и неожиданно по неизвестным причинам овладевающего видом, выглядывает давно знакомый призрак „жизненной силы"?

Теория же Дарвина и здесь оказывается на должной высоте,— так, по мере накопления полезных уклонений в данном виде путем естественного подбора происходит изменение количества, т.-е. размножение способнейших: в дальнейшем увеличение числа приспособлен-

ных особей поведет к быстрому исчезновению неприспособленных остатков исходной формы, т.-е. к перерыву постепенности и переходу количества в качество, произойдет появление нового вида, преобладание форм с новыми полезными приспособлениями.

Здесь нет ничего метафизического, здесь все материально, сам естественный подбор определяется не свойствами организма, а внешними реальными силами.

Правда, здесь скачек в момент перехода количества в качество выражен не слишком резко, но он и не всегда бывает в виде взрыва, а чаще всего—в настолько скрытой форме, что трудно найти, когда этот переход совершился.

Новые признаки постепенно накапливаются, а число особей, обладающих ими, растет до тех пор, пока мы вдруг оказываемся уже перед новым видом. Переход количества в качество произошел.

Накопление видовых признаков происходит постепенно, но появление нового вида, обусловленное иногда добавлением всего нескольких признаков, в отдельности даже мало заметных, происходит сразу, скачком.

Но не только количество переходит в качество, но и качество переходит в количество. Этот принцип диалектики никак нельзя распространить на теорию мутации.

Пусть массы форм образуются путем взрывов мутаций; безразлично, сколько бы новых форм ни образовалось, они смогут образовать новые виды, заглушив старые, т.-е. создать переход качества в количество, если среди этих новых форм не окажется более приспособленных, чем старые. Последнее же тем более вероятно, что мутации не связаны с внешней средой, т.-е. образование их надо признать или таинственным, или совершенно случайным.

В теории же Дарвина новый вид, образующийся естественным подбором, только тогда может быть более или менее жизненным, если он отвечает требованиям внешних условий существования, и каждому новому виду преобладание и размножение обеспечено, как наиболее приспособленному. Так что переход качества в количество происходит неминуемо и повсеместно.

Причина и следствие непрерывно меняются местами, говорит диалектика. Теория де-Фриза не в силах оправдать и это положение. В ней таинственное свойство мутаций—способность внезапно давать фонтан новых форм—зависит лишь от свойств самой зародышевой плазмы; эта способность и есть причина. Появление же новых форм есть следствие. Может ли в теории мутации следствие, т.-е. появление новых форм, стать причиной появления мутаций? Конечно, если новые виды окажутся приспособленными и устойчивыми, то они, размножившись, и сами будут в определенные периоды давать новые формы путем мутаций; так что в этом случае следствие может стать причиной, и наоборот.

Но если в продолжение нескольких поколений новые формы, образующиеся путем мутаций, не будут отвечать данным условиям, то виды никогда не укрепятся, быстро исчезнут как неприспособленные и не смогут дожить до мутаций, т.-е. следствие никогда не станет причиной.

Естественный же подбор и здесь, как всегда и везде, строго диалектичен. Изменение всей совокупности внешних условий есть причина изменения вида, а новый измененный вид есть следствие этих изменений.

Могут ли эти изменения вида так или иначе повлиять на окружающую обстановку?

Хотя иногда виды существенно могут изменить среду и непосредственно,—как на пример можно указать Аргентину, отсутствие лесов в которой объясняется обилием грызунов, уничтожающих в засуху все лесные побеги. Но вообще изменение среды будет происходить несколько иначе, а именно: они будут жить в ней лишь, если она соответствует всем их особенностям; в противном случае они уйдут туда, где среда и условия более им отвечают. Так, полярные белые животные, начнут отступать или на север или в горные высокие местности, где условия жизни для них более подходящи. К этому побудит их борьба за существование и их собственная природа, т.-е. привычки, строение организма, окраска и проч. Здесь новый вид становится причиной, приводящей к определенному следствию, т. - е. изменению среды. Таким образом измененный или новый вид повлияет на окружающую его среду, найдя себе новую. Здесь причина и следствие поменялись местами.

Согласно диалектике, в каждом процессе развития можно наблюдать переход возможности в необходимость. В теории мутаций этого перехода не существует. Это и понятно, так как в ней возможность появления нового вида, лежащая в свойстве мутаций, никогда не может вылиться в необходимость по той простой причине, что мутации с внешней средой не связаны, ничто этой необходимости не обусловливает, и она ничем абсолютно не подготавливается.

Но так как мутации все же происходят время - от - времени, то надо допустить, что вид каким-то таинственным способом чувствует, что больше ему существовать в прежней форме нельзя, и он вступает в период мутаций, давая ряд новых форм.

Метафизичность теории мутаций здесь особенно заметна.

Совсем другое в теории Дарвина. Здесь возможность образования нового вида заложена в индивидуальных уклонениях каждого индивидуума в скрытом виде, но как только внешние условия изменяются в известном направлении, те или иные уклонения, оказываясь полезными, сразу дают преимущество обладающим ими особям в жизненной борьбе. Сохраняясь и усиливаясь в потомстве, полезные признаки делаются в новых условиях необходимыми. Таким образом возможность образования нового вида как раз с этими полезными признаками переходит в необходимость.

Отсюда ясно, что при развитии видов путем естественного подбора переход возможности в необходимость наблюдается повсеместно и постоянно.

Главное расхождение между дарвинизмом и теорией мутации заключается в том, что, согласно первой, вид образуется естественным подбором, а вторая считает, что он образуется внезапно, сразу, а естественный подбор лишь делает выбор между годными и негодными новыми видами.

Глубоко ошибаются многие авторы, которые называют мутациями и ничтожные мелкие особенности, появляющиеся в потомстве (например, появление мелких уклонений у плодовой мухи дрозофилы, в виде полосок на брюшке или лишних пятнышек на крыльях и т. п. как указывается в статье „Наследственность и мутация“, помещенной в журнале „Человек и Природа“ за 1924 г. в № 5—6).

Эти появления мелких уклонений—не мутации де-Фриза. Ведь всякое индивидуальное уклонение появляется сразу.

Теория мутаций де-Фриза говорит не о выданном появлении ничтожных изменений, а о появлении в потомстве одного вида сразу особых новых видов (хотя понятие „вид“ очень неопределенно, но,

во всяком случае, под ним подразумевают не какое-нибудь небольшое различие в окраске, а большую или меньшую группу отличительных признаков).

Свести теорию мутаций к ничтожным изменениям,—значит отказаться от нее, перейдя к дарвинизму, а в таком случае и спорить не о чем. Моя задача заключается не в том, чтобы опровергать внезапное появление признаков или скачкообразность процессов развития, а в том, чтобы выяснить, в какой теории образование вида есть диалектический процесс, а в какой метафизическое превращение. В обоих теориях вопрос идет не о появлении отдельных уклонений, а о целой совокупности их, т. е. о видовых различиях.

Вся суть вопроса в том, что у Дарвина образование нового вида подготовлено постепенным накоплением признаков, т.-е. ростом количества, и есть действительно переход количества в качество. Тогда как в теории мутаций этот скачок в момент появления нового вида ничем решительно не подготовлен и ничем не обусловлен, т.-е. является не диалектическим процессом, а метафизическим превращением. Так что различие обеих теорий состоит не столько в размахе изменений, сколько в самом духе заложенных в них идей.

Подведя итоги всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что как раз теория естественного подбора является наиболее революционной из обеих теорий, так как она всегда и во всем строго диалектична, тогда как теория мутаций, совершенно игнорирующая связь вида с окружающей средой и непрерывную изменяемость этого вида и всех его свойств (как и всего в природе) от внешних и внутренних условий, замыкается в недвижные, застывшие, абсолютные формы.

Возводя в основной принцип таинственные свойства мутаций, лежащие в природе самого вида и чудесным образом ничем не связанные с окружающим миром и, стало быть, ни от чего не зависящие, теория мутаций далеко отходит от принципов диалектического материализма, — почему и оказывается в своих основных положениях насквозь идеалистической и даже метафизической теорией.

А ее свойства „мутации“ сильно смахивают на проявление „жизненной силы“.

Но раз теория мутаций не диалектична, а мы считаем, что диалектика—„принцип жизни“, т.-е. все процессы в природе идут диалектическим путем, то теория, несостоятельная с точки зрения диалектического материализма, неизбежно должна оказаться несостоятельной и перед лицом современного естествознания.

Так и оказывается в действительности.

Основная идея дарвинизма, что могущественнейшим и преобладающим фактором изменений и происхождений видов является естественный подбор, остается до самого последнего времени, несмотря на весь успех естественных наук, пока ничем не поколебленной. Все новейшие дополнения, как „менделизм“, теория наследственности Вейсмана, наблюдения Гальтона и многое другое, — в конце концов, только подтверждают, что ни наследственность, ни скрещивание не имеют такого громадного, всепоглощающего значения, как естественный подбор.

Все эти дополнения очень интересны и важны, но они ничуть не повлияли на величие основной идеи дарвинизма. Даже теория мутаций, стремившаяся заменить теорию Дарвина, не может обойтись без естественного подбора, и в ней вопрос о существовании новых видов решается естественным подбором: неприспо-

собленное гибнет, приспособленное выживает. Далеко не то с теорией мутаций. При первой же критике она оказывается весьма шаткой. Прежде всего строить теорию на основании наблюдения лишь над единственным видом вечернего первоцвета (Oenothera Lamarciana) слишком поспешно. Правда, впоследствии в литературе проскальзывали указания, хотя и очень редкие, на случаи внезапного появления признаков, но в большинстве случаев эти появления относились к гибридам, т.-е. являлись не результатами мутаций, а скорее возвратом к предкам; случаев мутаций среди диких видов еще никто не наблюдал.

Надо также принять во внимание, что род Oenothera встречается лишь в Америке, а вид Oenothera Lamarciana в Европе в диком состоянии нигде не известен и возник, повидимому, в Парижском ботаническом саду, т.-е., вероятнее всего, гибрид, а гибриды вообще часто образуют свои своеобразные виды. А в таком случае внезапное появление признаков следует отнести не к мутациям, а к его происхождению. Итак, прежде всего родословная того вида, на котором построил де-Фриз целую теорию, в конце концов, покрыта мраком неизвестности.

Есть и другие возражения,—прежде всего, все попытки де-Фриза найти еще хоть один вид, находящийся в периоде мутаций, остались тщетными. Да и вообще доказательств, что таковые происходят у диких видов, не имеется. Кроме того, мелкие, но многочисленные уклонения имеют больше шансов сохраниться и дают более широкое поле для приспособлений, чем крупные, но редкие, и почему последние должны иметь большее значение—неясно. Наоборот, крупные и редкие могут легче погибнуть.

К тому же мутацией трудно, даже невозможно объяснить происхождение глаз, электрического аппарата у рыб, маскировку у насекомых и т. д. Все эти органы слишком сложны, чтобы могли возникнуть внезапно. Теория же естественного подбора легко объясняет их появление из первичных зачатков.

Обыкновенно указывают, что естественный подбор не в силах объяснить существование очень древних видов в неизменной форме; здесь следует отметить, что абсолютно не изменившихся видов, сохранившихся с древнейших времен, не существует: хотя и медленно, но виды непрерывно изменяются. Это доказал Сатунин, обнаруживший, что кости барсуков и куниц, найденных в могилах всего 3.000-летней давности, уже существенно отличаются от современных.

Кроме того, следует помнить, что виды более постоянны как раз там, где среда почти неизменна; например, в океанах, где и существует очень много древних форм.

Могучим подтверждением преобладающего значения подбора послужили опыты Лютера Бурбанка, который в своем имении в Калифорнии после многих лет упорного труда получил ряд новых совершенно неизвестных в естественном состоянии плодов и ягод. Так, ему удалось получить сливу без косточек, помесь сливы и персика, помесь ежевики и малины — оригинальную ягоду в 3 дюйма длиной, айву с ароматом ананаса, георгины с запахом магнолии, особый, еще неизвестный сорт грецкого ореха, гибрид кактуса без колючек с плодами, могущими конкурировать с апельсинами, и много других новых оригинальных видов.

Главным и основным приемом Бурбанка был искусственный подбор и иногда скрещивание. Последнее он применял лишь с целью расшатать старые устойчивые формы, вызвав в них усиленную

изменчивость. При этом он свой искусственный подбор довел почти до силы естественного подбора, уничтожая иногда сотни тысяч экземпляров и оставляя лишь один нужный ему.

Сам де-Фриз, побывав у Бурбанка, должен был признать всемогущество подбора и то, что последний включает в себе и явление мутаций.

Секрет же успеха теории де-Фриза у марксистов объясняется легко ее новизной и кажущейся революционностью, бросающейся в глаза при поверхностном знакомстве с нею, благодаря скачкам; взрывам новых форм, которым в ней придается решающее значение. Но действительная идеалистическая сущность этой теории легко вскрывается при серьезном анализе ее основных предпосылок и выводов.

Что касается теории естественного подбора, т.-е. именно „чистого дарвинизма“, то следует отметить, что в последние десятилетия XIX века она была сильно загромождена различными теориями: Вейсмана, Менделя, неоламаркизма и др., стремящимися оспаривать преобладающее значение естественного подбора. Сам Чарльз Дарвин,— ее творец, в последние годы своей жизни стал придавать решающее значение в вопросе о происхождении видов половому подбору, т.-е. выбору самок,—в ущерб естественному подбору. Все эти течения, не оставляя почти ничего от основных мыслей Дарвина, естественно повлекли за собой колебания и неудовлетворенность ею.

Хотя законы общественного развития нельзя целиком перенести в природу, так как слишком различны силы, действующие в обществе и природе, но все же растущее революционное движение и дикая боязнь его буржуазией отразились и в головах ученых. В науке появилось стремление доказать, что скачки и катастрофы — уродливые явления, которым нет места в природе, где все развивается плавно и постепенно.

Термин „естественный подбор“ заменяется туманным словом „эволюция“ — олицетворением противоположности всякого рода катастроф. Все революционное, как, например, борьба за существование и вечное изменение старого под напором нового, — всячески затушевывается и умаляется в современной науке.

Но забудем слово „эволюция“, отбросим его, вернемся к чистому дарвинизму и примем во внимание, что полной аналогии между общественным развитием и развитием в природе нет и не может быть, поймем очевидность положения, что масштаб изменения, в конце концов, не меняет характера явлений, и тогда, сопоставив все выводы и результаты предыдущего анализа, я думаю, что каждый последовательный марксист отдаст пальму первенства не метафизической теории мутаций де-Фриза, а всеобъемлющему влиянию естественного подбора.

Д. Гульбе.

Схоластический эмпиризм.

(Очерк науки и техники средневековья).

„На средние века смотрели, как на простой перерыв в ходе истории, причиненный тысячелетним всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на великие шаги вперед, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, великие жизнеспособные нации, образовавшиеся в этой области в тесном взаимном соседстве, наконец огромные, технические успехи XIV и XV столетий.

Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах.

§ 1. Общая характеристика.

а) Средневековое естествознание.

Эпоху возрождения наук и искусства историки-метафизики изображают обычно как Афину, возникшую из головы Зевса. Но в природе и истории чудес не бывает. Если в XIV и XV веках обнаружилось мощное течение, известное под именем „Возрождения“, то оно подготовлялось давно—непрерывным социально-экономическим, техническим и идеологическим развитием. Тот факт, что мы очень мало, например, знаем о средневековой технике и физике, еще не значит, что их не существовало. Дело в том, что произведения теологов и схоластов-рационалистов сохранялись в монастырях, а впоследствии, по изобретении книгопечатания, печатались[1]) и поэтому дошли до нас, образовав обычное понятие схоластики. А знания естественнонаучные, благодаря своему чисто-эмпирическому характеру и практическому значению в ремесленно-цеховой системе средневековья, передавались обычно изустно из поколения в поколение или в виде рецептов, при чем эти сведения часто держались в строгой тайне. Еще и поныне многие производства имеют свои „секреты производства“, и если ученые не скрывают своих теорий[2]) и открытий, то только потому, что в наше время такое промедление смерти подобно: наука ныне—это коллективное рационально-эмпирическое здание, теоретические основы которого доступны всякому; теории и открытия уже не являются плодами личного гения, а все чаще и чаще следствиями всей системы; и уже трудно сказать, где кончается старое и начинается новое. И если какой-либо ученый образует из своей теории и своего открытия какую-нибудь герметическую или алхимическую тайну, что было самым обычным явлением в древности (пифагорейцы, например) и в средние века (алхимики, астрологи), то ему угрожает немедленная потеря приоритета. Самое лучшее подтверждение этого обстоятельства—бесчисленные споры о приоритете, которыми наполнено новое время. Выдающимися примерами будут: спор Ньютона с Гуком по поводу открытия закона тяготения, спор Ньютона с Лейбни-

[1]) Первыми объектами печатного станка были, как известно, библии и... индульгенции!

[2]) В средние века это делалось также ввиду большой опасности высказывать новые идеи, „отступить от веры отцов“. Последнее обвинение являлось самым грозным и оно бросалось часто по самым невинным поводам. Ученому естествоиспытателю постоянно грозила опасность прослыть волшебником и магом и подвергнуться нападению невежественных монахов. Поэтому авторы средневековья приписывали свои исследования древней мудрости, сознательно скрывая авторство.

цем по поводу дифференциального исчисления, спор о приоритете открытия закона сохранения энергии Джаулем, Гельмгольцем и Майером.

Итак, в эпоху средневековья, без сомнения, существовала наука о природе. Лишенная, однако, теоретической базы, рационального момента, который был перенесен в область теологии, она не могла иметь то развитие и значение, которое имеет современное естествознание. Это была не система знания, а собрание сведений и рецептов, полученных самым разнообразным путем, при чем единственным критерием истинности их было то, что они подтверждались самым поверхностным наблюдением или же „логической самоочевидностью". В этом именно причина бесплодия этой науки, а не в том, что средние века ушли в область „духа" и презирали изучение природы. Средневековый хозяйственный строй не нуждался в рациональной организации производства, т.-е. в научной технике, и это именно обусловило чистый эмпиризм средневекового естествознания. Презрение же к материи и к материальному—это миф. В средние века существовал аскетизм и мистицизм, но эта полярность доказывает именно, что средневековье было насквозь пропитано материальностью. Карл Маркс в „Святом семействе" (1845 г.) указывает, что у Бэкона и „материя сохраняет поэтически-чувственный блеск и ласково улыбается цельному человеку". Человек средневековья не был цельным, но материя для него никогда не была материей геометра, а сияла в поэтическом блеске, что очень хорошо видно из характера искусства средневековья[1]). Ввиду важности этого вопроса для понимания научного метода нового времени, мы позволим себе остановиться на нем несколько подробнее.

б) Древний и средневековый взгляд на „имматериальность".

Общеизвестная средневековая проблема реализма и номинализма была впервые поставлена Порфирием. В предисловии к сочинениям Аристотеля Порфирий возбудил три вопроса: 1) существуют-ли роды и виды в реальности или же только в мысли? 2) если допустить, что они существуют реально, то телесны ли они или бестелесны? 3) существуют ли они отдельно от чувственных вещей, или же в самих вещах? Современному читателю второй вопрос Порфирия может показаться в высшей степени странным: телесны или бестелесны общие понятия? Но еще большее удивление вызывает разъяснение того, что именно в древности и средневековье понималось под „бестелесным" (имматериальным).

С нашей точки зрения бестелесность тождественна с непротяженностью, т.-е. с непредставимостью. Это что-то „вне пространства и времени". Но такое понятие „духа"—новейшее изобретение. Вместе с аналитической геометрией его изобрел хитроумный Декарт, желавший, как утверждает Лекки, спасти души смертных от самого подлинного телесного огня в одном из кругов ада.

Лекки справедливо указывает, что древние, по крайней мере, более спиритуальные школы их, вообще, кажется, считали сущность души за чрезвычайно тонкую жидкость или субстанцию, совершенно отличную от тела; и по их взглядам, и также взглядам, господствовавшим долго после, эта чрезвычайная тонкость вещества и составляла его „нематериальность".

[1]) См. превосходную книгу Лекки: История рационализма в Европе.

Мосгейм [1]) замечает, что ни один из отцов церкви не держался того мнения, какого держится теперь большинство христиан,—именно, что душа совершенно проста и совершенно не имеет никакого тела, фигуры, формы, протяжения. Напротив того, все они признают, что она имеет в себе нечто телесное, хотя другого рода и свойства, чем тело нашей смертной сферы. При всем том они делятся, однако, на два мнения. Потому что некоторые утверждают, что в душе есть две вещи—дух и весьма тонкое и легкое тело, в котором этот дух заключен. Те, которые следуют Платону и платоникам (т.-е. Климент, Ориген и их ученики), принимают также платоновское учение о душе и полагают, что она чрезвычайно проста сама по себе, но все-таки облечена в некоторое легкое тело. Но другие, которые держатся вдалеке от Платона и считают его философию вредной христианским принципам, отвергают и это учение и утверждают, что душа есть решительно не что иное, как чрезвычайно тонкое тело. Они очень часто нападают на платоников и резко обвиняют их за то мнение, что душа имеет чрезвычайно простую природу и никакой материальной конкретности. Галлам в „Истории литературы" также указывает, что „отцы церкви", быть может, исключая одного только Августина, принимали телесность мыслящей субстанции.

Льюис в „Истории философии" (философия Абеляра), приводя слова Ремюза о споре реалистов и номиналистов: „Это—такой вопрос, который теперь всего менее, повидимому, мог бы интересовать людей", замечает: „По всей вероятности, то же самое впоследствии будет сказано и по поводу вопроса о невещественности (immatérialisme) и вещественности, который служит темой разглагольствований, столь же пространных, столь же оживленных и столь же не ведущих ни к каким практическим результатам, как и вопрос об общностях (универсалиях). но который привлекает к себе особенное внимание школ вследствие предполагаемой связи его с религиозными истинами". Замечание очень верное, но Льюис, очевидно, неправ, утверждая, что споры эти не имеют **практического** значения. Имеют!—и даже очень большое, но только для схоластики в ее деле искажения науки для классовых целей. Так что между „имматериализмом" и капиталистической прибылью имеется связь, очень, правда, сложная и тонкая.

Льюис указывает, что отцы церкви признавали материальность **не только души, но и бога.**

Действительно, Тертуллиан написал специальное сочинение [2]) с целью доказать ошибку Платона и Аристотеля в их взглядах на „имматериальность" (точнее, непротяженность) бога.

Платон, без сомнения, считал свою „идею идей" (бога) совершенно свободной от злой „материи". Аристотель же, хотя и не признавал форм вне материи, но для бога он делал исключение, считая его „чистой формой", т.-е. помещал где-то вне пространства и времени. Тертуллиан выступил против этих взглядов; он восклицает: „Кто же будет отрицать бытие тела бога, хотя бог—дух?" [3]).

---

[1]) Примечание к „Intellectual System" неоплатоника Кэдворта, т. III, стр. 325, изд. Гаррисона.

[2]) См. Rousselot, Etudes sur la Philosophie dans le moyen age: Гизо, Лекции по истории цивилизации во Франции. В этих сочинениях читатель найдет много примеров средневекового „материализма". Самый яркий пример представляет ряд глав знаменитой „Суммы" Фомы Аквинского, в которых обсуждается не более и не менее, как вопрос... о том, как питаются, переваривают и спят ангелы!!! Одним из самых интересных для схоластов вопросов, который часто и подробно обсуждался, был вопрос о том, мог ли сын божий явиться в мир в образе женщины, осла или тыквы!

[3]) „Quis autem negabit Deum esse corpus et si Deus spiritus".

Этих примеров, мы полагаем, вполне достаточно для уяснения различия между современным и прежним понятием о духовном. Причина исчезновения старого понятия души и духа объясняется ослаблением учения о реальности адского огня, исчезновением из обихода церковного правосудия костров и появлением более тонких форм церковного господства.

Таким образом спор реализма и номинализма, который кажется современному читателю удивительным, приобретает иное освещение. Средневековый Платон, без сомнения, совершенно не совпадает с современным. Если реалисты утверждали, что универсалии реальны ante rem или in re, то это представлялось весьма ощутительным образом, и чем более изучается средневековье, тем более приходят к такому заключению. Лекки, говоря о периоде VI—XII столетий, указывает, что „всеобщим и непреодолимым стремлением было тогда стремление материализовать всякое духовное представление, делать осязательные изображения всего, что было почитаемо, сводить все предметы на область внешних чувств. Как известно, схоластическим лозунгом было изречение Аристотеля: нет ничего такого в уме, чего бы не было раньше в чувствах [1]). И странно, что мимо этого изречения проходят, когда говорят о средневековье.

Гумбольдт в „Космосе“, отмечая заслуги арабов, говорит, что они были истинными основателями современного физического знания, так как они ввели „эксперимент и измерение“. Это заключение верно, но в первой своей части оно относится не только к арабам, а ко всему миру средних веков, на что указывает хотя бы распространение алхимии. Что касается измерения, то в этом именно центральное отличие новой науки от средневековья, если под измерением понимать не грубое эмпирическое определение непосредственных данных, а строго математический метод проверяемых гипотез.

в) Мнение Уэвела о науке средних веков.

Историк науки Уэвел хотя и утверждает, что средние века были веками застоя, все же спрашивает: „Как бы можно было узнать в этой картине, изображающей одну путаницу и мистицизм мысли, один рабский и мертво-схоластический характер понятий, как бы можно было узнать здесь же заслуги и изобретения, которым мы обязаны столькими важными результатами, какими мы пользуемся до сих пор? Пергамент и бумага, книгопечатанье, граверное искусство, усовершенствование стекла и стали, огнестрельный порох, часы, телескоп, исправление календаря, десятичный счет, алгебра, тригонометрия, химия, контрапункт — изобретение, равносильное новому созданию музыки,—все эти достояния мы наследовали от того периода, который так презрительно называют периодом застоя“. Уэвел обращает также внимание на грандиозную архитектуру средневековья. Чтобы найти выход из такого противоречия, он развивает специальную теорию науки и искусства: искусство есть процесс практический, наука— умозрительный, теоретический. Резкое различение научного и художественного творчества не совсем правильно, но замечание Уэвела верно в том смысле, что наука средневековья носила характер искусства, то-есть в ней преобладал чисто-эмпирический момент, рациональный же играл сравнительно слабую роль.

[1]) Его признавал даже Фома Аквинский, хотя не распространял на понятие бог .

г) Д. Мармери.

В средние века изучали природу, но изучали не так, как изучают в новое время. Другой исследователь Д. Мармери в книге „Прогресс науки“ без всяких колебаний признает „прогресс науки в средние века и эпоху возрождения чем-то положительно чудесным“. Мармери отмечает „грозные и ужасающие препятствия“, которые стояли всегда на пути средневекового ученого. Этот ученый должен был часто „вести свои исследования подпольно и таить свои открытия от всех“, но наука все же подвигалась вперед и при таких условиях, в уединении, без книг, без учителей, что доказывает силу мыслей средневековых ученых и заслуживает нашей глубочайшей симпатии и удивления. Перечислив важнейшие моменты средневековой науки и ее деятелей, Мармери справедливо говорит: „Неужели такой период заслуживает имени „темного“, потому что существовало рабство, жестокость и суеверие? Это более чем сомнительно, принимая во внимание, что рабство существовало еще в Америке всего тридцать лет тому назад, и что жестокость и суеверия господствовали еще в XVII столетии, доказательством чему служит Тридцатилетняя война и такие религиозные гонения, которые совершенно напоминают бывшие 500 лет тому назад“. К этому можно было бы прибавить многое из современности, но вопрос достаточно ясен.

д) К. Беймкер.

Авторитетный знаток средневековой мысли К. Беймкер (см. „Общая история философии“) опровергает обычный взгляд на положение естествознания в системе схоластики.

„Когда полагают, — говорит он, — что аскетический и супранатуралистический дух средневековья вообще относился отрицательно к научному занятию природой, то это основано чуть ли не на сплошном недоразумении. Герберт, Неморанус, Брадвардейн и другие являются достойными представителями математики. Оптика и другие отрасли математической физики находят вдумчивых исследователей в лице Рожера Бэкона, Нэккема, Вителона. Наивная мировая картина Козьмы Индикоплевста, путешественника и позднее египетского отшельника, которому земная поверхность представлялась плоским параллелограммом, прикрытым покоящимся на четырех стенах небосводом, — эта картина, которой столь часто пользовались для характеристики средневековья, на самом деле ничего общего не имеет с представлениями средневековых мыслителей. Для них уже Исидор из Севильи и Беда окончательно установили учение о шарообразности земли, сторонниками которого являются также Альберт Великий, — энергично отстаивавший антиподов (против которых выступал Лактанций, между прочим, по богословским соображениям), Фома Аквинат, Викентий из Бовэ, Р. Бэкон и др. Сочинение Альберта о растениях содержит на-ряду с заимствованиями ряд самостоятельных наблюдений, мыслей по систематизации растений.

Средневековье, конечно, не знает построенной на математических теориях техники, но грандиозные средневековые архитектурные сооружения свидетельствуют не только с эстетической, но и статической стороны об эмпирически приобретенном надежном инстинкте и о большом техническом умении, которое и здесь передается и сохраняется в школьной системе ремесленных заведений“.

е) П. Дюгем.

Крупный теоретик и историк физики Дюгем идет еще дальше. В своих важных исследованиях по истории науки он доказывает, что „так называемые возрождения были часто бесплодными и несправедливыми реакциями". Необходимо отнестись с осторожностью к слишком далеко идущим утверждениям, которые вызываются католической тенденцией авторов, но значительная доля истины, несомненно, имеется здесь. Дюгем, как сторонник философии „чистого описания", ищет следы этого метода, и вполне понятно, что он его находит в средневековьи, так как естествознание этого времени и было „чистым описанием" ощущений.

К. Беймкер превосходно формулирует это положение вещей: „Не следует, однако, закрывать глаза на то, что средневековью все же оставались чужды оба основания нового естествознания, не ограничивающегося одним описанием: упрощающий условия и поддающийся контролю эксперимент и количественное определение при помощи точных математических методов и вспомогательных средств".

ж) Математическая гипотеза в средние века.

Как мы указали, эксперимент существовал и в средние века, но это было то, что французы называли tâtonnement — нащупывание, т. е. беспорядочное, не руководимое никакой рациональной гипотезой исследование. Дело не в эксперименте, а в гипотезе, которая руководит экспериментом.

История науки с несомненностью доказывает, что экспериментальные знания обязаны своими успехами рационально построенной гипотезе.

Самый выдающийся пример этого рода — успехи астрономии. Казалось бы, что это именно та область, где легче всего применить метод чистого описания. Но система Птоломея, основанная на этом методе, давала жалкие результаты. Начало астрономии — это открытие, противоречащее чистому описанию, — открытие Коперника, но даже оно и открытия Кеплера еще не двинули вперед небесной механики. И лишь когда Ньютон на основании атомистической гипотезы формулировал закон тяготения, астрономия превратилась в самую точную из наук. И именно математического метода проверяемых гипотез недоставало средневековью.

з) Рожер Бэкон и значение математики.

Математика — это орудие, посредством которого гипотезы разрабатываются для вывода следствий, подлежащих опытной проверке. И самый выдающийся ученый средних веков — Рожер Бэкон (1214—1294 г.г.) — прекрасно понимал, в чем именно особенность современной ему науки. Мы приведем оглавление сочинения Бэкона „Opus majus" („Великое дело"), из которого ясно видно то, что не доставало схоластическому эмпиризму:

Часть I. О четырех причинах человеческого невежества: авторитете, обычае, народном мнении и гордости.

Часть II. Об источнике совершенной мудрости в св. писании.

Часть III. О пользе грамматики.

Часть IV. О пользе математики:

1. Необходимость математики в человеческих вещах. (Издано отдельно под заглавием Specula Mathematica!).

2. Необходимость математики в божественных вещах: 1) Этим изучением занимались святые люди. 2) География. 3) Хронология. 4) Циклы: золотое число и пр. 5) Естественные явления, как радуга. 6) Арифметика. 7) Музыка.

3. Необходимость математики в церковных вещах: 1) Удостоверение веры. 2) Исправление календаря.

4. Необходимость математики в государстве: 1) О климатах. 2) Гидрография. 3) География. 4) Астрология.

Часть V. Перспектива (издано отдельно — Perspectiva) [1]:

1) Органы зрения. 2) Зрение по прямым линиям. 3) Зрение отраженное и преломленное. 4) О распространении впечатлений света, тепла и пр.

Часть VI. Об опытной (экспериментальной) науке.

п) Опыт и мышление в новое время.

Это замечательное сочинение, появившееся в 1267 году, полностью опровергает обычное мнение о характере средневекового знания.

Главное место, как мы видим, уделено доказательству необходимости математики, и лишь в заключении Бэкон рассуждает об экспериментальной науке, как о необходимом дополнении математического метода.

Но самое замечательное это то, что именно говорил Бэкон об экспериментальном знании": его мысли прямо подтверждают развиваемый нами тезис. Ссылаясь на Аристотеля, Бэкон говорит: „А когда в метафизике именует знающего причину и разум вещи более мудрым, чем тот, кто пользуется только опытом, то разумеет тех пользующихся опытом, которые познают голую истину, не доходя до причин. Я же говорю о тех, кои путем опыта познают разум и причину вещей. Таковы совершенны в мудрости, согласно 6-й главе „Этики" Аристотеля; их простым утверждениям следует верить, как если бы приводили доказательства. Кто же в искании истины хочет обойтись без доказательств, то-есть ограничиться голым опытом, без теории, тот пускай лучше откажется от опыта".

В другом сочинении „Opus tertium" Бэкон дает следующее определение экспериментальной науки: он называет ее госпожей всего естествознания, венцом всего научного размышления, идущего не путем аргументов, как чисто-умозрительные науки, и не путем ничтожных и несовершенных опытов, как науки чисто-практические".

Это и есть рационально-эмпирическое познание нового времени, сочетание непосредственного опыта и математической гипотезы.

Схоластическое естествознание было наукой качества и, как таковая, оно не могло открыть дорогу математике и, следовательно, овладеть всеми преимуществами этого метода. Итак, совершенно ложно утверждение, что будто бы с наступлением нового времени на сцену выступил опытный или, как говорят, „индуктивный метод" Бэкона. Как раз наоборот: на сцену выступил разум (ratio), т.-е. рациональный метод овладения природой. Средние века — века теологии, которая действовала согласно старому испытанному принципу: divide et

[1]) Здесь изложены наблюдения Бэкона над преломлением света, видимой величиной предметов, в частности с ображения о необычайных размерах солнца и луны у горизонта. Открытие телескопа приписывают Бэкону, ему же приписывается изобретение пороха. В „Тайнах природы" он рассуждает о двигательной машине.

impera (разделяй и властвуй). Она держала в плену человеческий интеллект, направляя его, с одной стороны, в область абстрактной спекуляции, а с другой — в болото „чистого опыта".

Первый удар средневековью был нанесен открытием Коперника.

Коперник к „чистому опыту" (непосредственное ощущение неподвижности земли) приложил острое орудие рационального анализа. Этот анализ дал в результате систему, которую необходимо назвать истинно опытной, как итог, заключающий в себе сочетание чувственного и умственного опытов.

Этим было положено начало науке нового времени. Вот почему открытие Коперника справедливо называют великой научной революцией.

§ 2. Система природы Аристотеля.

При рассмотрении схоластического естествознания необходимо прежде всего рассмотреть систему природы Аристотеля, так как она имела громадное значение в истории мысли средневековья.

а) Судьба физики Аристотеля в эпоху средневековья.

На Парижском (1209) и Латеранском (1215) соборах физика и метафизика Аристотеля были формально запрещены. Но, как всегда бывает, такое запрещение доказывает, что научная мысль, которая до тех пор текла сокровенными, подземными путями, выступила наружу, чтобы образовать мощный поток, который, в конце концов, сотрет с лица земли всю схоластическую систему.

И вот в 1231 году Григорий IX уже разрешает знакомиться с Аристотелем, но только после того, как будет произведена „чистка" всего подозрительного. В 1251 году Парижский университет издает уже полное собрание сочинений Аристотеля, а несколько десятков лет спустя знание Аристотеля необходимое условие получения докторской степени. Историк Розенбергер приводит любопытный анекдот, хорошо освещающий этот факт. В начале XVII века иезуитский провинциал говорил патеру Шейнеру, желавшему показать ему в зрительную трубку открытые солнечные пятна: „Напрасно, сын мой! Я дважды прочел всего Аристотеля и не нашел ничего подобного. Пятен нет. Они проистекают из недостатков твоих стекол или твоих глаз".

Вместе с усилением научного движения начинает выступать доктрина двойной истины. Альберт Великий (Doctor universalis) считает, например, правильным догмат творения из ничего — для богословия, но отвергает его для физики. Вильгельм Оккам,—глава номиналистов (Doctor invincibilis) превратил свою систему в учение о двойной истине. Церковь предала это учение проклятию, но это было начало конца схоластики. Двойная истина сделалась необходимостью, и физик Аристотель превратился в предшественника Христа в делах природы (Precursor Christi in rebus naturalibus).

б) Общие принципы Аристотелевской физики.

Итак, средневековое естествознание исходило из физики Аристотеля. Поэтому для оценки схоластического эмпиризма необходимо ознакомиться с Аристотелем, как естествоиспытателем. Остановимся прежде всего на физике Аристотеля в узком смысле, т.-е. на его учении о мертвой природе. Физика Аристотеля[1]) является приложением

[1]) Главные сочинения: „8 книг по физике". „Четыре книги по космологии" (трактат „О небе"—De coelo); 2 книги „О возникновении и разрушении"; 4 книги „Метеорологии", „Механические проблемы" и целый ряд мелких сочинений. Трактаты „О небе" и „Механические проблемы" некоторые считают подложными; Аристотелю приписывается около 1000 сочинений.

принципов его логики и метафизики. Применяя свои понятия „материи“, „формы“ и „движения“ к области природы, а с другой стороны, сделав анализ наиболее часто встречающихся в обиходе физических терминов. Аристотель формулировал следующее физическое учение. Основных „материй“ четыре: огонь, вода, земля и воздух. Эти четыре стихии были давно установлены философом Эмпедоклом.

Основных „форм“ тоже четыре: тепло, холод, сухость и влажность.

Всякий „конкретный“ огонь или вода, например,—это сочетания соответствующей „материи“ и „формы“. И так как, сверх того, формы могут слагаться в одной материи, но только формы однородные (не противоречивые), то получились четыре коренных элемента (конкретных начала), стихии Аристотеля: жаркий и сухой огонь, жаркий и влажный воздух, холодная и влажная вода, холодная и сухая земля. Всякий спросит: почему бы не существовать жаркой и сухой воде или холодной и влажной земле? Но эти вопросы остались без ясного ответа.

Грубо эмпирическое происхождение этих стихий — очевидно. Установив эти первые начала, Аристотель извлек из опыта другие. Так, наблюдая падение всех тел на земле, он приписал это особым „формам“, которые присоединяются к материи. Это - формы легкости и тяжести, движения „вверх“ и „вниз“, которые вместе с „движением по окружности“ образовали „естественные движения“, все же другие движения зачислялись в неестественные, „насильственные“, для которых опять-таки изобретались „формы“. Совершенным считалось круговое движение, но так как древние и схоласты не могли допустить сохранение движения, которое как будто противоречит обыденному опыту, то Аристотель изобрел 5-е начало, знаменитую „квинтэссенцию“—эфир, который и приводил небесные тела в совершенное круговое движение. Сам эфир был началом божественным (небом) и, следовательно, излишне было объяснять, откуда он берет силу для сообщения движения [1]).

Кроме видимых „начал“ существовали скрытые. Так, притяжение магнита объяснялось тем, что в нем находится особое скрытое начало. Ясно, что все то, что не умели объяснить, приписывалось этим „потаенным началам“. В известной шутке Мольера опиум действует усыпляюще потому, что в нем заключено „снотворное начало“, иначе: он усыпляет потому, что действует усыпляюще. К этому часто сводилась вся премудрость перипатетической физики.

Необходимо подчеркнуть самую характерную особенность этой физики. Как было неоднократно указываемо, на-ряду с крайним эмпиризмом был развит крайний рационализм. И так как особенность рационализма—стремление решать вопросы на основании логических соображений, то соединение (смесь) крайностей рационализма и эмпиризма привело к следующему научному ублюдку: наука древности и средневековья, строя гипотезы и создавая системы, довольствовалась их „логической убедительностью“ и „правдоподобием“, то-есть самым поверхностным согласием с опытом.

Эта наука, как сказано было уже, совершенно не заботилась о тщательной и всесторонней проверке своих спекуляций. Льюис справедливо видит в этом „методе непроверяемых гипотез“ отличительную особенность прежнего познания.

Перейдем к деталям. Для удобства разделим изложение на рас-

---

[1]) Аристотель произвел слово эфир от aei teein, что означает по-гречески — постоянно бегать.

смотрение 1) механики, 2) учения о жидкостях и газах, 3) учения о теплоте, 4) акустики и оптики, 5) химической доктрины, 6) космологии; электромагнитные явления были почти неизвестны древности и средневековью.

в) Механика Аристотеля [1]).

Механика—основа всех точных наук и промышленной практики. Она была порождена этой практикой, но в свою очередь оказала мощное влияние на эту практику. Отсутствие широкого промышленного производства в древности и средневековье привело к тому, что механика влачила жалкое существование и, в свою очередь, не могла оказывать влияния на развитие промышленности.

Древние хорошо знали построение сооружений, проводку каналов и водопроводов, постройку судов. Вот почему статика и гидравлика были наиболее развитыми отраслями механического знания. Дюгем в „Началах статики“ говорит, что „в своих глубоких изысканиях, касающихся законов равновесия, древние оставили, правда, немногочисленные памятники, но зато заслуживающие вечного восхищения. Из этих памятников наиболее прекрасными, без сомнения, являются книга, посвященная Аристотелем вопросам механики (Mechanica problemata), и трактат Архимеда“.

Дюгем утверждает, что истинным основателем статики был скорее Аристотель, нежели Архимед. Но это—преувеличение,—во-первых, а, во-вторых, принадлежность „Механических проблем“ самому Аристотелю оспаривается; это скорее плод коллективной мудрости, приведенной в систему каким-либо ученым средневековья. Но как бы там ни было—указанные трактаты не теряют своей ценности для развития „статики“.

Далее, Филон Византийский (100 г. до Р. Х.) написал сочинение о строении баллист и катапульт, в которых основную роль играл рычаг. Римский инженер Витрувий в сочинении „Об архитектуре“ подвел итог всем древним знаниям по вопросу о механических сооружениях, постройке водопроводов и каналов.

Но о законах движения древние и средние века имели совершенно ложные представления. И так как Аристотель является систематиком древних знаний, то он эти ложные понятия утвердил на много столетий, и они держались потому, конечно, что не развивалось производство, а не потому, что средние века, как это обычно утверждают, были веками „невежества“. Это „невежество“ существует только в головах метафизиков.

Основной закон статики—закон рычага—правильно формулирован в „Механических проблемах“ Аристотеля. Но самое любопытное—это аристотелевское обоснование этого закона. Аристотель говорит: „Вес, который движется, находится в отношении к весу, который движет, в отношении, обратно пропорциональном длинам плеч рычага: всегда, действительно, вес тем легче будет приводить в движение, чем дальше он будет от точки опоры.

Причина этого в том, о чем мы уже упоминали: линия более удаленная от центра описывает большую окружность. Дюгем склонен усмотреть здесь зародыш известного начала „возможных скоростей“, но он сам указывает на „темные рассуждения Аристотеля о свойстве окружности“,—и в этом вся именно соль, так как Аристотель в этих „совершенных линиях“ и усматривал „причину“ действия рычага.

[1]) Изложена в „Физике“ и „Механических проблемах“.

В самом деле, чем дальше от центра мироздания—земли—находится тело, тем оно вращается по большему кругу. И так как совершенное и вечно вращающееся небо, первый двигатель, находится дальше всего, ясно, значит, что большая окружность определяет трудность или легкость движений тел, то-есть перехода из возможности в действительность.

Бог Аристотеля—это чистая форма, лишенная пассивного начала—материи, а потому он—вечное движение.

Применяя свои принципы к динамике, Аристотель впал в заблуждение. Вот основное положение аристотелево-схоластической динамики:

„Какова бы ни была сила, производящая движение,—то, что легче и меньше, получает от одной и той же силы больше движения. Действительно, скорость тела менее тяжелого относится к скорости тела более тяжелого, как легкое тело к тяжелому".

Иначе говоря, Аристотель полагает, что сила пропорциональна скорости.

$$F = m \cdot v.$$

На самом же деле—ускорению:

$$F = \frac{m \cdot v}{t} = m \cdot g.$$

Эта ошибка основана, конечно, на поверхностном анализе обыденного опыта, но также на предвзятых идеях системы. Система, которая гипостазирует слова, не могла привести к иным результатам. Слово „сила" приобрело твердый характер „вещи", точно так же и слово „скорость"—ускорение же, как и самое движение, это только переход от „материи" к действительности. Тело находится в данном месте. Пока оно не движется, то-есть не является телом определенной скорости,—оно—возможность (материя), и вот скорость, которая сама по себе, как форма, вне тела не существует, соединяясь с материей образует конкретность—тело данной скорости. Ускорение же, как переход в эту конкретность, не может, конечно, играть роли в формулировке закона движения.

Заметим далее, что древние и схоласты не знали закона инерции. На первый взгляд это как-будто противоречит принципу овеществления слов. Но это противоречие кажущееся. В самом деле, полагая движение некоей „сущностью", мыслители думали, что эта „сущность" расходуется на движение подобно дровам на горение. Поверхностный опыт как будто подтверждал такое заключение, и оно благодаря этому и держалось вплоть до нового времени.

г) Учение о жидкостях и газах[1]).

Учение о жидкостях и газах Аристотеля—хороший образец тех заблуждений, к которым ведут господство слов и сочетание крайностей рационализма и эмпиризма. Так как Аристотель „форму" легкости приписал воздуху, а тяжести—воде и в следующей степени—земле, как более твердому и плотному телу[2]), то Аристотель заключил, что воздух не может давить на воду, а вода на землю. Но так как опыт поднятия воды в трубках противоречит этому, то Аристотель изобрел знаменитый horror vacuum.

[1]) „О возникновении и разрушении", „Метеорология", „О небе", „Механические проблемы".

[2]) Этому противоречит существованию ртути, которая казалась поэтому веществом необычайным и, в конце концов, превратилась в мать всех веществ.

Плавание тел объяснялось примесью „легкого элемента"—законы гидростатики не были еще известны: эти законы противоречат системе, так как жидкость не может давить на твердое тело.

Что воздух весит—в этом убедились спустя несколько столетий. Этот факт подозревал сам Аристотель, и он приводил его в смущение. В трактате „О небе" (De coelo, 4) Аристотель указывает на опытный аргумент в пользу весомости воздуха: „Надутый пузырь тяжелее, когда он надут, нежели когда он пустой". Но в „Механических проблемах" (sect. 25, вопр. 13). Аристотель замечает: „Воздух значит делает пузырь плавающим, но как возможно, чтобы пузырь плавал, когда он тяжелее, и шел ко дну, когда он легче (пустой)"? Эти вопросы так и остались без ответа. Но если относительно веса воздуха могло существовать сомнение, то как быть с весом воды? Для объяснения этого веса призывалась на помощь пресловутая „форма". В бесформенном состоянии вода не имеет веса, но этот вес ей придает форма сосуда. В современных учебниках физики, при объяснении одинаковости давления воды на дно сосудов различной формы, можно найти рассуждения о влиянии формы. Но это объяснение „гидростатического парадокса" носит вполне реальный характер рассмотрения сил взаимодействия стенок и жидкости. Аристотелю же и схоластам этот факт не мог бы показаться парадоксальным, так как он находится в полном соответствии с учением о формах и не требует никаких иных объяснений, кроме ссылки на „форму". Этот пример наглядно показывает различие прежней и современной науки. В старое время слово было всемогуще—оно объясняло все и являлось ключем к раскрытию всех тайн природы.

И поныне в науках далеких от точного естествознания, легко найти эту магию всеобъясняющих слов.

Необходимо отметить здравый смысл Аристотеля, который отрицал пустоту. Его аргумент таков: „Пустое пространство—это такое, в котором места ничем друг от друга не отличаются, а так как движение состоит в перемене места, в переходе из одного места в другое отличное, то ясно, что в пустоте движение невозможно". Этот аргумент направлен против Демокрита [1]).

д) Учение о теплоте.

Теплота рассматривается Аристотелем, как активное начало, противоположное пассивным началам холода, сухости и влажности. Между ними существует взаимное отталкивание. Аристотель приводит пример (Мет., I, 12, 11) погреба, в котором летом холодно, а зимой тепло—и в этом видит подтверждение своего закона отталкивания.

То же самое он усматривает в факте сохранения тепла воды, спрятанной в золе (Мех. пробл., гл. 24).

Этот закон Аристотель назвал законом антиперистазиса (противодействия): всякое начало, окруженное противоположным, усиливается (сгущается). Самый замечательный пример закона и вообще всей системы—это ссылка на ходячее выражение: „жгучий холод".

Аристотель, усмотрел здесь принцип своей физики! (Мет., II, 5, 5) ибо холод жжет, так как он, отталкивая, собирает (антиперистазирует) тепло! Действие тепла, согласно Аристотелю, можно пояснить примером таяния льда. При переходе льда в воду происходит „движение", которое заключается в том, что новое начало присоединяется к прежним.

При этом „материей" является лед, а формой „тепло". Таким образом мы видим, что понятия материи и формы чисто относительны

[1]) Метеорология, IV, 5, 6.

и имеют различный смысл в зависимости от того, прилагаются ли они к единичной вещи или же ко взаимодействию вещей. Как указано было выше, истинной „сущностью“ является только единичная вещь.

е) Учение о звуке и о свете[1]).

Учение о звуке Аристотеля—единственное, в котором он не запутался благодаря особенностям своей системы. Пифагорейцы установили зависимость высоты звука от длины струн. Наблюдение подтверждает эту зависимость для труб. Аристотель признает, что звук это движение воздуха. Но в учении о свете снова выступают злополучные „материи“ и „формы“. Некоторые исследователи (Ziaia, Wilde) пытались превратить Аристотеля в основоположника волновой теории света. Зародыш, правда, имеется, но историк Герлянд справедливо отмечает общую неправильность таких попыток. Аристотель, как всегда, исходил из непосредственно эмпирических соображений, которые он связывал с самыми абстрактно-метафизическими. В случае звука непосредственно видно, что удар или вдувание воздуха в трубу вызывает звук и для этого случая он не сделал ошибки. Но свет получается вследствие какого-то таинственного процесса горения и кроме того имеются тела прозрачные и темные. Это привело Аристотеля к мысли, что слова свет, видимость, прозрачность, тьма и непрозрачность—соответствуют каким-то началам, которые находятся в телах. Аристотель (Parva naturalia, отрывки о „чувствах“, о „цветах“) полемизирует с воззрением Эмпедокла и Платона о том, что свет исходит из глаз. Ибо глаз—это начало водянистое и, следовательно, не может испускать света.

Свет рассматривается, как активное начало (форма) тел, а тьма, как пассивное. Всякая конкретность является сочетанием пассивного и активного: тьма—это потенция света, которая благодаря движению превращается в конкретную прозрачность, видимость. Герлянд справедливо указывает, что необходимо отличать свет от его передачи. Огонь виден во тьме, потому что свет передается через тьму, сообщая ей прозрачность. Абсолютно прозрачным Аристотель считал „эфир“. Отсюда ясно, в чем зародыш волновой теории в учении Аристотеля. Считая, что свет (конкретный)—это энтелехия (целевое осуществление) помощью движения, вызываемого формой, он рассматривал светящееся тело, как источник такой формы. Если прав Лейбниц, что единственной материей Аристотель считал протяженную материю, а единственной формой—движение в пространстве, то учение Аристотеля совпадает с учением волновой теории.

Тогда эфирная среда—это потенциальная материя (тьма) Аристотеля, свет (форма)—это активное пространственное движение, исходящее от тела, которое и образует „конкретный свет“—движущиеся в пространстве световые волны. Укажем еще, что Аристотель признавал три основных цвета: белый (вода и воздух), желтый (огонь) и черный (пассивное начало); остальные цвета—это сочетания основных.

ж) Химия Аристотеля (трактат „О возникновении и уничтожении“, 4-я книга „Метеорологии“; 2-я и 3-я книга „О небе“).

Учение о четырех стихиях и эфире—основа химии Аристотеля. В четвертой книге Метеорологии он обсуждает сочетания этих элементов, образующие конкретные вещества. Алхимики причисляют

[1]) Метеорология, 4 книга, Parva naturalia и др.

Аристотеля к числу своих сторонников: Аристотель, действительно, считал мир и землю животными. И подобно тому, как животные порождают детей, точно так же земля, например, родит в своих недрах металлы. Алхимики действительно предполагали, что рождение благородных металлов из низших веществ происходит под влиянием различных планет. Теория этих превращений вполне аристотелевская. Мы к ней обратимся, когда будем говорить о средневековой химии.

з) Космология Аристотеля (трактат „О небе". Письмо Аристотеля к Александру).

Космология Аристотеля основана на непосредственном чувственном опыте. Пифагорейцы, Аристарх Самосский, Гераклит Понтический догадывались об истинном строении неба и земли, но большинство мыслителей находилось под давлением антропоцентризма. Каждый народ древности склонен был полагать то место, где он обитал, центром вселенной. Китайцы, например, до сих пор называют свою страну серединным царством. Инки Перу показывали центр земли в храме Куцко, название которого значит „пуп". Такое же название носил храм Аполлона в Дельфах и Иерусалиме у христиан. Самое обычное представление земли — плоская или полусферическая пластинка, покоющаяся на океане. Индусы помещали ее на черепахе, колоннах или корнях, уходящих неизвестно куда.

Только философы возвышались до мысли, что земля, как центр, не требует опоры в мировом пространстве. Обоснование этого утверждения было метафизическим, а не физическим: все тела падают к центру вселенной, и, следовательно, земле некуда падать. Эти же метафизические соображения приводили к утверждению тех разнообразных форм земли, которые фигурируют у различных мыслителей. Так Анаксимандр утверждал, что земля—цилиндр, Эмпедокл — барабан, Платон—куб. Только пифагорейцы (Филолай), Аристарх и Аристотель учили, что земля—сфера. Аристотель обосновывал эту форму своим понятием совершенной формы, которая приличествует центру вселенной.

Так как обычный опыт учит, что все тела падают, то древние неохотно допускали, чтобы небесные тела „висели" в пространстве без всякой поддержки. Отсюда знаменитая теория вещественного и твердого небесного свода. Учение о „хрустальных сферах" приписывается Аристотелю, но так думали Анаксимен, Анаксимандр, пифагорейцы, Эмпедокл, Платон, Эвклид, Эвдокс и др. Некоторые даже полагали, что существуют действительные твердые оси, снабженные шпилями в неподвижных втулках [1]).

Симплиций в комментариях к трактату „О небе" приводит мнение Анаксимена о том, что „наружное небо—твердое, хрусталевидное; звезды вбиты в его сферическую поверхность как гвозди".

Лактанций называет вещество неба — „оледенелым воздухом", стеклом.

Так что Аристотель в своей космологии выразил общее мнение.

Вот характерная система Аристотеля [2]):

Во вселенной существует центр постоянный и неподвижный. Его занимает земля, плодородная мать, общее убежище всех животных. Непосредственно около земли находится воздух, окружающий ее со всех сторон.

Над землею в самой высоте — жилище богов, называемое небом. Так как небо и земля имеют сферическую форму и, как только что

[1]) Так пишет архитектор Августа Витрувий.

[2]) См. Фламмарион. История неба.

оказано, вечно движутся, то необходимо должны находиться две противоположные друг другу точки, как в глобусе, который вертится на оси, и эти точки должны быть неподвижны, чтобы поддерживать сферу в то время, когда мир около них вращается.

Эти точки называются полюсами.

Воображаемая прямая линия, идущая от одной из этих точек к другой, есть ось мира, посредине ее находится земля, а на концах два полюса. Один из двух полюсов—северный,—всегда виден на нашем горизонте: это полюс арктический; другой полюс на юге, который мы никогда не видим—это анарктический.

Вещество, из которого состоят небо и звезды—называется эфиром; оно называется так не потому, что состоит из пламени, как уверяли некоторые, не понявшие его сущности, совершенно отличной от сущности огня, а потому, что оно непрерывно вращается и представляет элемент божественный и нетленный, совсем отличный от остальных четырех.

Из числа звезд, находящихся на небе, одни неподвижно укреплены на нем, обращаются только вместе с ним и постоянно сохраняют взаимные между собою отношения. Между ними проходит Zoophore, то-есть круг, носящий жизнь или животных с фигурами зверей (зодиак), этот круг идет наискось от одного тропика до другого, разделен на 12 частей—двенадцать знаков. Другие светила блуждающие (планеты) двигаются совсем по другим кругам, с иной скоростью, чем первые светила и с отличною друг от друга скоростью, смотря по тому, дальше или ближе от земли находятся круги их движения.

Хотя все укрепленные в небе звезды двигаются по одной и той же его поверхности, однако сосчитать их невозможно. Что же касается блуждающих звезд, то их на небе всего семь и все они двигаются по семи же концентрическим кругам, так что верхний круг больше следующего за ним нижнего, а все семь, заключенные один в другом, в свою очередь замыкались сферой неподвижных звезд.

За пределами этой эфирной, непреложной, неизменной, ненарушимой, безучастной природы находится природа переменчивая, непостоянная, тленная и смертная.

Эфир там является, во-первых, в виде огня, жидкой, воспламеняющей материи, которая зажигается по причине сильного давления и быстрого движения эфирной субстанции.

Когда в области огня нарушен порядок, показываются огненные стрелы, светящиеся полосы, воспламененные столбы, пропасти: там зажигаются и погасают кометы. Под огнем распространен воздух, по своей природе мрачный и холодный, который движением согревается, воспламеняется и становится светящимся.

В области воздуха, который способен подвергаться всяким изменениям, сгущаются облака, образуются падающие на землю дожди, снега, изморози и грады; здесь находится местопребывание бурных ветров, вихрей, громов, молний, грозы и тысячи других явлений природы.

Причина небесного движения есть бог. Он царит не на земле, не в стране волнений и смут, но на самой высоте окружности, в области самой чистой, которую мы по справедливости называем Ураном (сводом), ибо она самая высокая во всей вселенной, Олимпом, то-есть наиблестящим, ибо она совершенно отделена от всего, что приближается к мраку и беспорядочным движениям, присущим нижним частям.

К несчастью, небесную гармонию нарушают планеты. Эти тела блуждают по небу, то продвигаясь вперед, то останавливаясь и идя назад. Это обстоятельство ставило втупик древних метафизиков, полагавших, что небесным телам не приличествует шляться по небу. Эвдокс Книдский (409—356 г.г. до Р. Х.) первый решил дать объяснение явления блуждания.

Он придумал систему 27 концентрических сфер. Вообразим вращающуюся сферу. Под некоторым углом к ее оси укреплена ось другой сферы, концы которой упираются в поверхность первой сферы; третья ось имеет точки опоры на второй сфере и т. д. Так, для объяснения движения луны Эвдокс давал три сферы, соответственно суточному, месячному и колебательному (около эклиптики) движениям луны. Солнце имело три сферы, каждая из планет по четыре, что вместе со сферой неподвижных звезд дает упомянутое число 27. Аристотель из соображений метафизического характера довел число сфер до 56. Звездная сфера только одна, ибо она состоит из совершенного эфира. Но если спуститься в „несовершенную“ область планет, солнца и луны, то для поддержания их движения, уничтожаемого „беспорядком“ (сопротивлением), необходимо несколько сфер. Порядок расположения небесных тел у Аристотеля таков: Сатурн—Юпитер—Марс—Венера—Меркурий—Солнце—Луна. Верхним планетам, Сатурну и Юпитеру, он дал по 4 сферы, остальным по 5, что вместе со звездной сферой дает число 34.

И так как в сфере „беспорядка“ небесные тела влияют друг на друга, то для устранения этого влияния Аристотель принял еще 22 сферы.

Трудно решить, верили ли древние мыслители в действительное существование всех этих сфер. Гумбольдт в „Космосе“ не решается высказаться определенно по этому вопросу.

Заметим, что Аристотель первый дал экспериментальное доказательство шарообразности луны, на основании формы луны в различные моменты месяца.

н) Аристотель как натуралист.

Остановимся теперь вкратце на значении Аристотеля как натуралиста. Ясно, что в этой именно области—области, в которой главное значение пока имеет чистое описание — Аристотель достиг крупнейших успехов. Он безусловно признан величайшим натуралистом древности, хотя некоторые утверждают, что многое в его сочинениях заимствовано у Демокрита и врача Гиппократа.

Аристотель первый дал научную зоологическую систему. Он изучал не только морфологию и анатомию человека и животных, но также историю развития (эмбриологию), сравнительную анатомию, физиологию и психологию. Вот оценка Аристотеля, данная Э. Геккелем („Мировые загадки“, гл. 4):

„Древнейшим из известных нам научных источников как в сравнительной анатомии, так и по эмбриологии являются классические сочинения Аристотеля, многостороннего „отца естественной истории“ (IV век до Р. Х.).

Не только в своей великой „Истории животных“, но и в особом небольшом сочинении „Пять книг о зарождении и развитии животных“ великий философ сообщает массу интересных фактов и высказывает соображения об их значении; многие из них были оценены должным образом лишь в наши дни и в сущности были как бы заново открыты“.

§ 3. Естествознание и техника средневековья.

а) Роль арабов и евреев в истории науки средневековья.

Католическая теология, разорвав человеческое познание на две части: мышление, направленное в область религиозно-метафизических спекуляций, и непосредственно чувственный опыт, выродившийся в узкий практицизм, нанесла этому познанию сильнейший удар. Но так как историческое движение непрерывно, то временно занятие наукой перешло к евреям и арабам, религиозные системы которых отличались большей терпимостью и свободомыслием. Объективная причина этого свободомыслия в том, что арабы и евреи играли большую роль в развитии мировой торговли, в противоположность оседлым народам средневекового Запада.

Гумбольдт в „Космосе“ справедливо оценивает арабов, как творцов современного рационально-эмпирического естествознания. Это же относится и к евреям. К ним перешло греческое научное наследие и, в частности, Аристотель, который интересовал их в качестве естествоиспытателя.

Мы воспользуемся таблицами [1]), приведенными в книге Мармери, для того, чтобы дать общую летопись еврейско-арабской естественной науки. Эпоху средневековья необходимо считать до XVI столетия. XVI столетие—переходный период, весьма характерный и на котором также придется остановиться в заключении.

б) Арабская астрономия.

IX столетие. Бен Муза, автор древнейшей алгебры, ввел в употребление „арабские“ цифры; заменил хорды синусами, нашел общий способ решения квадратных уравнений.

805—885. Альбумазар. Автор астрономических таблиц, вычисленных по собственным наблюдениям.

813—834. Аль Мамун. Нашел наклонение эклиптики к экватору (23°35'52''), руководил измерением длины земного градуса ($56\frac{2}{3}$ мили). Приказал перевести на арабский язык Аристотеля, Эвклида, Птоломея и Гиппократа.

829. Аль-Фергани. Его работы по астрономии переведены и изучались в Европе в течение многих лет.

850—900. Гебер Аль-Батани. Открыл движение солнечного апогея. Вычислил точную длину года. Измерил наклонение эклиптики.

875. Зебит-Бен Коррах. Измерял длину года. Как анатом, составил анатомию птиц.

975. Абул Вефа. Знаменитый астроном, открывший так наз. третье неравенство луны.

995. Абул Рихау. Измерял наклонение эклиптики при помощи квадранта (23°35').

1008. Эбн Юнис. Применил математику к решению физических и астрономических задач. Применил маятник к измерению времени. Его работами пользовался Лаплас для доказательства уменьшения эксцентрицитета земной орбиты.

---

[1]) Приводим эти таблицы с некоторыми сокращениями. Полную летопись естествознания и техники того времени можно найти в труде Darmstaeter „Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik“.

1080 Абул Гассан. Употреблял для астрономических наблюдений трубы с неподвижными окулярами и объективами, что привело к изобретению телескопа.

Суфи занимался фотометрией звезд.

1198. Гебер Севильский. Построил древнейшую в Европе обсерваторию.

в) Ученый Альхазен.

В области физики прославился Альхазен, который был также геометром и физиологом.

1100. Альхазен:

a. Своими анатомическими и геометрическими исследованиями исправил ошибку греков относительно сущности зрения—согласно теории Аристотеля.

b. Впервые указал на значение сетчатки.

c. Объяснил бинокулярное зрение.

d. Открыл явление рефракции вообще, в частности атмосферическую.

Мармери говорит, что это открытие ставит Альхазена „в ряды величайших физиков всех времен и стран“.

e. Открыл уменьшение плотности атмосферы с высотой.

f. Объяснил явление кажущейся видимости светил до их восхода и после заката.

g. Объяснил явление сумерек.

h. Объяснил свойства выпуклого стекла.

i. Определил высоту и вес атмосферы.

k. Распространил закон Архимеда на воздух. Объяснял плаванье тел.

l. Указал на значение центра тяжести в теории равновесия.

m. Доказывал, что **сила** тяжести уменьшается с расстоянием от земли. Здесь он предшественник Ньютона.

n. Открыл отношение между скоростями и временами падающих тел, предупредив таким образом Галилея.

o. Открыл капиллярное притяжение.

p. Улучшил прибор для определения удельного веса жидкостей. Составил таблицы удельных весов, которые близко подходят к современным [1]).

r. В физиологии он развивал учение об эволюции животных форм.

Эти таблицы яснее всего показывают ложность обычного представления о средневековьи. Только метафизико-идеалистическая философия может приписать деятельность этого ученого его гению. Ма-

[1]) Чтобы наглядно показать развитие „эксперимента“ эпохи, мы приведем следующую сравнительную таблицу удельных весов по Альхазену и современным данным:

	Золото.	Ртуть.	Медь.	Железо.	Цинк.	Свинец.	Сапфир.	Рубин.	Горн. хруст.	Сладк. в.	Гор. в.
Альхазен.	19,05	13,56	8,66	7,71	7,32	11,32	3,96	3,58	2,53	1,00	0,958
Современн. данн.	19,26	13,59	8,85	7,79	7,29	11,35	3,90	3,52	2,58	1,00	0,953

	Ледяная вода.	Озерная вода.	Оливковое масл.	Коровье мол.	Человеч. кровь.
Альхазен	0,965	1,041	0,920	1,110	1,033
Современ. данные.	0,933	1,027	0,91_	1,04—1,42	1,045—1,075

териализм же утверждает, что для проявления подобного гения необходима общественная обстановка. И, без сомнения, в эпоху средневековья, когда сочинения Альхазена (в частности оптика) пользовались известностью—в Европе помимо военного искусства и теологии интересовались также естественно-научными вопросами.

Арабы—творцы медицины и химии.

г) Арабские химия и медицина.

800. Джиабер (Гебер) - основатель химии—открыл азотную кислоту, серную кислоту, азотнокислое серебро, царскую водку, сулему, окись ртути.

До Гебера был известен только уксус. Гебер показал, что окисление увеличивает вес металлов. Он знал природу алкоголя и газов. Он описал процессы дистилляции, фильтрования, сублимации (получение ртути из киновари). Он описал различные химические аппараты: водяную баню, песочную баню, пробирную чашку.

860—920. Разес. Открыл серную кислоту, приготовил чистый алкоголь.

XI век. Алкид Бекир. Открыл фосфор.

VIII—XI ст. Марк Грек описывает в книге „Liber jgnium"—порох.

В области медицины известны:

800. Мазус. Изучал сравнительную анатомию. Его „Фармакопея" в течение долгих веков служила руководством.

980 - 1037. Авиценна. „Князь врачей", знаменит его медицинский „Канон", сочинение, трактующее о физиологии, патологии, гигиене, лекарствах и пр. Описал оспу. Он впервые ввел понятие о геологическом образовании земной поверхности, сделал открытия в области минералогии.

1106. Альбухазис Хирург, изобрел массу инструментов. Употреблял „наркотику" при операциях.

1126—1198. Аверроэс. Философ и медик. Открыл солнечные пятна. Своей славой обязан комментариям к Аристотелю.

1170 - 1262. Эбн Зоар обогатил фармацию бесчисленными вкладами.

Евреи также играли выдающуюся роль в средневековой науке. Университеты в Салерно, Монпелье, Нарбонне, Таренте, Бари „были прямо основаны или находились под руководством арабских евреев" (Мармери) [1]).

XI столетие. Раши (Исаак бен-Солейман). Знаменитый врач. Создал новую систему диэтики и лекарственных средств. Он писал „О лихорадках", „О медицине", „О пульсе", „О пище и лекарстве", „О философии", „О меланхолии", „Введение к логике".

В. Дрепер замечает: „Простота этих названий показывает ясность и точность мысли, всегда отличавшую израильтян". Одного этого уже достаточно, чтобы убедить нас, как много сильного, здравого смысла внесено было этими людьми в литературу Западной Европы в век таинственности и мистицизма. Рожер Бэкон, много времени спустя после этого, дал одному из своих сочинений название „Зеленый Лев", а другому—„Рассуждение о трех словах".

XI ст. Ибн Зоар—автор трактатов на трех языках; писал о лечении болезней.

---

[1]) В Салернской, например, школе преподавание велось на арабском, еврейском и греческом языках. Во главе Нарбонской школы стоял раввин доктор Абу. Самые знаменитые врачи того времени были евреи: Седеки — врач Карла Лысого, Гарун Кордовский, Иегуда из Феца, Амрам из Толедо. Врачом папы Бонифация VIII был раввин Исаак!

XI ст. Бен Эзра. Путешественник, поэт, критик, астроном, математик, философ и врач. Написал знаменитую „Книгу доказательств" по теоретической и практической медицине.

XII век. Абба Мари (Марсель). Перевел „Almagest" Птоломея и комментарии Авероэса к Аристотелю.

XII век (1135—1204). Моисей Маймонид (Рамбам). Врач знаменитого султана Саладина, автор сочинений: „О геморрое", „О ядах и противоядиях", „Об одышке" и др., „О сохранении здоровья", „Об естественной истории". Маймонид был одним из самых выдающихся и влиятельных философов средневековья. Его сочинение „Наставник сомневающимся" оказало влияние на знаменитейших схоластов и привело к отмене запрещения сочинений Аристотеля. Маймонид показал, как можно примирить творение из „ничего" с учением Стагирита.

Врач Маши. Он именно вычислил для Альфонса XII известные Альфонсовы астрономические таблицы.

В области других наук были также сделаны успехи.

1130. Артефий в „Ключе Мудрости" указывает, что минералы происходят из элементов, растения из минералов, животные из растений. Ему принадлежит изобретение мыла.

1162—31. Абдаллатиф—описал флору и фауну Египта. Предпринял определение толщины наносов Нила для определения древности египетской цивилизации.

1248 г. Аби Осман внес много фактов в зоологию, Аль-Бэзар—в ботанику („Общая история растений").

950. Аль-Фабри допускал дыхание растений посредством коры и листьев.

XII столетие. Альбируну обогатил минералогию.

1283. Казвини дает в своих „Чудесах природы" теорию землетрясений на основании действия паров.

В области техники еврейско-арабский период прославился сельско-хозяйственными улучшениями, системой орошения, развитием металлургии, ремесла всякого рода, усовершенствованием клепсидр (водяных часов), изобретением часов с маятником, введением в употребление компаса, бумаги и пороха.

Вот перечень новых слов, которыми мы обязаны этому периоду: нуль, надир, зенит, алгебра, цифра, карат, алхимия, алкалоид, алкоголь, сироп, элексир.

Этому периоду мы обязаны библиотеками (каталог библиотеки калифа Алкагема—40 томов. Каирская и Триполийская—по 100.000 книг), обсерваториями, лабораториями, зверинцами и птичниками, хирургическими инструментами, глобусами и словарями (некоторые из них до 60 томов).

Мармери заключает: в этот период были расширены:

География, ботаника, фармация, хирургия, медицина, арифметики, алгебра, астрономия, физика и химия. Необходимо сделать важное замечание. Известный химик Бертло на основании изучения рукописей Парижской, Лондонской и Лейденской библиотек доказал, что многое, приписываемое арабам,—продукт позднейшего времени. В частности, исследования Бертело колеблют славу Гебера. Этот факт необходимо иметь в виду при оценке средневековья. Печатные труды, появившиеся только в XV и XVI веках (оптика Альхазена в 1612 г.), приписывают часто „древним авторам" то, что фактически сделано гораздо позже. Как мы указали, таков был вообще обычай всего средневековья, так что трудно сказать, где кончается, например, арабская наука и начинается „не-арабская".

д) Спор о роли арабов в естествознании средневековья.

Н. Ханыков опубликовал перевод важнейшего механического сочинения арабов „Весы мудрости“ и в журнальной статье опровергает взгляд Гумбольдта на значение арабской физики. С ним соглашаются историк философии Льюис и историк физики Розенбергер. Между прочим, основной аргумент этой точки зрения тот, что „новейшие исследования арабской литературы более и более убеждают в том, что не все ученые, писавшие по-арабски, принадлежали по национальности к арабам. Сирийцы, евреи и персы составляли здесь большинство“. Оставим метафизиков спорить о роли личностей и наций, а сами сделаем верное заключение: указанный факт значения других национальностей подтверждает именно, что в период средневековья имелось общее научное течение. И если оно фигурировало, главным образом, под греческой или арабской фирмой, то это благодаря своеобразным политическим условиям времени.

Арабы, как и другие национальности, без сомнения играли свою роль в общем движении.

е) Христианские ученые средневековья.

Перейдем теперь к летописи „христианских“ ученых. Христианская теологическая система и ее прислужница схоластика сравнительно с арабско-иудейской системой и схоластикой достигли в средние века высшей степени совершенства. Их давление лишало естествознание главного руководящего научного начала—теоретического искания, рациональной гипотезы, которая служит нитью Ариадны в бесконечном лабиринте природы. Неудивительно поэтому, что средневековое христианское естествознание носило отчасти книжный и словесный характер, отчасти же представляло собою невообразимую путаницу и нагромождение всяких знаний и рецептов. Это была не наука, а скорее примитивная фармация. И только к концу XV века и в XVI появилось, наконец, естествознание в современном смысле этого слова, конечно, не как Венера, рожденная из морской пены, а как итог всего предыдущего накопленного опыта. Так как история этого опыта мало известна, то придется ограничиться указанием на некоторые характерные моменты. Мы будем вести изложение в том же порядке, в каком излагали физику Аристотеля. Отметим прежде всего следующее обстоятельство. Ученые эпохи возрождения и начала нового времени занимались главным образом: 1) механикой, 2) гидростатикой и гидравликой, 3) оптикой, 4) астрономией, 5) химией, 6) медициной в связи с общим учением о живой природе; учение о теплоте и газах, электромагнетизм разрабатывались позже. Этот порядок вполне понятен. Первоначальный период развития торговли и промышленности не знал тепловых и электромагнитных машин, а нуждался в развитии указанных физических дисциплин.

Средние века также двигались в этом направлении.

ж) Механика в эпоху средневековья.

Грандиозная средневековая архитектура с несомненностью доказывает, что средневековье обладало значительными практическими знаниями по статике в связи с сопротивлением материалов.

Новейшие исследования Дюгема доказывают, что научная мысль также работала в этом направлении. Мы изложим выводы, полученные Дюгемом в его „Началах Статики".

Средние века получили от древности следующие сочинения (кроме Аристотелевских) по статике: 1) фрагмент „О тяжести и легкости", приписываемый Евклиду; 2) четыре предложения, известные под именем Liber Euclidis de ponderibus secundum terminorum circumferentiam" [1]; 3) трактат „De canonio" (о правиле)[2]—арабского происхождения; 4) „Книга весов" (Liber karastonis), опубликованная арабом Табиш ибн-Курра. Эти сочинения вместе с „Механическими проблемами" Аристотеля[3]) образовали исходный пункт научного движения. Об Архимеде средневековье (раннее) ничего не знало. Дюгем говорит: „Мы сейчас увидим, как западная мудрость овладевала этими обрывками и как она включает их в механические системы, которые она строит. Мы будем присутствовать при необычайно интенсивной и мощной работе усвоения, превращения и организации, которая породит современную статику. Но эти гениальные усилия, которыми средневековье создало идеи, плодотворность которых еще не исчерпана, невозможно почти всегда связать с именем какого-либо автора,—те, которые породили их, навсегда забыты; их открытия были плодами одного из них, который, без сомнения, был их учителем". Этот учитель—Жордан из Неморы. Он жил, согласно Дюгему, около XII столетия, хотя точных сведений о нем не имеется и существуют разногласия по этому поводу [4]).

Первоначальное сочинение Жордана, согласно Дюгему,—это „Элементы Жордана о весовом доказательстве" (Elementa Jordani super demonstrationem ponderis). Значение этой книги в следующем. Как было указано, Аристотель при доказательстве закона равновесия рычага исходил из основного положения перипатетической механики: сила пропорциональна скорости. Жордан же исходит из другого принципа: „То, что может поднять некоторый вес на некоторую высоту, может поднять вес, в несколько раз больший, на высоту, во столько же раз меньшую". Это знаменитый принцип возможных перемещений. Его воспринял Декарт для формулировки основного закона действия простых машин, а затем Лейбниц для вывода понятия живой силы. Полное свое развитие и приложение в „Аналитической механике" Лагранжа (конец XVIII века).

Оценивая доказательство равновесия рычага Жордана, Дюгем указывает: „Это доказательство было большим прогрессом сравнительно с Аристотелем". „Идеи, изложенные в элементах Жордана, вызвали в средние века сильное интеллектуальное движение; философы, геометры, механики овладели этими идеями, чтобы обсуждать их, комментировать, развивать; начиная с XIII века, „Элементы" породили разнообразные трактаты, сильно отличающиеся от своего источника".

Образовалась „школа Жордана", как говорит Дюгем. Ввиду упомянутого обычая средневековья приписывать сочинения древним,

---

1) „Ponderibus secundum"—это слагающая силы тяжести по направлению круговой траектории (terminorum circumferentiam), по которой движется конец рычага.

2) Здесь имеется в виду решение задачи равновесия рычага определенной толщины с геометрической точки зрения, т. е. приведение материальной толщины плеч рычага к геометрическим линиям. Дюгем предполагает, что это отрывок утерянного сочинения Птоломея.

3) Необходимо подчеркнуть, что это сочинение Аристотеля едва ли принадлежит всецело ему. Некоторые считают его вообще подложным, но вероятнее всего, что оно—итог длительной работы мысли древности и средневековья, т.-е. смесь различных элементов.

4) См. Gerland, Geschichte d. Physik. Gerland утверждает тождество этого Жордана с Жорданом Саксонским (умер в 1221 г.). Дюгем склоняется к тому, что Жордан—итальянец и что он написал свои сочинения не позже XII столетия.

большинство фигурирует, как „Книга Евклида о весе" (Liber Euclidis de ponderibus), иногда же как „Книга Жордана о весе", или же в сочетании обоих авторов[1]). Насколько было велика известность Жордана, видно из факта, что в 1533 году профессор Ингольштадтского университета Петр Апиан (Peter Apian) издал „Книгу Жордана Неморариуса", которая представляет собою, согласно Дюгему, смесь трех текстов: 1) трактата „De canonio", 2) „Книги Евклида о весе", 3) перипатетического комментария Жордана[2]). Перипатетический комментарий пользуется ошибочными идеями Аристотелевской „Механики", и „его научное значение равно нулю" (Дюгем). Тем не менее, он оказал большое влияние на последующих ученых вплоть до Тартальи, Убальди и Мерсенна.

и) Предшественник Леонардо-да-Винчи.

Зато другое сочинение, открытое Дюгемом,—сочинение „предшественника Леонардо",—показывает огромный научный прогресс. Именно, Дюгем доказывает, что этот предшественник открыл важнейшее механическое понятие момента силы и решил задачу наклонной плоскости. Более того, предшественник Леонардо знал факт ускоренного падения тел, неизвестный древним. Вот его формулировка: „Тяжелая вещь движется тем скорее, чем она дольше падает". Он дает даже теорию явления! Этой теории придерживается даже Гассенди в 1640 г., т.-е. 400 лет спустя! Она заключается в том, что явление падения объясняется давлением среды (воздуха, воды), и так как воздух более подвижен, то в воздухе тела падают быстрее.

к) Р. Бэкон, Блэз Пармский.

Кроме Жордана и „Предшественника Леонардо", необходимо отметить еще 1) Р. Бэкона и 2) Блэза Пармского (Blaise de Parme). В „Opus majus" имеется часть „Specula Mathematica", изданная отдельно. В этом сочинении Бэкон рассуждает о равновесии и движении весов (De motu librae). Бэкон ссылается на Жордана, хотя основывает свои рассуждения, исходя из динамической формулы Аристотеля. Он находит даже затруднение в этой формуле и говорит: „Это против Жордана и против очевидности" (hoc est contra Jordanum et contra sensum).

Блэз Пармский (умер в 1416 г.) написал сочинение „Трактат о весах", которое, как указывает Дюгем, принадлежит к школе Жордана. В нем нет ничего нового, но оно является характерным для знаний, распространенных в начале XV века. Эти знания являются теми ручейками, которые привели к Леонардо да-Винчи и затем к мощному движению нового времени.

л) Леонардо да-Винчи.

Судьба Леонардо — лучшее доказательство того, насколько наука зависит от техники. Леонардо был математиком, физиком, инженером,

---

[1]) В Базельской библиотеке M. Curtze нашел „Jordanus de Nemore et Euclidus de ponderibus". Это сочинение представляет сочетания „Элементов" Евклида, Жордана и упомянутого „De canonio".

[2]) Манускрипт XIII века № 7378 A находящийся в Парижской Национальной библиотеке содержит: а) проблемы, известные под названием „De canonio", б) перипатетический комментарий, в) сочинение „Liber Jordani de ratione ponderis", которое, согласно Дюгему, ложно приписано Жордану, а принадлежит неизвестному „Предшественнику Леонардо-да-Винчи" (Précurseur de Leonardo da Vinci), как его называет Дюгем.

химиком, анатомом. Он изобрел прядильную и строгательную машины, изучал полет птиц и пытался построить летательный аппарат, изобрел даже паровую пушку, но все это осталось без видимого результата. Лишь его работа по построению каналов и шлюзов, да изобретенные водяная мельница и насос, да знаменитые картины сделались более или менее известными. Найденные за последние годы манускрипты показывают, однако, насколько этот гений опередил свое время в области теории.

В области механики он опередил на столетие Стэвина и Галилея. „Механика,—говорит Леонардо, истинный рай математических наук, потому что при ее посредстве можно вкусить от плодов математического познания“ [1]).

м) Статика Леонардо да-Винчи.

Леонардо хотя и не отверг принципа Аристотелевской механики (его в статике признавал сам Галилей), но в статике приходил к правильным выводам. Он развивал понятие момента сил, разрабатывал вопрос о наклонной плоскости и параллелограмме сил. В своих рассуждениях и доказательствах он пользовался принципом возможных перемещений. Насколько глубоки были познания Леонардо, видно из открытой Дюгемом теоремы сложения сил, которой пользовался Леонардо: „Если рассматривать две сходящихся силы и их результирующую, то момент результирующей по отношению к точке одной из составляющих равен моменту другой из составляющих по отношению к той же точке“. Несмотря на некоторые ошибки (обусловленные авторитетом Аристотеля и Папуса), Леонардо должен быть признан предтечей Стэвина и Галилея в вопросе о наклонной плоскости. И даже в области динамики Леонардо нащупывал истину.

н) Динамика Леонардо да-Винчи.

В эпоху сильного развития этой части механики, в XVI веке, появилась мода на автоматов. Изобретателей таких автоматов называли „механиками“ (mèchanicci, mechaniciens), отсюда название механической философии.

Знаменитому схоласту Альберту Великому (1193—1280) приписывали колоссальную механическую изобретательность. Он будто бы изобрел автомат, который даже заговаривал, и будто бы Фома Аквинский, испугавшись „такого творения“, разбил его в дребезги.

В практической области эта „механика“ привела к колесным часам. Такие часы (без маятника) были известны еще в 850 г., а в 1310 г. появились карманные часы, в 1364 г. Вика установил знаменитые часы с боем на здании парижского парламента.

Как доказывает Дюгем [2]), ученый Альберт Гельмштедтский (Саксонский), преподававший в 1351—1364 г.г. в Парижском университете,

---

[1]) „La mechanica e il paradiso delle scientie matematiche porcheche con quella si viene al frutto matematico“ (Из манускриптов Леонардо, опубликованных Ch. Ravaisson-Mollien, издание „Bibliothèque de l'Institut“, 1888). До 1797 г., когда появилась книга Venturi: „Essai sur les ouvrages physico-mathematiques de Leonardo de Vinci“, ничего не знали о Леонардо, как о естествоиспытателе! Кроме указанного изречения, Леонардо да-Винчи принадлежит еще следующие: „Теория — полководец, практика — солдаты“; „Нет такой истины в науках, к которой нельзя было бы частично приложить математику, или которая не стояла бы к ней в известной зависимости“. Эти изречения ясно говорят, в чем недостаток старого метода!

[2]) „Sur la découvre da la chûte des graves“ (Comptes rendus, 1908 г., т. 146).

знал закон свободного падения тел. Этот же закон был известен Леонардо, который, согласно Дюгему, заимствовал его у Альберта.

Леонардо разрабатывал, кроме того, доказательство невозможности вечного движения; этой невозможностью пользовались в выводе некоторых положений механики Стэвин и Галилей, а Гельмгольц справедливо указал, что проблема вечного движения прямо ведет и привела к закону сохранения энергии[1]). Дюгем заключает исследование о Леонардо: „В „механическом" деле Леонардо да Винчи нет ни одной существенной идеи, которая не вытекала бы из творений средневековых ученых и, в частности, того, кого мы назвали „предшественником Леонардо".

о) Судьба средневековой статики.

Дюгем характеризует дальнейшую судьбу средневековой статики: школа Жордана в XVI веке (Тарталья, Кардан), затем реакция против этой школы (Гвидо Убальди, Бенедетти) и, наконец, наука нового времени. „Так называемые возрождения,—говорит он,—часто являлись несправедливыми (!) и бесплодными реакциями".

Не будем обсуждать здесь этого вопроса, а отметим два важных обстоятельства:

п) Заключение к обзору механики средневековья.

1. Дюгем в введении к своему труду отмечает различие между „духом интуиции" Аристотеля и „духом дедукции" Архимеда. Он говорит, что Архимед обязан своей славой этому „духу дедукции", а Аристотель пренебрежён за свою интуицию. Дюгем отдает предпочтение последнему мыслителю. Но что такое эта интуиция Аристотеля? Это — „чистое описание явлений", описание непосредственного опыта без гипотез. И если проследить изложение и доказательства вышеупомянутых средневековых мыслителей, то отчетливо бросится в глаза (и это доказывает Дюгем), что они действовали по „духу интуиции" и впадали в ошибки. И если Архимед пришелся по вкусу человечеству нового времени, то не из любви к прекрасным глазам этого мыслителя, а именно потому, что наука есть сочетание „духа дедукции" с „духом интуиции". Интуиции было предостаточно в средние века, и она была симптомом научного (относительно) бесплодия этой эпохи. Когда же к этой интуиции присоединилась дедукция, т. е. теоретическое исследование, научное дело двинулось вперед.

Мы увидим, что даже Галилей впадал в ошибки благодаря поспешной интуиции, в ошибки впадал даже Декарт, и лишь Ньютону удалось окончательно освободиться от давления непосредственного опыта. Он и был основателем научной механики.

2. Второе заключение касается связи науки и техники. Статическая техника была развита в древности и средневековье, отсюда развитие статики; динамическая техника была слаба,—отсюда незнание законов динамики. Общее же слабое развитие техники обусловило слабое состояние старой науки и тот разрыв между теорией и практикой, о котором мы столь часто упоминали, что в свою очередь оказывало влияние на развитие производительных сил.

---

[1]) Леонардо занимался также вопросами трения. Он знал закон трения, установленный впоследствии Кулоном (трение не зависит от величины поверхности). Это, очевидно, причина того, что Леонардо считал невозможным вечное движение. Здесь мы находим самый замечательный пример диалектического движения науки. Средневековье не признавало сохранения движения, полагая, что движение тратится на прохождение пространства. Возникло течение искателей „вечного движения", отвергавшее это воззрение. Новая наука, доказав невозможность perpetuum mobile, пришла, однако, к закону сохранения движения!

р) Учение о жидкостях и газах.

В области учения о жидкостях и газах приобретались различные практические сведения в связи с построением мельниц, каналов и шлюзов, судостроением, химическими работами и т. д. В упомянутых „Весах мудрости“ Альхазена (1121) имеются сведения по гидростатике, изложенные по Архимеду, что представляет собою прогресс сравнительно с учением Аристотеля. Но сочинения Архимеда были мало известны средневековью вплоть до XV века[1], и, без сомнения, мысль средневековья самостоятельно работала в этом направлении. К сожалению, не существует исследований по вопросу о действительном состоянии знаний в обсуждаемых областях в эпоху средневековья. Придется поэтому ограничиться намеками.

В 1565 году Forcadel издал в Париже „Книгу весов“. Дюгем указывает, что это сочинение ложно приписывается Архимеду, и что оно, вероятно, принадлежит автору книги „О тяжести и легкости“, которая фигурирует обычно под фирмой Евклида. Без сомнения, все эти сочинения представляют оригинальные исследования средневековья, которые, как обычно, приписывались глубокой древности. „Книга весов“, посвященная определению удельного веса тел, заключает в себе гидростатические познания, которыми впоследствии воспользовался Блэз Пармский, о чем будет сказано ниже.

Упомянутый Жордан и „Предшественник Леонардо“, без сомнения, имели значительные познания в гидростатике. Это видно из того, что манускрипт XIII века „Liber Jordani de ratione ponderis“, содержание которого находится в непосредственной связи с псевдо-евклидовой книгой „О тяжести и легкости“ и, следовательно, с псевдо-архимедовой „Книгой весов“, был оставлен Тартальей в наследство известному венецианскому издателю Курциусу Трояну (Curtius Trojanus), который соединил его с псевдо-архимедовым трактатом в одну книгу и издал в 1565 г. под названием: „Сочинение Жордана о весе“[2].

Как было указано, этот манускрипт (Liber Jordani de ratione ponderis) в действительности принадлежит преемнику Жордана—„предшественнику Леонардо“. И вот в 4-ой книге этого трактата последний пускается даже в область гидродинамики. Именно, он занимается вопросом об относительном движении жидкости (или газа) и твердого тела. Без сомнения, эти исследования находились в связи с вопросами о рациональном построении водяных и воздушных двигателей[3]. Что это так, видно из гидравлических исследований и изобретений Леонардо да Винчи.

Но прежде всего отметим двух мыслителей: Николая Кузанского и Блэза Пармского. Николай Кузанский (1401—1464) рассуждает о свойствах жидкостей и газов[4], предлагает различные способы определения их удельного веса; в частности, доказывает вес воздуха путем взвешивания меха, наполненного сначала воздухом, а потом ды-

---

[1] Первое издание сочинения Архимеда появилось спустя 100 лет после взятия Константинополя турками: это базельское издание Томаса Гешауфа (Venatorius) на латинском языке (1554 г.). Но еще в 1269 году ученый Wilhelm von Moerbek занимался восстановлением текста Архимеда на основании арабских и латинских переводов, пользуясь утерянной греческой рукописью. Ученый Регимонтан (1436—1476) занимался исправлением перевода Архимеда, сделанного Герардом Кремонским.

[2] Jordani opusculum de ponderositate, Nicolai Tartaleae studio correctum novisque figuris auctum. Venetiis apud Curtium Trojanum. MDLXV.

[3] Водяные мельницы были известны римлянам. В IX веке они снова появились в Европе. В течение XI—XIII веков появились также воздушные мельницы.

[4] „Nicolai Cusani de staticis experimentis dialogus“.

мом. Если вспомнить, что 350 лет спустя такой мыслитель, как Вольтер, в своем „Философском словаре“ перепечатал статью „О воздухе“ из знаменитой „Энциклопедии“, в которой существование воздуха подвергается сомнению, опыты Николая Кузанского не покажутся незначительными. Третья часть „Трактата о весе“ Блэза Пармского посвящена гидростатике. Дюгем говорит, что этот трактат „представит для нас большой интерес, когда мы, наконец, приступим к изучению образования этой науки (гидростатики)“. Дюгем отмечает, что Блэз Пармский пользовался не только „Трактатом о весе“ (псевдо-Архимеда), но и различными другими источниками.

Перейдем теперь к Леонардо да-Винчи, который является, так сказать, итогом средневекового знания и началом нового времени. Его значение, как гидравлика, общеизвестно. Историк физики А. Геллер говорит: „Адда канал и еще в большей степени Мартезана-канал в Велтлине—непреходящие шедевры. Однако строитель этих шедевров был не только способным инженером, но и **мыслящим теоретиком**, который задолго до Стэвина и Галилея продолжал построение гидростатики на фундаменте, полученном от Архимеда“. В собрании манускриптов Леонардо-да-Винчи, известном под названием „Codex Atlanticus“ [1]), имеется лист (314), в котором Леонардо формулирует закон сообщающихся сосудов. Он наблюдал также впервые явление капиллярности и в 1490 году построил гигрометр. Леонардо занимался также вопросом об истечении жидкостей из сосудов и теорией волн. Cialdi [2]) доказал, что в теории волн Леонардо был предшественником Ньютона, de l'Emy, Монферрие, Лапласа. Практическим результатом гидравлических занятий Леонардо, помимо построения каналов, было изобретение (1510 г.) наливного водяного колеса. Леонардо да-Винчи имел правильное понятие о воздухе, который он признает эластичным телом, подобным пуху подушек.

Он впервые, кажется, за 300 лет до установления теории горения указал, что воздух обусловливает горение. Результатом этих занятий теорией воздуха было: 1) изобретение водяного насоса, 2) изобретение лампового стекла (1480 г.), 3) изобретение мощных кузнечных мехов, которые будто были установлены в Риме и своим шумом пугали жителей. Насколько глубоки были познания Леонардо в области свойств воздуха, видно из того, что он пытался построить летательную машину. Он описывает также планер, который лишь три столетия спустя был снова изобретен Ленорманом (1783 г.).

c) Итоги средневековья в области учения о жидкостях и газах.

Подведем итог: если сравнить все изложенное о жидкостях и газах с тем, что учил Аристотель, то легко заметить значительный прогресс науки. Человеческая мысль начинает освобождаться от предвзятых идей и давления непосредственного опыта. Если Аристотель не допускал веса воды и воздуха, то средневековье с необычайной точностью математически выразило этот вес. Если с точки зрения Аристотеля воздух—это элемент жаркий и влажный, а огонь—жаркий и сухой, то Леонардо да-Винчи не довольствуется этой поверхностной чувственной метафизикой, а делает попытку объяснить действительное соотношение огня и воздуха. Все это кажется сейчас очень элементарным, но нельзя забывать, что первые шаги сделать

[1]) Находится в Миланской Национальной библиотеке.

[2]) „Leonardo da Vinci, fondatore de la dottrina sul moto ondoso del mare“.

бесконечно труднее, нежели следующие. Изобретатель какого-нибудь „простого“ колеса, если таковой существовал, проявил не меньше гения, чем Ньютон, открывший закон всемирного тяготения.

т) Учение о теплоте в эпоху средневековья.

Перейдем теперь к теплоте. В этой области древностью и средневековьем ничего почти не было сделано. Были известны обыденные тепловые явления и различные мыслители упражнялись в метафизических конструкциях вроде Аристотелевских. Единичные, однако, мыслители научно подходили к вопросу, но их усилия остались незаметными.

Кант выразил правильную в общем мысль, что степень научности определяется степенью проникновения математики в область непосредственного опыта. И тот факт, что изобретение термометра относится к новому времени и что на это изобретение одновременно претендует масса лиц, вполне показателен. Отметим, что зачатки термометра мы находим у Филона Византийского (210 до Р. Х.) и у знаменитого отца паровой машины—Герона Александрийского (100 по Р. Х.). Последний пользовался расширением воды от нагревания.

Вот и все, что имеется вплоть до XVI столетия, когда термометр был изобретен Санторио-Галилеем[1]).

Необходимо, однако, отметить, что общая теоретическая р древности и отчасти средневековья имела известное значение в истории термодинамики. Прежде всего атомистическое учение привело к одному из крупнейших завоеваний нового времени—механической теории тепла. Далее, атомизм в связи с непрерывными поисками perpetuum mobile, которыми наполнено все средневековье, привели к открытию (Гельмгольцем) первого закона термодинамики (закон сохранения энергии). Этому же способствовало средневековое развитие медицинских знаний, а также теория горения Леонардо: известно, что Роберт Майер, один из открывших закон сохранения энергии, исходил из медицинских соображений. Развитие химии также стоит в связи с открытием этого закона—Джауль был пивоваром.

Дюгем связывает даже второй основной закон термодинамики—закон рассеяния тепла (энтропии) с перипатетической физикой Аристотеля и спекуляциями Леонардо. „Это термодинамика,—говорит он,—дополнив слишком упрощенную динамику, порожденную Диалогами (Discorsi) Галилея, частично заполнила пропасть, которая отделяет эту динамику от динамики Аристотеля“.

В своей „Эволюции механики“ Дюгем договаривается, даже до того, что будущее принадлежит усовершенствованной перипатетической механике Аристотеля и средневековья. Этот вывод необходимо решительно отвергнуть, но всякий философски-и здравомыслящий человек, несомненно, увидит, что „никакого перерыва в ходе истории“ не существовало.

[1] К приоритету Галилея склоняется Поггендорф в „Истории физики“, указывая дату 1597 г. В этой книге читатель найдет обзор претензий на изобретение термометра. Согласно Дармштетеру, слово „термометр“ впервые встречается в книге иезуита Leurechon „Recreations Mathematiques“ (1624 г.). Заметим, что новейшие исследования Burkhardt'a (1902 г.), Wohlwill'я (190) доказывают, что хотя Галилей первый возобновил термоскопический опыт Герона (расширение жидкости от нагревания), но на мысль о применении этого явления к измерению температур его натолкнул медик Санторио, который и является собственно говоря изобретателем инструмента: к этому изобретению Санторио толкнула медицинская практика—необходимость измерять температуру больных!

Голландец Дреббель также является самостоятельным изобретателем термометра.

γ) Оптика средневековья.

Мы видели, что в древности и в еврейско-арабский период крупнейшую роль играла астрономия. Это находится в связи с важностью определения времени и места для экономической жизни народов, именно в связи с торговлей. Понятно поэтому, что в области астрономии и связанной с ней оптикой средневековье, со своим феодально-ремесленным строем и слабым развитием торгового обмена не могла сделать очень крупных успехов. Астрономия заменилась астрологией, а оптика обязана своими некоторыми крупными достижениями своей связью с практической медициной. Остановимся на оптике[1]). Теоретическая оптика не развивалась, конечно, так как для ее развития необходим глубокий теоретический анализ. А средневековье находилось в плену перипатетических чувственно-метафизических понятий. Но в области непосредственного полупрактического опыта были сделаны достижения. Отметим главнейшие:

Из крупных оптиков средневековья укажем на Рожера Бэкона, Вителло, Пекгама (Иоанн Пизанский) и Теодориха, из крупных изобретений—изобретение стеклянного зеркала, очков и камер-обскуры.

1. Рожер Бэкон.

Значение Бэкона в области оптики заключается: 1) в открытии фокуса вогнутого зеркала, 2) в открытии явления сферической аберрации, 3) в разработке вопросов рефракции, перспективы, общей теории видимости предметов.

Согласно Дармштетеру, Бэкон положил основание изобретению очков опытом, произведенным в 1250 году для установления изменения угла зрения вследствие действия вогнутого или выпуклого сферического стекла. Бэкон также говорит о телескопе (в виде, правда, фантазии); он обсуждает вопрос о построении параболического зеркала, хотя оно и не было им осуществлено.

2. Вителло.

Оптические работы ученого XIII века (около 1270 г.), польского происхождения, Вителло, были изданы вместе с „Оптикой“ Альхазена в 1512 г. (Базель). Это свод средневековых знаний в области оптики. Он еще раз доказывает, что эксперимент существовал и в средние века, именно: Вителло дает ряд опытов по изучению преломляемости света в средах.

Вот данные, которые мы заимствуем у Поггендорфа для отношения синусов углов падения и преломления:

	Вода	Стекло
Птоломей	0,767	0,687
Вителло	0,764	0,689
Ньютон	0,748	0 645

Вителло формулировал закон постоянства углов преломления при переходе из плотной среды в редкую и обратно.

[1]) В области акустики было сделано несколько практических изобретений. В 1025 г бенедектинец Гвидо изобрел нотную систему, которая послужила основанием современной. В 1467 г. Кнек (Kneck) изобрел механизм для колокольной игры. В 1470 г. венецианец Бернард придумал органную педаль. Если принять во внимание, что научная акустика получила развитие очень поздно (Гельмгольц), то пробел в этой области покажется естественным.

Вителло был знаком с дисперсией (светорассеянием).

Он искусственно получил дождевой спектр (радугу) посредством стакана с водой, то есть произвел цветовое разложение света. Относительно теории радуги он принимал во внимание как рефлексию, так и рефракцию. Поггендорф замечает: „удивительно, как близко Вителло был к истинной теории и, однако, упустил ее“.

В теории цветов Вителло следовал Аристотелю. Заметим, что Вителло формулировал принцип: „природа действует по кратчайшей линии“.

3. Пегкам.

Кентерберийский архиепископ Пекгам (1228—1231) (Peckham) написал трактат об „Общей перспективе“ (Perspectiva communis). Это плохое изложение взглядов Альхазена, „но является примером интереса, который возбуждался в то время оптикой“ (Поггендорф).

4. Теодорих.

Монах Теодорих (Theodorius Teutonicus) написал в 1311 году сочинение „De radicalibus impressionibus“ (о действии лучей). Теодорих должен почитаться предшественником Декарта в теории радуги, а теория Декарта, хотя и неправильная, до сих пор излагается во многих учебниках.

Изобретатель стеклянного зеркала неизвестен. Впервые о таком зеркале (оловянном) упоминает Винцент де Бовэ (1240 г.).

Изобретатель очков—флорентинец Сальвино (1300 г.).

Изобретателем камер-обскуры долго считался Леонардо да-Винчи. Оказалось, что ее описание дает в 1321 г. еврей Леви бен-Герсон в сочинении, изданном в 1342 г. (De sinibus, chordis et arcubus).

Укажем еще на изобретение „Энциклопедического человека“ Леона Альберта (1435 г.)—перспективного аппарата для уменьшения чертежей.

ф) Химия и общая технология.

В 1360 году французский математик Николай Орезмский (Nicole Oresme) первый применил кривые для изображения изменений температуры и влажности воздуха. Отметив этот замечательный факт, дадим кривую (см. стр. 197) для характеристики степени прогресса различных областей, с целью показать, что центральное место занимают химия и химическая технология. На абсциссах показаны области исследования, на ординатах число изобретений и открытий (по Дармштетеру)[1].

Укажем сначала на главнейшие даты в области химии и технологии средневековья (христианского). 1050—1143 годы: первые сведения о фабрикации пластинчатого стекла, колокольного литья, добычи угля (Теофил священник).

1139. Приготовление панцырей.

1150. Фабрикация кирпичей.

1225—1232. Бумага, порох (Раймонд Луллий).

---

[1]) Отметим, что слова „изобретение и открытие“ условны, так как в действительности невозможно часто указать, кто именно сделал то или иное изобретение и открытие. Они возникали одновременно во многих местах и, кроме того, представляли часто продукты более ранего времени. Кто изобрел порох, стекло, компас, бумагу—неизвестно. Обычные рассказы—мифы, невозможные даже в действительности (например, изобретение стекла финикийцами).

1250—1260. Железный купорос; серная кислота в операция отделения золота от серебра; операции с мышьяком (Альберт Великий процесс горения в закрытых сосудах (Бэкон).

1270. Открытие углекислого аммониака (Раймонд Луллий), открытие закона паевых отношений в соединениях (сернистых) ртути (Hg_2S и HgS).

1280 Изготовление эфирного масла (A. Villanovanus, трактат De-Vinis).

1290. Первая из известных фабрик стекла (La chapelle).

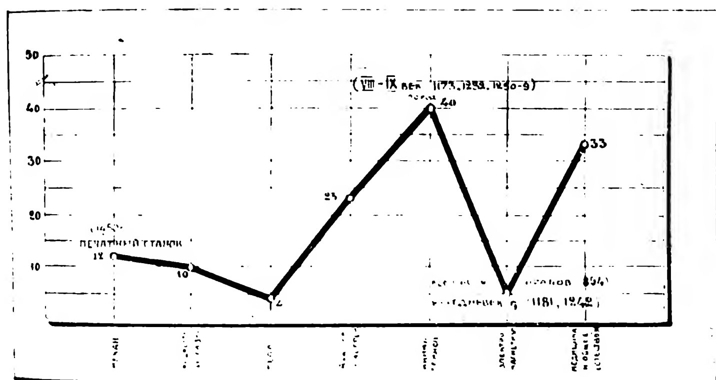
1300. Усовершенствование живописных материалов.

1313. Бертольду Шварцу приписывается изобретение пороха.

1330. Изобретение круглого оконного стекла.

1354. Применение судовых панцырей.

1378. Появление железных ядер вместо каменных.



1380. Исаак Голландский получает хлористый кальций.

1390. Усовершенствование бумажного производства (Нюренберг), Штромер).

1405. Первое подобие современных снарядов и гранат (Конрад Кейзер).

1520. Изобретение соления селедок (V. Benkelsz), изобретение плавучей мины (итальянец де Фонтана).

1450. Развитие добывания меди в Германии и медного литья (Шеффер).

1490. Немец Экк (P. Eck) описывает опыты для получения амальгамы калия

Конец XV века. Василий Валентин открывает сурьму[1]).

Если сравнить эти данные с количеством и разнообразием современных достижений, то они покажутся ничтожными. Но не следует забывать знаменитого примера, который принадлежит Л. Н. Толстому: от небытия до рожденного ребенка бесконечность, от так го ребенка до дитяти, произносящего неско ько слов — пропасть, а от этого дитяти до зрелого человека—конечное расстояние. Необходимо понять, как много достижений заключается в кратких фразах: „Альберт Ве-

[1]) Кроме упомянутых в тексте ученых, химией (алхимией) занимались Фома Аквинский, Арнольд де Виланова, Алек Делиль, Винцент Бово (XIII век), Жан де Мев, Ле Тревизан, Николай Фламель, Рипле, Нортан, Бартоломе, фон-Сульцбах, Ульстед, Тритгейм, Исаак Голландец (XIV и XV век).

ликий изобретает железный купорос", „Бэкон наблюдает горение в закрытых сосудах", „Раймонд Луллий открывает углекислый аммоний".

Великий Кеплер на упрек, брошенный за его занятия астрологией, ответил: „астрология—мать астрономии, а мать должна кормить свою дочь". Прибавим к этому остроумному изречению обратное: дочь должна с благодарностью и почтением относиться к матери. К сожалению, прав И. С. Тургенев, утверждая, что все добродетели между собою знакомы, за исключением двух,—благотворительности и благодарности.

Многие поверхностные или ослепленные гордостью умы с презрением говорят об алхимии. Но если бы не было алхимии, то не было бы ее дочери—химии.

ф[1]) Алхимия.

Мы дадим краткий очерк алхимии[1]), дабы выяснить ее слабость и силу. Слабость ее заключалась в том, что она базировалась на учении Аристотеля о материи. Вспомним основания этого учения в приложении к физической материи. Всякая такая материя—это сочетание ряда „субстанциональных форм"—явных и скрытых. Алхимики из этих субстанциональных форм выделили две основные: мы видели, что немец Экк в 1490 г. описывает амальгаму калия; но алхимикам давно были известны металлические амальгамы, то есть поглощение металлов ртутью и их выделение при кипячении. Отсюда они заключили, что ртуть—мать металлов[2]); далее мы уже упоминали, что древние считали землю—источником, порождающим металлы; заметив, что при соединении с серой получаются землистые вещества, они заключили, что отец металлов—сера. В алхимической песне так и поется:

Семь металлов создал свет
По числу семи планет.
Дал нам Космос на добро
Медь, железо, серебро,
Злато, олово, свинец...
Сын мой! Сера их отец!
И спеши, мой сын, узнать—
Всем им ртуть родная мать!

Семь металлов—это шесть перечисленных плюс металл „электрон" (сплав золота и серебра).

Алхимики полагают, что все металлы зарождаются в недрах земли при соединении серы—отца и ртути—матери.

---

[1]) Алхимия—это собственно наука о превращениях металлов (в золото). Она возникла еще в древности, но развилась в эпоху появления торгового капитала, когда бешеная страсть к золоту овладела всеми.

Для более подробного знакомства с алхимией, рекомендуем превосходную книгу Н. Морозова „В поисках философского камня". Н. Морозов делает эпиграфом своей книги прекрасное изречение Пуассона: „Нельзя знать науки, не зная ее истории. От первой, зародившейся идеи до нашего времени сколько непрестанных усилий, сколько блужданий! Мы беззаботно пользуемся работами наших предшественников, не думая об огромном количестве физического труда, потраченного ими, чтобы расчистить нам дорогу. Как многие из них испортили себе здоровье, истратили свое имущество, отказались от всех почестей и наслаждений из-за любви к знанию! Сколько умерли мучениками, утверждая до последнего издыхания вечную истину!"

[2]) Любопытна аргументация химика Вилланова в письме к папе Бенедикту XI (1303 г.): „С помощью теплоты лед расплывается в воду, значит он из воды. И вот все металлы растворяются в ртуть, значит ртуть есть первичный материал всех металлов". Нельзя отказать этой аргументации в своеобразии. Ртуть поражала алхимиков своими странными свойствами: необычайной тяжестью и жидкостью!

Но что это за ртуть и сера? Совпадают ли они с обычной физической ртутью и серой?

На этот вопрос имеются два ответа: 1) теория Рожера Бэкона, 2) воззрение массы алхимиков. Разберем эти два ответа. Древние физики - материалисты, в частности Анаксимандр и Демокрит, признавали полное единство материального мира, некоторое первовещество (materia prima), которое лежит в основе всех явлений. Теория Аристотеля запутала этот ясный взгляд и в таком запутанном виде перешла в средневековье.

Но были два мыслителя, которые, если не вполне, то отчасти, возобновили учения древних физиков. Это — Рабан Мавр (Rabanus Maurus, 788—856 по Р. Х.), архиепископ Майнцский и Рожер Бэкон.

1. Атомизм Рабан Мавра.

Рабан Мавр оставил энциклопедии современных ему знаний в 22 томах[1]). 9-ый и 11-ый тома посвящены вопросам натурфилософии.

Рабан Мавр признает, что все образовано из бесформенной первоматерии, из которой возникли 4 стихии. Стихии эти и обычные материальные тела состоят из мельчайших частиц — атомов, которые находятся в непрерывном движении, подобно частицам пыли в луче солнечного света.

Рожер Бэкон без сомнения воспринял так или иначе это древнее учение, но он не мог, конечно, довольствоваться абстрактными атомами, так как был химик-практик. Бэкон искал те реальные вещества, которые непосредственно являются ступенью к образованию металлов. В книге Jamsthaler'а „Химический путеводитель“ (Viatorium Spagireum) имеется рисунок[2]) четырех дев, символизирующих 4 стихии земли, воды, воздуха и огня, из которых произошло все остальное. И вот алхимики и Бэкон полагали, что ртуть и сера непосредственно произошли из этих стихий и в свою очередь породили все остальные металлы. „Так новое мировоззрение было приведено в согласие с древне-греческими представлениями“, замечает Н. А. Морозов.

Рожер Бэкон разработал эту физическую теорию, сидя в тюрьме, куда он был брошен на 20 лет (1266—1287) алчным духовенством, желавшим вырвать у него тайну философского камня[3]). Н. А. Морозов говорит: „при других условиях, из Бэкона вышел бы Ньютон современной химии, а теперь в его лице мы видим Ньютона, из которого церковное самодержавие средних веков сделало больного мечтателя, истинного отца последующего алхимического направления в учении о строении вещества“.

Главное сочинение Бекона по алхимии—это „Зеркало алхимии“ (Speculum Alchemiae). Вот замечательные вводные слова, ярко рисующие особенность того времени, которую так хорошо понимал Бэкон:

2. Теория и опыты.

„По мнению Гермия, трижды величайшего, алхимия есть непреложная наука, работающая над телами с помощью теории и опыта

---

[1]) Рабан Мавр не является вполне самостоятельным мыслителем. Свои воззрения он черпал у знаменитого Исидора Севильского (570—636 до Р. Х.), который обладал самой обширной ученостью в области древних знаний.

[2]) См. стр. 67 книги Морозова.

[3]) Выпущенный из тюрьмы Бэкон уехал в Оксфорд и написал „Трактат философии“, направленный против своих тюремщиков, за что был опять посажен в тюрьму до 1292 г. В 1294 г. этот гениальнейший человек средневековья избавился, наконец, от тяжелого креста жизни.

и стремящаяся путем естественных соединений превращать низшие из них в более высшие и более драгоценные видоизменения. По мнению другого философа, алхимия обучает трансформировать всякий вид металла в другой, с помощью специального средства, как это можно видеть из многочисленных сочинений философов".

Эти ясные слова и определения достойны Декарта и Ньютона.

Любопытно отметить, что на воззрения Бэкона имело влияние аристотелевское понятие энтелехии — цели. Он говорит: „Природа имеет своей целью и беспрестанно стремится достичь совершенства, т.-е. золота, но вследствие различных случайностей, мешающих ее работе, происходит разнообразие металлов, как это ясно изложено многими философами".

В зависимости от совершенства составляющих основных первовеществ—ртути и серы, и получаются совершенные металлы — реальное золото и серебро или несовершенные — олово, свинец, железо и медь.

3. Философский камень Бэкона.

И вот Бэкон ищет красный камень алхимиков (иначе: философский камень, красный лев, магистр философов, великий элексир и др.). Он находит, что это киноварь (HgS) и описывает способы, посредством которых можно, при помощи этого камня философов, получать золото и серебро [1]). Таким образом учение Бэкона, физико-химическое учение, подобное, например, учению Проута о том, что водород основа всех веществ.

4. Гебер.

Иной характер носило, однако, учение массы алхимиков средневековья. Во главе их необходимо поставить уже упомянутого Гебера (Джафар аль-Суфи, VIII век). Вот его определения ртути и серы, в которых легко узнать аристотелевское учение о материи и форме:

„Ртуть образует материю всех металлов, равным образом—сера. Сера образует крепость земных минералов; она уплотняется постепенным испарением, пока не сделается твердой и сухой. Ртуть вязкая жидкость во внутренностях земли летучей, белой и землистой сущности, которая связывается при малейшем нагревании до тех пор, пока покоряет влажное сухим, а сухое влажным".

5. Обычная алхимическая доктрина.

Алхимик Артефиус (XV век) учил, что сера—это основа видимых субстанциональных форм (качеств) металлов цвета, блеска, притяжения, а ртуть—их скрытых свойств: плавкости, ковкости, летучести.

Альберт Великий признавал, что, кроме ртути и серы, еще влажность—элементарная, субстанциональная форма металлов. Скоро сюда присоединился огонь. Таким образом появились на сцене четыре основные субстанциональные формы Аристотеля: воздухообразный, летучий „меркурий" (spiritus алхимиков), землистая сера, вода и огонь. Если вспомнить, что каждое качество в свою очередь имело свою субстанциональную форму, то легко понять сущность алхимической доктрины.

---

[1]) В средние века циркулировала масса поддельного золота. В составе такового обычно фигурировала амальгама меди.

Что такое реальное золото по учению алхимиков? Бэкон так определяет природу золота: „золото есть тело совершенное, составленное из чистой, блестящей, постоянной, окрашенной в красный цвет ртути и из чистого, постоянного, окрашенного в красный цвет сульфура (серы). Золото совершенно!“

А что такое железо?

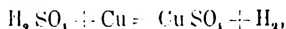
„Железо есть тело не чистое, не совершенное, составленное из ртути слишком прочной, содержащей землистые частицы белой и красной, но без блеска. Ему недостает плавкости, чистоты, веса. Оно содержит слишком много нечистой серы и землистых горючих веществ“.

Как поэтому превратить железо в золото? „Очищением принципов“—отвечает алхимик Раймонд Люллий. Операция такого очищения заключается очевидно в том, что от общих основ всех металлов—принципиальных—ртути и серы (отчасти также влажности и огня) нужно отнять нечистые, субстанциональные формы и пересадить необходимые субстанциональные формы (качества) золота.

Железо состоит из ртути слишком „прочной“, но без „блеска“, плавкости, чистоты, веса—необходимо поэтому уменьшить ту субстанциональную форму (начало), которая образует прочность, и прибавить другие начала.

Таким образом основа алхимического учения в том, что оно рассматривало каждое качество тела (видимое или скрытое), как некую вещь, прилепленную к основной (или основным) материи. Стоит, значит, овладеть перемещением этих качеств, и секрет получения золота найден. Отсюда мы видим, что это учение — противоположный полюс атомизма и доктрины единства материи, что и обусловило бесплодность алхимии. Атомизм и учение единства считает качества видимостью предметов, т.-е. качества относительны, представляя воздействие предмета на наш интеллект. С точки зрения физики и химии реально только пространственное движение материи [1]). Алхимики же учили, что качества абсолютно объективны и безотносительны. Отсюда понятна научная слабость этой доктрины, слабость во много раз увеличенная допущением скрытых качеств: все, что не поддавалось объяснению, сваливалось на действие скрытого качества. В этом смысле все естествознание средневековья алхимично.

Алхимия, как химия качеств, не могла быть построена рационально. В современной химии всякая химическая операция производится при полной рациональной видимости. Если, скажем, мы получаем медный купорос действием серной кислоты на медь, то мы, так сказать, видим весь механизм этой операции. Химический процесс, изображаемый равенством:



$$H_2SO_4 + Cu = CuSO_4 + H_2,$$

рационально нагляден.

Но для алхимика этот же процес представлял настоящий гордиев узел. Медь и серная кислота—это сложнейшее сочетание видимых и скрытых субстанциональных форм, и их соединение — таинственный и невидимый умственному глазу процесс, вследствие бесконечного множества оттенков качеств. Вот почему наука алхимиков заключалась в рецептах, добытых часто самыми сложными путями. Вот, например, типичные рецепты алхимика Ленто (Аврора): „раствори

[1]) Это не значит, конечно, что качества нереальны; таковы они с точки зрения физико-химической, но, вообще говоря, „качество“—это внутренняя сторона известного количества (переход количества в качество!), обнаруживающаяся в т. н. „живой материи“.

тело, возьми серу, очисти ее, видоизмени, возгони спирит (esprit—ртуть) с серой и ты будешь иметь все философское искусство" (философский камень)[1]). Из этого рецепта мало что можно понять, и такая таинственная лаконичность обычное явление в алхимической литературе. Если присоединить сюда запутанный символический язык[2]), то отрицательная сторона этого учения сделается очевидной. Тем не менее беспрестанные опытные искания алхимии делают ее истинной матерью современной химии.

ф") Технология металлов Теофила пресвитера.

К отделу химии относится один замечательный документ XI века. Этот документ лучше всего доказывает, что и в эпоху средневековья работала, хотя искаженно, естественно-научная мысль. Мы говорим о труде бенедектинского монаха Теофила (Theophilus Presbyter): „О различных искусствах" (Schedula Diversarum artium). Это сочинение характеризуется известным историком железа Л. Бэком[3]), как образец научного знания о железе (Eisenprocess) средних веков.

Оно состоит из трех книг. В первой книге рассматривается техника красильного дела, получения красок, смеси красок, золочения и пр. Вторая книга посвящена фабрикации стекла. Теофил описывает различные печи, инструменты, материалы, процессы и т. д.

Наконец, третья книга трактует процесс получения и обработки металлов.

Теофил дает подробнейшее описание печей и инструментов, очистки, литья и обработки металлов—серебра, золота, электрона, меди, бронзы, железа.

Книга заканчивается описанием техники обработки слоновой кости и драгоценных камней. В книге Бэка приведено несколько глав, посвященных железу.

Читатель, который даст себе труд ознакомиться с ними, придет к тому же выводу, к какому пришел Бэк: „на-ряду с традиционными суевериями мы находим в сочинениях Теофила богатое сокровище (einen reichen Schatz) практических наблюдений". Напомним, что книга Теофила относится к XI веку.

х) Магнетизм.

Компас был давно известен китайцам и, вероятно, завезен в Европу арабами.

Первые сведения о компасе в Европе мы находим у провансальского трубадура Guot в его поэме „Библия" 1181 г. В 1242 году о компасе пишет мавританский ученый Bailak. Научное исследование магнитной стрелки относится к 1269 г., когда Петр де Марекур (Petrus Peregrinus de Marecourt) определил путем опыта полюсы магнита и закон взаимодействия полюсов.

В 1302 году Флавий Джойя (Gioja) построил образец современного компаса, т.-е. снабдил стрелку шкалой с делениями.

---

1) Примеры рецептов смотри у Н. Морозова.

2) Философическая ртуть—свинец. Зеленый лев—зеленовато-желтый окисел свинца. Красный лев — красный сурик Pb_2O_3. „Истинный Дракон, пожирающий свой хвост" — пепельный порошок свинца, получающийся при возгонке уксусно-свинцовой соли и вспыхивающий от пламени, превращаясь в „Зеленого льва".

3) Ludvig Beck, Die Geschichte des Eisens, 1890—1891 г.г.

ц) Астрология.

Если современная химия — дочь средневековой алхимии, то современная астрономия—дочь древней и средневековой астрологии. Авторитет Кеплера достаточно веско доказывает это отношение. Практические интересы побуждали человека производить наблюдения над небом; эти наблюдения привели к мысли о влиянии светил не только на явления природы, но и на судьбу отдельных лиц, отсюда возникла широко развитая наука о предсказаниях событий на основании положений небесных тел.

Антропоморфизм этого воззрения очень хорошо охарактеризован следующим замечанием Вольтера:

„Еще менее удивляйтесь тому, что столько людей, стоявших неизмеримо выше толпы, столько принцев, столько пап, которых никто бы не ухитрился провести в делах, касающихся их интересов, были так легко пойманы на удочку астрологами. Они были очень надменны и, не взирая на свое развитие, большие невежды. Весьма естественно, что они полагали, будто и звезды существовали для них; остальная вселенная была в их глазах ничтожеством, в судьбы которой звезды не мешались".

Арабы переняли от греков вместе с астрономией и астрологию и передали ее средневековью. Наибольшей известностью пользовалась книга Ибн-Рагеля: „О суждении звезд" (De judiciis astrorum), которая относится к XIII веку. Наибольшего расцвета астрология достигла в период XIII - XV столетий. И даже в XVI веке такие ученые как Тихо-де-Браге и Кеплер занимались астрологией. Тихо-де-Браге верил, что он лишился носа благодаря Марсу, а Кеплер славился своими гороскопами. Последним выдающимся астрологом был Морен (1583—1656), написавший „Галльскую астрологию" (Astrologia gallica), и даже в XIX веке нашелся немец Пфафф, который выпустил трактат по астрологии (1816 г.).

ч) Астрономия.

Отметим некоторые успехи астрономии в средние века. О деятельности арабов было уже сказано. Самым крупным достижением средневековья было то, что оно от системы Аристотеля перешло к системе Птоломея (150 по Р. Х.). Главный труд Птоломея „Великое построение" (Megale syntaxis) был переведен на арабский язык евреем, врачем калифа Аль-Мамуна—Honein ben Isaac и его сыном Исааком (827 г.); это сочинение и доныне известно под названием „Альмагест" (Tabrir al magesthi). Птоломеева система сравнительно с аристотелевской представляет собою грандиозную научную конструкцию в 13 томах. Вместо сфер у Птоломея фигурируют деференты и эпициклы. Деферент—это основной круг, по окружности которого движется центр другого круга—эпицикла. Для объяснения тонкостей планетных движений Птоломей создал грандиозную систему эпициклических движений, в которой не легко разобраться. Альфонс Кастильский известен шуткой, за которую был объявлен богохульником: „Если бы господь бог сделал мне честь спросить моего мнения при сотворении мира, так я бы ему посоветовал сотворить его получше, а главное—попроще". Это было сказано о системе Птоломея. Кроме этого теоретического усвоения христианское средневековье почти ничего не дало в области астрономии по причинам, указанным выше. Единственный почти астрономический памятник этой эпохи—это трактат Де-Сакро-

бусто: „О мировой сфере" (De sphaera mundi), который появился в 1256 г. И лишь в XV веке появились три имени, которые можно отметить,—это Николай Кузанский (1401—1482), Георг Пурбах (1423—1461) и Регномонтан (Мюллер) (1436—1476).

1. Пурбах, Регномонтан и Николай Кузанский.

Пурбах предпринял перевод и исправление „Альмагеста", искаженного переводчиками и переписчиками. Он посвятил свои усилия улучшению планетной теории Птоломея. Знаменит он тем, что у него были два знаменитых ученика—Регномонтан и Николай Коперник.

Регномонтан продолжал работу по усовершенствованию астрономических таблиц и произвел для этого много наблюдений.

Самым крупным из этих мыслителей был Николай Кузанский (Кребс). Это прямой предшественник Коперника. Это был одновременно философ, математик и астроном. Подчеркнем его взгляды на значение математики. В математике мы находим истину в большей степени, нежели в какой-либо другой науке. Поэтому древние ученые не предпринимали никакого научного исследования без посредства математики.

Боеций, Пифагор, Платон, Аристотель—все признавали важность математики для изучения философии (см. А. Геллер, Geschichte der Physic).

2. Система Николая Кузанского.

Астрономическая система Кузанского—среднее между системой Птоломея и Коперника. Прежде всего он выразил неслыханный дотоле взгляд, что земля—звезда, подобная другим. Далее он утверждал движение земли, но это движение было очень своеобразно, именно: земля имеет тройное движение—вокруг оси, вокруг двух полюсов, находящихся на экваторе, наконец, вместе со всей солнечной системой вокруг мирового полюса. Таким образом Кузанский не принимал годичного движения земли. Не нужно слишком низко оценивать эти достижения Н. Кузанского. Взгляд на однородность земли со звездами казался столь необычайным, что сто лет спустя Тихо-де-Браге говорил: „Земля грубая, тяжелая и к движению не способная масса"; непонятно, каким образом Коперник „мог сделать из нее звезду и водить ее по воздушным сферам". В знаменитом сочинении Н. Кузанского „Об ученом невежестве" (De docta ignorantia) в том месте (10 глава) где говорится о том, что земля движется подобно всем звездам, издатель не мог удержаться, чтобы не сделать примечания: это похоже на парадокс. Астрономические труды Кузанского: 1) исправление календаря, 2) исправление Альфонсовых таблиц, 3) о неподвижных звездах (наблюдения), 4) каталог неподвижных звезд.

Н. Кузанский—мыслитель возрождения. Его два основных философских положения приближают его к Декарту: 1) основное свойство тел—движение, 2) мир—единое безграничное целое.

ш) Космология средневековья: Земля. Учение об антиподах.

Это мировозрение противоположно средневековым представлениям о космосе.

Существует общераспространенное мнение о том, что в древности и особенно в эпоху средневековья считали „немыслимым" шарообраз-

ность земли и существование антиподов, а также движение земли. Но если говорить о тех, кто „мыслил", а не „чувствовал", то это мнение совершенно ложно, ибо те, кто не мыслит, до сих пор не допускают антиподов и движения земного шара.

Уэвел справедливо указывает [1]):

„Это учение (т.-е. учение об антиподах) было положительно принимаемо греками, оно принималось всеми следовавшими им астрономами—арабскими и европейскими". Знаток средневековья Элкен утверждает, что „даже и столь распространенное в древности представление о том, что обращенная от нас в другую сторону половина земного шара тоже населена людьми, не было совершенно забыто в средние века".

Оно, правда, отвергалось, но почему?

„Церковь относилась к нему очень неблагосклонно, так как оно, казалось, противоречило первому положению ее религиозной системы об единстве человеческого рода".

Августин говорит поэтому:

„Нет никакой причины допускать баснословную гипотезу о существовании антиподов, то-есть других людей, попирающих, будто бы, с другой стороны землю, где солнце восходит тогда, когда у нас заходит".

Это мнение не основано ни на каком историческом свидетельстве. Но хотя оно и было бы доказано, что Вселенная и земля имеет шарообразную форму, все-таки нелепо полагать, чтобы какие-нибудь люди, отважные мореходы, переплыв безграничное пространство океана, могли перейти с этой части вселенной в другую и там посадить оторванную ветвь от семьи первого человека". Спрашивается, где тут „немыслимость антиподов"? И Августин не исключение, ибо то же самое говорят святой Василий, Амвросий, Иустиан-мученик, Иоанн Златоуст, Кесарий, Прокопий Газский, Севериан, Диодор и большинство церковных мыслителей эпохи.

Евсевий Кесарийский однажды в своем толковании на псалмы дошел до такой смелости, что сказал: „по мнению некоторых, земля кругла" [2]).

Вот даже отрывок из Козьмы Индикоплевста, малограмотного путешественника, начкотню которого выдают за образец средневековых воззрений на вселенную.

В своей „Христианской топографии" (535 г.) он пишет: „Со всех сторон против церкви направлены нападки: некоторые люди, прикрывающиеся именем христиан, утверждают, не взирая на священное писание и заодно с языческими философами, что небо имеет сферическую форму. Без сомнения эти люди введены в заблуждение затмениями луны и солнца".

К. Фламмарион правильно отмечает, что горячность этих мнимых опровержений несомненно доказывает, что в VI веке существовали сведущие и ученые люди, вышедшие из Александрийской школы, которые охраняли прогресс греческого гения и защищали труды Гиппарха и Птоломея.

Ученый схоласт Бэда Достопочетный, хотя и придавал земле не шарообразную, а яйцевидную форму, допускал существование антиподов.

Упомянутый Рабан Мавр принимал, что земля имеет форму колеса.

---

[1]) История индуктивных наук, т. I, стр. 325.

[2]) См. „История неба" К. Фламмариона.

Альберт Великий говорит о „нижнем полушарии, где живут наши антиподы".

Сакробусто, автор сочинения „О мировой сфере", придерживается системы, которая является смесью Пифагора и Бэды.

Ученый, Николай Орезмский, отвергает антиподов, но из теологических соображений: не может существовать людей, не слыхавших имени Иисуса.

И даже за несколько лет до Колумба:

„Тостат отмечает мнение о шарообразности земли, как не безопасное учение" (Уэвел).

Таким образом остается только один Лактанций, который называл антиподов логическим абсурдом.

Более того, согласно указанию Уэвела, в библиотеке Кэмбриджского университета хранится рукопись народной поэмы „Образ мира", которая написана французом Омоном около 1256 г. Она представляет собой стихотворный рассказ о земле и небе согласно Птоломею; к поэме приложен рисунок, изображающий сферическую землю с людьми, стоящими на ней прямо со всех сторон; чтобы представить стремление всех вещей к центру, земля изображается прорытой насквозь через всю ее массу и нарисованной фигурой, бросающей шары в каждое отверстие, так, что шары встречаются в центре земли. Если, значит, поэты доходили до представления антиподов, то ясно, каковы были взгляды мыслителей.

Вопрос о движении земли сложнее.

Об этом учили в древности пифагорейцы (Филолай), Архип Тарентский, Гераклит Понтийский, Эхекрат, Тимей Локритский и Аристарх Самосский [1]).

Плутарх сообщает, что Платон в последние годы жизни склонялся к перемене своего взгляда на движение земли и жалел, что не поместил солнца в центре мира — единственном месте, приличествующем этому светилу.

Его очевидно пугала судьба Анаксагора, приговоренного к смерти за утверждение, что солнце больше, чем оно нам кажется.

В „Псаммите" Архимеда имеется указание, что Аристарх Самосский (III в. до Р. X.) написал целое сочинение, доказывающее вращение земли. Он был за это обвинен в нечестии — нарушении покоя Весты. Римляне — Марциан Капелла, Витрувий, Макробий — имели понятие о движении планет. Цицерон и Сенека, соглашаясь с учением Аристотеля, колебались в этом вопросе.

Сам Птоломей пришел к учению о неподвижности земли, вследствие соображения, которое ему казалось решающим: если бы земля вращалась, то легкие тела должны были бы отрываться от земли. Это соображение, метафизические аргументы Аристотеля и давление теологии привели средневековье к учению о земле, как о неподвижном центре мира.

Что касается представления о небе, то оно представляет собой сочетание учения Птоломея и церковных представлений.

Вот система Птоломея. Средневековье видоизменяло эту схему обычно так (см. диаграмму на стр. 207):

Ад — Земля — Небо — Воздух — Огонь — Луна — Меркурий — Венера — Солнце — Марс — Юпитер — Сатурн — Небесная твердь — Девятое небо — Кристаллическое небо — Небо эмпирей — Бог, окруженный херувимами, властями, господствами, архангелами, ангелами, людьми (души), силами, началами, тронами, серафимами. Расположение небесных

[1]) См. Dutan, Origines des découvertes attribuées aux modernes".

иерархий изменялось, но во всех этих схемах „можно найти все, что хотите: и языческую мифологию, и астрологию, и христианский догмат, и кухонную латынь, и старый французский язык" (Фламмарион).

Действительно, вся идеология средневековья представляла собою удивительную смесь самых разнообразных элементов.

Политическая экономия учит, что феодально-натуральное хозяйство средневековья революционизировалось благодаря возникновению обмена и появлению торгового капитала, который относительный рационализм натурального хозяйства превратил спачала в полную хозяйственную анархию и лишь затем, превратившись в промышленный капитал, водворил относительный рационализм, то-есть рационализм отдельных производств.

Этот ход вещей несомненно оказал влияние на идеологию средневековья: к концу его хаос возрастает и лишь с наступлением возрождения начинается обратное движение рационализации.

щ) Медицина, ботаника и зоология.

Закончим изложение системы схоластического эмпиризма летописью важнейших биологических достижений, то-есть прогресса медицины, зоологии и ботаники христианского средневековья.

1150. Салернский врач Николаус пишет первую европейскую фармакологию и первый из европейцев употребляет грибы в качестве наркотического средства.

1180. Рожер Пармский, знаменитый хирург Салернской школы, опубликовал „Практическую хирургию".

1210. Савойский дофин Гумберт впервые пользуется лечебными свойствами горного воздуха.

1220. Гуго фон Лукка вводит рациональное лечение ран и при операциях употребляет наркотику.

1228. Фрейданк (Freidank) вводит улучшение древесных пород путем прививки.

1233. Фома из Кантинпре (Cantinpré) пишет „О природе вещей" (De naturis rerum) — зоологический трактат; в 1269 году он издает трактат о пчелах.

1250. Альберт Великий в „Opus naturarum" (Дело природы) дает описание животного царства. Трудам Альберта в области живой природы некоторые исследователи придают большое значение [1]).

1250. Жордан Руфус (Ruffus) пишет трактат о „Медицине лошадей" (De medicina equorum); предписания его сохраняют свое значение до сих пор.

1279. Вильгельм де Салисето (de Saliceto) впервые указывает на ядовитые свойства животного гниения; он развивает рациональную хирургию.

1280. Petrus de Crescentitis выпускает сочинение по сельскохозяйственной науке „Opus ruralium commodarum".

1295. Lanfranchi выпускает трактат по хирургии (chirurgia Magna) с описанием многочисленных операций.

1310. Матвей Сильватикус основывает в Салерно первый европейский ботанический сад; пишет фармакологический трактат: Pandectae medicinae.

Второй медицинско-ботанический сад основан в Венеции (1333 г.).

1311. Жан Питар (Pitard), врач Людовика святого, основывает первый хирургический медицинский институт.

1350. Конрад из Мегенберга пишет „Книгу природы", в которой дает богатое зоологическое описание. Это первая естественно-научная энциклопедия на немецком языке.

1460. Heinrich von Pfolspeundt первый дает теорию перевязки, в частности для огнестрельных ран.

1480. Allessandro Achillini открывает ушной механизм (лабиринт, молоточек и пр.).

Необходимо указать, что движение медицинских знаний сильно тормозилось теологическим предубеждением (арабов и христиан) против вскрытия трупов, которое сохранилось до нового времени, так что появилась особая профессия похитителей трупов. Несмотря на эти препятствия, благодаря арабам и особенно евреям, медицина накопила много практического материала, который обычно оценивается очень легко поверхностными исследователями. Основной порок медицины средневековья все же слабое развитие рационального элемента и господство перипатетических скрытых качеств.

[1]) Например, Pouché в своем „Курсе истории средневековой науки". Историк А. Гелер отмечает это значение указанием на многочисленные работы, посвященные Альберту. Полное собрание сочинений этого „Универсального доктора" (Doctor Universalis) издано в 1651 году в Лионе.

Лишь в XV-м веке, когда греки привезли в Европу древних авторов и медики познакомились с Гиппократом, Диоскоридом, Аэцием, Галленом и др. появляется рациональный элемент, соединенный со строгим наблюдением.

Здесь, как и во всем остальном, обнаруживается губительное влияние теологического разрыва единого познания.

З. Цейтлин.

P. S. В мою статью „Метод доказательства и пр.“ (№ 6—7 „П.З.М.“) вкралось несколько досадных опечаток. Обращаю внимание читателей на существеннейшие

Напечатано:	Должно быть
стр. 129, строка 5 снизу: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{в^2}=0;$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{в^2}-1=0$
стрк. 4 сн. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2\pm a}{в^2}-1=0$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^{2\pm a}}{в^2}-1=0$
стрк. 2 сн. $a=h=m.n$	$a=h=m.н.$
стрк. 1 сн. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+6{,}5.10^{-27}}{в^2}-1=0$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^{2\pm 6{,}5\cdot 10^{-27}}}{в^2}-1=0$
стр. 136, 15 строка снизу: $F(r)=\frac{C}{\sqrt{r^{2\pm q}}}$	$F(r)=\frac{C}{r^{2\pm q}}$
стр. 140, строка 10 снизу: $\varphi'(r)=\int_r^\infty r.F(r)\,dr= =\int_r^\infty r^{q-1}dr=\frac{1}{q-1}r^q$	$\varphi'(r)=r\int_r^\infty F(r)\,dr= =r\int_r^\infty r^{q-2}dr=-\frac{1}{q-1}r^q$
13 стрк. снизу: $\varphi(r)=\int\frac{1}{q-1}r^2=\frac{1}{1-q^2}r^{q-1}$	$\varphi(r)=-\int\frac{1}{q-1}r^q\,dr= =\frac{1}{1-q^2}r^{q+1}$
стр. 155, стр. 13 сверху: $\frac{c}{a.\omega}=5S$	$\frac{c}{a.\omega}=S$

Империализм и накопление капитала.

Гл. III. Теория рынка в целом и кризисы.

(Продолжение).

Итак, мы видели, что теория рынка и реализации Тугана-Барановского, как небо от земли, далека от теории Маркса. Между тем тов. Роза Люксембург неоднократно обвиняет схемы II тома „Капитала" в том, что они ведут к туган-барановщине и противоречат положениям III тома „Капитала":

> ... „Схема противоречит пониманию капиталистического производства, взятого в целом, и его ходу, как он был охарактеризован Марксом в III томе „Капитала". Основная мысль этого понимания заключается в имманентном противоречии между способностью производительной силы к безграничной экспансии и ограниченной способностью к экспансии общественного потребления при капиталистических отношениях распределения" [1].

И в другом месте:

> „Для процесса воспроизводства, как он представлен в схеме, потребительная сила общества тоже не является... границей для производства [2].

Наконец, приведем еще одно место:

> „Схема, правда, допускает кризисы, но исключительно вследствие недостатка пропорциональности производства, т. е. вследствие отсутствия общественного контроля над процессом производства. Напротив того (наш курсив. *Н. Б.*), она исключает глубокое основное противоречие между производительной и потребительной способностью капиталистического общества— противоречие, которое возникает именно из накопления капитала, периодически проявляется в кризисах и побуждает капитал к постоянному расширению рынка" [3].

Мы упираемся здесь, как сказано, в проблему кризисов. Но предварительно да будет нам разрешено сделать еще несколько общетеоретических замечаний, которые сразу поставят вопрос в надлежащие рамки.

---

[1] Роза Люксембург, l. c., стр. 349.
[2] Ibid., 351.
[3] Ibid., 353.

Кризисы, о которых идет речь, суть, как известно, кризисы перепроизводства.

В связи с этим возникают следующие постановки вопроса, на которые марксизм дает совершенно определенный ответ:

1. Частное или общее перепроизводство. Вопрос заключается в том, возможно ли общее перепроизводство товаров или же только частичное. Школа Рикардо-Сэя, которая исходит из предпосылки прямого обмена товара на товар, отрицает возможность общего перепроизводства. Маркс (во II томе „Капитала" и в Теориях приб. ценности") убедительно доказывает возможность общего перепроизводства. Если у нас, например, имеется перепроизводство главных предметов потребления, то тем самым дано и перепроизводство средств потребления: „Ибо... перепроизводство железа и т. д. так же включает перепроизводство угля, как, напр., перепроизводство ткани включает перепроизводство пряжи... Следовательно, не может быть речи о перепроизводстве предметов (Artikel), перепроизводство которых (уже Н. Б.) включено, ибо они входят, как элемент, сырье, вспомогательные материалы или средства труда, в предметы..., положительное перепроизводство которых и есть факт, подлежащий объяснению" [1]). Таким образом, с одной стороны (в данном примере), нельзя говорить о перепроизводстве угля по отношению к железу и т. д., т.-е. об относительном перепроизводстве в такой производственной отрасли, которая представляет собою предварительную стадию („Vorstufe", как выражается Маркс) следующей отрасли, где перепроизводство является данным; с другой стороны, нельзя говорить и о недопроизводстве угля по отношению к железу, т.-е. утверждать, что железа произведено слишком много потому, что угля произведено слишком мало, ибо перепроизводство железа невозможно без соответствующего перепроизводства угля.

Дальнейшая расшифровка этого вопроса подводит нас вплотную к тем проблемам, которые мы разбирали выше, в связи с критикой теории Тугана-Барановского.

В самом деле, если бы мы имели перед собой эмансипировавшийся от потребления рынок и замкнутый круг производства средств производства, где одни отрасли обслуживают другие и обратно; другими словами, если бы мы имели такую странную производственную систему, какую рисует нам пылкая фантазия Тугана, тогда общее перепроизводство было бы невозможно. Перед нами были бы качели: перепроизводство железа означало бы недопроизводство угля и, наоборот, общее перепроизводство, т.-е. одновременное перепроизводство *и* угля, *и* железа, было бы так же невозможно, как одновременный взлет вверх обоих концов качелей. Совсем другое получается у нас, когда перед нами не теория Тугана-Барановского, а правильная теория, т.-е. теория Маркса. Тогда у нас имеется цепь родственных по производству отраслей, каждая из которых предста-

[1]) Marx, Theorien, II², S. 313.

ляет рынок для другой, в определенном порядке, диктуемом технико-экономической логикой совокупного производственного процесса. Но та цепь кончается производством средств потребления, которые дальше непосредственно, в своей вещной форме, т.-е. как потребительные ценности, ни в какой производственный процесс не входят, которые входят в процесс личного потребления (здесь мы отвлекаемся от того, что процесс потребления со стороны рабочего класса есть процесс производства рабочей силы; об этом речь будет ниже; в данном же случае нас интересуют те два подразделения производственного процесса, о которых речь идет в марксовых схемах). Следовательно, вполне мыслимо такое положение вещей, когда мы имеем перепроизводство во всех звеньях, выражающееся в перепроизводстве средств потребления, т.-е. в перепроизводстве по отношению к потребительскому рынку, что и может выражать общее перепроизводство. Критикуя Сэя, который заявляет, что спрос ограничивается производством, Маркс замечает: „Это очень премудро сказано. Ограничен-то он, конечно (производством). Ибо не может быть спроса на что-либо, что невозможно произвести на заказ и что спрос не находит в готовом виде на рынке. Но из того, что спрос ограничивается производством, никоим образом не следует, что производство ограничено или было ограничено спросом, и что оно никогда не может выйти за границы (überschreiten) спроса, в особенности спроса по рыночной цене (Marktpreis)“ [1]).

2. Относительное и абсолютное перепроизводство. Необходимо иметь также в виду, что речь может идти только об относительном перепроизводстве, т. е. о перепроизводстве по отношению к платежеспособному, „эффективному“ спросу, а вовсе не по отношению к абсолютной общественной потребности. Последняя вообще не подлежит анализу в данной связи вопросов. „Что за дело перепроизводству вообще до абсолютных потребностей? Оно имеет дело только с платежеспособными потребностями (nur mit den zahlungsfähigen Bedürfnissen). Речь идет не об абсолютном перепроизводстве—перепроизводстве an und für sich (самом по себе) по отношению к абсолютной нужде (Bedürftigkeit) или желанию обладать товарами. В этом смысле не существует ни частичного, ни всеобщего перепроизводства. И (в этом смысле) они не образуют никакой противоположности по отношению друг к другу“ [2]).

В другом месте ту же мысль Маркс выражает в иной форме, но не менее отчетливо: „Излишняя масса товаров (die Uebermasse der Waren) всегда относительна, т.-е. она является излишней при определенных ценах. Цены, по которым потом берутся товары, разорительны для производителя или купца“ [3]).

3. Перепроизводство товаров или перепроизвод-

---

[1]) **Marx**, Theorien, III, Auflösung der Ricardoschen Schule § „Nochmals der Verfasser Inquiry“, S. 139, Fussnote.

[2]) **Marx**, Theorien, II², S. 295.

[3]) Ibidem, S. 293. См. также стр. 309.

ство капитала. Рикардианцы, в противоположность самому Рикардо, признавали перепроизводство капитала, но решительно отрицали перепроизводство товаров. Однако совершенно ясно, что перепроизводства капиталов не может быть, если не может быть товарного перепроизводства. Ибо что такое производство капитала? Очевидно, что процесс производства капитала есть не что иное, как процесс капиталистического производства, т.-е. производства товаров, но не в условиях простого товарного, а в условиях капиталистического производства. Производство капитала есть, таким образом, производство капиталистически производимых товаров. Следовательно, перепроизводство капитала есть в то же время перепроизводство товаров. Признавать перепроизводство капитала и отрицать перепроизводство товаров это значит обнаруживать „отсутствие мысли (Gedankenlosigkeit), которое признает существующим и необходимым тот же самый феномен, когда он называется „а“, но отрицает его, лишь только его назовут „в“ [1])...

4. Временное и постоянное перепроизводство. Данный пункт, как, по всей вероятности, догадывается читатель, представляет кардинальнейшую проблему с точки зрения всей нашей критики взглядов т. Люксембург, а равно народников, сисмондистов и прочих путаников. Точка зрения Маркса на этот вопрос была совершенно определенной. Мы уже упоминали об этом в начале данной главы (а равно и о взглядах на данный вопрос тов. Ленина). Приведем еще лишь одно место. Обсуждая проблему общего перепроизводства, Маркс пишет, что точка зрения одного частичного перепроизводства есть лишь „жалкая уловка“ (ein armseliger Ausweg). „Прежде всего, если мы рассматриваем только природу товара, то решительно ничто не мешает тому, чтобы все товары были в излишке на рынке... Ведь, именно речь и идет здесь только о моменте кризиса“ [2]). Другими словами, конфликт между производством и потреблением или, что то же, всеобщее перепроизводство есть не что иное, как кризис. Это концепция, в корне отличная от позиции Розы Люксембург, по которой в чистом капиталистическом обществе перепроизводство есть обязательное явление во всякий момент, ибо расширенное воспроизводство вообще невозможно.

Итак:

Речь может итти лишь об относительном перепроизводстве; что касается абсолютного удовлетворения потребностей, то с этой точки зрения капитализм постоянно недопроизводит; возможно не только частичное, но и общее перепроизводство, в котором как раз и выражается конфликт между производством и потреблением; это перепроизводство есть перепроизводство капиталов, то-есть и товарное перепроизводство; но это перепроизводство вовсе не есть постоянное явление, имеющееся в наличности всегда; оно есть выражение кризиса, а „постоянных кризисов не бывает“ (Маркс).

---

[1]) Ibidem, 272.

[2]) Ibid., 292. Последний курсив наш.

Или—выделив самые существенные для нас пункты—мы получаем такую теоретическую „диспозицию":

I. *Гармонисты* (Сэй и К°) и *апологеты*: общего перепроизводства не бывает *никогда*.

II. *Сисмондисты, народники, Роза Л.*: общее перепроизводство должно быть *всегда*.

III. *Ортодоксальные марксисты*: общее перепроизводство неизбежно *иногда* (*периодические кризисы*).

Или в другой связи:

I. *Туган-Барановский, Гильфердинг* и т. д. Кризисы возникают из диспорпорции между различными отраслями производства, но к этому делу момент потребления не имеет отношения [1]).

II. *Маркс, Ленин, ортодоксальные марксисты*. Кризисы возникают из диспропорциональности общественного производства, но момент потребления является составной частью этой диспропорциональности.

Эту основную мысль нужно разобрать подробнее.

Выше мы приводили аргумент Розы Люксембург против схемы Маркса, аргумент, касающийся связи между производством и потреблением. Тов. Р. Л. писала, что схема Маркса „допускает (!) кризисы, но исключительно вследствие недостатка пропорциональности производства, *то-есть* (курсив наш. *Н. Б.*) вследствие отсутствия общественного контроля над процессом производства" (353), и *тут же* она продолжала: „*Напротив того* (курсив наш. *Н. Б.*) она исключает глубокое основное противоречие между производительной и потребительной способностью капиталистического общества..." (ibidem). Нетрудно увидеть, что тов. Роза Люксембург *противопоставляет* контроль над производством соотношению между производством и потреблением и, следовательно, диспропорциональность производства диспропорциональности между производством и потреблением. Но этот взгляд является как раз источником бесчисленных ошибок и величайшей путаницы.

Представим себе три общественно-экономических структуры: *коллективно-капиталистический строй* (государствен-

---

1) „...Но в то же время эти схемы (схемы Маркса *Н. Б.*) показывают, что при капиталистическом производстве как простое, так и расширенное воспроизводство может итти беспрепятственно лишь при том условии, если сохраняется эта пропорциональность. Наоборот, при нарушении отношений пропорциональности... кризис может возникнуть и при простом воспроизводстве. Из этого *следует во всяком случае, что причина кризиса лежит не в недопотреблении масс*, присущем капиталистическому производству... Точно также из приведенных схем, взятых сами по себе, *не вытекает возможности всеобщего перепроизводства товаров*; напротив, можно было бы показать, что возможно *всякое* расширение производства, раз только оно допускается существующим состоянием производительных сил" (Р. *Гильфердинг*, Фин. капитал, Госиздат, изд. 3, стр. 298). В целях справедливости мы должны отметить, что г-н *Туган* признает всеобщее перепроизводство, но лишь „как своеобразное выражение, в условиях денежного хозяйства, *частичного* перепроизводства, непропорционального распределения общественного труда" (Промышленные кризисы, стр. 265).

ный капитализм), где капиталистический класс объединен в единый трест и где, следовательно, перед нами организованное, но в то же время антагонистическое, с точки зрения классов, хозяйство; затем „классическое" капиталистическое общество, то самое, которое анализирует Маркс; и, наконец, общество социалистическое. Постараемся теперь проследить, 1) каким образом идет расширенное воспроизводство, каким образом, следовательно, возможно „накопление" (это слово мы ставим в кавычках, так как по существу термин „накопление" предполагает лишь капиталистические отношения); 2) откуда, где и когда могут быть кризисы.

1. Государственный капитализм. Возможно ли здесь накопление? Конечно, да. Растет постоянный капитал, растет потребление капиталистов, постоянно растут новые отрасли производства, связанные с новыми потребностями; растет потребление рабочих, хотя оно и поставлено в определенные границы. Несмотря на это „недопотребление" масс, кризиса не получается, ибо заранее дан как спрос со стороны каждой отрасли производства по отношению к другой, так и потребительский спрос и со стороны капиталистов, и со стороны рабочих (нет „анархии производства", а есть рациональный—с точки зрения капитала—план). В случае „просчета" в средствах производства—излишнее количество идет на склады, и в следующий производственный период вносится соответствующая поправка. В случае „просчета" в средствах потребления рабочих—рабочим" „скармливается" эта добавка путем раздачи, или соответствующая порция продукта уничтожается. В случае просчета в производстве средств роскоши—„выход" тоже ясен. Следовательно, никакого кризиса перепроизводства здесь получиться не может. Ход производства, в общем, плавный. Стимул производства и производственного плана—потребление капиталистов; следовательно, никакого особо быстрого развития производства здесь налицо нет (небольшое число капиталистов).

2. „Классический" капитализм. Как возможно накопление здесь—мы анализировали в предыдущих главах. Но, в отличие от первого примера, здесь налицо „анархия производства", денежная связь через рынок, форма заработной платы и т. д. Если брать „идеальную среднюю", то разрешение задачи лежит в той же плоскости, что и в первом случае (рост постоянного капитала, рост—в ценностях—потребления капиталистов и рабочих). Но, в отличие от первого случая, здесь „идеальная средняя" есть лишь некая тенденция, проявляющаяся в противоречивом и слепом ходе экономических событий. С другой стороны, форма купли-продажи и отделение продажи от покупки (в противоположность обмену продукта на продукт) сама является условием нарушения общественного воспроизводства. Отсюда получается следующее:

Во-первых, эмпирически не может быть пропорциональности между производственными отраслями; она устанавливается лишь как тенденция, т. е. путем постоянных нарушений пропорциональности.

Во-вторых, эти нарушения неизбежно вызывают затруднения в ходе общественного воспроизводства в силу денежно-рыночной связи между производственными отраслями.

В-третьих, вполне возможна диспропорциональность между совокупным производством и совокупным общественным потреблением в силу диспропорциональности между производством средств потребления и эффективным спросом на средства потребления (здесь спрос дан не a priori, как плановый спрос, и все соотношение устанавливается лишь post factum).

В-четвертых, эта диспропорциональность, в силу денежно-рыночной связи, неизбежно вызывает нарушение в ходе общественного воспроизводства (здесь нельзя „скормить" рабочим излишек, как в первом примере);

В-пятых, капитализм развивает постоянную тенденцию к тому, чтобы, с одной стороны, быстро развивать производство (механизм конкуренции, которого нет в первом примере), с другой—понижать заработную плату (давление резервной армии); другими словами, капитализм имеет тенденцию выводить производство за границы потребления. Это вовсе не значит, что излишек имеется всегда, как полагают народники и тов. Роза Люксембург. Ибо диспропорциональность этого типа обнаруживается лишь тогда, когда перепроизводство средств производства проявилось и прорвалось наружу, как перепроизводство предметов потребления. До тех пор все может итти относительно гладко, так как „излишняя" волна расширения пробегает промежуточные производственные звенья, где конфликта с личным потреблением еще быть не может. С другой стороны, это вовсе не значит, что накопление невозможно. Ибо здесь дело не в том, что произведено больше, а что произведено больше в ненадлежащей пропорции. Реализация прибавочной ценности вовсе не невозможна, вопреки тому, что утверждает тов. Роза Люксембург. Но она становится невозможной при определенных условиях—это и есть кризис („воспроизводство на слишком расширенной ступени, что тождественно с перепроизводством вообще") [1].

Так обстоит дело в обществе „классического капитализма". Теперь обратимся к социалистическому обществу.

3. Социалистическое общество. Если мы берем „чистый тип" социалистического общества, то кризисов там не будет. В то же время доля средств производства будет расти еще быстрее, чем при капиталистическом режиме, так как здесь машина вводится даже при таких условиях, при каких она при капитализме не имеет значения.

В то же время, **именно поэтому**, потребности широких масс, всей совокупности общества, удовлетворяются гораздо лучше, чем при всех предыдущих социально-экономических структурах.

---

[1] „Also Reproduction auf zu grosser Stufenleiter, was dasselbe ist wie Ueberproduction schlechthin" (Marx, Theorien etc., II, S. 317). Курсив наш.

После всего вышесказанного нетрудно видеть, насколько далека от истины тов. Роза Люксембург.

Разбирая один антимальтузианский памфлет, Маркс писал про этот памфлет:

> „Здесь, следовательно, предполагается: 1. капиталистическое производство, в котором производство каждой особой производственной сферы и его прирост регулируется и определяется не непосредственно общественными потребностями, а производительными силами, которыми располагает каждый отдельный капиталист независимо от общественных потребностей, 2. предполагается, что все же производство ведется в таких пропорциях (dass dennoch so proportioniert produziert wird), как будто бы капитал применялся в различных производственных сферах непосредственно обществом, соответственно его потребностям.
>
> При этой предпосылке (contradictio in adjecto), если бы капиталистическое производство было абсолютно социалистическим, и в самом деле не могло бы быть никакого перепроизводства“ [1]).

Другими словами, если бы было плановое хозяйство, то не могло бы быть и кризиса перепроизводства. Здесь Маркс совершенно отчетливо формулирует положение, в силу которого преодоление анархии, т.-е. плановое начало, не противопоставляется, как особый момент, ликвидации противоречия между производством и потреблением, а включает эту ликвидацию. Наоборот, у Розы Люксембург имеется, как это видно из вышеприведенной цитаты относительно схем II тома „Капитала“, с одной стороны, „недостаток пропорциональности производства, то-есть... отсутствие общественного контроля над процессом производства“, с другой—„основное противоречие между производительной и потребительной способностью капиталистического общества“. И Роза Л. утверждает, что схемы II тома „допускают“ кризисы „исключительно вследствие недостатка пропорциональности, то-есть вследствие отсутствия общественного контроля над процессом производства“. Роза Люксембург прямо противополагает этому другой момент. Как мы видели, она точно формулирует свою мысль и пишет, вслед за вышецитированной фразой, что схема II тома „напротив того... исключает глубокое основное противоречие“... и т. д. Яснее сказать нельзя, невозможно более точно формулировать явно неверное положение.

По Розе Люксембург выходит, что при плановом хозяйстве будут кризисы, если есть „недопотребление масс“. Другими словами, по Р. Л. выходит, что кризисы обязательны в нашем гипотетическом государственно-капиталистическом обществе. Мы же показали, что

---

[1]) Marx, Theorien, III B., S. 136 § b. „Nochmals der Verfasser der Inquiry“. Последний курсив наш.

кризисов там быть не может[1]). Понять это вовсе не так трудно. В самом деле, в чем выражается бесплановость хозяйства, его „анархия“? В том, что нет пропорции между отдельными отраслями производства и, вместе с тем, в том, что нет пропорции между размерами производства и размерами личного потребления. Поэтому Маркс и говорит о пропорциональном применении капитала 1) „в различных производственных сферах“ и 2) „соответственно потребностям“. Оба эти момента входят в понятие пропорциональности общественного производства. Еще более популярно говоря: предположим, что у нас есть полная пропорциональность между всеми отраслями производства, с точки зрения их соотношений в одну сторону, по одному направлению, от средств производства к средствам потребления; пусть, напр., совокупное общественное производство символизируется рядом: уголь, железо, машины, ткань; таким образом угля производится ровно столько, сколько может поглотить производство железа, железа—столько, сколько требует производство машин и т. д., по всей цепи производственных отраслей. Есть ли это гарантия того, что кризиса не будет? Нет. Ибо может оказаться, что ткани произведено больше, чем нужно, и, следовательно, произведено больше, чем нужно, машин, железа, угля. Другими словами, диспропорциональность совокупного общественного производства состоит не только в диспропорциональности между производственными отраслями, но и в диспропорциональности между производством и личным потреблением. Или, говоря словами Ленина:

> «Потребительная сила общества» и «пропорциональность различных отраслей производства» — это вовсе не какие то отдельные, самостоятельные, не связанные еще друг с другом условия. Напротив, известное состояние потребления есть один из элементов пропорциональности. В самом деле, анализ реализации показал, что образование внутреннего рынка для капитализма идет не столько на счет предметов потребления, сколько на счет средств производства. Отсюда следует, что первое подразделение общественной продукции (изготовление средств производства) может и должно развиваться быстрее, чем второе (изготовление предметов потребления). Но отсюда, разумеется, никак не следует, чтобы изготовление средств производства могло развиваться совершенно независимо от изготовления предметов потребления и вне всякой связи с ним“ [2]).

Поставим тот же вопрос с несколько иной стороны. Мы брали пропорциональность между различными отраслями, как мы выразились, по одному направлению, от угля к ткани. Но для хода общественного воспроизводства важно, в равной мере, и обратное направление, от ткани к углю. Ткань должна тоже быть продана,

---

[1]) Грамотный читатель все время помнит, что у нас абстрактные, „идеальные“ типы общественных структур, а не эмпирически данные общества.

[2]) Ленин, Сочин., т. II, „Заметка к вопросу о теории рынков“, стр. 474 первого издания. Курсив Ленина.

чтобы заместиться машиной и т. д. Вспомним формулу общественного воспроизводства: при двухчленном делении совокупного общественного производства, т.-е. делении его на производство средств производства и на производство предметов потребления, материально вещественные части продукта в определенной пропорции должны взаимно меняться местами; дело не ограничивается только тем, что из верхнего этажа (производство средств производства) продукты бегут в нижний (производство предметов потребления); должен происходить и переход из нижнего этажа в верхний и притом в известной, строго определенной пропорции.

Приведем здесь вновь нашу формулу:

$$\begin{array}{ll} \text{I.} & c_1 + \boxed{v_1 + \alpha_1} + \beta_{1c} + \boxed{\beta_{1v}} \\ \text{II.} & \boxed{c_2} + v_2 + \alpha_2 + \boxed{\beta_{2c}} + \beta_{2v} \end{array}$$

Из нее, как мы знаем, вытекает основное условие процесса воспроизводства, выражающееся в равенстве:

$$c_2 + \beta_{2c} = v_1 + \alpha_1 + \beta_{1v}$$

Или, что то же:

$$v_1 + \beta_{1v} = c_2 + \beta_{2c} - \alpha_1$$

Если, следовательно, $c_2 + \beta_{2c} - \alpha_1 > v_1 + \beta_{1v}$, т.-е. больше будущего переменного капитала в производстве средств производства, то налицо перепроизводство средств потребления. Но весь механизм воспроизводства имеет и другую сторону, которая гораздо ближе касается рассматриваемой проблемы. А именно. При анализе общественного воспроизводства мы видели, что замещение материально вещественных элементов идет разными путями. Средства производства расставляются на свои места через акты обмена **между капиталистами**. Что же касается средств потребления, то, поскольку они образуют элемент переменного капитала, они расставляются на свои места через акты покупки рабочей силы со стороны капиталистов и через акты покупок средств потребления **со стороны рабочих**. Без **этого** невозможно воспроизводство, без этих сделок, в которых рабочий продает свою рабочую силу и покупает средства потребления, немыслим процесс воспроизводства. Схемы II тома „Капитала" не только не исключают этих сделок (что можно было бы предположить, если верить заявлениям товарища Розы Люксембург), но прямо их **предполагают**.

Итак:

во-первых, для правильного хода общественного воспроизводства необходимо, чтобы была правильная пропорция между средствами **рабочего потребления** и другими частями совокупного общественного продукта;

во-вторых, необходимо, чтобы сумма ценностей совокупной рабочей силы или сумма заработных плат, выплачиваемых всем ра-

бочим считая и добавочных рабочих нового производственного цикла, действительно равнялась ценности средств рабочего потребления. Если первую величину мы обозначим, как, V, то получим:

$$V = (v_1 + \beta_{1v}) + (v_2 + \beta_{2v})$$

Но это равенство вовсе не есть предустановленная гармония. Фактически его и не бывает именно в силу противоречивых тенденций капитализма (гнать вверх производство, понижать заработную плату), развивающихся в стихийном порядке. Поэтому, динамика капитализма приводит к тому, что

$$V < (v_1 + \beta_{1v}) + (v_2 + \beta_{2v}),$$

т.-е. к диспропорциональности между производством и потреблением. Совершенно понятно, что заработная плата, скажем в производстве средств производства, определяется вовсе не теми соображениями, сколько будет выработано ценностей в производстве средств рабочего потребления. Точно также размеры этого последнего производства определяются вовсе не размерами спроса, который не может быть учтен. Отсюда видно, что диспропорциональность между производством и потреблением масс нельзя отрывать от общей диспропорциональности производственного процесса.

Здесь мы должны, однако, отметить, что данное положение имеет еще более глубокий смысл, если вдуматься во всю механику процесса воспроизводства в его целом.

Экономисты-апологеты отрицали кризисы, между прочим, на основании „метафизического равновесия между продавцами и покупателями", производителями и потребителями. Маркс пишет по этому поводу:

> „Нет ничего более безвкусного (abgeschmakter) в отрицании кризисов, как утверждение, что потребители (покупатели) и производители (продавцы) в капиталистическом обществе тождественны. Они стоят совершенно по разным сторонам (sie fallen ganz auseinander). Поскольку происходит процесс воспроизводства, это тождество можно утверждать лишь относительно одного из 3.000 производителей, то-есть относительно капиталиста. Точно также, наоборот, неверно, что потребители суть производители. Земельный собственник (земельная рента) не производит, и все-таки он потребляет. Так же обстоит дело и со всем денежным капиталом" [1]).

Другими словами, Маркс указывает на особую роль рабочего в процессе обращения. Рабочие не покупают средств производства, хотя они их производительно потребляют, ибо они их потребляют не для себя. Рабочие продают товар, но не тот, который они производят на фабриках. Что же скрывается за этим с точки зрения воспроизводства?

Здесь мы должны обратить внимание на следующее. Капитали-

---

[1]) Marx, Theorien, II[1], S. 297.

стическое обращение отличается от простого товарного обращения, между прочим, тем, что среди обращающихся на рынке товаров фигурирует р а б о ч а я с и л а, имеющая свою потребительную ценность и свою меновую ценность. Но это значит, что с общественной точки зрения, ergo — с точки зрения совокупного общественного воспроизводства, рабочая сила в капиталистическом обществе и п р о и з в о д и т с я, к а к т о в а р.

С другой стороны, мы знаем, что „реальная“ форма капитала, его производительная форма, рассматриваемая не с точки зрения ценности, а с точки зрения материально-вещественной, есть соединение средств производства не со средствами потребления, а с ж и в о й р а б о ч е й с и л о й. Средства потребления являются здесь как бы посредствующим моментом. Они в своей натуральной форме не могут быть составной частью функционирующего производительного капитала; а их ценность должна неизбежно превратиться в ценность р а б о ч е й с и л ы, натуральная форма которой соответствует натуральной форме средств производства. Итак, форма производительного к а п и т а л а есть средства производства и р а б о ч а я с и л а; в то же время в процессе обращения этому соответствует движение рабочей силы на т о в а р н о м р ы н к е. Но что же соответствует этому в сфере п р о и з в о д с т в а данного товара? Мы видели, что к о с в е н н ы м производством рабочей силы, вернее, предварительным условием этого производства, является производство средств рабочего потребления. Н е п о с р е д с т в е н н ы м же процессом производства рабочей силы является, в основном, п р о ц е с с л и ч н о г о п о т р е б л е н и я. Рассматриваемый с общественной точки зрения процесс потребления рабочего класса и есть п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а р а б о ч е й с и л ы. Отсюда совершенно ясно, что диспропорциональность между производством и потреблением является производственной диспропорциональностью и в более непосредственном, более узком смысле, а именно диспропорциональностью между п р о и з в о д с т в о м с р е д с т в п о т р е б л е н и я и п р о и з в о д с т в о м н а е м н о й р а б о ч е й с и л ы.

Обычно при анализе кризисов чрезвычайно мало останавливаются— или почти совсем не останавливаются — на анализе того, что среди товаров имеется и рабочая сила. Между тем, это есть, как мы уже говорили, специфическое отличие к а п и т а л и с т и ч е с к о г о обмена и к а п и т а л и с т и ч е с к о г о способа производства. Раз рабочая сила вступила в товарный оборот, то те противоречия, которые свойственны товарному производству, в осложненной форме должны выступить и здесь. Противоречие между потребительной ценностью товара и его ценностью разыгрывается здесь, как противоречие между производством прибавочной ценности, которое стремится к безграничному расширению, и ограниченной покупательной способностью масс, реализующих ценность своей рабочей силы. Это противоречие и разрешается в кризисах.

Возвратимся теперь к магистрали наших рассуждений. В конце теоретической части своего исследования о кризисах г. Туган-Барановский пишет:

„Если бы производство было организовано планомерно, если бы рынок обладал полным **знанием** спроса и **властью** пропорционального распределения производства, свободного передвижения труда и капитала из одной отрасли промышленности в другую, то, как бы ни было низко потребление, предложение товаров не могло бы превысить спрос" [1]).

Это положение совершенно верно, если мы не будем придираться к терминологии („рынок", „товар" etc при организованном производстве). Но беда в том, что это верное положение в корне противоречит всей теории Тугана-Барановского. Мы считаем полезным разобрать его, так как этот разбор внесет еще большую определенность в решение проблемы.

Туган-Барановский в понятие планомерного производства включает **знание спроса**. Но что это такое?

Спрос —понятие вовсе не такое простое. Сюда входит спрос на уголь, спрос на машины, спрос на железо и т. д.—словом, спрос на **средства производства**. Но сюда же относится и спрос на хлеб, спрос на ткани, спрос на **предметы потребления**. Если перед нами антагонистическое (в классовом отношении) общество, то „значение спроса" предполагает не только знание спроса на средства производства, но также и знание потребительского спроса со стороны рабочих и со стороны капиталистов. Кризиса здесь не будет. Но этого кризиса не будет, между прочим, и **потому**, что известна и дана **зависимость между производством и потреблением**, то-есть как раз то, что теоретически **отрицается** г-ном Тугановым-Барановским, когда этот ученый муж из плохо переваренных обрывков марксова анализа создает свою теорию рынка. С другой стороны, эта ошибка Тугана еще более ярко освещает положение, что „состояние потребления" есть один из элементов производственной пропорциональности. В самом деле, посмотрим ближе, какова структура связи между различными производственными отраслями.

Ближе всего к потреблению стоит целый **ряд** производственных отраслей: производство „пищи, одежды, жилища". Каждое из этих подразделений дробится на громадное число самостоятельных отраслей. В связи с этим рядом отраслей стоит ряд производств средств производства, который тоже дробится на бесчисленное множество отраслей по вертикальной и по горизонтальной линии: и по линии производственного родства с разнородными предметами потребления, и по линии связи средств производства между собой. Туган-Барановский приходит к своему парадоксальному выводу о независимости „производства от потребления" только потому, что он анализирует связь исключительно в одном кругу: в сфере связи между различными производствами внутри производства средств производства; он не видит, во-первых, пропорций между производством средств производства и производством предметов потребления (на этом мы остановились выше); во-вторых, он совершенно не затрагивает вопроса о

---

[1]) Туган-Барановский, Промышленные кризисы, стр. 281—282.

пропорциях между различными отраслями в производстве предметов потребления, как это ни странно, в особенности для сторонника теории предельной полезности. Между тем, если принять эти связи во внимание, то будет совершенно ясно следующее положение: изменение в потребительском спросе неизбежно должно: 1) изменить пропорции между различными отраслями в производстве предметов потребления, 2) в силу связи между двумя основными отраслями общественного производства изменить также и пропорции между различными отраслями в производстве средств производства. Другими словами: изменение потребительского бюджета общества неизбежно влечет за собой перегруппировку между различными сферами общественного труда. То обстоятельство, что само это изменение обуславливается изменением в производстве, ни мало не колеблет этого факта.

Таким образом „элемент потребления“ представляется не как самостоятельная сущность (ошибка, которую в равной мере делает и Туган, и Роза Люксембург, хотя они и приходят к диаметрально-противоположным выводам), а один из элементов совокупной общественно-производственной пропорциональности или диспропорциональности.

После вышесказанного нетрудно будет вытащить на свет божий методологический корень ошибки т. Розы Люксембург. Капиталистический общественно-производственный организм есть „единство противоположностей“. Апологеты видят в нем лишь момент единства: „Апологетика,—писал Маркс,—состоит... в фальсификации простейших экономических отношений и специально в том, чтобы держаться за момент единства против момента противоположности“ (dem Gegensatz gegenüber die Einheit festzuhalten) [1].

В другом месте Маркс дает замечательную сводку этих апологетических упражнений, тоже в связи с теорией кризисов. Он пишет:

„Покупка и продажа (в действительности. *Н. Б.*) разъединены: товар отделен от денег, потребительная ценность от ценности меновой. Однако (у буржуазных ученых. *Н. Б.*) предполагается, что имеет место не это отделение, а товарообмен. Потребление и производство разъединены: имеются производители, которые потребляют не так много, как они производят, и потребители, которые не производят. Однако предполагается, что потребление и производство идентичны. Капиталист производит непосредственно для того, чтобы увеличить свою прибыль, ради меновой ценности, а вовсе не для потребления. Однако предполагается, что он производит непосредственно и исключительно ради потребления. Если предположить, что существующие при буржуазном способе производства противоречия, которые, конечно, выравниваются в процессе выравнивания, представляющемся в то же время, как кризис, насильственное воссоединение разорванных, противопоставленных друг другу и в то же время образующих единство (zusammenhörigen) моментов—не суще-

[1]) Theorien II², S. 274.

ствует, то эти противоречия, разумеется, и не могут проявиться. В каждой промышленной отрасли отдельный капиталист производит в соответствии со своим капиталом, а не в соответствии с потребностями общества... Однако предполагается, что он производит так, как если бы он производил по поручению всего общества" [1]).

Эту ошибку апологетов отлично видит тов. Роза Люксембург. Но есть и другая ошибка. Ибо нужно видеть не только противоположности, но и **единство**. В кризисах со стихийной силой это единство и утверждает себя, тогда как по Розе Люксембург это единство **вообще невозможно**. Другими словами, тов. Роза Люксембург ищет в капитализме **плоских**, формально-логических противоречий, которые не динамичны, не разрешаются, не являются элементами противоречивого единства, **наголо** отрицают это единство. В действительности же перед нами **диалектические** противоречия, которые суть противоречия **целого**, которые периодически разрешаются, постоянно воспроизводятся и только лишь на определенной ступени развития взрывают всю капиталистическую систему, как таковую, т.-е. уничтожают вместе с самими собой и прежний тип „единства".

(*Продолжение следует*).

Н. Бухарин.

К постановке денежной проблемы с точки зрения закона равновесия.

1. Значение понятия равновесия в экономической теории.

Динамика общественной жизни может быть анализирована при помощи абстрактно-дедуктивного метода. Для уяснения основных закономерностей этой динамики необходимо представить себе объект исследования в его „чистом" виде, абстрагированном от всех осложняющих его движение моментов. Как сами изменения общественных явлений, так и направление и размеры этих изменений могут быть поняты лишь, если исходным пунктом анализа этих явлений будет служить состояние **соответствия**, во-первых, между самой данной общественной системой и ее средой, и, во-вторых, всех частей данной системы между собой. Это состояние взаимного соответствия называют состоянием **равновесия**.

Ясно, что отрицание пригодности в качестве средства анализа в теоретической экономии понятия равновесия есть вместе с тем отрицание самой экономической **теории**. До этого вывода, собственно говоря, и договорился П. Б. Струве в своих последних статьях в журнале „Экономический Вестник". Хотя им и отрицается этот вы-

---

[1]) Marx, Theorien, III, S. 140, Fussnote.

вод, приписываемый ему Билимовичем, но следующая выдержка из его статьи достаточно убедительно это подтверждает. Противопоставляя „онтологическое“ понимание идеи равновесия „феноменологическому“ и приравнивая эту идею к идее равенства в обмене, он заявляет, что „последовательные объективные теории ценности мыслят это равенство, как закон обмена, а ценность, как некую субстанцию“. Субъективные же теории, „отметая субстанциональность ценности..., все-таки понятие „равновесия“ возводят в закон и тем самым дают ему особое положение“. Аргументируя против этого „номологизирования“ идеи равновесия, он говорит: „Дело совсем не в том, является ли „механический“ подход к экономическим явлениям логически мыслимым, а в том, соответствует ли он природе самого явления, т.-е. являются ли предпосылки математического рассуждения, отвечающими существу экономических явлений. На это я отвечаю решительным отрицанием. В экономике какие-то подлежащие определению в каждом отдельном случае „индивиды“ должны быть сосчитаны, сведены в разряды и категории, т.-е. именно трактуемы как индивидуально весьма различные единицы, объединяемые лишь по „признакам“ некие статистически обозримые „совокупности“. Вне такой статистической обработки мы имеем в экономике только либо построение общих понятий, выливающихся в форму дефиниций, либо не приуроченное ни к каким числовым статистическим характеристикам описание конкретных явлений данного места и времени при помощи этих общих понятий. Числить же и мерить плодотворно в экономике можно только статистически, и это,—как это ни странно,—вытекает именно из основного положения новейшей математической экономии о всесторонней взаимозависимости экономических явлений. Эта всесторонняя взаимозависимость непреодолима для „механического“ или „динамического“, в противоположность статистическому, рассмотрения. Если мы к этому прибавим, что экономические „индивиды“, с точки зрения экономического познания, не являются абсолютно детерминированными какими-нибудь известными нам силами, а „контингентны“, или, как я перевожу этот старинный термин аристотелевско-схоластической философии, „самочинны“, „бесчинны“, то эти два условия необходимы и достаточны для выставления методического постулата о том, что точное познание в экономике возможно только либо в форме статистической разработки, либо в форме фактического описания неисчислимых статистических феноменов и сторон“[1]).

Эта длинная цитата особо примечательна именно тем, что доказывает невозможность построения экономической теории на основе индивидуалистически-психологического метода, ибо в самом деле, если признать, что экономические „индивиды“ абсолютно недетерминированны и что индивидуальные экономические явления базируются исключительно на психологическом подходе хозяйствующих субъектов,—то „всесторонняя взаимозависимость экономических явлений“ не может быть понята при помощи „механического“ или „динамического“ рассмотрения их, ибо такое рассмотрение предполагает возможность их объективного соизмерения. А дело, ведь, идет именно об объективном соизмерении, а не о том, как правильно „числить и мерить“, ибо теоретическую экономию интересуют законы движения капиталистического общества, овеществленные в движении ценностных категорий, а не рациональные масштабы для измерения этих категорий.

[1]) П. Струве. Научная картина экономического мира и понятие „равновесия“,— „Экономический Вестник“, журн. под ред. С. Прокоповича, 1923 г., № 1, стр. 15—16.

Необходимость переброски моста от индивидуально-психологических явлений к объективным фактам привела, как известно, у Бем-Баверка к построению категории „объективной ценности", совершенно независимой от основного постулата его теории „субъективной ценности", что, во-первых, разрушило монистичность его концепции, а, во-вторых, привело к грубому фетишизму, ибо благам самим по себе приписываются такие свойства, которые порождают в них явления ценности. Эта же необходимость привела у Орженцкого („Учение об экономич. явлении") к построению закона сравнимости товарных ценностей на основе Вебер-Фехнеровского закона и к полной психологизации экономической науки: „ценность есть проекция чувств на объект, вызывающий это чувство в психике субъекта", и поэтому „экономическое является психическим". Точное же соизмерение этих психических явлений, как известно, невозможно. Поэтому оппонент Струве, А. Д. Билимович, вынужден признать, что „психические переживания, от которых зависят хозяйственные явления (интенсивность потребностей, полезность, субъективная тягость труда) действительно неизмеримы и числом невыразимы... Однако психические переживания могут быть сильнее и слабее. И так как величиной называется все, что может быть больше или меньше, то интенсивность этих переживаний должна быть признана все-таки величиной. Но эти величины неизмеримые, а только сравнимые, так как относительно их мы можем узнать, что одна больше или меньше другой (иногда равна ей), но никогда не можем знать, насколько или во сколько раз больше или меньше"[1]).

Но именно поэтому-то Струве и прав, ибо понятие равновесия предполагает, что явления количественно соизмеримы, а не только сравнимы. Должен быть какой-то стержень равновесия, отклонения от которого должны как-то измеряться. Для этого же необходима единица измерения.

Это, по нашему, и подтверждает, что абстрактно теоретическое исследование возможно только на основе объективно материалистического метода, дающего возможность качественного и количественного соизмерения явлений. В экономической науке это дается трудовой теорией. Труд есть основная объективно-материальная связь, создающая общество. Уровень средней (в смысле типичной) производительности труда в обществе есть показатель равновесия между общественной системой и ее внешней средой — природой, т.-е. показатель степени овладения общественным человеком сил природы. Равновесие между отдельными элементами этого общества есть соответствие в трудовых затратах по отдельным отраслям производства.

Этот закон равновесия есть извечный закон существования общества, как системы. В определенной исторической формации этот закон хозяйственного (трудового) равновесия принимает форму закона стоимости.

2. Закон стоимости с точки зрения теории равновесия.

Стоящая перед нами задача анализа сложнейшего механизма общественно-производственных отношений в их фетишистской денежной форме может быть выполнена лишь с точки зрения точного определения социологической сущности важнейших функций денег (мерила стоимости и орудия обращения), что, со своей стороны, требует

[1]) А. Д. Билимович, Два подхода к научной картине экономич. мира, — журн. „Эконом. Вестник", 1924 г., № 3, стр. 6.

предварительно ясного и четкого определения сущности следующих двух основных методологических понятий: 1) „абстрактного труда“, как качественной стороны стоимости, и 2) „общественно-необходимого труда“, как количественной стороны ее.

Логически последовательной и методологически выдержанной Марксова система теоретической экономии вообще и теория денег в частности может быть лишь при том условии, когда под понятием „всеобщий абстрактный труд“ понимается не физиологическая затрата мышц, нервов и проч., а равенство или скорее равнозначность с общественной точки зрения индивидуального труда отдельных товаропроизводителей, т.-е. такая качественная характеристика стоимостной субстанции, при которой эта субстанция выступает в чисто общественном значении[1]). Овеществленной формой этой общественной субстанции является денежный материал. „Вещество золота играет роль материализации стоимости, т.-е. денег“, говорит Маркс[2]). В противном случае между физиологическим пониманием абстрактного труда, как субстанции стоимости, и пониманием денег, как „сгустка абстрактного труда, концентрирующего в себе социальный момент меновой сделки“, т.-е. как „внешнего (вещного) выражения социальных отношений, возникающих на почве меновых сделок“,— имеется явный логический провал (например, у И. А. Трахтенберга)[3]).

Количественной стороной стоимостной субстанции является категория „общественно-необходимого труда“, как выражение производительной силы труда. Овеществленной формой этой общественной категории является определенное количество денежного материала в его функции мерила стоимости. Определенное количество денежного материала, эквивалентное стоимости какого-либо товара, есть вещное выражение величины общественной стоимости данного товара (общественно-необходимого количества труда).

Таким образом, закон стоимости является исторической формой выражения закона общественного равновесия в товарном обществе в том смысле, что своей качественной стороной (абстрактный труд)- он создает основу для стихийно общественного соизмерения; своей же количественной стороной (общественно-необходимый труд) он выражает центр равновесия между трудовой общественной системой и ее средой—природой, т.-е. уровень производительной силы труда. Но этот уровень производительности труда есть вместе с тем база и для внутреннего равновесия частей хозяйственной системы, т.-е. общественно-необходимое количество труда выражает собой общественную оценку труда каждого товаропроизводителя, „определяет, какую часть находящегося в распоряжении общества рабочего времени оно в состоянии затратить на производство каждого товарного вида“[4]), иначе говоря,—определяет условия соответствия (является стержнем равновесия) в распределении общественного труда между различными отраслями производства. Отсюда следует, что в момент хозяйственного равновесия (а только в этот момент величина стоимости и находит свое точное выражение в цене товара) количество общественного труда, могущего быть затраченным в каждой отрасли производства, должно рассматриватся, как результат производственных условий, т.-е. в математической форме, как произведение двух множителей:

---

[1]) Мы принимаем, следовательно, полностью интерпретацию этого понятия, данную И. И. Рубиным в его работе: „Очерки по теории стоимости Маркса“.

[2]) К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 74.

[3]) И. А. Трахтенберг, Бумажные деньги, изд. „Моск. Раб.“, 1922 г., стр. 17, 23; 35, 71 и др.

[4]) К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 347.

затрат труда на единицу товара (выражение производительной силы труда) и количества произведенных единиц этого товара (размер предложения). Постановка же вопроса в так наз. „экономической версии“ общественно-необходимого труда в корне не верна, ибо она исходит в своем построении величины стоимости единицы товара из количества общественного труда, необходимого для производства **потребного количества** товаров данной отрасли, т.-е. производительная сила труда (выражением которой должен быть общественно необходимый труд) рассматривается, как частное от деления совокупной стоимости товаров данной отрасли на величину предъявляемого спроса на них [1]).

Поэтому в концепции сторонников этой версии получается, что регулятор количественного распределения производительных сил в обществе из экономического стержня превращается в пассивный результат сложившегося в каждый данный момент количественного соотношения между трудовыми затратами в отдельных отраслях производства, т.-е. фактически в показатель постоянного состояния равновесия частей системы между собой и между всей системой и ее средой, при котором никакая динамика, никакое развитие производительных сил невозможно (цена неотличима от стоимости).

Эта бесхребетность общественного хозяйства особенно наглядно выступает в понимании этими теоретиками ценности денег. Поскольку в их представлении общественное хозяйство существует без стержня трудового равновесия, постольку и вещное выражение этой общественной категории,—деньги в их функции мерила стоимости—совершенно пропадает.

3. Теория ценности денег Гильфердинга.

Наиболее логически последовательно это проявляется в теории Гильфердинга. Его теорию ценности бумажных денег и его положение о неизменной ценности золота. [2]) (логическая связь этих обоих его построений подтверждается тем, например, фактом, что Е Варга, выступивший в печати до Гильфердинга с указанием на неизменную ценность золота, соглашается в этой же статье с теорией бумажных денег Гильфердинга) [3]) следует рассматривать именно как выводы из принятой им „экономической версии“ общественно необходимого труда. Такое понимание выступает у него, например, в следующей фразе: „Насколько этот конкретный труд означает общественно-необходимый труд, в какой мере он, следовательно, может быть принят в расчет как создающий ценность, я мог бы установить, лишь зная данный средний уровень производительности и интенсивности производительных сил и то количество данного блага, которое потребно для общества“ [4]).

---

[1]) Признается ли „общественная потребность“ равноправным с трудом фактором стоимости, или лишь ее „количественной границей“ (А. Мендельсон, см. „Под знаменем марксизма“ 1922 г., № 7—8), не меняет постановки вопроса в смысле исходного пункта построения этой категории: в том и в другом случае таким исходным пунктом является затрата труда не на единицу товара, а на всю данную отрасль производства.

[2]) Р. Гильфердинг, Финансовый капитал и ст. „Деньги и товар“ в сб. „Деньги и денежное обращение в освещении марксизма“, изд. НКФ 1923 г.

[3]) Е. Варга, „Добыча золота и дороговизна“ в том же сборнике, стр. 4.

[4]) Р. Гильфердинг, Бем-Баверк, как критик Маркса, п ред. Пашуканиса, Госиздат, М. 19[illegible] г., стр. 15.—Та же мысль выражена и в „Фин. Капитале“: „Если индивидуум работал слишком медленно, или производил бесполезный предмет,—а таковым будет и полезный вообще предмет, если только он превышает потребность в общественном обмене веществ,—то труд данного индивидуума будет сведен к среднему труду,—к общественно необходимому рабочему времени“, в изд. 1912 г., стр. 7.—У т. Е. Варги можно также

С этой точки зрения, прежде всего последователен вывод относительно неизменной ценности золота, при неограниченном спросе на него со стороны банков, ибо фактором этой ценности на-ряду с уровнем производительности труда является и общественная потребность. При этом влияние изменения, происходящего в ценности золота, под влиянием увеличения производительности труда, элиминируется другим фактором ценности,—общественной потребностью, поскольку последняя в данном случае неограниченна. Переход отсюда к теории ценности бумажных денег, определяющейся „общественной ценностью обращения", представляется в следующем виде (хотя хронологически эта теория бумажных денег была Гильфердингом развита раньше, но логически она может быть лучше понята, как вывод из положения о неизменной ценности золота): Если после того как первоначальная ценность золота сконструировалась под влиянием двух указанных факторов, дальнейшие изменения его ценности обусловливаются фактором общественной потребности, — то, перенося это же рассуждение на бумажные деньги, получаем, что после того, как золотые деньги заменены бумажными в необходимом количестве („минимум обращения"), дальнейшие изменения ценности, представляемой всей суммой циркулирующих бумажных денег, должно происходить под влиянием изменения фактора общественной потребности, которой в данном случае соответствует „общественная стоимость обращения".

Повторяем, что на этой теории Гильфердинга особенно наглядно проявляется бесхребетность так наз. „экономической версии", ибо правильно применяемое и к теории Гильфердинга положение Маркса о том, что в таких построениях предполагается, что „товары входят в обращение без цены, а деньги без стоимости", должно подразумевать под собой не только и не столько даже логический circulus vitiosus, сколько фактическое предположение о возможности существования менового хозяйства без такого стержня равновесия, как мерило стоимости (исходя из изложенного, ясно, что поиски только логических противоречий у Гильфердинга—неблагодарная задача).

Такова неизбежная логика развития теоретических взглядов тех из марксистов, кто привлекает потребность в качестве фактора или „полу-фактора" стоимости. Что же касается буржуазных экономистов, то достаточно напомнить о примерах Книсса [1]) и Зиммеля [2]), долженствующих доказать у первого—необходимость „субстанциональной" ценности денег, а у второго, наоборот, возможность косвенного измерения,—чтобы убедиться в полном отсутствии у них понимания этого социологического значения мерила стоимости и в подмене его чисто техническим понятием измерения вещественного или силового содержания явления.

4. Мерило стоимости при бумажно-денежном обращении.

Но невозможность ни на один момент существования менового хозяйства без наличия **действенного** мерила стоимости вытекает

усмотреть такое же понимание общественно необходимого труда. Так, он говорит: „Золотая монета обычно содержит столько же общественно необходимого рабочего времени, сколько и обмениваемый на нее товар. Поэтому одно лишь увеличение добычи золота, вызвало бы уменьшение ценности денег... лишь в том случае, если бы это увеличение было настолько значительно, что золото оказалось бы в абсолютном излишке и таким образом слишком большая часть общественного труда была бы употреблена на производство его".—Указанная выше статья, стр. 5.

[1]) Carl Knies, Geld und Kredit, Abt. I „Das Geld".

[2]) Georg Simmel, Philosophie des Geldes.

из следующего: если, как указано выше, при помощи мерила стоимости выявляется степень соответствия в распределении общественного труда между различными отраслями производства, то, следовательно, оно должно явиться и измерителем отклонений от этого соответствия, т.-е. от равновесия, так как разность между рыночной ценой и стоимостью есть выражение разности между количеством общественного труда, подлежавшего затрате в данной отрасли, и количеством, действительно затраченного, а эта разность, постоянно изменяющаяся, может быть установлена лишь при наличии постоянного измерителя стоимости. Объективно-стихийный процесс регулирования товарного хозяйства и измерения отклонений цены от стоимости не может поэтому происходить на основе „воспоминаний" участников товарообмена о прежних ценностных соотношениях (как думают некоторые экономисты, например, т. Е. Преображенский и др.), и исключает всякую возможность существования устойчивых ценностных соотношений, что неизбежно предполагается теоретиками, отрицающими необходимость наличия постоянного ценностного измерителя в виде денежного материала.

Но необходимость постоянного существования мерила стоимости может направить мысль в сторону исследования возможности выполнения этой функции при чисто бумажно-денежном обращении самими бумажными деньгами. Наиболее интересное и заслуживающее внимание доказательство этой мысли находим у К. Гельфериха. Она сводится к следующему: для ценности вещи необходимы два условия: 1) чтобы эта вещь удовлетворяла человеческую потребность (отсюда вытекает функциональное, а не субстанциональное значение ценности); при этом деньги играют ту же роль, что собственно средства производства и транспорта, с той лишь разницей, что последние являются вечным явлением, а деньги—историческим, вытекающим из особенностей той хозяйственной формации, которая основана на свободном самоопределении (Selbstbestimmung) личности, частной собственности и разделении труда; 2) вторым условием или предположением наличия у вещи ценности является то, что она связана с трудом и жертвой (Arbeit und Opfer). При создании потребительной ценности, а следовательно, и металлических денег—это второе условие имеется; но и в бумажных деньгах это условие дано, ибо трудности для добывания могут требовать труда и жертв не только в борьбе с природой, но и с социальными препятствиями, коренящимися в особенностях общественной организации народного хозяйства, а приобретение денег возможно лишь при „ответных услугах" (Gegenleistungen) со стороны хозяйствующих людей по отношению к государству [1].

Даже игнорируя субъективное понимание трудовой стоимости и другие особенности этого построения, плодотворная критика его может исходить лишь из марксистской школы, в основе экономической теории которой лежит постулат о двойственном характере труда. Этот постулат требует разграничения процесса производства и процесса обращения с точки зрения создания стоимости. Именно, исходя из этого разграничения, необходимо устанавливать, что бумажные деньги (которые могли бы получить самостоятельную стоимость при предположении возможности создания стоимости в результате преодоления препятствий не только со стороны природы, т.-е. при условии создания потребительной стоимости, но и в результате преодоления социальных препятствий, т.-е. со стороны формы общественной организации) таковой самостоятельной сто-

[1] K. Helfferich, Das Geld, 6. Auflage, Leipzig 1923. Ss. 537—538.

имостью не обладают. Таким образом мы считаем, что методологически доказательство отсутствия самостоятельной ценности у бумажных денег может исходить из тех же основ, как и разграничение понятий производительного и непроизводительного труда, т.-е. из различения труда, затраченного в процессе производства и в процессе обращения.

При этом отсутствие золота в качестве циркуляторных денег совсем не уничтожает объективно регулирующего значения его ценности. Оно продолжает объективно служить этим мерилом ценности, проявляя свою ценность через бумажные деньги, общую ценность которых оно регулирует. При отсутствии же золота даже в товарном обращении, его место занимает какой-либо другой товар, но непременно **товар**, т.-е. воплощение общественного труда. Обычно это замещение золота другим товаром в функции мерила стоимости происходит при изоляции данной хозяйственной единицы (страны, области) от остального товарного мира, в котором деньгами остается золото и при сильной дезорганизации товарного обращения (примеры в Сов. России).

Нужно при этом различать объективное значение функции мерила стоимости от производной роли счетного средства субъективных калькуляций хозяйствующих субъектов. Последнюю роль выполняют при бумажно-денежном обращении сами бумажные деньги, символизирующие в каждый данный момент ценность замещаемого ими количества золота в обращении. Но доминирующее значение объективного мерила стоимости и необходимость для этого товарной ценности выражается именно в том, что стихийно-рыночное измерение ценностей заставляет эти субъективные расчеты приспособляться к нему; в противном случае нарушается процесс воспроизводства, и недостаточно приспособившиеся к объективно-рыночному измерению ценностей хозяйствующие субъекты выбрасываются за борт корабля самостоятельных товаро- и капиталопроизводителей. Поэтому же стремление к приспособлению приводит обычно к тому, что темп изменения субъективных расчетов обгоняет темп изменения самих ценностных соотношений, что создает вакханалию спекуляции.

5. Ценность денег и покупательная их способность.

Обычно, под покупательной способностью денег понимают их **ценность**. „Общий уровень цен—вот, что служит показателем ценности денег“, говорит д-р Кемени [1]), выводя из этого положения теорию „паритета покупательной силы денег“. Но и марксисты обычно покупательную способность денег называют их ценностью. Проф. И. А. Трахтенберг даже ввел теорию различной ценности денег в зависимости от функции, ими выполняемой. „Когда мы говорим о ценности денег вообще,—говорит он,—мы разумеем их, как выполнителей всех свойственных деньгам функций. Но, с другой стороны, так как возможны различные формы проявления денег, то можно и должно говорить о ценности различных этих форм. Можно говорить о ценности денег вообще, но можно и должно говорить также отдельно о ценности денег, как мерила ценности, о ценности денег, как орудия обращения, и т. д. и т. д... Факторы, определяющие ценность денег, как мерила ценности, не могут быть теми же, что и факторы, определяющие ценность денег, как орудия обращения, и т. д., ибо хотя все это формы проявления одной и той же экономической

[1]) Д-р Георг Кемени. Иностранные вексельные курсы и переворот в международных экономических отношениях, изд. ВСНХ, М. 1923 г., стр. 92.

категории денег, но все же различные формы, в которых находят свое выражение различные и по своему содержанию и по своему смыслу социальные отношения“ [1]). Таким образом необходимость существования различной ценности денег мотивируется тем, что различные функции денег выражают различные социальные отношения. Но этим игнорируется основной методологический принцип, лежащий в основе всей Марксовой теоретической системы,—монизм. Различные общественные отношения являются отношениями производными от основных производственных отношений, которые служат „единством в многообразии“. Поскольку мы под категорией стоимости (ценности) понимаем основное общественное отношение—производственное, определяющее или даже включающее в себя остальные, постольку применение к последним понятиям ценности неправильно.

В отношении теории денег необходимо иметь в виду, что достаточность „идеальной“ стоимости денег в качестве мерила стоимости и необходимость вещественного воплощения таковой у денег в качестве орудия обращения как раз доказывает, что в последней функции находит лишь свое проявление „идеальная“ стоимость денег в первой из указанных функций. Как вообще в процессе обращения формой проявления ценности является цена (денежное выражение стоимости товара), так и в отношении денег в роли орудия обращения конструируется категория, экономически аналогичная цене—знак ценности („товарное выражение стоимости денег“). И именно поэтому сумма этих „товарных цен денег“, т.-е. орудий обращения, должна быть равна сумме стоимостей, т.-е. сумме золота, необходимого в качестве измерителя стоимости всего товарного обращения, принимая скорость обращения за единицу; и именно поэтому ценность всех циркулирующих бумажных денег равна ценности того количества золота, которое они замещают; „товарная же цена“ каждой единицы этих орудий обращения будет колебаться под влиянием соотношения между спросом на них (ценность обращения) и их предложением.

Обычно, понимание покупательной способности денег, как их ценности, аргументируется тем, что покупательная способность денежного знака дается его отношением к золоту, но в данном случае упускается из виду, что это отношение к золоту выявляется механизмом спроса и предложения, благодаря чему покупательная способность денежного знака представляет ценность золота не механически, а органически—функционально под влиянием действия соответствующих тенденций, т.-е. так же, как цена товара вообще представляет его стоимость.

Отсюда следует, что совершенно нет необходимости в конструировании особой „конъюнктурной теории“ для объяснения „ценности“ денег, как орудий обращения, как это делает И. А. Трахтенберг (в отличие от Тугана-Барановского, который строит эту теорию для ценности денег вообще) Поскольку в качестве орудия обращения проявляется „товарная цена“ денег, постольку само собой ясно, что покупательная способность денежного знака, служащего этим орудием обращения, определяется не только стоимостью денежного материала, служащего мерилом стоимости, но и „конъюнктурой“ товарного рынка (механизмом спроса и предложения в отношении денег).

Покупательную способность денег часто рассматривают как относительную их стоимость, как это имеет место у Рикардо [2]), а также

1) И. А. Трахтенберг, Бумажные деньги, стр. 73.

2) Относительная стоимость у Рикардо „во втором смысле“, по классификации Маркса, см. „Теории прибавочн. ценности“. т. II, ч. I, стр. 14—16.

Касселя, R. G. Hawtrey [1]), но также и у Маркса (см., напр., К., II, стр. 397). Но маркс при этом предполагает всегда состояние соответствия между спросом и предложением на деньги. В этом случае покупат. сила денег есть, конечно, относительная их стоимость, но при этом цена ведь тоже совпадает с относительною стоимостью. Между тем, рассматривая всесторонне явления денежного обращения, необходимо учитывать и то, что изменения в относительной стоимости могут явиться результатом несоответственного изменения в абсолютных стоимостях обмениваемых товаров, покупательная же сила денег может измениться только при наличии изменения соотношения между спросом на дензнаки и их предложением, даже при отсутствии изменения в абсолютных стоимостях.

Против этого приравнения покупательной силы денег к категории цены, а не стоимости было выставлено (при обсуждении тезисов этой статьи в одном из семинариев ИКП) то возражение, что в нашем построении неправомерно дважды используется механизм спроса и предложения, который уже оказал свое влияние на уровень цен товаров при взаимодействии их ценности с ценностью денежного материала. Но это возражение отпадает, если мы примем во внимание, что на уровень цен товара оказало свое действие соотношение между предложением каждого данного товарного вида и спросом на него со стороны тех отраслей производства, которые являются его потребителями,—в то время, как соотношение между спросом и предложением на деньги означает соотношение между ценностью всего товарного мира (принимая скорость обращения за единицу) и предложением орудий обращения,—предложением, количество которого непосредственно зависит от эмитирующего органа.

Таким образом, поскольку мы под категорией цены понимаем функцию двух аргументов: стоимости и соотношения между спросом и предложением, постольку так же, как курс денег (вексельный курс), так и покупательную способность каждой денежной единицы должно рассматривать, как категорию „цены денег“ в различных сферах обращения: внутреннего и внешнего рынка. В момент мирового хозяйственного равновесия при едином мериле стоимости эти две „цены“ должны совпадать, ибо они совпадают со стоимостью денег [2]). Но принципиально не исключается возможность их расхождения при разобщенности внутренней и международной сфер обращения (на их взаимоотношении и взаимодействии остановимся ниже) [3]). Противопоставление же покупательной способности денег, как ценности денег, курсу денег, как их цене, создает методологическую невыдержанность, ибо получается, что категория „ценности“ (покупательная способность денег) изменяется не только под влиянием изменения стоимости золота, но также и под влиянием изменения предложения денежных знаков вне соответствия с изменением потребности в них. Это явление может иметь место не только в отношении бумажных денег, но и золотых монет. Возможность отклонения, хотя бы и временного, покупательной силы золотых монет (под влиянием изменения их количества в обращении) от их стоимости как мерила, в результате чего происходит перелив золотых монет в слитки и обратно (при свободной чеканке), подтверждает необходимость разграни-

1) „Новые идеи в экономике“, вып. VII, под ред. проф. А. Финна-Енотаевского, Ленинград 1924 г.

2) Мы сознательно отвлекаемся от того факта, что „вследствие издержек транспортировки и др. причин внешняя и внутренняя покупательная сила даже во время равновесия никогда не совпадают“, на что указал Дж. М. Кейнс,— см. там же, стр. 57.

3) Ясно, что проводимое нами понимание внутренней и внешней цены денег лишь по внешности сходно с терминологией Лексиса, ибо у него речь идет о внутренней и внешней ценности денег.

чения этих двух понятий: стоимости денег и покупательной способности каждого денежного знака. Нам могут возразить, что золотая инфляция немыслима, ибо золотая монета не останется в обращении, если она излишня, в то время как бумажные деньги неизбежно должны там оставаться. Но ведь именно потому золотая монета и уходит из обращения в соответствующие моменты, что если бы она оставалась, то ее покупательная сила должна была бы уменьшиться по сравнению с ценой самого золота. Правда, поскольку при свободной чеканке верно положение, развитое Каутским [1]), что золото выступает всегда только со спросом, так что появление добавочного количества золотых монет в обращении может быть результатом добавочной добычи золота, что сопровождается обычно изменением общественной стоимости (цены производства) золота, т.-е. уменьшение покупательной силы денег есть результат понизившейся стоимости золота,— постольку это расхождение не имеет места. Но если мы гипотетически представим себе случай получения какой-либо страной добавочной суммы золота без соответственного ценностного эквивалента (напр., контрибуции), при чем государство выпустило бы это золото в обращение внутри данной страны, т.-е. предъявило бы повышенный спрос на ее товары, то логически неизбежно было бы понижение покупательной силы золотых монет в данной стране по сравнению с ценой золота—товара на мировом рынке. Естественно, что это привело бы к быстрому отливу золота из обращения.

В этой гибкости золотого обращения, в его постоянной самоприспособляемости к потребностям рынка в деньгах и заключается его положительная роль, ибо золото, само являясь мерилом стоимости, само же непосредственно регулирует необходимый „минимум своего обращения", т.-е. „сокращение и расширение количества обращающихся денег (золотых) представляется необходимым законом" [2]).

Но благодаря произведенному разграничению поддается объяснению также еще более серьезная проблема, а именно возможность превышения покупательной силы бумажных денег над стоимостью металла, символизируемой ими, не только в тех случаях (Австрия в конце 70-х г.г., Индия и Россия в 90-х г.г.), когда спорным является вопрос, к какому металлу приравнивать бумажные деньги, но и для тех случаев, хотя бы и гипотетических, когда имелась бы „свободная" (по классификации Гельфериха) золотая валюта, т.-е. золотая валюта с закрытой чеканкой. Возможность превышения покупательной силы золотой монеты (или параллельно с ней обращающегося кредитного знака) над стоимостью заключенного в ней золота, т.-е. дизажио на металл, теоретически должна быть предусмотрена и объяснена. При дизажио на металл, по нашей постановке вопроса, изменяется „цена денег", а не их стоимость, как думает Туган-Барановский [3]).

Формулированная постановка вопроса дает также возможность ясного разрешения вопроса о значении так называемых „индексов цен", общего уровня товарных цен и т. д. В этом случае мы имеем дело с деньгами, как с орудием обращения, т.-е. с „товарной ценой" денег, которая может непосредственно изменяться под влиянием двух факторов: ценности денег, как мерила стоимости, и соотношения между предложением этих орудий обращения и спросом на них,—спросом, отражающим как измененную стоимость отдельных

[1]) См. его интереснейшую статью: „Изменения в условиях производства золота и меняющийся характер дороговизны" в сб. „Деньги и денежное обращение в освещении марксизма", изд. НКФ. 1923 г. Маркс тоже отмечает это.

[2]) К. Маркс. К критике политической экономии. изд. „Моск. Рабоч.", 1922 г., стр. 124.

[3]) М. Туган-Барановский, Бумажные деньги и металл.

товаров, так и совокупную стоимость всего товарного обращения, иначе говоря, является уже результатом взаимодействия через рыночный механизм стоимости денег и стоимости товарной массы. Поэтому ясно, что эти индексы, т.-е. товарные рубли, никогда не могут быть мерилом стоимости в объективном его значении, ибо таковым может быть лишь общественно-необходимый труд, зависящий от производительной силы абстрактного труда, затраченного на производство товара, служащего этим мерилом стоимости.

Поэтому распространенный способ исчисления **ценности** денег при помощи индекса представляется нам теоретически неверным. Общий индекс, являющийся отношением между двумя уровнями цен в два момента времени не может являться „выражением взаимной зависимости всех товарных групп между собой", точно так же, как общий уровень товарных цен в стране не может явиться „интегралом или суммой всех конкретных расхождений и сближений групповых расценок между собой", как отстаивает в нашей литературе проф. С. А. Фалькнер [1], ибо этот общий уровень цен является результатом целого ряда сложных взаимоотношений, действующих в хозяйственном организме сил: в нем отразилось взаимодействие спроса и предложения на деньги; но с этим взаимодействием скрещивается, а отчасти в нем и отражается взаимодействие производственных факторов в отдельных сферах производства (изменение общественных стоимостей отдельных товаров). Поэтому изменения общего уровня цен и не может служить, хотя бы более или менее точным, показателем тех качественных и количественных изменений, которые произошли в общественном хозяйстве, ибо, помимо всего прочего, этот общий уровень цен не отражает еще удельного веса отдельных товарных видов на рынке. Игнорирование последнего момента приводит и тов. Д. Кузовкова к утверждению, что если государство путем установления новых налогов или путем займов стягивает в свои руки крупные денежные средства, которым оно дает не то назначение, которое они обычно получают в руках налогоплательщиков или кредиторов государства, то „в этом случае происходит сильнейшее перераспределение платежеспособного спроса, но общая сумма такого спроса, как и общая сумма товарных ценностей, остается при этом неизменной, и тем самым отпадает возможность повышения общего уровня цен" [2]). Это слишком поверхностное представление о сущности механизма спроса и предложения и о его влиянии на хозяйственный организм. Ведь ясно, что увеличение спроса на одни товары вместо других приводит и к соответственному перераспределению производительных сил между отдельными отраслями хозяйств, следовательно, к изменению и величины общественных стоимостей (цен производства) на отдельные товары; а при измененном соотношении между количеством обращающихся на рынке отдельных товарных видов, да к тому же еще с измененными стоимостями,—можно ли ручаться, что общий уровень цен останется тот же? Нам представляется, что, конечно, нельзя.

Поэтому роль индекса чисто условная, содействующая в периоды обесценения бумажных денег установлению степени изменения, например, реальной заработной платы, поскольку можно, опять-таки, условно принять, что соотношение между потребляемыми рабочим отдельными продуктами остается тем же (что, как известно, тоже не-

[1]) Проф. С. А. Фалькнер, Проблемы теории и практики эмиссионного хозяйства, стр. 223.

[2]) Д. Кузовков, Наши валюты, — „Вестник Коммунистической Академии" № 7, стр. 107.

верно). Но измерять при помощи индексов **ценность** денег совершенно неправильно.

Ценность денег мы имеем только при выполнении ими функции мерила стоимости, для чего деньги должны быть воплощением общественного труда. В функции же орудия обращения мы имеем „цену“ денег.

Необходимо заметить, что проводимый нами монизм ценности денег принципиально отличается от монизма, защищаемого проф. А. Соколовым: у нас—монизм социологический, а у него—вещно-технический [1]).

6. Механизм обесценения денег.

Механизм хозяйственных взаимоотношений, как он устанавливается под влиянием инфляции бумажных денег с точки зрения трудовой теории стоимости, не может быть изображаем так, как это делает проф. С. А. Фалькнер: „Новые деньги, попадая сначала в руки той или иной, обычно небольшой, группы лиц, повышая их платежеспособность и их спрос на средства производства и предметы потребления и далее повышая при неизменившемся товарном предложении цены на обе эти группы товаров, тем самым переходят в руки следующих, уже более широких слоев населения, пока путем ряда таких последовательных переходов не повысят общий уровень цен, вызывая в связи с этим ряд дальнейших изменений в жизни всего народного хозяйства“ [2]). Эту формулировку следует уточнить в том смысле, чтобы факт изменения цен выступал, как отражение трудовых процессов, и чтобы она давала возможность понять причину тех пертурбаций в распределении производительных сил, которые происходят под влиянием инфляционной денежной политики. Основная сущность этого процесса представляется нам в следующем виде: государство, начиная выпуск новых бумажных денег сверх потребных для товарного оборота при данном уровне цен, предъявляет этим добавочный спрос на определенные товарные ценности, чем способствует повышению их рыночных цен, что приводит, с одной стороны, к повышению в данных отраслях производства нормы прибыли, а, следовательно, к притоку к ним новых капиталов, в результате чего может измениться сама стоимость этих товаров, а, с другой стороны, повышая размеры производства в этих отраслях, приводит к повышению с их стороны спроса на товар других отраслей, производящих орудия и средства производства и средства потребления для них, следствием чего является повышение цен и на их продукцию и т. д. Таким образом **инфляция производит существенное перераспределение в производительных силах страны**. Поэтому повышение уровня цен (обесценение денег) нельзя рассматривать только с технической стороны, как „коррелат увеличения денежной массы“ [3]), ибо в этом повышении цен отражаются и изменения, происшедшие в величине стоимости отдельных товаров.

Отсюда явствует, что строго теоретически говоря, нельзя утверждать, как это делает тот же проф. Фалькнер, что „при прочих равных условиях средняя норма обесценения валюты есть не что иное, как показатель той доли товарных ценностей, которые изъяты государством при помощи эмиссионно финансового аппарата“ [4]). В данном

1) Проф. А. Соколов, Проблемы денежного обращения и валютной политики.
2) Проф. С. А. Фалькнер, Проблемы теории и практики эмиссионного хозяйства. стр. 23.
3) Ibid, стр. 19.
4) Ibid, стр. 40.

случае (поскольку под прочими равными условиями Фалькнер понимает, повидимому, обычное „ceteris paribus", т.-е. одинаковую скорость обращения денег, неизменную величину безденежных сделок и неизменный коэффициент денег вне оборота) игнорируется, во первых, происходящий процесс изменения самой ценности отдельных товаров, и, во-вторых, в том числе и изменения в ценности того денежного материала, который выполняет функцию мерила стоимости. Обесценение бумажных денег по отношению к товарам, т.-е. уменьшение их покупательной силы, поскольку таковая должна рассматриваться, как „товарная цена" денег, отражает в себе и изменение самих указанных ценностных величин, помимо фактов увеличения в обращении количества бумажных денег и изменения скорости их обращения. Поэтому норма их обесценения не может явиться показателем ценностей, извлеченных государством при помощи эмиссионно-финансового аппарата.

7. Теория „эмиссионного хозяйства" проф. С. А. Фалькнера.

Каждое новое внедрение в оборот дополнительной массы денежных знаков вызывает со стороны общественного трудового механизма определенную реакцию, которую необходимо рассматривать, как тенденцию к восстановлению нарушенного данной инфляцией хозяйственного равновесия. Постоянная безудержная инфляция, при которой нарушенное предыдущим выпуском равновесие, не успев еще восстановиться, вновь нарушается, увеличивая этим еще более степень отклонения от нормального равновесия, приводит к состоянию постоянно нарушенного равновесия хозяйственной системы, изменяя при длительном своем существовании всю картину народно-хозяйственных взаимоотношений. Но, в основе, в качестве факторов этих изменений мы имеем типичные законы товарно-капиталистического хозяйства; никаких особых, специфически присущих так называемому „эмиссионному хозяйству" закономерностей мы не имеем. Поэтому, между прочим, возможность конструирования понятия „эмиссионной системы" имеет raison d'être лишь в пределах финансовой науки, поскольку это понятие противопоставляется „налоговой системе", но никакой правомерности нельзя признать за категорией „эмиссионного хозяйства", поскольку под последней подразумевается особая система денежно-менового хозяйства с особыми закономерностями. Это станет очевидным после разбора основных, специфически присущих „эмиссионному хозяйству" закономерностей, установленных проф. Фалькнером.

1) „Никакое возрастание... бумажно-денежной массы (если только оно будет производиться хотя бы с самой элементарной постепенностью) не может привести к краху денежной системы в целом, к полному обесценению... валюты" [1]), „доколе нет никаких иных предпочтительных циркулярных средств в обращении, которые могли бы выполнять функции денежной системы" [2]). Это положение может рассматриваться в двух плоскостях: витая в области голой абстракции, можно, конечно, утверждать, что полное обесценение бумажных денег невозможно, ибо, как правильно указывает А. Финн-Енотаевский [3]), предел обесценения может наступить лишь при увеличении массы бумажных денег

---

[1]) Ibid., стр. 29.
[2]) Ibid., стр. 34.
[3]) В предисловии к книге д-ра Карла А. Шефера: „Классические системы стабилизации валюты", издание „Полярная Звезда", Петроград 1923 г.

до бесконечности $\left(0 = \frac{1}{\infty}\right)$. Но для уяснения реального механизма исследуемых явлений хотя и в абстрактно теоретической форме, но все же в пределах конкретной формы социальных отношений, необходимо разрешение именно того вопроса, который Фалькнером принимается в качестве предпосылки: когда именно наступает момент появления в обращении „иных предпочтительных циркуляторных средств“, и наступает ли этот момент только в результате активного или пассивного содействия руководителей финансовой политики (как в примере с французскими ассигнатами времен революции, вытесненными золотом) или он может наступить чисто стихийно против воли последних. Мы полагаем, что этот момент может наступить и чисто стихийно и именно тогда, когда уменьшение покупательной силы бумажных денег подвергается слишком резким отклонениям от темпа предшествовавшего их обесценения по сравнению с объективным мерилом стоимости, а такой темп обесценения ведь **совсем не пропорционален** темпу эмиссии. Именно тогда наступает стихийно репудиация данной валюты (отказ в приеме ее), и внедрение в обращение или устойчивой иностранной валюты, или других ценных бумаг, не бывших до того циркуляторным средством.

2) „Как критерием здорового денежного хозяйства является устойчивость ценностей денежной единицы, так критерием нормального эмиссионного хозяйства является устойчивость темпа обесценения ее“ [1]). Это положение проф. Фалькнера кажется нам неверным именно потому, что темп обесценения денежной единицы является результатом сложного взаимодействия различных факторов, и поэтому отражением якобы каких-то „нормальных“ хозяйственных процессов не может быть: **одна и та же норма обесценения бумажных денег по отношению к общему уровню товарных цен может совсем не соответствовать одним и тем же качественным и количественным изменениям в распределении производительных сил.**

3) Наконец, установленная Фалькнером, якобы, „наиболее глубокая и интимная закономерность всей эмиссионной системы“, сводящаяся к тому, что „степень взаимного соответствия этих двух категорий темпа эмиссии и относительной эффективности эмиссии является критерием доброкачественности (эффективности) работы эмиссионного аппарата, а расхождения между ними указывают рациональный предел его использования“ [2]), сводится в сущности к трафаретному положению о том, что если темп роста цен не превышает темпа эмиссии, то эмиссия еще эффективна. Это явствует из следующего хода рассуждений Фалькнера, представленного нами в простой алгебраической форме: обозначая сумму бумажных денег через a, сумму выпущенных в течение месяца денежных знаков через b, товарный индекс к началу месяца через c, а к концу месяца через $b+\Delta c$, получаем, что, по терминологии Фалькнера, реальная ценность всей бумажно-денежной массы к началу месяца $= \frac{a}{c}$; абсолютная эффективность эмиссии, т.-е. ценность выпущенных бумажных денег за месяц $= \frac{b}{c+\Delta c}$, а относительная эффективность, следовательно, =

[1]) Проф. С. А. Фалькнер, цит. соч., стр. 45.
[2]) Ibid., стр. 190.

$= \frac{b}{c+\Delta c} : \frac{a}{c} = \frac{b.c}{a(c+\Delta c)}$. Сопоставляя эту величину с величиной темпа эмиссии $\frac{b}{a}$, видим, что степень различия в них зависит исключительно от величины Δc, т.-е. от прироста товарных цен,—иначе говоря показателем „степени взаимного соответствия“ между темпом эмиссии и относительной эффективностью эмиссии является темп роста цен.

Но, ведь, рост цен, как уже неоднократно упоминалось, есть результат тех перегруппировок, которые происходят в трудовых взаимоотношениях между отдельными частями хозяйственного организма, а также изменения общественной производительной силы труда. Поэтому, если темп роста цен начинает обгонять темп эмиссии, хотя первый и был вызван к жизни второй, то это означает, что хозяйственная дезорганизация (нарушение равновесия частей хозяйственной системы между собой) достигло такой степени, что она грозит отказом рынка в приеме данной валюты, ибо при ее господстве неизбежен разрыв меновых связей вообще. Из этого следует, что эта „наиболее глубокая и интимная закономерность эмиссионного хозяйства“ означает не что иное, как гипертрофированный в болезненной хозяйственной обстановке некоторый очень плохой показатель степени равновесия (или отсутствия такового) между отдельными частями хозяйственного организма. Плохой показатель потому, что он не выявляет изменений, происшедших между общественными трудовыми затратами на отдельные товарные виды [1]).

Таковы основные „закономерности“, установленные проф. Фалькнером, дающие ему право построения новой категории „эмиссионного хозяйства“. Уже из разобранного нами ясно, что главный грех всех построений Фалькнера заключается в полном игнорировании им денег, как вещественного воплощения регулирующей роли мерила стоимости. В условиях советского хозяйства эта стихийная регулирующая роль мерила стоимости, конечно, парализовывалась одно время в большей степени (в период военного коммунизма), в другое время—в меньшей степени (в период нэп'а) тем, что основные отрасли промышленности или полностью, или в преобладающей части изъяты из под влияния закона выравнивания нормы прибыли (поэтому, между прочим, и были возможны „поиски“ мерила стоимости у нас, как рационального искусственного масштаба для измерения). Но при попытке установления закономерностей особой системы хозяйства („эмиссионной“), „противостоящей в пределах хозяйства менового хозяйству денежному в его традиционном описании“ [2]) игнорирование этой основной функции денег, являющейся регулятором всякого менового хозяйства (родовое понятие для обоих видов денежных систем хозяйства по Фалькнеру) является методологически совершенно недопустимым приемом. Характерно, ведь, что в работе, посвященной проблемам теории и практики эмиссионного хозяйства, автор

[1]) Необходимо оговориться, что при этом мы не касаемся вопроса о том, какой из предложенных в нашей литературе методов установления степени „эффективности“ эмиссии более правилен: 1) метод ли проф. Юровского („На пути к денежной реформе“), сопоставляющий так называемую „сумму извлеченных эмиссией ценностей“ с темпом эмиссии, 2) указанный ли в тексте метод проф. Фалькнера или 3) метод В. Базарова—по нормальному ходу кривой рыночной емкости („В Соц. Академии“, № 4, стр. 36). Мы считаем, во всяком случае, что, поскольку измерять ценности можно не индексами, а объективно существующей реальной товарной ценностью, постольку и степень „эффективности“ эмиссии может быть установлена на основе исчисления ценностей, извлеченных из оборота государством, посредством действующего в данный момент мерила стоимости.

[2]) Ibid., стр. 25.

даже не вспоминает нигде о проблеме мерила стоимости. В другой же более ранней своей работе проф. Фалькнер об этой функции говорит: „Функция мерила стоимости (счетно расценочная) выполняется той из двух конкурирующих денежных единиц, которая является в данный момент преимущественным платежным средством широких масс населения, т.-е. чья масса является преимущественным орудием товарного оборота. В ней исчисляются и товарные цены, перечисляемые ad hoc в случае платежа другой, циркуляторно-пособной денежной единицей, применительно к существующему в это время соотношению их ценности. В этом смысле счетно-расценочная функция имеет вторичное зависимое значение по отношению к циркуляторной функции“ [1]). Эта цитата с достаточной ясностью свидетельствует о полном игнорировании Фалькнером объективно-общественного значения функции мерила стоимости: оно подменяется совершенно второстепенной и производной ролью счетного средства субъективных калькуляций.

8. Ценность денег и их интервалютарный курс.

Переходим к механизму денежного обращения между отдельными странами. Сущность денег здесь остается та же. Более того, „только на мировом рынке деньги вполне развивают свою функцию товара, натуральная форма которого есть вместе с тем непосредственно общественная форма реализации человеческого труда in abstracto. Способ их существования становится адэкватным их понятию“ [2]). Следовательно, золото здесь овеществляет общественную мировую стоимость отдельных товаров, уравнивающую индивидуальные стоимости (resp.: цены производства) товаров отдельных стран. Но такими „овеществлением всеобщего рабочего времени деньги являются в такой степени, в какой материальный обмен реального труда распространяется по земной поверхности“ [3]), т.-е. в той мере, в какой обмен товарных ценностей происходит между отдельными странами. На международном рынке деньгами в их функции мерила стоимости выступает мировая стоимость золота. Но, с другой стороны, здесь „они являются всеобщим эквивалентом в такой мере, в какой развивается ряд отдельных эквивалентов, составляющих их меновую сферу“ [4]). Приравнение этих отдельных частных (национальных) эквивалентов между собою (валютный паритет) происходит на основе мировой стоимости золота. В моменты равновесия при полном ценностном совпадении в обмене товарами (в широком значении—„реального труда“) между двумя странами цена денег одной страны в деньгах другой (интервалютарный курс) должна совпадать с отношением между ценностями содержащегося золота в соответствующих двух валютах. Степень отклонения цены денег одной страны (курс ее валюты) в деньгах другой по сравнению с их ценностным соотношением является показателем превышения соответственно ввоза или вывоза товарных ценностей одной из этих двух стран по отношению к другой.

Курс валюты есть, следовательно, цена денег данной страны в деньгах другой, зависящая от соотношения ценности этих двух валют, измеренных при помощи мировой стоимости золота.

При анализе изменений, происходящих в интервалютарных кур-

---

1) С. А. Фалькнер. Бумажные деньги Французской революции, стр. 271—272.
2) К. Маркс, Капитал, т. I стр. 115—116.
3) К. Маркс, К критике полит. экономии, изд. „М. Раб.“, 1922, стр. 150.
4) Ibid.

сах, рассмотрению подлежат следующие три основных случая: курс денег между двумя странами, во-первых, при господстве в них валюты, служащей одновременно и мерилом стоимости; во-вторых, при обращении в них кредитных денег без свободного размена, и, в-третьих, при господстве чисто бумажно-денежного обращения в них.

Как причины, так и пределы отклонений курса валюты от ценности денег, как мерила стоимости (т.-е. от паритета), при наличии ценностной валюты достаточно выяснено в экономической литературе и не вызывает особых споров. Необходимо лишь отметить, что платежный баланс вызывает действие механизма спроса и предложения в отношении данной валюты, при помощи которого находит свое осуществление закон ценности денег (паритет) аналогично механизму спроса и предложения вообще. Возможность в каждый данный момент расхождения между отклонениями внутренней цены денег (покупательной способностью) и отклонениями внешней их цены (курса) от их единой ценности и объясняется, как уже было указано, действием их в двух сферах обращения. Единство мирового хозяйства приводит к быстрому выравниванию этих отклонений.

Господство в какой-либо стране кредитного денежного обращения, базирующегося на золоте, но без свободного размена, порождает несколько более усложненные явления: отсутствие свободного размена кредитных денег внутри страны не оказывает особого влияния на курс денег. Этот курс может быть поддержан активной девизной политикой, требующей наличия золотого запаса или активного платежного баланса. Но возможность расхождения в отклонениях внутренней покупательной способности денег и внешнего их курса от их ценности (мерила ценности) дана в значительно больших пределах, ибо выпуск банкнот лишь под обеспечение иностранных девиз может превратить банкноты внутри страны в простые бумажные деньги: отсутствие соответствия в таком случае между их количеством и потребностями обращения приводит к распространению на них последствий обычной бумажной инфляции, т.-е. к падению их внутренней покупательной способности (пример: современная Австрия, где внешний курс валюты вполне устойчив и обеспечен золотым и девизным покрытием в размере 63%, а внутренняя их покупательная способность падает). Такого рода расхождение и при кредитном обращении вызывает, конечно, противодействующие тенденции, стремящиеся к его нивеллированию: порождаемая этим расхождением ввозная премия приводит к росту импорта (при отсутствии препятствий), что, с одной стороны, понижает товарные цены (повышает покупательную способность денег), а, с другой стороны, приводит к росту платежных обязательств данной страны, т.-е. понижает курс ее валюты или уменьшает ее золотой и девизный фонд (как в той же современной Австрии). Дальнейшая же инфляция банкнот такого рода, т.-е. выпуск их не под товарные векселя, а финансовые, должна привести к фактическому превращению кредитного денежного обращения в чисто бумажное.

При господстве же чисто бумажного денежного обращения, непосредственно с золотыми и девизными ценностями не связанного, пределы колебаний интервалютарного курса еще более широкие, но центром этих колебаний остается, конечно, ценность золота, поскольку последнее служит мировыми деньгами. При этом в курсе валюты страны с бумажно-денежным обращением по отношению к курсу валюты страны с золотым (или вообще ценностным циркуляторным) обращением, ценность золота проявляется совершен-

но очевидно, проводя свое действие лишь через аппарат платежного баланса. При наличии же интервалютарного курса между двумя странами, в которых одинаково господствует бумажно-денежное обращение, эта ценность золота проявляется через сложное взаимодействие нескольких сил. Прежде всего, поскольку курсом какой-либо валюты является ее цена в деньгах другой страны, постольку в данном случае он (курс) зависит от внутренней цены данной валюты, т.-е. ее покупательной силы на своей родине, ибо лишь поэтому на нее, являющуюся бумажным знаком, имеющим хождение лишь в национальных пределах, и может быть предъявлен спрос за границей. Но эта зависимость курса валюты от ее внутренней покупательной силы тоже не механическая, а функциональная, долженствующая пройти через механизм спроса и предложения на иностранных биржах (внешняя сфера обращения),—механизм, находящийся, в свою очередь, в зависимости от платежного баланса данной страны. Отсюда явствует, что теория „паритета покупательной силы денег", считающая, что „паритеты покупательной силы представляют собою истинное равновесие валют" [1]), несостоятельна по двум причинам: во-первых, методологически она конструируется бесхребетно, поскольку покупательная сила денег есть только их „цена", категория производная, сама постоянно изменяющаяся, не могущая поэтому быть центром хозяйственного и денежного равновесия между двумя странами, каковым является паритет; во-вторых, она игнорирует или во всяком случае недооценивает тот механизм, в виде платежного баланса, который является непосредственно фактором колебаний курса.

Возражение, выставленное против этой теории Дж. М. Кейнсом, что она „может иметь значение только в применении к товарам, которые обращаются в международной торговле" [2]), кажется нам недостаточным и малоубедительным, ибо при падающей валюте ассортимент товаров, ввозимых и вывозимых из данной страны, может изменяться и отличаться от обычного типа товаров, „обращающихся в международной торговле".

Таким образом, если и можно выводить зависимость курса валюты от внутренней ее покупательной силы, то лишь, во-первых, в такой же форме, в какой в математике устанавливается зависимость производной функции от первоначальной, при чем обе они зависят от основного аргумента (в данном случае мерила стоимости, выражающего собой производительную силу общественного труда, овеществленную в ценности денежного материала), и, во-вторых, эта зависимость не непосредственная, а проявляющаяся через аппарат платежного баланса.

Обратимся теперь к рассмотрению того, в каких формах проявляется это сложное взаимодействие ценности денег и обоих цен их. Внутренняя покупательная сила денег первая отражает на себе нарушение равновесия между спросом и предложением денежных знаков. Через аппарат внешней торговли проявляется тенденция к уравнению понизившейся вследствие денежной инфляции внутренней цены денег с их внешним курсом, оставшимся пока еще устойчивым (усилением импорта и, следовательно, ростом платежных обязательств). Наличие большого золотого запаса или монополия внешней торговли могут дать возможность сохранять устойчивый внешний курс валюты при падающей внутренней цене ее. Но при отсутствии таких средств

[1]) Густав Кассель, Мировые проблемы денежного обращения, Петербург, изд. „Право", стр. 21.

[2]) Дж. М. Кейнс, Теория вексельных курсов и паритет покупательной силы, перев. в сб. „Новые идеи в экономике", № 7, стр. 38.

падение валютного курса неминуемо в ближайшее же время. Таким образом при помощи элементов платежного баланса выравниваются обе цены денег. Но практика показала возможность длительного расхождения этих двух цен. Теория „паритета покупательной силы денег", как верно отмечает проф. С. Б. Членов [1]), объяснения этому явлению дать не может. Проф. А. Соколов, давший в выше цитированной работе довольно интересный очерк о теории лажа, тоже не дает в сущности объяснения этому факту, а пользуется утверждением от противного, ссылаясь на то, что если бы покупательная сила совпадала с валютным курсом, то лаж не мог бы быть ценообразующим фактором,—но именно это-то и подлежит объяснению! Нам представляется, что длительная инфляция в дальнейшем оказыва более сильное влияние на курс денег, чем на внутреннюю покупательную силу, ибо в то время, как для понижения последней необходим более или менее продолжительный процесс рассасывания денег для изменения уровня товарных цен,—внешний курс является более чутким барометром, находящимся под влиянием многих факторов международных взаимоотношений, из которых, помимо платежного баланса, весьма существенным является понижение кредитоспособности данной страны: иностранные капиталы „напарываются" (по выражению Шефера) на падающую валюту и не идут туда, что служит дополнительным фактором понижения курса данной валюты [2]). Единственным средством к восстановлению равновесия является усиленный товарный экспорт, так называемый „валютный дэмпинг", вызываемый экспортной премией от разницы между внутренней покупательной силой и внешним курсом данной валюты. В результате этот усиленный товарный экспорт мог бы привести к уравнению внутренней и внешней цен денег, если бы не дальнейшая инфляция, противодействующая все в большей степени этим уравнительным тен-

[1]) В предисловии к книге д-ра Георга Комени „Иностранные вексельные курсы и переворот в международных экономических отношениях", изд. ВСНХ, М. 1923 г.

[2]) Необходимо отметить, что у проф. Эрнста Шульца, работы которого недавно переведены на русский язык, имеется явная путаница в этом вопросе. Так, он в последней своей книге („Распад современных валют. Крах денежных курсов и его торгово-политические последствия", перев. Н. Д. Маркусова, изд. „Книжный Угол", Ленинград—Москва 1924) на стр. 24 заявляет, что „раньше и сильнее всего отражается инфляция на торговле иностранными деньгами (как самым подвижным и ходовым мировым товаром), за ней следует оптовая торговля в то время, как цены розничной торговли стоят в третьем ряду, заработная плата—в четвертом"... и т. д. На стр. же 26 он пишет: „...для соотношения между внутренними и внешними ценами имеет огромное значение своеобразное препятствие, которое почти всегда выпадает на долю торгового баланса, благодаря инфляции: последнее влечет за собою, на что редко обращают внимание,—я склонен допустить, что тут действует закон мирового хозяйства,—у в е л и ч е н и е в в о з а, и по общему правилу также п а д е н и е в ы в о з а. Конец этому наступает тогда, когда бедственная валюта приближается к нулю". Во-первых, последнее утверждение противоречит первому, ибо если инфляция оказывает свое влияние в первую очередь на обесценение курса данной валюты, а потом уже на ее внутреннюю покупательную силу, то очевидно, что это должно создать не ввозную, а э к с п о р т н у ю премию, т.-е. как раз ведет к усилению вывоза и к падению ввоза; а, во-вторых, второе утверждение противоречит фактам, ибо для стран с падающей валютой как раз характерен усиленный экспорт, и сторонниками бумажно-денежной инфляции являются как раз экспортеры (пример Германии, в которой живет проф. Шульц, это наилучшим образом подтверждает). В действительности же необходимо различать д в е с т а д и и в этом процессе: в первую очередь инфляция оказывает свое влияние именно на понижение покупательной силы денег внутри страны, ибо только в национальных пределах возможна инфляция,—и это приводит к усилению ввоза; но такое состояние продолжается недолго, ибо курс валюты должен также понизиться, поскольку она представляет внутри страны уже меньшую покупательную силу и поскольку усиленный ввоз увеличивает платежные обязательства данной страны; в дальнейшем же, как мы указываем в тексте, замечается иное взаимоотношение между курсом и внутренней покупательной силой денег: курс валюты падает скорее, чем ее внутренняя покупательная сила, что стимулирует экспорт.

денциям, ибо форсирует дальнейшее падение куса валюты увеличивая таким образом еще более разницу между внутренней и внешней ее ценой и между обеими этими ценами денег и их ценностью.

Процесс денежной инфляции таким образом нарушает хозяйственное равновесие не только между отдельными отраслями производства внутри страны, но в еще большей степени в области международных экономических связей, что сказывается во все большем отклонении валютного курса от ценности денег (золотого паритета). Но положение Гельфериха, повторяемое им несколько раз [1]) о возможности безграничных колебаний интервалютарного курса при „свободной“ валюте находит свое ограничение в том, что состояние системы в постоянно нарушенном равновесии имеет свой предел: как внутри страны репудиация бумажных денег наступает, как мы указывали уже, при резких колебаниях их покупательной силы, так и резкие колебания валютного курса приводят к отказу в приеме этой валюты на иностранных рынках. Наступает пора естественной или искусственной стабилизации валюты.

Таким образом, по остроумному выражению Шефера, „безудержная инфляция представляет не бесконечный винт, но змею, кусающую свой собственный хвост. Нулевая точка = золотой точке“ [2]).

9. Роль государства.

Роль государства (автогенного начала) в денежной системе представляется нам после изложенного сходной в некоторой мере с ролью монополистических объединений: само подчиняясь гетерогенным законам рынка оно может посредством расширения (инфляции) или сужения (дефляции) размеров выпускаемых на рынок денежных знаков косвенно регулировать внутреннюю и внешнюю „цену“ денег. Но в основе ценнообразования денег, как и товаров, лежит основной закон менового хозяйства—закон ценности, который своей количественной стороной (общественно-необходимый труд) регулирует хозяйственное равновесие общества. Поэтому принципиально неправ Гильфердинг, считая, что „в пределах минимума средств обращения вещественное выражение общественного отношения заменяется сознательно регулируемым общественным отношением“ [3]), ибо даже в пределах минимума обращения основное общественное отношение, представляемое функцией мерила стоимости, овеществлено в виде „идеального“ золота, служащего объективным регулятором самого этого минимума средств обращения.

И эту ошибку Гильфердинга мы склонны рассматривать скорее как логический выход из неправильной трактовки им категории общественно-необходимого труда, чем как результат влияния на него теории Кнаппа, как думают некоторые товарищи, ибо, помимо указания Гильфердинга на то, что его главы о деньгах были написаны еще до появления работы Кнаппа [4]), нужно считаться с тем, что „государственная теория денег“ представляет собою совершенно особую социологическую концепцию, между тем как у Гильфердинга мы имеем выдержанную систему взглядов (включающую и все его ошибки в

---

1) См. его „Studien über Geld und Bankwesen“, ст. „Aussenhandel und Walutaschwankungen“, S. 95 и „Das geld“, S. S. 469, 477, 487—489.

2) Д-р Карл А. Шофер, Классические случаи стабилизации валюты, прил. к стр. 126.

3) Р. Гильфердинг, Финансовый капитал, изд. 1912 г., стр. 22.

4) Ibid., предисловие, стр. XXVIII.

области теории денег), строго логически вытекающую из тех основных абстрактно-теоретических положений, которые им развиты в начале его книги и которые не имеют ничего общего с концепцией Кнаппа.

Из всего, сказанного нами, вытекает и наше отношение к вопросу о том, есть ли надобность в конструировании, хотя бы в качестве прикладной к основной марксистской теории денег, добавочной государственной теории денег. Никакой надобности в этом нет. Социологическая школа Маркса-Энгельса с достаточной ясностью определила роль и значение государства в общей совокупности общественных связей. В области денежного обращения приходится лишь особо конкретно установить значение государства и пределы его власти. Это вполне исчерпывается приведенной выше формулой.

Б. Лившиц.

Современные критики марксизма.

(О противомарксистской атаке в вопросах государства).

Противники марксизма время от времени выбирают в качестве мишени для своих критических упражнений ту или иную сторону марксистского учения. С буйной энергией господа критики начинают трепать ту сторону Марксовой теории, которая в данный момент кажется им наиболее угрожающей современному общественному укладу. Один за другим почтенные критики открывают у старого Маркса грехи против логики, морали, истории, научной истины... Ординарные и экстраординарные гелертеры, угасающие и восходящие светила буржуазной науки, заслуженные профессора и развязные публицисты взапуски атакуют Маркса. Потерпев неудачу в одной области, они обращаются к другой, пятой, десятой... Обсосав марксизм со всех сторон, трудолюбивые марксоеды начинают свою сизифову работу сызнова. Грехи против логики, морали, истории, научной истины... Закон трудовой стоимости сталкивается с законом равного уровня прибыли... Классовые противоречия притупляются... Марксизм механичен, шаблонен, односторонен. Надо пересмотреть, дополнить, изменить, сочетать... А затем? Грехи против логики, морали, истории, научной истины... Закон трудовой стоимости сталкивается... Так совершает антимарксистская белка свой героический бег в колесе.

Нетрудно, конечно, понять, почему в наши годы противомарксистская братия с особым усердием критикует Марксову теорию государства.

Ох, недаром, недаром
С бравым гусаром
Гуляет она...

Проблема государства, как никогда, остро стала в послевоенные годы перед социалистическими партиями. Диктатура пролетариата, демократия, участие в управлении государством, отмирание государства, уничтожение государства, государство переходного периода — десятки вопросов, касающихся государства, властно стали в годы войны и по ее окончании перед международным социализмом, требуя словами сфинкса: „Отгадай или я пожру тебя“. Проблема государства стала той демаркационной линией, которая отделила революционеров от реформистов, марксизм от оппортунизма. Вопросы государства в

нашу эпоху—это не только Zeit und Streitfragen, это буквально вопросы жизни и смерти для политических партий. Уже в предисловии к своей классической работе В. И. Ленин писал: „Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом и в практически-политическом отношениях“ [1]). За семь лет, прошедших с тех пор, как были написаны эти слова, проблема государства в социализме не только не потеряла своего интереса, но—наоборот—его значительно увеличила, хотя бы в силу одного только факта появления на исторической арене советского государства.

Вполне понятно поэтому то особое внимание, которое уделяет вопросу о марксистском понимании государства антимарксистская литература. Обратившись к заслуживающей наибольшего внимания литературе немецкой, мы встретим, не говоря об отдельных статьях, ряд объемистых работ, посвященных нашему вопросу. Если попытаться классифицировать, так сказать, эти труды, то можно будет наметить среди них три основных группы. Первая, выступающая против марксизма с открытым забралом. То—явные враги, пытающиеся сокрушить всю Марксову концепцию государства. К этой группе относятся Ганс Кельзен и Фридрих Ленц. Ко второй группе принадлежат псевдомарксисты, вытравляющие революционную сущность марксистской теории государства. Эти оппортунистические фальсификаторы нашей теории государства представлены в германской литературе вопроса Генрихом Куновым и Гербертом Султаном. Наконец, к третьей группе я бы отнес услужливых друзей марксизма—тех из защитников Марксова учения о государстве, которые, защищая это учение от нападок критиков, попутно вносят в него элементы реформизма и оппортунизма. В последнем случае мы сталкиваемся с наиболее тонким и потому наиболее опасным искажением марксизма. Из таких псевдозащитников марксистской теории государства следует в первую голову назвать Карла Каутского и Макса Адлера.

Изучая новую германскую литературу, посвященную проблеме „Марксизм и государство“, раньше всего отмечаешь черту, весьма характерную для всей этой литературы—ее крайнюю неоригинальность. Наши современные критики—эпигоны тех, кто критиковал нас два-три десятка лет тому назад. Эпигоны, жующие старую, казалось, всем надоевшую жвачку, орудующие затасканными доводами и опошленными словечками. Аргументы, десятки раз разбитые вдребезги; жалкие, давным-давно обанкротившиеся мысли...

Попутно отметим обстоятельство, могущее служить предметом „национальной гордости великороссов“. Во времена оны русских критиков марксизма обвиняли в том, что они задним числом повторяют доводы критиков западно-европейских. Как зло, например, Г. В. Плеханов издевался над народнической интеллигенцией, щеголявшей—по его слову—в старомодной шляпке, которую сбросила с себя барыня—Западная Европа. Теперь русские критики марксизма уплатили

[1]) Н. Ленин, Государство и революция. Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 297.

давний долг своим западным коллегам. Кельзен, Ленц и К-о вытаскивают из-под спуда десятилетий старые слова Струве, Булгакова, Тугана-Барановского и ими побивают Маркса. Долг платежом красен, мы оплатили свой национальный долг...

Однако, шутки прочь! Современная германская литература по вопросу о марксизме и государстве твердит зады и лжет за двух. Обстоятельство это серьезно затрудняет критику наших критиков, так как в противовес им приходится снова выдвигать уже давно выдвинутые марксизмом аргументы. Но что ж поделать? Прав был мудрый Гете: „Истину необходимо постоянно повторять, ибо и ложь ведь не устают проповедывать вокруг нас“.

I.

Желая разобраться в литературе интересующего нас вопроса, мы сперва обратимся к одному из застрельщиков современной противомарксистской атаки в вопросах государства—профессору Венского университета Гансу Кельзену. Кельзен—глава формально-юридической (нормативной) школы, в последнее время завоевавшей довольно многочисленных адептов среди правоведов Запада—выступил с большой работой, направленной против марксовой теории государства: „Социализм и государство“ [1]).

Вся работа Кельзена—воплощение формальной логики, отправной пункт всех его рассуждений—абстрактная юридическая норма. То обстоятельство, что юридическая абстракция сплошь и рядом вступает в конфликт с действительностью, ни мало не смущает нашего ученого. В одной из своих работ („Основные вопросы государственного права“) Кельзен так и заявляет: „Упрек, который часто ставят чисто формальному методу, указывая, что он дает неудовлетворительные результаты, так как не обхватывает действительной жизни и оставляет необъясненной подлинную правовую действительность,—этот упрек покоится на полном непонимании сущности юриспруденции, которая отнюдь не стремится ни обхватить подлинную действительность, ни „объяснить“ жизнь“ [2]).

Таким образом критика, которую Кельзен осуществляет по отношению к марксизму, по своему существу диаметрально противоположна нашему методу—методу социологическому, берущему жизнь во всей ее многогранности и далеко не „логической“ действительности. Формально-логические схемы Кельзена, орудуя которыми он пытается взорвать марксистскую концепцию государства, дают неподражаемый образчик метафизического подхода к одной из кардинальных проблем современной социологии. Последнее обстоятельство сильно

[1]) „Sozialismus und Staat“. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus von Hans Kelsen. Впервые напечатано в „Архиве по истории социализма и рабочего движения“ (Архив Грюнберга) за 1920 г., т. IX. Тогда же вышло отдельным оттиском. При цитатах я пользуюсь вторым дополненным изданием работы Кельзена.

[2]) H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, S. 93.

затрудняет дискуссию марксиста с Кельзеном: спор приходится вести в двух различных методических плоскостях. Но если эта задача трудная, то отнюдь не невозможная.

Кельзен—не враг социализма. „О нет, даже наоборот", как восклицает один из героев Горбунова. В предисловии ко второму изданию своей книги Ганс Кельзен считает необходимым с особой энергией подчеркнуть („mit allem Nachdruck zu betonen"), что его работа не направляется против социализма. „Только марксизм и в нем лишь его политическая теория—вот с чем я спорю. Сомнению подвергается не социалистический идеал, а устанавливаемая марксизмом возможность безгосударственного осуществления этого идеала". О ненавистный марксизм, о трижды проклятая его политическая теория,—если б не вы, как мило и комфортабельно расположился бы профессор Кельзен на лоне уютного социалистического идеала... Ведь профессор Кельзен не враг социализма—mit allem Nachdruck zu betonen...

Итак, профессор Кельзен сводит счеты лишь с марксизмом и в нем лишь только с его политической теорией. Вы улыбаетесь, читатель? Да, ничего другого нам с вами не остается делать при виде того, как старый ученый, глава целой популярной в определенных кругах школы, наивно думает, что можно из марксизма вылущить лишь только его политическую теорию, и не понимает, что эта самая теория является интегральным, неотъемлемым элементом марксизма. „Уж сколько раз твердили миру", что марксизм—единое и стройное миросозерцание, все части которого неразрывно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга, взаимно осмысливают друг друга. А все ж не переводятся охотники хватить какую-либо „сторону" марксизма—философию, социологию, экономию, „политическую теорию",—вырвать ее из живого тела Марксова учения, и пошла писать губерния... Нет, добрые люди,—ведь, наконец, эта игра становится скучной. Каждый критик, берущийся „изничтожить" марксизм, должен раз навсегда зарубить на своем критическом носу, что марксизм—единое, стройное миросозерцание, понять которое можно лишь как таковое, т. е. прежде всего как нечто цельное. Нельзя выдергивать из марксизма отдельные ниточки и на основании их судить о нашей теории: так действуя, вы доказываете лишь одно свое собственное непонимание марксизма. И от этого непонимания вас не спасут ни безупречные нормативные построения, ни груды цитат из Маркса-Энгельса. Лучшим доказательством тому является профессор Кельзен—такой умный, такой ученый, такой... наивный критик Маркса.

Перейдем же к зачитыванию того обвинительного акта, с которым он выступает против Марксовой теории государства.

Критикуя марксистское понимание государства, Кельзен исходит из формально-юридического определения государства, как правового принудительного строя (Zwangsordnung). Решающим при определении государства является для Кельзена то, что государство—это союз,

покоющийся на господстве (Herrschaftsverband). „Это означает прежде всего не что иное, как то, что строй человеческого общежития, который называют государством,—строй принудительный, и что этот принудительный строй... совпадает с правовым строем"[1]. Характеризуя государство, как строй принуждения, Кельзен хочет этим подчеркнуть два момента: во-первых, необходимость подчиняться данному строю не зависит от субъективной воли тех, кто образует данное государственное единство; во-вторых, государство осуществляет свою власть путем принудительных актов. Для Кельзена существенным в понятии государства является не преследуемая им социальная цель, не его социологическое содержание, а лишь юридическая норма, определяющая государство, как некую правовую форму общественной жизни. Ничего удивительного после этого нет в том, что Кельзен не хочет и не может понять того, что в действительности является основным в понимании государства: того, что оно служит определенной социальной цели — подчинению одних классов другим. Кельзен заявляет о своем согласии с марксизмом, рассматривающим, как фикцию, всякое определение государства на основе солидарности интересов. Но он не может согласиться с тем, что государство—это орудие эксплоатации класса классом. „Определение государства, как строя в высокой степени выраженного принуждения, отнюдь не является бессодержательным, как в этом нас упрекают марксисты. С другой стороны, совершенно недопустимо, если марксисты же отождествляют понятие государства с эксплоататорским классовым господством, т.-е. с угнетением одного класса другим в целях эксплоатации. Почему же Кельзен восстает против „навязываемых" марксизмом государству эксплоататорских тенденций и классового угнетения? Потому, что, во-первых, существовали государства, основным содержанием которых не являлась хозяйственная эксплоатация, во-вторых, эксплоатация эта не может быть признана единственной целью современного государства; в-третьих, мыслимо государство, целью которого является не только не осуществлять эксплоатации, но, наоборот, противодействовать ей; в-четвертых, современное государство путем рабочего законодательства, охраны труда и т. д. обнаруживает стремление к уничтожению классовых противоречий.

Во всех приведенных доводах блестяще сказывается бесплодный схоластизм кельзеновской теории. Эти доводы применимы по отношению к той логической абстракции, которую Кельзен окрестил государством, но они совершенно несостоятельны в приложении к настоящему, конкретному государству, государству исторической действительности, а не юридической схемы.

Существовали государства, не знавшие хозяйственной эксплоатации, твердит Кельзен. Где и когда существовали такие государ-

[1] H. elsen, Sozialismus und Staat. . 11.

ства? Разве в эпоху первобытного коммунизма, эпоху бесклассового общества, т.-е. тогда, когда не было еще государства. Когда возникло государство, общество, ведь, уже расслоилось на классы, одни из которых эксплоатировали другие — настоящий заколдованный круг, из которого никак не выбраться. Далее, эксплоатация — не единственная цель современного государства. Кельзен упускает из виду, что основная и главенствующая цель государства — обеспечить возможность одним классам эксплоатировать другие, охранять классовое расчленение общества. В этом единственная социальная функция государства. Эксплоатация отнюдь не цель государства: она представляет собой факт экономического порядка, на стражу которого государство ставит свой политический аппарат. Заезженные ссылки наших противников на то, что государство, мол, печется о здравии всех граждан, всеобщем образовании, строит железные дороги для всех граждан, охраняет безопасность всех граждан и т. д.,— эти заезженные ссылки на так-называемые „общеполезные“ функции гроша ломаного не стоят. Да, государство заботится о санитарии, да, оно строит железные дороги, — ибо тем самым оно обеспечивает минимальные предпосылки для своего собственного существования. Без наличия этих предпосылок государство попросту не сможет отправлять свои функции. В основе указанных мероприятий лежит не забота о всеобщем благе, а обеспечение тех условий, при которых государство только и может осуществлять свою основную функцию: быть организацией классового господства. „Общеполезные“ функции государство выполняет лишь постольку, поскольку это необходимо для реализации стоящих перед ним классовых заданий.

Один из козырей Кельзена: мыслимо государство, не только не содействующее эксплоатации, но даже ей противодействующее. Наш ученый имел при этом возможность сослаться на разительный пример советского государства. Но и здесь сказывается лишь достойное удивления убожество логических конструкций Кельзена. Советское государство борется с эксплоататорскими тенденциями класса капиталистов, который революция лишила его господствующих позиций, но который она не убила. Значит, этот класс существует в данном государстве; значит, он старается эксплоатировать другие классы, но эти подвергающиеся угрозе эксплоатации классы держат в своих руках государственную власть и с ее помощью противодействуют классовому врагу. Мы имеем перед собой государство переходного типа. Пролетариат никого не эксплоатирует, в данном государстве он является господствующим классом, значит данное государство не служит целям эксплоатации, не служит целям порабощения, т.-е. не является государством в том смысле, как его представляют себе марксисты. В голове венского профессора никак не может уложиться тот факт, что марксисты свое представление о государстве строят не на принципе юридического нормативизма, а на основе живого, дина-

мико-социологического подхода к обществу, и потому-то они понимают то, чего не понимает Кельзен.

„...При капитализме мы имеем государство в собственном смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим и притом большинства меньшинством. Далее при переходе от капитализма к коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплоататоров большинством эксплоатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, „государство", еще необходимо, но это уже переходное государство... Наконец, только коммунизм создает полную ненадобность государства, ибо некого подавлять — „некого" в смысле класса..."[1]).

В арсенале Кельзена имеется еще четвертый довод. Посмотрим, надежнее ли он тех, на которых мы уже останавливались. Современное государство социальным законодательством смягчает классовые противоречия и обнаруживает тенденцию к их полному уничтожению. И хватил же наш автор! Ведь, любой первокурсник, которому профессор Кельзен стал бы развивать такую мысль, смог бы сконфузить его следующим замечанием: „Позвольте, уважаемый профессор, если парламент буржуазного государства вотирует закон, скажем, о воспрещении изнуряющего труда женщин и подростков, об уменьшении рабочего дня в шахтах и т. д., то он это делает „обнаруживая тенденцию" к уничтожению классов или же подчиняясь необходимости предохранить рабочий класс от вырождения, которое больно ударит по самим же капиталистам? Разве все социальное законодательство капиталистических правительств не продиктовано этой тяжелой для них необходимостью: не давать эксплоатации рабочего класса доходить до такой степени хищничества, при которой она разлагает производительные силы страны? Да, наконец, разве „добровольные" акты капиталистических правительств в области охраны труда не обусловливаются сплошь и рядом завоеваниями пролетариата, заставляющего время-от-времени своих классовых врагов итти на уступки". Плохи, совсем плохи дела нашего критика, если он хватается даже за такие рискованные аргументы.

Рассмотрев, как Кельзен стремится расшатать Марксово понятие государства, как организации господства определенного класса, и убедившись в том, насколько бесплодны его попытки в этом направлении, пойдем дальше по следам почтенного критика.

Кельзен весьма озадачен марксистской трактовкой вопроса в обществе и государстве. По Кельзену, общество и государство противостоят в марксизме друг другу, как добро злу, альтруизм эгоизму, общий интерес личному. „Государство становится выражением безнравственного принципа, эгоистического классового интереса, общество — выражением нравственной солидарности всех. Государство — это civitas diaboli — должно поэтому быть побеждено, должно

[1]) Н. Ленин, Государство и революция, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 340—341.

„отмереть“, должно уступить место состоянию бесклассового, свободного от государственности общества, некоего civitas dei. Между концепцией святого Августина и теорией марксизма имеется, собственно говоря, лишь та разница, что Августин свой идеал предусмотрительно отнес к потустороннему миру, в то время когда марксизм путем причинного закона развития применяет его к миру посюстороннему“ [1]).

Кельзен додумался до того, до чего еще не доходили наши критики: он породнил Маркса с... блаженным Августином. В этом он, — надо отдать ему справедливость, — оригинален. Но не более, — основная его мысль стара, как стара критика Маркса, и изложена она у многих критиков весьма пространно. Взять хотя бы покойного идеолога кадетизма П. И. Новгородцева — сколько он исписал бумаги исследованиями о марксистской „утопии земного рая“, об „обстованиях марксизма“ и т. д. [2]).

Мы сказали выше, что Кельзен попросту не понимает марксистского учения об обществе и государстве. Какие же у нас имеются основания так утверждать?

Кельзен — классический представитель того типа юристов, о которых Энгельс говорил, что для них юридическая форма — все, экономическое содержание — ничто. И потому он со своей юридической статикой совершенно превратно понял и истолковал марксистский подход к вопросам общества и государства,—подход, основанный на социологической динамике. С точки зрения Кельзена, марксизм противопоставляет друг другу, как самостоятельные категории, две формы человеческого общежития — общество и государство. Общество не знает насилия, порабощения, эксплоатации, общество — это рай, рай потерянный и рай грядущий. Государство — вместилище угнетения, подавления, эксплоатации, это — ад, ад, в котором пребывает человечество. „Стройно вышло на бумаге“. Беда лишь в том, что все это не „по Марксу“, а „по Августину“. По Марксу же общество и государство отнюдь не являются противостоящими друг другу категориями. Государство — это не что иное, как обусловленная экономическими отношениями форма существования общества в определенные исторические эпохи, „продукт общества на известной ступени развития“ — по известной формулировке Энгельса. Экономика на известных ступенях развития человеческого общества заставила общество „огосударствиться“, она же заставит его на других ступенях „разгосударствиться“. Величайшая заслуга Маркса и Энгельса именно в том, что они перестали рассматривать государство как некую извечную норму, что они превратили его из категорий логической в категорию историческую, что они не противопоставили государства обществу, а подчинили его диалектике обще-

[1]) H. Kelson, op. cit., S. 31—33.

[2]) См. в особенности его книгу „Об общественном идеале“, М. 1917 г.

ственного развития. Макс Адлер был вполне прав, указав в своей полемике с Кельзеном, что Маркс разрушил не только фетишизм товара, но и фетишизм государства. Кельзен это мог сам понять, если бы он хорошо продумал — не говоря уже о других местах — хотя бы два следующих известных отрывка из классических работ Энгельса:

Отрывок первый: Итак, государство не извечно. Существовали общества, обходившиеся без него, не имевшие понятия о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, необходимо связанного с разделением общества на классы, это разделение сделало государство необходимостью. В настоящее время мы приближаемся быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут с той же неизбежностью, с которой они раньше возникли. С исчезновением классов неизбежно исчезнет и государство. Общество, которое по новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей тогда всего уместнее будет находиться: в музее древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором [1]).

Отрывок второй: Государство является первой идеологической силой, подчиняющей себе людей. Общество создает орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, она старается стать в независимое отношение к обществу, и тем более успевает в этом, чем более она является органом одного какого-нибудь класса и чем более она поддерживает господство этого класса... Но, сделавшись силой, независимой от общества, государство немедленно порождает новую идеологию. У политиков по профессии, у теоретиков государственного права, у юристов, занимающихся гражданским правом, экономические отношения совсем исчезают из виду. Чтоб получить санкцию закона, экономические факты должны в каждом отдельном случае принять вид юридических отношений. При этом приходится, разумеется, считаться со всей системой уже существующего права. Вот почему юридическая форма кажется—всем, экономическое содержание—ничем. Государственное и частное право рассматриваются как независимые области, которые имеют свое отдельное историческое развитие и которые должны и могут быть подвергаемы самостоятельной систематической разработке путем последовательного устранения всех внутренних противоречий [2]).

Если б Кельзен усвоил марксову теорию общества и государства, он бы понял, что недопустимо проводить формальную демаркационную линию между обоими этими понятиями, и не интерпретировал бы, быть может, Маркса по св. Августину.

Критики марксизма не устают открывать в нашей системе противоречия — таких противоречий ими обнаружено до сих пор по

[1]) Fr. Engels, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 22. Auflage, Stuttgart 1922, S. 182.

[2]) Фр. Энгельс, Людвиг Фейербах, пер. Г. В. Плеханова,—Соч., т. VIII, стр. 351.

меньшей мере столько, сколько в бороде Маркса было волос. Было бы странно, если бы такой солидный критик, как Ганс Кельзен, также не оседлал для своих целей какого-либо из бесчисленных марксовых „противоречий“. И, действительно, Кельзен пытается выехать на „противоречии“ между политической и экономической теориями марксизма. В выявлении этого противоречия, пожалуй, центральное место всей его книги, и потому на нем приходится несколько задержаться.

В своих рассуждениях Кельзен базируется на решающем для него факте совпадения конечных целей марксизма и анархизма. Об анархизме Маркса мы в свое время читали много хороших страниц — наши противники произвели достаточно изысканий в этой области [1]). Кельзен также провозглашает, что „о принципиальной разнице между социализмом Маркс-Энгельсовского понимания истории и анархизмом не может быть никакой речи“ [2]).

Марксизм и анархизм—кровные родственники, ибо тот и другой стремятся к безгосударственному обществу, к свободному обществу, не знающему власти и принуждения. Коммунизм, во имя которого боролся руководимый Марксом и Энгельсом Интернационал, в сущности, является подлинным анархизмом. Когда Маркс и Энгельс боролись с Бакуниным, они ставили ему в вину, что он требует мгновенной отмены государства и замены его анархией и что, с другой стороны, вся его политика ведет к замене современного государства анархической организацией, являющейся своего рода государством. Таким образом Бакунину ставилось в вину не то, что он анархист, а то, что его анархизм недостаточно последователен. Кельзен потому полагает, что вся борьба Маркса с Бакуниным была обусловлена мотивами личного характера. Мировоззрения же Маркса и Бакунина весьма близки друг другу. „Маркс был в его политической теории анархистом, точно так же, как Бакунин в его экономической теории—марксистом“ [3]). Бакунинское революционное государство и Маркс-Энгельсова диктатура пролетариата—понятия, сходные друг с другом, как две капли воды. И если, тем не менее, эти понятия противопоставлялись одно другому, то это происходило вследствие политического задора политических противников.

Экономическая и политическая стороны марксизма ничем не связаны между собой, — они, точнее, изолированы друг от друга. Экономическое учение Маркса ведет к строгой, коллективистски централизованной организации хозяйства, т.-е. хозяйствующих людей, в то время как политическая доктрина Маркса явно стремится к анархо-индивидуалистическому идеалу. Кельзен разводит руками:

---

1) В 1908 г., напр., в журнале „Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik“ была помещена статья Фаббри, доказывавшая кровную связь марксизма с анархизмом и объяснявшая вражду между основоположниками учений—Марксом и Бакуниным—разницей в их темпераментах... Лавры Фаббри, повидимому, не дают покоя Кельзену.

2) Kelzen, op. cit., S. 85.

3) Kelsen, op. cit., S. 85.

роковое противоречие марксизма. Люди не могут овладеть природой,—заявляет он,—без того, чтобы они не овладели самими собой, т.-е. без подчинения людей человеческой организации. Это подчинение, конечно, не является эксплоататорским порабощением. Кельзен требует ответа на вопрос: можно ли руководить по единому плану огромной массой людей, человечеством,—не прибегая при этом к внешнему принуждению? Положительный ответ мыслится им лишь в одном случае: если верить, что будущее общество, вследствие уничтожения частной собственности на орудия и связанного с ним уничтожения классов, явится солидарным обществом, которое не будет знать материальных противоречий и в котором будут иметь место лишь безобидные расхождения во мнениях; только в таком случае будут охотно подчиняться строю общежития, ибо тогда органы общества будут приказывать каждому лишь то, чего он сам желает. Таков тот единственный случай, когда можно предположить, что отношение одного к обществу и к его органам не будет отношением, покоющимся на господстве, а явится отношением равного к равным, вытекающим из одинаковой воли товарищей, образующих данное общество. Этот единственный случай и утверждается анархизмом; та же гипотеза лежит в основе Энгельсова учения о том, что вместо управления личностями организуется управление вещами. Однако эта гипотеза является для Кельзена несбыточной мечтой, утопией. Пусть коммунизм принесет обществу такие очевидные экономические выгоды, что всякая принципиальная оппозиция против коммунистического общества будет исключена,—но, ведь, коммунизм это не только экономический строй, а также культурная организация, охватывающая все стороны социальной жизни. Коммунизм будет регламентировать вопросы религии, искусства, половых отношений,—это поведет не к безобидным расхождениям во мнениях, а к ужасным конфликтам. Если в обществе будущего и осуществится солидарность экономическая, то это отнюдь не означает того, что эта солидарность охватит все стороны социальной жизни. Так могут полагать лишь марксисты, которые под влиянием характерной для них переоценки экономического фактора объясняют значительнейшие исторические события исключительно производственными отношениями.

„Было бы беспримерной близорукостью полагать,—восклицает Кельзен,—что в будущем обществе может итти речь лишь... об оппозиции одиночных ворчунов, а не—что вопросы религии, искусства или половых отношений могут привести к ясно выраженному образованию групп... Но те группы, которые будут находиться в оппозиции против строя коммунистического общества, придется „угнетать" таким же образом, как ныне угнетают пролетариат. Следовательно, они вряд ли будут относиться к коммунистическому обществу, как к солидарному, а будут рассматривать его, как строй принуждения, как аппарат угнетения, как „государство",—подобно тому, как это в настоящее время практикует „пролетарская" социология по отно-

шению к капиталистическому обществу и его, основанному на принуждении, строю" [1]).

Марксизм мечтает заменить классовое государство бесклассовым обществом, но он забывает, что солидарное, братское общество немыслимо при современной природе человека. Быть может, не капитализм калечит человека и превращает его в преступника, а, наоборот, сам капитализм существует потому, что проводимая им система эксплоатации соответствует природе человека, ибо „существует у человека мощный инстинкт—заставлять других работать вместо себя, вообще использовывать других людей, как средство для достижения своих собственных целей". Эксплоатация—такой же человеческий инстинкт, как лень, как воровство, как ревность, как честолюбие. Со всеми этими инстинктами коммунистическому обществу придется бороться хотя бы потому, что они будут представлять угрозу его капиталистическому укладу. Таким образом и коммунистический общественный строй будет базироваться на принуждении, он будет не чем иным, как Zwangsordnung—государством. Марксизм вынужден строить общество будущего из того же человеческого материала, из которого создано государство вчерашнего и сегодняшнего дня. Это превращает все его мечты об обществе будущего в утопию.

Я старался по возможности точно и подробно воспроизвести мысли, высказанные Кельзеном по вопросу о „противоречии". Должен сознаться, что поступал так не только потому, что имеешь дело с противником, которого подвергаешь критике, но также и потому, что само изложение мыслей Кельзена их лучшая критика. За ушко да на солнышко вытянутые, они блестяще обнаруживают всю свою научную несостоятельность.

Попытаемся же несколько ближе присмотреться к аргументам Кельзена.

Раньше всего о кровной близости марксизма с анархизмом, родившем воистину бесподобный вышеприведенный Кельзенов парадокс об анархизме Маркса и марксизме Бакунина (умри, Денис, лучше не скажешь!). Что касается Бакунина, то нас совершенно не удивляет зачисление его Кельзеном в „марксисты". Мы уже имели случай неоднократно убедиться в том, насколько скромны и превратны представления проф. Кельзена о марксизме. Проф. Кельзен—марксовед такого толка, что он bona fide мог принять те элементы экономического понимания истории, с которыми мы сталкиваемся у М. А. Бакунина, за „марксизм". Бакунин был как-то охарактеризован Г. В. Плехановым как „софистизированный марксизмом прудонист", но быть „софистизированным" марксистом, ведь, право, не значит быть марксистом, уважаемый магистр... Перейдем же от „марксиста" Бакунина к „анархисту" Марксу... Да, это Карл Маркс, заклятый враг анархической теории, не устававший бороться со всеми ее разновидностями—от Прудоновской до Бакунинской, является

[1]) H. Kelsen. op. cit., S. 108.

по авторитетному свидетельству Ганса Кельзена—„в политической теории—анархистом“[1]). Ну, что ж, будем следовать мудрому совету философа—nihil admirari,—этот совет звучит особенно мудро, когда имеешь дело с учеными, сокрушителями марксизма. Ничему не удивляйся...

Марксизм отрицает современную государственную машину.

Анархизм также отрицает ее.

Марксизм устанавливает, что историческая тенденция ведет к образованию бесклассового общества.

Анархизм также стремится к созданию бесклассового общества.

Позволяют ли указанные точки соприкосновения (даже совпадения) марксизма с анархизмом вывести формулу:

марксизм = анархизм?

Проф. Кельзен полагает, что да. Мы же в противоположность Кельзеновской формуле выдвигаем иную:

марксизм ≠ анархизм.

Фридрих Энгельс в письме к Куно от 24 января 1872 г. очень определенно показал, где разница между Марксовым „анархизмом“ и анархической теорией, как ее развивал, примерно, Бакунин: в то время, как массы социал-демократических рабочих, так же, как и мы, держатся такого взгляда, что государственная власть есть не что иное, как организация, которую дали себе господствующие классы—землевладельцы и капиталисты—для того, чтобы защищать свои общественные привилегии, Бакунин утверждает: государство создало капитал, капиталист обладает своим капиталом только благодаря милости государства. Так как, следовательно, государство является главным злом, то нужно прежде всего уничтожить государство, тогда и капитал сам собой погибнет. Мы же говорим наоборот: Уничтожьте капитал—сосредоточение всех средств производства в руках немногих, тогда само собой отпадает государство. Тут существенная разница: отмена государства без социального переворота,—бессмыслица.

В руках у Кельзена была ленинская брошюра „Государство и революция“. Проштудировав ее, наш профессор мог бы усвоить, что разница между марксистами и анархистами в существенном сводится к следующему:

1) Первые ставят своей целью полное уничтожение государства, признают эту цель осуществимой лишь после уничтожения классов социалистической революцией, как результат установления социализма, ведущего к отмиранию государства; вторые хотят полного уничтожения государства с сегодня на завтра, не понимая условий осуществимости такого уничтожения.

---

[1]) Приблизительно так же думает и христианский социалист Фриц Эберштейн, объявляющий в своей брошюре „Die Orgínisation bei Karl Marx“ (Essen 1921) учение Маркса дезорганизаторским по существу. Компания, не делающая чести Кельзену...

2) Первые признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав политическую власть, разрушил полностью старую государственную машину, заменив ее новой, состоящей из организации вооруженных рабочих, по типу Коммуны; вторые, отстаивая разрушение государственной машины, представляют себе совершенно неясно, чем ее пролетариат заменит и как он будет пользоваться революционной властью; анархисты даже отрицают использование государственной власти революционным пролетариатом, его революционную диктатуру.

3) Первые требуют подготовки пролетариата к революции путем использования современного государства,—анархисты это отрицают[1]).

Анархисты требуют „отмены" государства; они полагают, что уничтожение государства может быть декретировано. С точки зрения же марксизма уничтожение государства может наступить лишь в результате сложного исторического процесса. В этом процессе неизбежны два фазиса, из которых один неразрывно связан с другим: первый—смена буржуазного, капиталистического государства государством пролетарским, государством переходного типа, рождающимся в огне и буре революции; второй—смена пролетарского государства бесклассовым обществом, наступающая благодаря постепенной утрате государством его функций—„отмиранию" государства.

Такова огромная, принципиальная разница между марксизмом и анархизмом; не понять ее—значит почти ничего не понимать ни в марксизме, ни в анархизме.

Но Маркс по Кельзену не только „анархист",—он и „утопист". В чем же усмотрел профессор „утопизм" основоположника научного социализма? В его вере в общество будущего,—в общество, где управление лицами сменится управлением вещами,—в обществе, не знающем порабощения и угнетения...

Было бы, конечно, странно, если наш усерднейший критик, подобно гоголевскому персонажу, собирающий всякий когда-либо, кем-либо, где-либо оброненный антимарксистский хлам—в нашем хозяйстве всякая веревочка пригодится,—не заговорил об утопизме Марксова учения о будущем государстве. Этот „утопизм" служил мишенью для острот не одного из коллег профессора Кельзена.

Кельзен объясняет марксистскую „утопию" будущего общества тем, что марксизм—это „слепая социальная теория, видящая все исключительно во мраке экономики", между тем как вопрос о возможности существования такого общества решается не экономикой, а психологией. Раньше всего приходится отметить то обстоятельство, что до крайности логичный профессор Кельзен рассуждает здесь с нарушением некоторых правил логики—ведь, если марксизм „слеп", то как он может вообще что-либо видеть, хотя бы и „во мраке эко-

---

[1]) Н. Ленин, Государство и революция, т. XIV, ч. 2, стр. 389—390.

номики"? Во-вторых, напрасно проф. Кельзен считает нас, марксистов, круглыми невеждами в вопросах психологии,—жаль, что он не навел на этот счет некоторых справок у профессора Г. И. Челпанова (см. его брошюру „Психология и марксизм", Москва 1924). Почему же Кельзеновская психология отрицательно решает вопрос о возможности существования бесклассового общества, которое сменит отмеревшее государство? Мы уже слыхали аргументы Кельзена в этой области—они приведены выше. Эксплоатация, лень, воровство и т. д.— человеческие инстинкты; они заложены в нашей природе. Пока мы бессильны изменить эту природу, не приходится думать о новом обществе. Человеческая природа делает необходимой государственную организацию, и мечты об ее падении—утопия.

Точка зрения, которую здесь отстаивает Кельзен,—воистину testemonium paupertatis, которое он сам себе выдал—на манер унтер-офицерской вдовы, также производившей, как известно, над собой не совсем приятные операции. Ведь, доводы от неизменной „человеческой природы" уж давным давно выброшены за борт научного исследования и научной аргументации. Ведь со времен социалистов-утопистов эти доводы сданы в исторический архив, где они покоятся, покрытые толстым слоем пыли. Еще тридцать лет тому назад Г. В. Плеханов воскликнул по адресу теоретиков буржуазии, непрестанно повторяющих старую песню о несовместимости „человеческой природы" с коммунизмом: „Это все равно, как если бы вздумали бороться с дарвинистами при помощи оружия из научного арсенала Кювье". Повидимому, эти господа поднесь не могут найти лучшего оружия, если они все еще продолжают размахивать старыми заржавленными кортиками из арсенала реакционеров эпохи реставрации.

Эксплоатация заложена в природе человека, твердит Кельзен. Точно так же Кельзены эпохи рабства твердили о том, что рабство заложено в человеческой природе; точно так же клеветали на человеческую природу крепостники, защищавшие свое право владеть крестьянскими душами. Да полноте, профессор! Ведь у нас любой ученик семилетки толково объяснит вам, что не от природы—человек эксплоататор, что не от природы он—эксплоатируемый, что не от природы люди воруют, а от социальных условий. Изменятся социальные условия, исчезнут и те „инстинкты", которые составляют ultima ratio вашей антимарксистской критики. А то, что эти условия изменятся,—об этом мы не мечтаем, в это мы не верим, а это мы попросту знаем. Знаем со всей той твердостью, которую только способно дать нам научное понимание общественного процесса.

Не сегодня и не завтра изменятся условия—знаем. Не сегодня и не завтра они изменят человека—знаем. „Мы не утописты. Мы не „мечтатели" о том, как бы сразу обойтись без всякого управления, безо всякого подчинения; эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды мар-

кеизму и на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут иными"[1]).

Путь далек до Типперери...

Мы знаем, как долог и как мучителен этот путь, но **знаем** и куда ведет этот путь. „Конечная цель" нами не предугадывается,— она устанавливается самой тенденцией общественного развития.

„Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках объединенных в союзы индивидуумов, тогда публичная власть утратит свой политический характер... Вместо старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями возникает ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех" („Коммунистический манифест").

Разбив наголову ненавистный марксистский социализм, Кельзен великодушно протягивает руку побежденному врагу и снабжает его душеспасительным советом: социализм будет спасен, если из марксистского он станет **лассалеанским** „Zurück zu Lassale!", с триумфом заканчивает Кельзен свою книгу.

Подобно тому, как это делали и Герман Онкен и Бернгардт Гарме и Новгородцев, Кельзен зовет рабочий класс унаследовать не то, что было бессмертного и великого в благородном трибуне четвертого сословия и мастере революционного действия. Его сердцу мила та часть Лассалева наследства, которую Маркс заклеймил, как „верноподданническую веру Лассалевской секты в государство". Кельзен слагает хвалу политическому разуму Лассаля, для которого, в противовес Марксу, государство—не орудие классовой борьбы, кипящей в недрах общества, а некое моральное единство, стоящее над обществом, „вековечный, священный огонь цивилизации".

Мы остановились не на всех возражениях, выдвигаемых Кельзеном против марксистской теории государства. Возражений этих достаточно много, а на всякое чихание наших критиков, как известно, не наздравствуешься. Нашей задачей было лишь установить, насколько надежны основные опорные пункты Кельзена в его борьбе с марксизмом. Мы установили, что эти пункты неустойчивы и шатки. Критикуя положения, выдвинутые Кельзеном, мы убедились в том, что этот ученый—один из застрельщиков современной противомарксистской атаки в вопросах государства—жует старую „критическую" жвачку, приправленную соусом нормативной фразеологии и формально-юридической схоластики. Кельзен противопоставил марксистскому анализу общественного процесса мертвую схему формальной юриспруденции. Это привело к банкротству всей системы венского палладина одряхлевшей буржуазной науки. Если, говоря о пролетарской социологии, Кельзен ядовито берет эти слова в кавычки, то, говоря о Кельзеновой социологии, мы вправе назвать ее очередным выявлением буржуазной науки, отнюдь не прибегая к кавычкам...

[1]) Н. **Ленин**, Государство и революция, т. XIV, ч. 2, стр. 336.

II.

Другой критик, имя которого мы выше поставили рядом с Кельзеном,—Фридрих Ленц, дебютировавший в 1922 году книгой „Государство и марксизм“[1]).

Ленц сам рекомендует себя, как объективного исследователя и бесстрастного критика Маркса. В предисловии к своей работе он заявляет, что она „хочет служить исключительно научному познанию и не преследует каких бы то ни было партийно-политических целей“. „То обстоятельство, что я не хочу ни нападать, ни защищать, а желаю исключительно понимать,—делает излишним доказательство того, что эта работа представляет собой не „буржуазную“ науку, а просто науку“, говорит Ленц.

Мы этих слов, конечно, на веру не примем и постараемся выяснить, насколько наш исследователь объективен, насколько его работа продиктована „просто наукой“ и, более того, насколько она вообще являет науку. При этом не исключена возможность, что наши взгляды несколько разойдутся с заверениями автора... Эта возможность тем вероятнее, что научная объективность и бесстрастность авторитетов, на которые опирается в своем исследовании Ленц, не находятся, подобно супружеской верности жены Цезаря, вне подозрения: эти авторитеты—Ранке, Туган-Барановский, Симкевич, Барт, Гаммахер, Пленге...

Фридрих Ленц в противоположность Кельзену—не юрист, а социолог. Он сражается с марксизмом не с помощью формально юридических норм, а хочет дать ему бой на поле исторической действительности. Первородный грех марксизма в глазах Ленца заключается в том, что марксизм подчиняет понятие государства понятию общества. Марксизм сводит,—по мнению Ленца,—роль государства в общественной жизни к нулю и тем самым обрекает себя на самоубийство. В противовес марксизму, фетишизирующему, мол, экономический принцип и ставящему государство в рабскую зависимость от хозяйства, Ленц выдвигает взгляд Ранке, для которого власть сама по себе является неким духовным существом, изначальным гением, живущим по своим собственным законам. Духовное начало—руководящий принцип государственной жизни: „Никогда еще не возникало государство без духовной основы, без духовного содержания“.

Задача, которой задался Ленц, сводится к тому, чтобы на исторической канве эпохи мировой войны показать несостоятельность Марксовой теории государства и тем самым демонстрировать торжество ранкова понимания проблемы „государство и хозяйство“. Меняются исторические эпохи, сменяются фазы народного хозяйства,—общество неизменно разделяет участь той государственной формы, в

[1]) Staat und Marxismus Grundlegung und Kritik der marxistischen Gesellschaftslehre von Friedrich Lenz. Cotta'sche Buchhandlung. Stuttgart 1922.

которую оно отлито. „Как бы ни отличались высоко капиталические формы народного хозяйства от примитивных хозяйственных форм,— они сродны в том, что делят участь тех государств, в которые внедрены"[1]).

События военной и послевоенной эпохи в лишний раз доказали Фр. Ленцу, что судьбы мирового хозяйства развертываются под непосредственным давлением со стороны государства. Хозяйство воевавших и нейтральных держав вольно или невольно следовало во всех своих отраслях ходу политических событий. Кривые ввоза и вывоза, состояние транспорта, курсы и валюты—все это развертывалось и изменялось под влиянием внешне-политических событий. Государство формировало экономику.

Такова теоретическая предпосылка, основываясь на которой гиссенский социолог анализирует мировую ситуацию конца империалистической войны. Эта ситуация,—думается Ленцу,—подтвердила мысль Ранке о приоритете государственного начала по отношению к экономике и тем самым нанесла непоправимый удар марксизму.

Опровергать теоретическую предпосылку работы Ленца не входит в нашу задачу. В каждой научной дисциплине время-от-времени сталкиваешься с проповедью архаизмов, которые даже не требуют своего опровержения. Если в век Эйнштейна находятся беззубые старички, шамкающие, что, согласно авторитетному доказательству Птоломея, солнце вращается вокруг земли,—разве можно и должно опровергать их? Фридрих Ленц щеголяет в истоптанных башмаках Ранке — что ж, это его дело. Пусть государство остается для него „абсолютным духом на белом коне"... Нас интересует лишь смелая Ленцева попытка на живом примере военной и послевоенной конъюнктуры доказать банкротство Марксова учения о государстве.

Этому доказательству посвящена центральная часть работы Ленца. При чтении этих страниц вас буквально умиляет та неподражаемая наивность, с которой Ленц доказывает свой основной тезис. Нашего критика langer Reden kurzer Sinn сводится к тому, что 1) в рассматриваемую им эпоху государство регулировало хозяйственную жизнь 2) международные политические комбинации определяли мировую, экономическую ситуацию.

Отсюда он победно умозаключает о приоритете государственного начала над хозяйственным.

Между тем, все ссылки Ленца ровно ничего не доказывают или, точнее, доказывают обратное тому, что он хотел установить. В самом деле, что следует из того, что государственная власть регламентировала потребление продовольствия, что она искусственно влияла на денежный оборот, что она регулировала сырьевой рынок и т. д.? Лишь то, что государство отправляло свою основную функцию, что оно, с одной стороны, претворяло экономический факт в юридическую норму, а с другой,—старалось максимально использовать обратное

[1]) Fr. Lenz, Staat und Marxismus, S. 19.

влияние этой самой правовой нормы на хозяйственный факт. То обстоятельство, что государство, в качестве хозяйствующего субъекта, оказывало влияние на хозяйственную жизнь страны, отнюдь не льет воды на Ленцеву мельницу. Как крупный держатель ценностей, государство может заставить в некоторых пределах колебаться биржевую кривую. Но оно это делает исключительно, как экономическая единица; эта единица сплошь и рядом оказывается слабее какой-либо другой и пасует перед ней: правительство Эберта перед концерном Стиннеса, правительство Пуанкаре перед трестом Люберзака и т. д. Чем же это подкрепляет Ранке-Ленцеву идею приоритета государства по отношению к экономике?

Государственный акт, правовая норма, правительственное действие—вот чем в глазах Ленца определяется мировая хозяйственная конъюнктура конца империалистической войны. И потому лучшим эпиграфом по всем рассуждениям нашего критика могут послужить старые слова Маркса: „Поистине нужно не иметь никаких исторических сведений, чтобы не знать того факта, что во все времена правителям приходилось подчиняться экономическим условиям, и никогда не удалось предписывать им закона. Как политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений“ („Нищета философии“).

Фридрих Ленц, самодовольно читающий нотации марксизму по поводу влияния политической силы на экономическую жизнь, действительно является одной из многочисленных жертв той идеологической аберрации, которая была мастерски охарактеризована Энгельсом в его известном письме к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г. Эта аберрация возникает в результате того, что обратное действие государственной власти на экономическую жизнь принимается за независимое. Некоторая относительная самостоятельность, которой обладает политическая сила, взаимодействующая с экономическим движением, принимается за абсолютную. „Отражение экономических отношений в виде правовых принципов необходимо является точно также стоящим вверх ногами. Это отражение совершается так, что этот процесс не доходит до сознания действующего“.

Все рассуждения Ленца о влиянии государства на экономику великолепным образом показывают, что процесс, охарактеризованный Энгельсом, „не доходит до сознания“ нашего бравого автора.

Достоин внимания следующий бесподобный довод Ленца. В 1917—1918 г.г. рухнули три великих монархии. На развалинах этих монархий пришел к власти марксизм. „Каким образом новые государственные владыки в России, Австрии и Германии совладали с внешне политической ситуацией, рожденной мировой войной... от этого зависит судьба их партий и их теорий. Ситуация 1918 г. стала роковым часом и для марксистского движения“[1])... В этот решающий час, марксизм, по заявлению г. Ленца, не выдержал испытания. А

1) Fr. Lenz, op. cit., S. 69.

именно: он склонился перед тем самым государственным принципом, с которым в теории боролся. Та самая экономическая закономерность, с которой носился марксизм, разбилась вдребезги под ударами политической необходимости момента, обуславливаемой внешним положением государства. Это положение Ленц пытается доказать на примерах германской и российской революций.

В Германии марксизм в роковой час капитулировал перед внешним положением государства. Это положение заставило германских марксистов отказаться от мысли о „социалистической республике" и склониться пред силой международной ситуации. „Внутри-государственная „экспроприация экспроприаторов" никоим образом не могла избавить от оккупации Саарских рудников, от порабощения Рура и Верхней Силезии", восклицает Ленц. Поскольку марксистские партии стали принимать участие в управлении государством, они должны были подчиниться государственному принципу, а последний в свою очередь—влиять на теорию марксизма. Положение государства — вот что определяет образ действий пришедшего к власти марксизма. „Вместо того, чтобы—придя к власти—реализовать" интернациональный, революционный, освобождающий народы „клич к борьбе, звучавший на партейтагах и в программах, он выступает, как наследник своего государства"[1]...

„В России,—указывает Ленц,—марксизм пошел по иному пути, чем в Германии, здесь он не подчинился внешней ситуации, а, наоборот,—противопоставил себя государствам Запада. Но тем самым он связал свою собственную участь с участью своего государства. Идеологии Запада русский марксизм противопоставляет идеологию Востока, „Лиге Наций" — „Мировую Революцию", англо-саксонской— русскую гегемонию. Если Ленин теоретически и отрицает идею государства, то—как государственный вождь—он с исключительной энергией эту самую энергию осуществляет. Русский марксизм неразрывно связал свою судьбу с судьбою русского государства. В этом сказалась капитуляция его теории перед жизнью"...

Надо воздать должное Фридриху Ленцу: даже у самых безнадежных из наших критиков редко встречаешься с такой роковой неразберихой, как у Ленца, при его заумных речах о „роковом часе" марксизма... Здесь, воистину, что ни слово, то перл...

Взять хотя бы терминологию Ленца, рассуждающего об пришедшем к власти „германском марксизме", „австрийском марксизме", „русском марксизме". Марксизм, в том смысле, как этот термин употребляет г. Ленц, — понятие расплывчатое и до-нельзя неопределенное. В наше время, рассуждая о марксизме, устраивая ему на манер Ленца политический экзамен, надо помнить о всех разновидностях политики, именующей себя марксистской, и устанавливать, с какой разновидностью имеешь дело. Дело же не в „германском" и не в „русском" марксизме, а в марксизме оппортунистическом или

[1] Fr. Lenz, op. cit., S. 79.

революционном, ревизионистском или ортодоксальном.

Далее. Какой смысл имеет главный козырь Ленца: марксизм склонился перед государственным принципом, который он в теории отрицал? Марксисты никогда не занимались игрой в „неприятие“ государства,—разыгрывать соответствующий фарс они предоставляли анархо-утопистам, а сами старались установить определенную историческую закономерность в развитии государства. Они старались каждый этап в развитии государства использовать в интересах рабочего класса, утилизируя все те возможности, которые им давало для этого государство и которые представлялись им наиболее целесообразными с точки зрения: благо революции—высший закон. В этом смысле они всегда были „государственниками“, и г. Ленц имел достаточно оснований скакать и играть по поводу „капитуляции марксизма перед принципом государства“ еще задолго до революционной эры... Относительно же измышлений насчет того, что „русский марксизм противопоставляет идеологии Запада идеологию Востока, англо-саксонской гегемонии гегемонию русскую“ и т. д., заметим, что эту арию мы слыхали в гораздо более сильном — сменовеховском — исполнении. В этой области г. Ленц мог не без пользы взять несколько уроков у проф. Устрялова:

Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немного поучился...

Говоря выше о Кельзене, мы отметили характерную для него черту: громя марксизм, сей муж одновременно шлет воздушные поцелуи социализму, свободному от „марксистских утопий“. Второй из наших критиков, оказывается, тоже затеял флирт с социализмом. Вот какую речь ведет г. Ленц: „С крушением марксизма социалистическая идея никоим образом не является отжившей для политического действия. Именно, освободившись от индивидуалистических и социологических одеяний марксистской теории, социализм сможет... обрести организующую силу... Кто хочет вызволить побежденные нации Европы из ситуации 1918 г., должен, по моему мнению,—не пройти мимо такого национально-ориентированного социализма. Мы находим его живым во Фридриховой Пруссии, точно так же, как в Германии XIX века и даже в России Ленина“[1])...

Что касается „России Ленина“, то в ней г. Фридрих Ленц понапрасну разыскивает свой „национально-ориентированный социализм“. Смеем уверить его, что „Россия Ленина“ является вместилищем той самой марксистской скверны, которую Ленц так рьяно предает анафеме. Одним словом, нельзя ли, сударь, для прогулок подальше выбрать закоулок... В Пруссии же Фридриха-Вильгельма IV или в Германии Бисмарка Ленц, действительно, может отыскать воплощение своего социалистического идеала. Это „социализм“ той же марки,

[1]) Lenz, op. cit., S. 190.

которую проповедуют Освальд Шпенглер и капитан Гитлер. Тоже социализм... Совсем как в анекдоте про московского извозчика, который на вопрос старичка-князя, удивленного обращением к нему незнакомого извозчика на „сиятельство", пояснил: „да мы теперь, ваше сиятельство, всякую дрянь так величаем". Воистину всякую дрянь величают г.г. Кельзены и Ленцы „социализмом"...

Мы уже цитировали сделанное Ленцем во введении к его работе торжественное заявление: „я не хочу ни нападать, ни защищать, а исключительно понимать"... В действительности Ленц очень усердно, хотя и не совсем удачно, нападал на революционную теорию научного социализма, очень усердно защищал всякие реакционные утопии и очень плохо понял то, что хотел понимать. Для более точного представления о г. Ленце, укажу еще, что его авторитетность в вопросах, о которых он судит, может быть охарактеризована тем, что к критикам-марксизма он относит, на-ряду с Гаммахером, Массариком, Туганом-Барановским, Штамлером и... Г. В. Плеханова (стр. 111). Ценность же его социологического анализа определяется тем, что свое исследование он завершил следующим аккордом: „достойна внимания, если не является даже решающей, та роль, которую при этом (развитии Марксовой теории государства. *С. В.*) играют еврейские литераторы, начиная Гессом, кончая Каутским и Бернштейном" (стр. 192).

Портрет закончен...

III.

Герберт Султан принадлежит, как мы уже указали в начале настоящей статьи, ко второй группе критиков Марксовой теории государства. То—группа оппортунистических исказителей теории.

Его работа „Общество и государство у Карла Маркса и Фридриха Энгельса"[1]) предпринята, как заявляет автор, не с целью враждебной, а дружеской критики взглядов основоположников научного социализма на проблему общества и государства. Более того, эта работа продиктована стремлением ученика восстановить во всей его чистоте учение великого учителя. „Пусть многие из его теорий,—говорит Султан о Карле Марксе,—в настоящее время покрылись ржавчиной,—это значит, что мы, называющие себя его учениками, обязаны позаботиться о том, чтобы эти теории заново отполировать, дабы они могли опять служить полезным оружием в борьбе за знание. Именно поступая так, мы будем действовать в духе Маркса. Его фаустовское стремление к знанию, его высоко революционный инстинкт не должны быть утеряны социализмом, если он хочет остаться научным"[2]). Против цели, которую ставит себе Султан, как видит читатель, ничего

[1]) Gesellschaft und Staat bei Karl Marx und Friedrich Engels. Ein Beitrag zum Sozialisierungs-Problem von Herbert Sultan, Doktor der Staatswissenschaften. Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1922.

[2]) H. Sultan. Gesellschaft und Staat, S. 128.

нельзя иметь. Попытки представить какую-либо часть бессмертного наследия Маркса-Энгельса в ее подлинном виде, освободить ее от загрязняющих ее революционность наслоений и уродующей ржавчины ничего, кроме одобрения, встретить, конечно, не могут.

Посмотрим же, как справляется Султан с задачей, которую он поставил перед собой. Пусть он сам разъяснит это нам. „Нам придется установить, насколько они (Маркс и Энгельс. *В. С.*) касательно интересующих нас здесь вопросов вступили в противоречие с самими собою. Или, чтобы несколько осторожнее выразиться относительно таких диалектически мыслящих ученых, как Маркс и Энгельс: изложение марксистского хода идей покажет нам места, которые не совсем согласны со специфическим образом мыслей обоих друзей, места, которые—sit venia verbo—представляют собой нечто „немарксистское" у Маркса и Энгельса"[1]).

Это заявление—надо сознаться—заставляет нас несколько насторожиться. Мы имеем слишком богатый и достаточно печальный опыт по части всякого рода „исправлений" и „дополнений" Маркса, чтобы не опасаться, как бы попытка Султана отыскать „немарксистское" у Маркса и „отполировать" марксизм не закончилось тем же самым, чем кончались аналогичные попытки великого множества „критиков": оппортунистическим банкротством.

Проследим же, как доктор Султан „полирует" Марксову теорию государства...

Султан пытается внести научную точность в Марксово представление об обществе. Он хочет „неясное, многозначущее понятие общества, содержащееся у Маркса и Энгельса, заменить ясной и однозначущей формулировкой".

В чем же заключается туманность и разнобой Марксовых определений общества?

Этот разнобой Султан видит в том, что понятие общества употребляется Маркс-Энгельсом в трех различных смыслах:

1) Определенного функционального отношения, характеризующегося различными хозяйственными функциями числителя и знаменателя этого отношения.

2) Примыкающего к Кетле воззрения, наилучшим образом выражающегося в формуле: „на длительное время и в среднем", или на языке классической экономики в сходных словах „in the long run". „Общественное" приравнивается здесь к „среднему", „нормальному".

3) Некоего самостоятельного субъекта.

Султан полагает, что подход к обществу в последнем смысле вносит недопустимую путаницу в это понятие. Подходить к обществу, как к индивидууму, как к действующему субъекту, значит прибегать к лживым абстракциям. „Спекулируя" на обществе-субъекте, Маркс-Энгельс наносят научному социализму, если не смертельную, то во всяком

[1]) H. Sultan, op. cit. S. 20.

случае очень тяжелую рану. Доктор Султан и употребляет свои научные знания на исцеление марксизма от увечья, нанесенного ему Маркс-Энгельсом.

Когда Маркс-Энгельс говорят о том, что „общество освободит себя", „общество присвоит производительные силы" и т. д., то они спекулируют на недопустимой абстракции. Они уподобляют общество индивидууму, что заставляет нас мыслить общество, т.-е. нечто делимое, индивидуумом, т.-е. чем то неделимым.

Султан считает необходимым освободить марксово представление о государстве от спекулятивно-абстрактного элемента и приходит к следующей безупречной, по его мнению, формулировке этого представления: „длительные и нормальные хозяйственные функции людей образуют своим формальным взаимоотношением своеобразное единство—общество".

Гора мышь родила...

В самом деле, к чему сводится широковещательно провозглашенное Султаном исцеление марксова понятия общества от спекулятивного элемента? К тому, что он в очень неуклюжей фразе объединил несколько признаков, которые Маркс и Энгельс считали характерными для понятия общества. Таких компилятивных формулировок, как даваемая Султаном (и более удачных), можно найти множество, но говорить по этому поводу о каком-то очищении марксизма, его уточнении и т. д. мы не видим ни малейшего основания.

Что же касается „спекулятивного" уподобления Маркс-Энгельсом общества индивидууму, то воистину у страха глаза велики. Наш критик повсюду говорит так, как будто бы основоположники научного социализма идентифицировали общество с индивидуумом. Между тем Маркс и Энгельс никогда и нигде не мыслили общества, как некоего организма. Более того, Маркс в свое время протестовал против попыток Прудона олицетворить общество, против Прудонова представления об обществе-лице, которое далеко не то же самое, что общество, состоящее из лиц. Общество—по Марксу—не организм, не индивидуум, а, говоря словами Султана, „своеобразное единство", характеризующееся взаимодействием людей на почве трудового процесса. А из того, что Маркс, говоря об этом единстве, употребляет некоторые персонифицирующие общество обороты, делать вывода насчет какого-то Марксова социального анимизма, при котором обществу приписываются функции и способности живого индивидуума,—значит иметь на глазах филологические шоры, при которых, конечно, ровно ничего не понять в марксизме...

Другие „филологические" упражнения Герберта Султана носят, однако, характер далеко не такой безобидный, как вышеприведенное. Султан приемлет Марксову концепцию государства, он восхищается „диалектическим зданием Марксова государства, которое возвышается в великолепной гармонии"... Но есть в этой „великолепной гармонии" нечто такое, что омрачает настроение нашего доктора.

о нечто—Марксово учение о диктатуре пролетариата. „Этого на-
но-логически не объяснить", полунедоумевающе, полунравоучи-
льно говорит Султан. Тем самым он, конечно, обнаруживает, что
ука, на почве которой он стоит, ограничена горизонтом буржуаз-
й идеологии. С этой точки зрения доктор Султан прав,—дикта-
ры пролетариата „ни научно, ни логически не объяснить"... „Ни
учно, ни логически", а потому доктор Султан объясняет... „пси-
логически". Видите ли, „обозначение" диктатурой „господства
льшинства над меньшинством позволяет заключить, что оно избрано
тем же психологическим мотивам, как название „материалисти-
ское" „понимание истории"[1]), а материалистическим Маркс назвал
ое понимание исторического процесса—так в свое время авторитетно
зъяснил Пленге—исключительно pour épater le bourgeois[2]). Итак,
инственной целью всех рассуждений Маркса-Энгельса о диктатуре
олетариата является устрашение, терроризация мещан и буржуа.
ама же по себе диктатура пролетариата вещь довольно невинная.
В процессе экономического развития пролетарское большинство на-
ления, благодаря этому развитию пришедшее к власти, употребит
у власть на то, чтобы посредством изменения экономической орга-
зации уничтожить классовое деление",—этим исчерпывается—за-
вляет Султан—истинное содержание Марксова учения о диктатуре
олетариата, всякие же терминологические излишества—pour épater
bourgeois.

„Я по ушам его узнал"... Психологические разгадки филологи-
еских ляпсусов Маркса и Энгельса, даваемые Гербертом Султаном,
головой выдают нашего реставратора подлинной чистоты марксизма.
Ограничивать марксизм учением о борьбе классов значит урезывать
арксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для бур-
уазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы
лассов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое
лубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого (да и крупного)
уржуа" [3]).

И, конечно, если б Герберт Султан был в действительности
арксистом, а не только афишировал бы себя таковым, то он не
ался бы над теми вопросами, которые, повидимому, причиняют ему
иллион бесплодных терзаний. Если вся история человеческого об-
ества является историей классовой борьбы, а в коммунистическом
бществе классовая борьба прекратится, что будет тогда „двигатель-
ой силой двигательных сил" исторического процесса? С „доисторией"
рекратится ли вообще история человечества? Если идеи не предста-
ляют собой самостоятельно действующей силы исторического разви-
ия, а сами в конечном счете определяются экономическими отно-
ениями, последние же с прекращением классовой борьбы будут
неизменными,—чем будет обусловливаться тогда исторический процесс?

---

[1]) Sultan, op. cit., S. 95.

[2]) Johann Plenge, Marx und Hegel, Verlag H. Laupp'schen, Tübingen 1911, S. 83.

[3]) Н. Ленин, Революция и государство, Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 323.

Талмудические вопрошания Султана по меньшей мере не отмечены печатью оригинальности. Нет, пожалуй, ни одного „критически“ настроенного марксоведа (марксоеда), который не развлекался бы теми же самыми вопрошаниями, что и Султан. И нет, пожалуй, ни одного из видных теоретиков ортодоксального марксизма, в сочинениях которого не были бы разъяснены эти вопросы.

Не вся история человечества—история классовой борьбы. Была эпоха, когда человечество не знало борьбы классов; будет эпоха, когда оно ее снова не будет знать. С окончанием „доистории“ начнется настоящая подлинная история раскрепощенного человечества. Вещные отношения над людьми сменятся господством личности над природой. Процесс планомерного овладения человека стихиями будет основным фактором общественного развития. Науки и искусства вступят в полосу нового всестороннего развития... Буки-аз. Буки аз. Социологу, корректирующему Маркса, следовало бы знать хотя б марксистскую азбуку.

Гербертом Султаном мы можем закончить характеристику современных критиков марксизма, подвизающихся в области теории государства. Должен предупредить при этом возможный упрек. Нам могут указать, что „слона“-то мы не приметили. „Слоном“ этим, конечно, является Генрих Кунов.

Куновская интерпретация Марксовой теории государства представляет собой последовательную, логически развитую, оппортунистическую во всех своих частях ревизию революционных воззрений Маркса. И если мы не останавливаемся на этой ревизии, то исключительно потому, что выступление Кунова уже оценено в нашей печати [1]). Мы же хотели приковать внимание читателя к тем противомарксистским вылазкам в вопросах государства, которые еще почти не были отмечены в нашей литературе.

В заключение укажем, что критика, которой подвергалось Марксово учение о государстве в современной немецкой литературе, вызвала и некоторые ответные попытки. Здесь следует раньше всего сослаться на книгу Макса Адлера и брошюру Карла Каутского [2]). Адлер и Каутский резко выступают в защиту Марксовой теории от ее критиков: первый - Кельзена, второй—Кунова. Но их критика критик, в свою очередь, вносит новые элементы оппортунистической-реформистской путаницы в наш вопрос.

Критика антикритики завела бы нас, однако, слишком далеко за пределы настоящей статьи...

С. Вольфсон.

---

[1]) См. статьи, а также брошюру Карла Каутского „Марксова теория государства в освещении Кунова“. Перевод Виноградской. Издание Социал. Академии. М. 1924 г.

[2]) Die Staatsauffassung des Marxismus. Ein Beitrag zur Unterscheidung von soziologischer u. juristischer Methode von Dr. Max Adler. Wien 1922.

Насилие и французская революция[1].

Олар—лучший знаток французской революции. Олар—первый занявший кафедру этого предмета в Париже и сделавший это в пору такой глухой реакции, что поступок этот являлся почти что героическим. Наконец, Олар—один из немногих буржуазных ученых, так или иначе принявших русскую революцию,—этот Олар теперь вдруг выпускает брошюру, в которой высказывается отрицательно о применении насилия в революции.

Было, отчего притти в восторг представителям контр-революционной и, конечно, „демократической" эмиграции, именно по причине применения насилия революцией от этой революции бежавшей.

Было о чем стараться, издавая брошюрку Олара на русском языке раньше, чем она появилась в печати по-французски. Было, отчего „демократическому" приват-доценту Миркину-Гецевичу разражаться на 7 страницах предисловием, в котором он, наскоро, на двух страницах, представив читателю Олара, остальные страницы спешит заполнить разной демократической белибердой вроде „народного суверенитета", „идеей легальности", „республиканско-демократического идеала" и т. д...

За предисловием следует несколько строк, написанных специально для русского издания самим Оларом. Здесь маститый историк, заявив о том, что предлагаемая вниманию русского читателя книжка—„научная, а отнюдь не полемическая работа", заверяет этого читателя в своей „искренней дружбе к русскому народу, призванному сыграть крупную роль в истории человечества" (стр. 15).

Далее следует уже самая „научная, а отнюдь не полемическая работа", являющаяся речью, произнесенной на конгрессе ученых обществ 6 апреля 1923 г.

С первых строк Олар заявляет, что он хочет изложить теорию насилия в связи с французской революцией, и говорит относительно этой теории, что она, „создавшаяся с течением времени, мало-по-малу из книг перешла в умы, даже во Франции", и что „современные революционеры не только возвеличили, но и применили ее на деле" (стр. 17).

Затем автор указывает, что задачей его является, прежде всего, показать, что теория насилия не была „господствующей или хотя бы ясно выраженной во французской революции" (стр. 18).

Доказывается это отсутствием у деятелей французской революции (за исключением некоторых—о них после) систематического представления о необходимости в революции насилия.

Оказывается, уже наказы проявили максимум кротости, легальности и отрицательного отношения к насилию. „В наказах, даже в

[1]) О новой книжке Олара: „Теория насилия и французская революция". Париж 1924. Стр. 41.

самых смелых, не было никакого призыва к насилию"... „Мало того,— говорит наш историк,—я прочел все наказы, которые были изданы, я не нашел ни одной фразы, которую можно было бы счесть за угрозу королю и попытку запугать его. О нем говорят не иначе, как с уважением, с любовью, с доверием, никому в голову не приходит, что революция может произойти против него и помимо его. Повторяю: путем реформы хотят заменить порядок порядком" (стр. 24).

На этой цитате, взятой из брошюры почтенного историка, стоит остановиться. Казалось бы, он должен был знать об отсутствии всякой революционной сознательности у французских широких масс перед революцией, о том, что король был в их глазах окружен ореолом, который начал тускнеть лишь в процессе революции, в результате многочисленных измен и предательств, совершенных королевской властью, и вместе с ростом революционной сознательности масс.

Если бы даже подлинные воззрения и чаяния широких масс населения были выражены в наказах (чего, конечно, не было по многим причинам, вероятно хорошо известным Олару), то и тогда, в этих наказах, не было бы призыва к насилию над королем. Что же касается насилия по отношению к господствующему классу и к классу, эксплоатирующему массы, то такое насилие проявлялось этими массами, и именно в противоречии с Оларом, утверждающим о необычайно мирном начале революции („никогда революция не начиналась столь мирным путем, с таким спокойствием, отвергая все похожее на насилие"—стр. 24), в самом начале революции. Мы имеем в виду крестьянскую жакерию и мятеж в парижских предместьях,— мятеж, приведший к разгрому обойной фабрики Равельона.

Что же касается имущих классов, то могли ли они призывать к насилию тогда, когда таковое могло проявиться только против них, что показывали недавно происшедшие беспорядки в Париже и аграрное движение в провинции. Совершенно понятно, что в указанных нами условиях буржуазия хотела только „реформ и замены порядка порядком", т.-е. замены порядка господства дворянства,—порядком, при котором господствовала бы буржуазия. В ее интересах было, чтобы переход к этому порядку совершался без потрясений и без применения насилия.

Именно поэтому в лице своих парламентских представителей третье сословие и „не обратилось с призывом к населению Парижа", о чем, конечно, говорит в доказательство легальности поступков этих представителей Олар (стр. 25), но причины чего он не объясняет. А между тем, третье сословие не только не обратилось с призывом к населению Парижа, „охваченному энтузиазмом начинающейся революции", как говорит об этом сам Олар (стр. 25), оно даже выступило против этого населения, пытаясь всеми силами помешать победе его, приведшей к взятию Бастилии.

Но, будучи противником насилия революционного, ибо такое насилие было опасно для него самого, третье сословие (мы имеем в

виду его представленную в Собрании часть) совсем не было противником насилия вообще, в особенности тогда, когда это насилие можно было пустить в ход против революционных масс.

Это доказывается знаменитым законом о военном положении, преследованием революционной прессы и революционных вождей, репрессиями против восставшего крестьянства и т. д. Обо всем этом Олар не может не знать, как лучший знаток французской революции, но он предпочитает об этом умалчивать и вместо этого рассказывать о Празднике Федерации и др. подобных идиллических моментах революции.

„Насилия снова выступили на сцену,—пишет Олар,—когда приверженцы прошлого убедили Людовика бежать...“ (стр. 29). Это опять-таки неверно: насилия выступили на сцену не с бегством Людовика, „вызвавшем бойню на Марсовом поле“, как думает Олар. В этой бойне нашла свое завершение вся реакционная политика третьего сословия, проводимая им, начиная с октября 1789 г., т.-е. с переезда короля в Париж. Вся эта политика представляла из себя политику насилия, насилия реакционного.

Об этом Олар опять таки ровно ничего не говорит, он лишь заявляет, что „мир был настолько дорог всем, что делаются огромные усилия для его сохранения“. „С осени 1791 г. и до весны 1792 г. длится период почти полного спокойствия, почти не отмеченный актами насилия“ (стр. 29).

Во-первых, кто это все, жаждущие мира? Имущие классы, в Собрании представленные, король и придворная камарилья? Да, ибо Собрание сняло с короля обвинение в измене конституции, выразившейся в его бегстве, а король, закрывая Собрание, выражал надежду, что к нации вновь вернется „ее счастливое настроение“. Что же касается парижской массы, то едва ли она, устроившая демонстрацию в честь Робеспьера и Петиона (о чем Олар может прочесть в своей „Политической истории французской революции“), была уж так миролюбиво настроена.

Во-вторых, насчет полного спокойствия, царящего в указанный Оларом период, тоже позволительно будет усомниться. Именно за этот период нарастает революционность масс. городская беднота начинает (первые месяцы 1792 г.) волноваться из-за дороговизны, а крестьянство — благодаря обманутым надеждам на освобождение. В конечном счете это нарастание революционности приводит к революционному взрыву, происшедшему через 10 месяцев, к „10-му августа“.

Десятое августа—„великий акт народного насилия, первая революция в революции“, говорит Олар (стр. 29). Почему первая, и почему взятие Бастилии не в счет,—ведь, это тоже „акт народного насилия“,—неизвестно. Но дело не в этом. Оказывается, даже согласно Олару, насилие кое-какую пользу революции принести может. Конечно, это насилие не являлось „насилием в целях диктатуры“, оно

было „насилием ради торжества общей воли“ и т. д. Но как бы то ни было, „одним из следствий этого восстания явилось то, что отныне выражение общей воли становится более общим, благодаря отмене цензового голосования и замене его системой, именуемой всеобщим голосованием“ (стр. 30).

Итак, расшифруем эту по-профессорски туманную фразу: благодаря восстанию, т.-е. акту насилия, во Франции устанавливается демократия. Кажется, ясно! Но это не мешает нашему историку на следующей странице утверждать, что „за время революции насилие не создало, кажется, ничего ценного, важнейшие законы более общего характера были приняты без всякого давления со стороны улицы“.

Этого мало: по профессору Олару выходит, что „даже некоторые чисто-революционные акты, как, напр., приговор, вынесенный Людовику XVI, облекались в форму закона, без всякого вмешательства толпы ..“ (стр. 32).

Облечение того или иного акта в форму закона совсем не является доказательством ненасильнического характера этого акта. Иначе, как бы эти акты могли сделаться актами общегосударственного характера, если бы они не были зафиксированы в форме закона? Ведь, закон, удушающий рабочие организации, изданный Учредительным Собранием,—закон Ле-Шапелье не потерял своего насильнического характера от того, что он был законом. Ну, а как обстоят дела с влиянием толпы на вынесение смертного приговора королю?

А вот как: в момент прений в конвенте по вопросу об апелляции к народу „в освещенном факелами зале к решетке вдруг бросались родственники жертв 10 августа, требуя отмщения Людовику XVI и размахивая простреленною пулями одеждой и лохмотьями окровавленных рубашек“... Из одного города писали: „Горе всякому, кто станет говорить о прощении. Судите также и Антуанетту“, из другого—„повторяем вам требования наказать низложенного изменника; на что это зловредное существо?“ [1]).

Если „улица и толпа“ не оказывали никакого влияния на вынесение решения о казни Людовика, то почему именно в это время жирондисты требовали отмены непрерывности заседаний секций [2]), и что заставило „болото“, как не давление со стороны революционного Парижа, голосовать за казнь короля?

Не может же быть, чтобы наш лучший знаток событий французской революции не знал этих фактов. Уж чего-чего, а знания фактов от буржуазного историка требовать можно. Можно от него требовать и отсутствия противоречий на каждом шагу. Но этого как раз нет у нашего историка.

Мы уже раз ознакомились с разноречивостью его взглядов на значение насилий. На странице 32 мы опять находим утверждение,

[1]) Луи Блан, История революции, т. VIII. стр. 29.
[2]) Там же.

что „все созданное насилием было недолговечным и исчезло вместе с войной“. На следующей же странице говорится, что результатом насилия явилась „отмена феодальных прав без выкупа“.

Как бы извиняясь за столь большую неделикатность со стороны революции, Олар заявляет, что насилие в общем иногда бывает и хорошей вещью, но только „для разрушения, а не для созидания“. А что же такое вообще революция, как не разрушение старого дореволюционного порядка?

Но дело не в этом, а в том, что Олар сознательно умалчивает о том насилии, результатом которого явилось это уничтожение феодальных прав. А, ведь, это была революция 31 мая—2 июня, насилие, планомерно подготовленное и совершенное, массовое революционное выступление. И это выступление не только освободило крестьян, оно дало Франции самую демократическую конституцию. А это разве не важно для Олара, „лидера передовых групп французского республиканизма“, как его называет приват-доцент Миркин? Революция 31-го мая удесятерила сопротивляемость Франции реакционным врагам, т.-е. спасла все вообще завоевания революции,—иначе те „важнейшие законы общего характера“, о которых Олар говорит, что „насилие в их установлении не играло никакой роли“...

Наш историк всеми силами старается причесать и пригладить факты французской революции и показать, что революция эта чуждалась всякого насилия.

„Конвент не решился поставить террор в порядок дня, как того требовала от него Коммуна“, говорит Олар. Конечно, такого декрета о постановке террора в порядок дня не было, но под давлением революционных масс Конвентом было издано много террористических декретов, которые слишком известны для того, чтобы о них говорить здесь. Укажем хотя бы на декрет, уничтожающий формальности в процессе жирондистов. Декрет этот явился результатом выступления делегации 48 секций. Или вспомним декрет о создании революционной армии, изданный опять-таки под давлением депутации от 48 секций, произнесшей в своем выступлении знаменитую фразу о „постановке террора в порядок дня“. И представитель правительства Баррэр, выступая, повторяет эту фразу [1]). Следовательно, она хотя и не сделалась декретом, но была принята как правительственная декларация.

„Конвент уничтожил крайних, или считавшихся таковыми, как Эбера и его друзей“, говорит Олар. Но эти крайние были уничтожены совсем не за излишний терроризм, а за излишние социально-экономические требования, или, как тогда выражались, за то, что „желали вести народ за пределы революции“.

„Наконец, 2 жерминаля II года Конвент торжественно поставил „справедливость и честность в порядок дня“, читаем мы у Ола-

[1]) Олар, Полит. истор. франц. революции, стр. 397.

ра. Такое постановление Конвента было лишь шахматным ходом во фракционной борьбе, а совсем не выражало действительного отношения господствующей группы к террору. Что дело обстояло именно так, видно из того, что через два месяца и двадцать дней после этого был издан самый свирепый из террористических законов—„Закон 22 прериаля“, а через две недели были казнены, и казнены именно как противники террора, Дантон и Демулен. Если бы наш почтенный историк перед произнесением речи на съезде научных обществ, пересмотрел свою „Политическую историю Французской революции“,—он бы нашел там указание на это обстоятельство [1]).

Смягчая характер происходивших событий, наш историк желает исказить и истинный облик деятелей революции. Робеспьер у него является необычайным законником и сторонником легальных действий. Олар подчеркивает, что он—юрист (стр. 35).

В опровержение большой приверженности Робеспьера к легальности можно привести следующие обстоятельства. Революционные комитеты видели большое стеснение своей деятельности в декрете, требующем от них объяснений причин произведенных арестов. „Нравственные убеждения часто определяют те меры, которые направляются против этих людей (арестованных), а потому было бы трудно изложить в протоколе причины их ареста“, пишут комитеты в своей петиции. И Робеспьер поддерживает в Конвенте эту петицию комитетов [2]).

Выступая против своих врагов, Робеспьер никогда не думал о законности того, что он говорил, стремясь лишь к уничтожению своего противника, безразлично был ли то Ру, Клоотц, или кто другой [3]).

Как пример необычайной склонности Робеспьера к легальным действиям, Олар приводит то обстоятельство, что Робеспьер колебался подписать призыв к восстанию, обращаемый к массам 9 термидора. Здесь Робеспьеру приходилось переживать сложнейшую душевную драму, в которой вопрос о легальности занимал, вероятно, очень мало места. Дело заключалось в том, что с призывом к восстанию приходилось обращаться к тем массам, для удушения революционности которых было очень много сделано самим Робеспьером. Для него, вероятно, было очевидным, что призыв этот будет напрасным и этим-то и объяснялось то, что „он написал две первые буквы своего имени, а затем перо выпало из его рук“. По Олару выходит, что „он предпочел смерть восстанию против общей воли, выразителем которой являлся объявивший его вне закона Конвент“ (стр. 35).

О Дантоне Олар говорит, что „никто не был человечнее ни сердцем, ни разумом Дантона, который столь жестоко громил аристократов и, громя их, в то же время спас столько голов“ (стр. 35). Что лично Дантон был добрым человеком, вполне возможно, что в своей

———

[1]) Олар, Полит. истор. франц. революции, стр. 397.

[2]) Mellié Les sections de Paris, стр. 214.

[3]) См. собранные Оларом Протоколы Якобинского клуба, т. V, стр. 277, 280, 554, 557.

деятельности он колебался между непримиримым террором и персональным его смягчением по отношению к отдельным представителям противников революции, тоже вполне возможно,—недаром Дантон был представителем богемы и занимал промежуточную позицию между якобинцами и жирондистами. Но, что он был одним из проповедников террора и его апологетом, это не подлежит сомнению.

Укажем хотя бы на речь, произнесенную им в Конвенте по поводу организации Революционного Трибунала в марте 1793 г. „Отдайтесь же в руки народной мести,—говорил Дантон.—Человечество вас простит. Нет ничего труднее, как уничтожить политическое преступление, и тем более необходимы чрезвычайные законы, ужасающие преступника и уничтожающие виновных, и здесь безопасность требует истребительных мер. Нет средины между обычными формами правосудия и революционным трибуналом“ [1]).

„Как, гражданская война во всей Франции,—говорил в другой речи Дантон,—а Конвент бездействует? Революционный Трибунал, который должен карать контр-революцию, декретирован, а он еще не действует. Что должен сказать народ, как не то, что он должен поднять восстание. Он должен, он это чувствует, он скажет: слабость обуяла наших представителей, а между тем контр революция убивает свободу... Я требую, чтобы каждый гражданин имел меч наготове, чтобы революционный трибунал имел достаточную энергию, чтобы Конвент поставил в известность весь французский народ, всю Европу, весь мир о том, что он—учреждение революционное“ [2]).

На фоне этих весьма добродетельных и склонных к легальности деятелей революции Олар рисует облик некоего мелодраматического и кровожадного злодея Марата. Оказывается, он один проповедовал пролитие крови, но зато он и стремился к установлению диктатуры (стр. 18—19). Он ничьим сочувствием не пользовался („в Конвенте не было маратистов“), и „только реакция термидора, словно в пику Робеспьеру, перенесла прах Марата в Пантеон“.

Легенда о кровожадном и неистовом Марате давно разрушена, и говорить по этому поводу много не приходится. Маратистов же в Конвенте не было не потому, что Марату мало кто сочувствовал, а потому, что слои населения, ему сочувствующие, не были представлены в Конвенте. Маратистов было очень много в Коммуне, в секциях и предместьях Парижа. Послетермидоровская реакция возвеличила Марата вовсе не потому, что Марат был ей близок своей проповедью единоличной диктатуры, а потому, что это было ей необходимо по тактическим соображениям в момент острой борьбы против „Избирательного клуба“, руководимого Бабефом.

„Итак, можно признать,—говорит Олар,—что внутренняя политика французской революции, столь жестокая, когда ей противодействовали, все же не была системой насилия“.

[1]) „Moniteur“, т. XV, стр. 683.
[2]) Там же, стр. 807—808.

Но какая из революций применяла насилие иначе, как в силу оказываемого ей противодействия? Ведь, еще Лавров на примере Парижской Коммуны понял, что ввиду сопротивления господствующих классов, не желающих уступить свое господствующее положение, ибо оно приносит колоссальные выгоды, революция должна употреблять насилие против этих классов.

Не представляет собой исключения в этом отношении и русская пролетарская революция, в сторону которой и направлены все эти кивки проф. Олара. Если бы наш проф. Сорбонны знал ближе происходившее в Сов. России осенью 1918 и летом 1919 г.г., он бы понял, что „внутренняя политика Сов. России" была столь жестокой тоже лишь потому, что „ей противодействовали". Да еще так „противодействовали", что сопротивление, встречаемое революцией XVIII века, было детской игрушкой сравнительно с противодействием, встречаемым пролетарской революцией.

Помимо Марата Олар считает, что „призывы к насилию у пылких и быстро забытых Ру и Варлэ имели видимость системы".

Прежде всего, кем были забыты Ру, Варлэ и др.? Скорее всего— буржуазными историками, парижские же массы их помнили очень долго и очень основательно. Разве не казнь Жака Ру заставила секцию Гравилье выступить против Робеспьера в роковой для него день 9 термидора? Разве не за Варлэ шел „Избирательный клуб" еще в октябре 1794 г.?

Систематической же теории насилия у французской революции не было потому, что у ней не было вообще никакой теории революции. В процессе самой революции у ней создавалась революционная теория. Сам Робеспьер говорил, что „теория революционного правительства (т.-е. диктатуры) так же нова, как и сама революция, которая ее выдвинула..." [1]).

В процессе самой революции создались определенные взгляды на террор, как на необходимый элемент гражданской войны, и даже на диктатуру, как бы это ни было нежелательно историку-демократу Олару.

Напрасно он думает, что лишь для „поверхностного наблюдателя революционные комитеты представляют прообраз диктатуры пролетариата". Эпоха господства якобинцев есть пример революционной диктатуры, поддерживаемой мерами революционного насилия. Это ясно для всякого историка, стоящего на точке зрения классовой борьбы. Одним из органов, поддерживающих эту диктатуру, были революционные комитеты. Состав их был настолько классовым, насколько он мог быть таковым в ту эпоху значительной классовой недифференцированности. Олар, вероятно, знает речь Дюгема, произнесенную им в Якобинском клубе 10 августа 1794 г. Эта речь имеется в собранных Оларом „Протоколах Якобинского клуба". Дюгем в ней пря-

[1]) За неимением оригинала под рукой, цитирую по книжке Лукина „Макс. Робеспьер", стр. 92.

мо указывает состав революционных комитетов Парижа—„сапожники, плотники, санкюлоты“, и противопоставляет им „священников, знатных, купцов, скупщиков“ [1]).

Если революционные комитеты не были классовыми органами, а состояли „как из представителей буржуазии, так и рабочих“ (Олар, стр. 34), то зачем буржуазии, оказавшейся у власти в лице правых термидорианцев, было уничтожать эти комитеты, сокращая число их с 48 до 12 и заполняя их своими людьми?

„Робеспьер, гильотинированный как террорист, не хотел сделать насилия ни системой, ни даже режимом“, говорит Олар. А речь Робеспьера о революционном правительстве,—разве она не является проповедью режима диктатуры и противопоставлением его режиму конституционному? „Задача конституционного правительства,—говорил Робеспьер,—охранять республику, задача правительства революционного заложить ее основы. Революция—это борьба за завоевание свободы, борьба против всех ее врагов. Конституция — мирный режим свободы, уже одержавшей победу. Революционное правительство должно проявить чрезвычайную активность именно потому, что оно находится как бы на военном положении. Для него не пригодны строго однообразные правила, ввиду тех бурных, постоянно меняющихся обстоятельств, среди которых оно действует, и особенно потому, что при наличности все новых и грозных опасностей оно вынуждено пускать в ход все новые и новые рессурсы“ [2]) Разве в этой речи Робеспьера не высказано ясное представление о насильническом режиме диктатуры, и разве она не противопоставлена правлению мирному и конституционному?

Не менее ясно высказался Дантон:

„Конституция временно как бы спит, до тех пор пока народ занят нанесением ударов своим врагам и устранением их революционными мероприятиями“ [3])...

Противники якобинцев слева требовали в эпоху термидорианской реакции установления конституционных властей—поэтому якобинцы и характеризовали их как людей, фабрикующих заговоры, являющихся в Конвент с контр-революционными петициями, требующих уничтожения революционного правительства, народных выборов и свободы прессы—всего того, что может быть благоприят- только для аристократов)[4].

Диктатура и революционное правительство неразрывно связаны с режимом террора, насилия. „Не может быть отдыха до тех пор, пока враги революции и французского народа не будут истреблены, говорил Сен-Жюст.—Нет милосердия и послабления для виновных, посягающих на свободу их родины“ [5]).

1) Протоколы Якоб. клуба, т. VI. стр. 560—561

2) Лукин, М. Робеспьер, стр. 94.

3) „Moniteur“, т. XIX, стр. 692.

4) Проток. Якоб. клуба, т. V, 541.

5) Прот. Як. кл., т. VI, 435.

Рядовой якобинец Мор говорил по поводу жестоких мероприятий революционного правительства:

„Я сравниваю революцию с некоей дорогой, по которой должна катиться быстрая колесница революционного правительства; если она встречает на своем пути препятствия, задерживающие ее ход—является совершенно правильным, разумным и справедливым устранить эти препятствия, сделать эту дорогу гладкой и легко-проходимой"[1].

Когда в Якобинском клубе возник вопрос об обвинениях против Карье, прославившегося своей жестокостью во время выполнения обязанности комиссара Конвента в Нанте, якобинцев нисколько не смутили все эти совершенные им жестокости, ибо они были совершены в целях укрепления революции и вызваны обстоятельствами гражданской войны.

„Если есть какой-либо человек,—говорил Буэн, выступив по вопросу о суде над Карье,—который совершал акты жестокости из побуждений, отличного от побуждения спасти свободу, он должен быть принесен в жертву, но если общественное дело требовало совершения этих актов жестокости, мы все должны с величайшей энергией защищать репутацию этого человека".

Еще отчетливее этот взгляд высказал обыкновенно очень осторожный и умеренный Левассер: „Нам говорят о человеколюбии, но какое человеколюбие может быть проявлено по отношению к тем, кто столь долго призывал гибель на головы патриотов?" (Карье действовал в восставшей Вандее). „Гражданская война по необходимости сопровождается ужасами, которых нельзя предупредить"[2]...

Стоит, пожалуй, остановиться на кое-каких курьезах, попадающихся в рассматриваемой нами брошюре проф. Олара. По его мнению в момент борьбы Национального Собрания с королем, последний „изменил своей традиционной роли и стал на сторону привилегированных" (стр. 24). Кто как, а мы держимся несколько другого мнения о традиционной роли монархов и их всегдашних отношениях к привилегированным, т.-е. к господствующим, классам.

По мнению Олара, Наполеон „является тем диктатором, которого желал Марат" (стр. 39). Большей клеветы на память великого революционера трудно выдумать. Не Марат желал диктатуры, подобной диктатуре Наполеона, а та имущая буржуазия, на борьбу с которой отдал жизнь Марат, столь несправедливо оклеветанный Оларом.

Нам могут сказать, что и мы слишком строги и придирчивы к небольшой, носящей публицистический характер, работе знаменитого французского историка. Но дело в том, что сам ее автор указал на то, что его работа есть произведение научное. А к такого сорта произведениям должны предъявляться определенные требования. Кроме того, имя Олара настолько известно, авторитет его настолько велик, что все его хитросплетения, направляемые против русской революции,

[1] Протов. Якоб. клуба, т. VI, 372.

[2] Там же, стр. 629—630.

могут произвести известное впечатление и потому должны быть беспощадно разоблачены.

Резюмируя, мы утверждаем, что французская революция, являющаяся, как и всякая революция вообще, обостреннейшим моментом классовой борьбы, применяла насилие. Насилие это одинаково применялось всеми борющимися сторонами, т.-е. и контр-революцией. Что касается революции, она пускала насилие в ход сначала стихийно, потом в процессе своего хода она осмыслила применение этого насилия. У революционных вождей складывается вполне отчетливое представление о значении насилия в революции, а также и настолько, насколько это было возможно благодаря тогдашним обстоятельствам, отчетливое представление о революционном правительстве, т.-е. о диктатуре, поддерживаемой суровейшими мерами насилия.

Конечно, все свои насильнические мероприятия революция должна была пускать в ход в ответ на таковые же мероприятия со стороны своих врагов. Но так же точно делала и делает и всякая другая революция, в том числе и русская, пролетарская.

Поскольку насилие давало победу революции, укрепляло ее, поскольку им пользовался революционный класс в революционных целях, постольку оно было „плодотворно" и, следовательно, вполне оправдываемо.

Пр ф. Олар думает по этому вопросу иначе: „на фактах и документах,—говорит он, — и только на фактах и документах, изучаемых мною столько лет, я основываю в этом очерке опровержение той легенды, которая представляет людей французской революции теоретиками насилия и которая видит в этой революции пример **плодотворного** насилия, как такового" (стр. 40).

Да позволено будет утверждать, что проф. Олар, по крайней мере, в „этом очерке" документов не понял, а факты исказил. Но в этом еще нет ничего плохого. Не всем дано понять смысл революционных явлений, для этого мало быть профессором Сорбонны и изучать всю жизнь „факты и документы", хотя бы и относящиеся к революции. Затем, искажение фактов французской революции сделалось своего рода профессорской традицией. Правда, их искажали обычно несколько иначе, чем это сделал Олар: наиболее революционные деятели под пером профессоров обращались в кровожадных зверей, а Олар представил их „пай-мальчиками", лишь для контраста, нарисовав рядом с ними образы злодеев—Марата и „быстро забытых Ру и Леклерка".

Но зачем было сначала расписываться в своей искренней дружбе к „великому русскому народу, призванному сыграть крупную роль в истории человечества", а потом постараться на основании „фактов и документов, и только на основании фактов и документов" лягнуть этот „русский народ", как раз тогда, когда он, в лице своего революционнейшего класса—пролетариата, приступил к выполнению „крупной роли в истории человечества", роли, заключающейся в освобождении путем революции, а следовательно, и насилия трудящихся всего мира. Такая дружба называется литьем воды на колеса мельниц разных Гецевичей-Миркиных и др. врагов русской революции.

С. Моносов.

БИБЛИОГРАФИЯ

Макс Адлер. Маркс как мыслитель. Перевод с 2-го немецкого издания с предисловием проф. М. В. Серебрякова. „Книга". 1924 г. Стр. 134.

Макс Адлер принадлежит к того типа австрийским социал-демократам, специальностью которых является соединять внешность марксистской почти-ортодоксии с прогнившей сердцевиной ревизионизма. Как известно, философским знаменем, под которым ревизионизм выступал впервые на историческую сцену, было кантианство, вернее—неокантианство. Бернштейн учился не столько на самом Канте, сколько на Фр.-А. Ланге. М. Адлер—также неокантианец. Но своеобразный кантианец, стремящийся понять и то великое, что было внесено в науку Гегелем. В этом его сила. Неокантианские бельма на его глазах, однако, так сильно парализовали его зрение, что даже глядя на льва—он видит кошку. Отсюда и в Гегеле он не видит всего того, что представлял великий мыслитель на самом деле, не видит критика Канта. Отсюда же и Маркс в его руках превращается из величайшего материалиста всех времен в прилизанного „критика" неокантианской выпечки. Отсюда все заблуждения М. Адлера в исследовании им социальной философии марксизма.

Вышедшая в переводе на русский язык книга М. Адлера, как в зеркале, отражает в себе всю эту причудливую игру философского облика ее автора. Нашей задачей будет указать важнейшие ошибки в ней, вместе с которыми рушится и весь хитросплетенный карточный домик рассуждений рядящегося под марксизм венского философа.

Как мы уже отметили, лучшие страницы книги М. Адлера—те, в которых он стремится выяснить значение Гегеля, его влияние на Маркса. В противоположность шаблону патентованных критиков философии, М. Адлер подчеркивает, что, несмотря на свою абстрактность и метафизику абсолютного духа, система Гегеля в известном смысле, после Фихте и Шеллинга, „была возвратом к действительности и имела тенденцию к закономерному пониманию опыта вместо голых умозрений" (38). В противовес формализму кантовской философии она требовала, чтобы мыслящее исследование доказывало необходимость его содержания (41).

Однако, отмечая, как заслугу Гегеля, идею перманентного развития, сам М. Адлер скользит по поверхности мысли великого идеалиста, не понимая действительного значения им же поддерживаемого гегелевского метода. Глубина гегелевской мысли заключалась как раз в том, что в противовес кантовской диалектике разума, предписывающей законы природе, диалектика у Гегеля стала законом самой природы. Тем самым раз и навсегда была разрушена та непроходимая стена, которую между субъектом и объектом пыталась воздвигнуть критическая философия.

Вся философия М. Адлера, как бы он ни клялся своим монизмом, исходит из этого противопоставления. Для него мир—не вечно развивающийся

объект нашего познания, независимо от него существующей, а „все еще незаконченный результат уже столетиями длящегося процесса познания; бытие космоса превращается в становление опыта о нем, в историю его познания" (стр. 35, курсив автора. *И. К.*). Таким образом человеческая мысль оказывается демиургом природы вместо того, чтобы быть ее продуктом. Он решается утверждать, что „Галилей в отношении мертвой природы, Спиноза в отношении живой и Кант критическим отношением к ним обоим обогатили наше научное сознание; они научили нас познавать мир, как природу, как психо-физическую детерминацию (?) и, наконец, как особенность нашего строя мысли" (23)—чудовищное варево кантианства, построенное на грубом искажении материалистических воззрений творца современной физики и гениального провозвестника примата природы в философии. Понятно после этого, что учение Канта для М. Адлера—лишь „видимо индивидуалистическое" (37), что опыт, как новое научно-обоснованное познание, есть „всегда интуиция, прикладное умопостроение" (11).

Если бытие космоса есть лишь становление нашей интуиции, то и бытие истории есть лишь движение человеческого духа (86). Здесь же коренится излюбленная мысль М. Адлера о том, что причинная связь истории, благодаря тому, что развивается она через посредство человеческих воль, тем самым переводится в телеологию (81). „Всякая социальная причинность,—пишет он в другом месте,—протекает только внутри телеологических определенной формы духовной сущности людей и, поэтому, необходимо должна быть телеологической, вследствие чего только из причинности и получается развитие" (курсив автора, стр. 90). Здесь М. Адлер безбожно путает понятие объективной телеологичности исторического процесса с субъективной обусловленностью определенными целями действий борющихся на арене истории групп и классов. Человек отличается от животного тем, что сознает цели своей борьбы, своего труда. Но это вовсе не означает, что сам по себе исторический процесс осуществляет какие-то имманентно присущие ему цели. Развитие совершается одинаково и в общественном мире, и в мире природы, хотя там оно и вовсе не протекает „внутри телеологически определенной формы духовной сущности". Оно оказывается результатом взаимодействия слепых физических и, до известной степени, общественных сил, за которыми не скрывается никакой дирижерской палочки абсолютного духа. Точка зрения М. Адлера на развитие есть реставрация худшей стороны гегельянства. То, что, по словам Маркса, человечество ставит всегда себе только разрешимые цели (стр. 81), означает не телеологичность истории, а лишь то, что сама задача появляется только там, где есть средства для ее разрешения, является свидетельством того, что это решение назрело. История не знает извне вложенных в нее кем-то целей, она знает лишь ставящиеся в ней отдельными классами и группами цели, осуществляющиеся в меру того, насколько владеют они производительными силами человеческого общества.

Из ложного же понимания проблемы отношения бытия и мышления у М. Адлера вытекает ложное понимание диалектики, которое мы отмечали уже выше. Он слово „диалектика" применяет лишь к методу мышления, реальную же противоположность бытия в природе и истории называет антагонизмом (78). Это подобно тому, как у современных гегельянцев типа Лукача и др. диалектика, изгнанная из области природы, также сводится лишь к проблемам, связанным с деятельностью человеческого мышления, единству субъекта и объекта, теории и практики и т. д. На деле подобное противопоставление метода мышления и закона действительности приводит лишь к формальному пониманию диалектики (связанному у М. Адлера с его кантианством) и к механическому пониманию реального развития природы.

Естественно, что кривой в философии не может быть зрячим в социа-

логии. За философскими ошибками у М. Адлера следуют и социологические. В одном месте в производственные отношения он включает географическую среду (стр. 74—75); в другом превозглашает политику—техникой общества (стр. 127) вместо того, чтобы видеть в ней технику классовой борьбы.

В результате можно сказать, что напрасно М. Адлер считает, что зря взгляды Маркса и Энгельса „оставили как материалистические" (37). Они были именно такими. Но с тем большим основанием можно сказать, что зря взгляды М. Адлера выдаются за марксистские, а его понимание истории— за материалистическое ее понимание. „Материализм» материалистического понимания истории" не только в том, что оно составило „переход от спиритуалистических тонкостей к эмпирическим явлениям социальной жизни" (69). Материалистическое совсем не тождественно эмпирическому. Материализм Маркса в том, что весь мир он понял, как процесс развивающейся материи, а общество—прежде всего, как производство и воспроизводство материальной жизни людей. Но этого никогда не понять тому, кто считает общественную связь только духовной связью.

Выступая против созерцательного материализма своего времени, критикуя его недостатки в тезисах о Фейербахе, Маркс делал это вовсе не для того, чтобы распрощаться навсегда с материализмом, а для того, чтобы, наоборот, тем крепче утвердить его для будущего.

Тому, кто не знает Маркса, книга М. Адлера дает Маркса искаженного. Тому же, кто знает Маркса,—она свидетельство лишь того, что автор ее из числа тех марксистов, от которых открещивался еще основатель марксизма.

Ник. Карев.

Руднянский. Беседы по философии материализма. Государственное Издательство. С предисловием Семковского и примечаниями Л. И. Аксельрод.

Перед нами попытка создать книжку, просто и понятно освещающую главные вопросы материалистической философии. Потребность в таком руководстве, которое в доступном виде для партийцев-средняков и рабочих разбирала бы главные проблемы диалектического материализма,—огромная.

Революционный и критический метод—диалектика—„душа" и непоколебимый фундамент стройного здания, именуемого марксистской теорией.

Важную роль, принадлежащую диалектическому методу в марксистской теоретической системе, сейчас усугубляет полоса исторического развития, нами проходимая. „Марксизм не мертвая догма, но какое-либо законченное, готовое, неизменное учение, а живое руководство к действию, именно поэтому он не мог не отразить на себе поразительно резкой смены условий общественной жизни",—так писал тов. Ленин в 1910 году, имея в виду смену первого трехлетия, приблизительно закончившегося летом 1907 года и давшего основу для разработки в области марксистской теории вопросов тактики и политики, вторым трехлетием, выдвинувшим на первый план вопросы об общих философских основах марксизма. Эта смена интересов в области марксистской теории была не случайна. Диалектика исторического развития, сняв с порядка дня непосредственный, революционный штурм старого порядка, выдвинула проблему переработки опыта, усвоение его более широкими массами. Работа широких масс, всколыхнутых и разбуженных трехлетием революционной грозы и глубоких потрясений, над усвоением опыта, должна была выдвинуть в центре внимания марксистской теории вопросы философских основ марксизма, вопросы марксистской методологии. Дать отпор всем тем шатаниям, всему тому невероятному идеологическому распаду, которое проникало в ряды рабочего класса и в ряды его передового от-

ряда—социал-демократии; повести последовательную и решительную борьбу с антимарксистскими уклонами в политике, подрывавшими работу воссоздания и сохранения революционной социал-демократии, можно было, только защитив и укрепив методологические, философские позиции марксизма. Всякому философскому „отступничеству от марксизма“ должна была быть объявлена беспощадная, истребительная война. В это время тов. Ленин написал свою работу по философии: „Материализм и эмпириокритицизм“, занимающую среди марксистских философских работ, после работ Маркса и Энгельса, одно из первых мест.

Та историческая полоса, которую мы проходим, хотя по другим причинам и для иных целей, тоже подчеркивает важное значение методологии марксизма. Массы, приведенные в движение потоком революции, прошедшие сквозь огонь и муки гражданской войны, бросились на „учобу“, чтобы обобщить и осмыслить свой опыт. Эта глубокая и широкая работа масс над выработкой основ своего мировоззрения и процесс изживания ими буржуазных и мелко-буржуазных предрассудков подводят нас вплотную к необходимости заняться общими философскими основами марксизма. Движение масс, не изживших еще полностью своих мелко-буржуазных предрассудков, в сторону марксизма, создает всевозможные извращения марксизма и уклоны в сторону от него. Рыночная стихия, возродившаяся у нас, поддерживает целый ряд идеологических явлений, оказывающих отрицательное влияние на процесс формирования классового самосознания рабочего класса. Колоссальная революция, совершающаяся в современном естествознании, вследствие чуждости естествоиспытателей диалектическому материализму, создает основу для существования всевозможного рода „школ“ и „систем“, защищающих физический идеализм и распространяющих „слухи“ и „сплетни“ об опровержении и окончательной гибели материализма.

Такого рода положение вещей выдвигает перед нами необходимость защитить философские основы марксизма, пропагандировать их среди широких масс и учить их владеть методом материалистической диалектики. Владеть методом материалистической диалектики в особенности важно в эпоху краха капитализма и социалистической революции, в эпоху, которая сама „более диалектична“, подвижна и изменчива, чем эпоха органического, мирного развития. Эпоха социалистической революции ставит перед пролетариатом в практической плоскости всеобъемлющую, целостную задачу переустройства старого общества, распадающуюся на множество частных задач, взаимно между собой переплетающихся и друг за другом следующих. Суметь раскрыть диалектическую связь между частью и целым, отыскать ту частную задачу, от решения которой зависит решение всеобщей задачи данной исторической полосы, найти знаменитое ленинское звено, за которое необходимо ухватиться, для того, чтобы вытянуть всю цепь, можно, только прекрасно владея и умея применять диалектический метод. В эпоху бешеного и головокружительного темпа социально-исторического развития нельзя безнаказанно игнорировать диалектический метод и подходить к общественным явлениям метафизически.

Если мы признаем такую важность изучения основ диалектического материализма, то мы внимательно должны следить за литературой, по этим вопросам предназначаемой для широких масс. Этой литературе должны быть предъявлены серьезные научно-методологические и педагогические требования. Иначе она вместо пользы принесет величайший вред.

Книжка, с которой мы имеем дело, одним из видных представителей ортодоксального марксизма в области философии, Л. И. Аксельрод, рекомендуется. „как логически связанное изложение основных принципов марксистской философии, как они развиты в произведениях „марксистов-теоретиков ортодоксального направления“. Нам придется, однако в этой книжке, напи-

санной действительно живым и популярным языком, констатировать целый ряд крупных ошибок научно-методологического порядка, на разборе которых мы вкратце и остановимся.

Определение философии.

Рудянский, верно указывая на то, что философия занимается изучением способа познания, вместе с тем дает итоговое определение, которое попадает в тон знаменитому махистскому принципу—экономии мышления. Он заявляет, что философию можно определить: „как науку об умственном хозяйстве, как экономию человеческого духа“. Основная задача познания никогда не может заключаться в том, чтобы экономить духовный труд, чтобы мыслить о мире таким образом, чтобы наше представление о нем вырабатывалось на основе экономии мысли. „Принципы экономии мышления, если его действительно положить в основу теории познания“, не может не вести ни к чему иному, кроме субъективного идеализма. „Экономнее“ всего мыслить, что существую только я и мои ощущения, это неоспоримо, раз мы вносим в гносеологию столь нелепое понятие“ [1]). Экономнее всего, конечно. устранить объективные вещи и свободно без препятствий носиться на крыльях субъективизма.

Нам нужно не „экономное“, а объективное, правильное познание мира. Точно так же неправильно величает Рудянский философию „наукой наук“. Энгельс, имея в виду историческое превращение фазиса философии, когда она была „наукой наук“, в методологию науки, в логику науки, писал: „Философия таким образом „устранена“, т.-е. одновременно превзойдена и сохранена, превзойдена по форме, сохранена в смысле реальности содержания“ [2]). Энгельс, отрицая, в связи с утверждением диалектического метода, за философией право почетно называться „наукой наук“, вместе с тем не соглашается с нашими упразднителями философии, а вполне понимает, что философия приняла новую форму, сохранив свой реальный смысл и значение. „Поскольку каждой отдельной науке предъявляются требования выяснить свое положение по отношению общей связи явлений в сфере их познаний, всякая особая наука об этой связи становится излишней. От всей прежней философии остается еще, в качестве самостоятельной науки, учение о мышлении и его законах—формальная логика и диалектика. Все остальное относится к положительной науке о природе и истории“ [3]). Это и значит, что философия из „науки наук“ превратилась в теорию науки, в методологию.

Понятие действительности.

Вопрос о том, что такое действительность, это вопрос, по которому проходит водораздельная линия между двумя главными философскими направлениями, между материализмом и идеализмом. Рудянский говорит, что действительность создается человеческим трудом, что действительность представляется совсем иначе нам в странах промышленных в наше время, чем сто лет назад, когда не знали еще крупной промышленности и не умели надлежащим образом эксплоатировать силы природы. „Что тогда было действительностью, то ныне перестало ею быть; действительность постоянно меняется, благодаря усилиям человеческого труда“. ...„Отсюда вывод: обобществленной и собирательной является действительность, которую создает человеческий труд“.

---

[1]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 191.
[2]) Энгельс, Анти-Дюринг. стр. 114.
[3]) Там же, стр. 18.

Правильно то, что категория природы, объекта—категория историческая. Верно и то, что картина мира возникает у нас на основе общественно-практической деятельности. Маркс и Энгельс по этому поводу в своем проекте предисловия к „Немецкой идеологии" писали: „Окружающий нас чувственный мир не есть вовсе какая-то непосредственно от века данная, всегда самой себе равная, вещь, а продукт промышленности и общественного состояния, продукт в том смысле, что он является в каждую историческую эпоху результатом деятельности целого ряда поколений, из которых каждое стоит на плечах предшествующего ему поколения, развивая его промышленность, его способ сношения и видоизменяя, в зависимости от изменившихся потребностей, его социальный строй. Даже предметы простейшей чувственной достоверности даны нам только благодаря общественному развитию, благодаря промышленности и торговым сношениям"[1]). Здесь Маркс, определяя понятие действительности, противопоставляет точку зрения диалектического материализма точке зрения созерцательного, старого материализма, понимавшего действительность как голое ощущение. Указывая это отличие диалектического материализма от метафизического в данном вопросе, Маркс не забывает указать, чем отличается в данном вопросе материализм вообще от идеализма. Говоря о том, что наше понятие чувственного мира создается общественно-производственной деятельностью человека, Маркс отмечает, что: „конечно, при этом сохраняется приоритет внешней природы, и, конечно, все это не имеет никакого отношения к первичным, порожденным путем generatio aequivoca людям"[2]). Если диалектический материализм требует революционно-практического отношения к миру и данную картину природы считает возникшей на основе данной исторической ступени развития производительных сил человеческого общества, то он вовсе не отменяет основного элементарного положения всякой формы материализма, что внешняя природа, объект существует независимо от человеческого сознания.

Руднянский, сосредоточив свое внимание на определение действительности, как результата общественного труда, забывает о том, что в тот момент, когда природа человеку в процессе общественного труда обнаруживает свои свойства, она вовсе не создается и не возникает, а для того, чтобы обнаружиться в процессе труда, она должна существовать независимо от человеческого труда и независимо от человеческого сознания. Если понятие действительности, существующее на данной ступени развития, полностью хоронится на следующей ступени, как это думает Руднянский, то мы не имеем объективного познания и путь развития человеческого знания не дает нам постепенного, но все возрастающего приближения к абсолютной истине. Объявить безусловно исторически условным всякое знание—значит впасть в субъективный релятивизм. К этому и приводит понятие действительности, даваемое Руднянским.

Критерий истины.

Из основной ошибки Руднянского в постановке проблемы действительности вытекает и его другая основная ошибка—его понимание критерия истины. Если действительность есть только обобществленный и собирательный опыт человечества, то только он и может явиться той последней инстанцией, к которой мы должны обратиться для того, чтобы узнать, что истинно и что ложно. Восприняв Богдановское понимание действительности, как „социально-организованного, социально-гармонизованного опыта", Руднянский неизбежно должен был притти к Богдановскому критерию истины—„общезначимости". Заявляя о том, что вопрос о том, что достоверно и что

[1]) Архив Маркса-Энгельса, книга 1, стр. 217.
[2]) Там же, стр. 218.

недостоверно, мы не можем решить, пользуясь личным опытом, Рудиянский критерием истины объявляет коллективный опыт, правильность нашего знания доказывается тем: „что объект существует не только для меня, но и для других; он является, таким образом, общим для всего человечества“ (стр. 64). Это есть субъективный, идеалистический критерий истины, покоющийся на субъективно-идеалистическом понимании категории действительности. Если мы считаем критерием истины „общезначимость“, то стирается принципиальная, коренная грань между религиозным опытом, который тоже является обобществленным и собирательным опытом и научным опытом. Отрицание объективной истины идет по линии поддержки религии и поповщины. Тов. Ленин, имея в виду ошибку Богданова, однородную с ошибкой Рудиянского, писал: „современный фидеизм вовсе не отвергает науки, он отвергает только „чрезмерные претензии“ науки, именно претензию на объективную истину. Если существует объективная истина (как думают материалисты), если естествознание, отражая внешний мир „в опыте“ человека, одно только способно дать нам объективные истины, то всякий фидеизм отвергается безусловно. Если же объективной истины нет, если истина (в том числе и научная) есть лишь организационная форма человеческого опыта, то этим самым признается основная посылка поповщины, открывается дверь для нее, очищается место для „организующих форм“ религиозного опыта“[1]).

Можно было бы указать еще целый ряд более частных ошибок Рудиянского, но достаточно разбора этих основных ошибок, выявляющихся у него в весьма противоречивой форме, чтобы сказать, что книжка может взрастить в головах широких масс, для которых она и предназначается, большую путаницу по целому ряду основных вопросов диалектического материализма.

Для того, чтобы эта книжка, написанная живым и популярным языком, могла быть использована с некоторой выгодой, необходимо при следующем издании предпослать ей настоящее предисловие и написать настоящее примечание, раскрывающее указанные ошибки.

Я. Стэн.

Гаральд Геффдинг. Учебник истории новой философии. С предисловием Л. Аксельрод. Госуд. Издат. Москва 1924.

При преподавании в ВУЗах курса исторического материализма приходится часто затрагивать вопросы философского характера. В кружках и семинариях при более глубоком изучении проблем бытия и сознания, материи и духа часто приходится ссылаться на философские системы. Кроме того, среди современной учащейся молодежи замечается усиленный интерес к философии и к истории философии. Между тем нет ни одного учебника истории философии, в котором коренные философские проблемы излагались бы популярно и с точки зрения диалектического материализма. Книга А. М. Деборина: „Введение в философию диалектического материализма“, рассматривающая только некоторые философские системы, не может заменить учебника по истории философии. Для более подготовленного читателя, желающего и умеющего читать философа в подлиннике, издана в последнее время хрестоматия по философии А. М. Деборина, но и она не может удовлетворить потребность в популярном учебнике. Повидимому, эта потребность в популярном изложении истории философии заставила Гос. Издательство переиздать учебник Г. Геффдинга. Этот учебник, конечно, ни в какой мере не может заменить марксистского учебника по истории философии. Хотелось бы, поэтому, думать, что Госиздат выпустил учебник Геффдинга лишь как вре-

[1]) Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, стр. 137.

менный суррогат и в то же время подготавливает издание учебника по истории философии, выдержанного в духе диалектического материализма.

Что касается книги Геффдинга, то она из учебников по истории философии заслуживает больше всех переиздания. Не говоря о том, что книга Геффдинга изложена изящным и легко доступным для неискушенного в философской терминологии языком, она и по внутреннему содержанию стремится быть беспристрастной. Не в пример многим учебникам по философии, учебник Геффдинга уделяет значительное место изложению материалистических систем и не только не повторяет обычных общих возражений против материализма, но пытается иногда дать вдумчивый анализ. В учебнике дано даже, правда, в очень сжатой форме изложение философии Толанда, о котором обычно в курсах по истории философии умалчивают. Излагаются учения Ламетри и др. французских материалистов XVIII в. Очень хорош анализ философии Декарта, в котором Геффдинг видит не только дуалиста и идеалиста, но пытается вскрыть истинную сущность его философии, которая оказывается неожиданно близкой к материализму. Хорошо изложена философия Канта, хотя права Л. И. Аксельрод, указывая в своем предисловии, что Геффдинг выдвигает преимущественно критические элементы кантовской философии, тонко и умно смягчая противоречащие этим элементам теологическое и метафизическое начала. Хорошо также изложены системы Гегеля, которого Геффдинг вместе с Фихте и Шеллингом причисляет к романтической школе. Переходя к изложению натурфилософии Гегеля, Геффдинг видит в нем такое же „отпадение", как у Шеллинга. „Гегелевская натурфилософия,—говорит он,—так же произвольна и фантастична, как и натурфилософия Шеллинга".

Геффдинг, правда, в дальнейшем очень осторожно говорит об этом,— все же он в этом месте обнаружил недостаточно глубокое проникновение в систему Гегеля.

К преимуществам учебника следует отнести то, что он ставит своей задачей не только перечисление философских систем, но и изложение связи философских проблем с особенностями тех эпох, в которых они возникли. К сожалению, эта задача далеко не выполнена, не только в смысле связи философии с экономикой, чего от Геффдинга и требовать нельзя, а даже в смысле изложения основных социальных черт эпохи. Иногда, и то редко, дается самый общий очерк научных достижений, влиявших на характер той или другой философской системы. К недостаткам учебника, кроме основного недостатка, что он ничего общего не имеет с диалектическим материализмом, следует отнести чрезвычайную сжатость изложения, которая по временам переходит в простое перечисление философов и их трудов. Учебник хочет дать на сравнительно небольшом протяжении—257 стр.—изложения всех систем философии, а потому вынужден дать их в отрывочной, подчас несвязной, форме.

Предисловие к учебнику Геффдинга, написанное Л. И. Аксельрод, указывает на достоинства и вскрывает ряд недостатков учебника. В особенности следует отметить место, где Л. И. блестяще вскрывает путаницу Геффдинга, относящуюся к вопросу материалистической или идеалистической сущности философии Фейербаха.

Г. Тымянский.

А. И. Чеҡкис. Томас Гоббс, родоначальник современного материализма (его жизнь и учение). Изд-ство „Красная Новь". Г. П. П. Москва 1924 г. Стр. 138.

Современный диалектический материализм, служащий философским знаменем для борьбы пролетариата за свое господство и строительство но-

вого общества, не появился как deus ex machina: он имеет свои корни в предшествующей ему философии, в частности—в материалистической философии—с одной и диалектически-идеалистической—с другой стороны, которую развивала буржуазия, когда она закладывала основы своего господства. Поэтому изучение философии марксизма, т.-е. общих методологических основ нашей коммунистической теории и практики, которое должно стать (в особенности сейчас) насущнейшей потребностью широких масс партийного „молодняка", не может быть правильным и плодотворным без знакомства с предшественниками современного диалектического материализма. На это указывали неоднократно Маркс и Энгельс, Плеханов и Ленин.

Отсюда понятно, что плодотворное дело выполняет тот коммунист и марксист, занимающийся философией, который способствует знакомству широких кругов нашей учащейся молодежи, не только с теорией марксизма, но и с предшественниками ее. Но при этом, конечно, обязательным должно являться такое знакомство масс с предшественниками теории Маркса-Ленина, которое показывало бы их (предшественников) в исторической перспективе социально-классовых отношений и научных философских достижений современной им эпохи, а также их исторического влияния, с одной стороны, с другой же, показывало бы их в свете современной науки и нашей материалистической теории. Ибо, если эти необходимые условия для изучения и популяризации какого бы то ни было мыслителя и, тем паче, предшественников марксизма, не будут выполнены, тогда в значительной степени теряется смысл подобной марксистской работы в области истории материализма и философии вообще.

Подойдем с этим критерием к недавно вышедшей книжке т. Ческиса о Гоббсе.

Гоббс, живший на рубеже XVI—XVII столетий, является одним из крупнейших и последовательных материалистов того времени и занимает, несомненно, почетное и видное место в ряду буржуазных предшественников современного материализма. Познакомить с ним (тем более, что он у нас очень мало известен) нашу читающую среду очень полезно.

Тов. Ческис логически стройно, добросовестно излагает биографию и взгляды Гоббса в области философии, психологии и социологии. В этом добросовестном изложении—главная и, пожалуй, единственная заслуга его книжки. Что же касается изучения философии и социологии Гоббса в связи с современными ему социально-классовыми отношениями и идеологией, а также критического освещения взглядов Гоббса достижениями нынешней науки и марксовой философии и историч. материализма, то в этом отношении книга т. Ческиса либо ограничивается самыми общими фразами, либо ничего не дает, а иногда даже делает промахи.

Правда, т. Ческис предпослал изложению взглядов Гоббса главку о „религиозно-схоластическом мировоззрении" и предпосылках для выработки „научного мировоззрения", но эта главка весьма слаба, и в ней есть очень странные положения. Во-первых, по мнению т. Ческиса, религиозно-схоластическое мировоззрение „отличалось своей простотой и общепонятностью" (стр. 27). Насчет простоты и общепонятности рел.-схоластического мировоззрения все историки философии как будто держатся обратного мнения.

Во-вторых, т. Ческис утверждает, что реформация (в частности в Англии) явилась движением нового класса... выдвинутого на сцену развитием производительных сил общества... Это было скорее „восстание против всесильного господства католической церкви" (стр. 29—30). Прежде всего это—декламация вместо конкретного анализа, а, во-вторых, в эпоху т. н. „реформации" именно под флагом требования „очищения" религии и церкви и установления новой веры шла и развивалась классовая борьба, при чем хотя наиболее крайние религиозные и социальные требования выставлялись крестьянскими и плебейскими слоями, однако исторически определяющую

роль в движении реформации, в том числе и в пуританизме (напр., в пресвитерианстве) в Англии играла торговая буржуазия. Все это хорошо выясняет Энгельс в „Крестьянской войне в Германии". Интересно было бы также, в частности в отношении Гоббса, выяснить влияние на его теорию государства взглядов протестантов и пуритан на роль взаимоотношения народа и государя и т. д.

Лучше в этой главе некоторые указания на связь философии Гоббса с достижениями Коперника, Кеплера, Галилея и Гарвея.

Но все же почти совсем не выяснена картина технических достижений той эпохи, что нужно было бы сделать для понимания механического характера материализма Гоббса.

Анализ конкретно исторических классовых отношений эпохи, важный для выяснения в особенности социологии Гоббса, не выяснен хоть сколько-нибудь достаточно ни в этой главе, ни в биографии, ни в заключении.

Словом, конкретно-исторический и социологический анализ взглядов Гоббса в книжке т. Ческиса оставляет желать много лучшего.

Переходя к изложению т. Ческисом взглядов Гоббса, приходится прежде всего спросить его, почему он назвал Гоббса „родоначальником современного материализма"? Гоббс—один из крупнейших предшественников, но почему родоначальник?

Затем т. Ческис утверждает, что влияние Бэкона на Гоббса незначительно и Гоббс не является продолжателем теории первого, что он пошел совершенно самостоятельным путем (стр. 11—12).

В доказательство т. Ческис ссылается на то, что метод Гоббса совершенно отличается от метода Бэкона.

Во-первых, продолжателем Бэкона, развивавшим и систематизировавшим его взгляды, Гоббса считает не только А. М. Деборин и К. Фишер, но и... Маркс. Маркс в „Святом семействе" так и пишет, что Гоббс „исходил из учения Бэкона", был „систематиком бэконовского материализма" и т. д; во-вторых, и Бэкон не отмахивался от положительных моментов рационализма, и Гоббс всегда ставил рационалистическую дедукцию наук в самую тесную связь с опытом, практикой; кроме того, у обоих последовательно (в общем) проведен принцип материализма и механической причинности, утилитарная точка зрения и т. д.

Если т. Ческис делает такое заявление, то следовало бы его последнее обосновать.

Что касается изложения взглядов самого Гоббса, то, как мы уже указали, автор делает это весьма добросовестно и в общем достаточно популярно. Но плохо то, что он почти совсем не расценивает их в свете современных материализма и науки. Так, излагая логику Гоббса, которая в общем вся сводится к операциям сложения и вычитания, автор не показывает, что логика Гоббса—формальна и недиалектична; не подчеркивает идеалистических моментов у Гоббса, когда тот критерий истины видит в логической согласованности предложений; не оценивает критически автор и Гоббсову теорию языка и речи, также идеалистическую; недостаточно вскрывает, выделяет и объясняет автор и моменты феноменализма и элементы рационализма в теории познания Гоббса; нужно было бы подробнее указать на значение гоббсовской теории восприятия в свете учения Павлова и т. д. и т. д.

Затем, что особенно приходится отметить,—совершенно не вскрыто влияние Гоббса на Спинозу, Локка и англичан, французских материалистов и даже Гегеля.

Тов. Ческис может, однако, указать, что он в заключении суммарно подчеркнул отрицательные и положительные стороны учения Гоббса. Но это преимущественно ограничивается цитатами из Виндельбанда, Ланге и Дильтея и дает, напр., следующие странные фразы, странные потому, что в них не видно марксистской точки зрения самого т. Ческиса:

1) „его понимание философии совпадает почти с понятием позитивной философии Огюста Конта“ (стр 128),

2) „его система или лестница наук... он предвосхитил контовскую классификацию наук“ (128),

3) „он первый пробил себе дорогу... к конструктивному методу“ (129) и т. д.

Резюмируя, приходится сказать, что все эти недостатки и недочеты книги т. Чекнса отнюдь не делают ее ненужной. Как первое знакомство с содержанием взглядов Гоббса, эта книжка, добросовестно и серьезно излагающая их, сослужит значительную службу. Существенные же недостатки книжки, отмеченные нами выше, мы надеемся, будут восполнены и исправлены автором в след. издании.

П. С.

Очередное извращение марксизма. О теории Енчмена. Сборник статей под ред. С. Гириниса. „Новая Москва“. 1924. Стр. 143.

„Пророк“ пятнадцати анализаторов теории новой биологии, „новоявленный мессия“ эпохи органических катаклизмов, Э. Енчмен, представляет собой не что иное, как „теоретическую“ поденку, возникшую у нас в период военного коммунизма и представляющую в своей скудоумной „теории“ отрыжку народнической мелко-буржуазной точки зрения уравнительско потребительского социализма. Енчмен мечтал тогда (в 1919 г.) об учреждении „Ревнаучсовета республики или мировой коммуны“ и руководства (ни больше, ни меньше) этим Ревнаучем в целях насильственной ликвидации всех наук, начиная с философии, логики, психологии, социологии и кончая физикой и химией (см. его „18 тезисов о т. н. б.“, стр. 10 — 11, 31 и 33) и замены всех наук своими—„15-ью анализаторами“, которые, по его мнению, были бы доступны всем массам, уравняли бы всех по умственному и „идеологическому“ содержанию, уничтожили бы всякие следы „интеллигенции“, и путем введения „системы физиологических паспортов“ „без труда“, без работы (см. примеч. к стр. 47 „18 тезисов“) осуществили бы всеобщий, равный непрерывный стенизм (радостность) (там же).

Марксизм,—по словам Енчмена,—теория, еще пригодная, пожалуй, для свержения эксплоататоров,—совсем уже не годится для „эпохи органических катаклизмов“ и устройства „всеобщего, одинакового, равного стенизма“ (см. стр. 6—7 и 30—31, „18 тезисов“). Для этой роли годится только „теория новой биологии“ Э. Енчмена (там же). И только он-ее „пророк“—может бурно построить новое общество, где не будет ни категорий труда, ни категорий хозяйства и т. д. (см. стр. 43. 46 „Тезисов)“, а будет только 15 анализаторов т. н. б., вводимых и поддерживаемых в равных долях в каждом организме „Ревнаучсоветом“ через „системы физиологических паспортов“.

Эта своеобразная скудоумная отрыжка эсеровщины, которая опиралась на „философское“ утверждение Енчмена, что „непространственные, интроспективные, психические“ явления возможно существуют даже в каждом атоме, но что они не связаны с „пространственными, физическими явлениями“ и никак ни в чем не могут проявляться во вне и что поэтому сознание, логика и т. д.,—все чепуха—утверждение, которое,—как это признает и сам Енчмен,—противоречит марксистскому учению о зависимости сознания от бытия и надстроек от базиса—эта „теория“ Енчмена о ниспровержении всех наук и замене их 15-ю анализаторами, доставляющими быстро и бурно всем равный стенизм... безграмотности, возникнув в рядах нашей партии в период военного коммунизма на почве некоторых мелко-буржуазных тенденций, получила некоторое (правда, очень незначительное и сейчас почти

совершенно прекратившееся) распространение среди нашей учащейся комм. молодежи с установлением новой экономической политики, увеличившей возможности для усиления мелко-буржуазных влияний как в стране, так и в партии.

Чтобы разоблачить перед нашим молодняком мелко-буржуазную сущность пустого и пошлого фразерства „пророка т. н. б." Э. Енчмена и показать его теоретическую никчемность и связь с буржуазными философскими взглядами, выступил сперва т. Бухарин со своей превосходной „Енчмениадой", а за ним ряд других товарищей. Рецензируемая книжка и является второй, направленной против енчменовской теоретической белиберды, книжкой. Книжка эта представляет сборник из 4-х статей (А. Ческиса, В. Конпа, С. Гиринисса и Вл. Сарабьянова), печатавшихся ранее в различных наших журналах. Статьи сборника различны по своему достоинству и интересу, хотя и направлены к одной цели.

Небольшая статья тов. Ческиса, наз. „Непроизводительный труд", идущая в этом сборнике „передовой", в сущности, не дает читателю ничего, кроме высмеивания комических сторон широковещательной фразеологии Енчмена и его филологических фокусов (напр., выведения слова „мышление" от слова „мышь" и т. д.). Что касается „основных" вопросов енчменистской „теоретики": вопроса об отрицании возможности внешнего выражения психических явлений об отрицании логики, вопроса о психофизическом параллелизме, об отрицании зависимости сознания от бытия, о попытках объяснять социальные явления биологией и т. д., то о них ничего не сказано в статье т. Ческиса. Но, ведь, именно этими вопросами Енчмен сеял теоретические недоумения в некоторой незначительной части нашего молодняка. Следовательно, нужно было не только высмеять „пророческую", „заумную" болтовню Енчмена, но и показать вздорность енчменовской „теоретики". Без этого выступление против Енчмена теряет всякий смысл. Поэтому статья т. Ческиса по существу мало отвечает задаче борьбы с енчменизмом.

Статья тов. Гиринисса (третья по счету), озаглавленная „Марксизм дыбом", уже по существу хочет дать ответы на вопросы, поставленные енчменовской теорией новой биологии. Тов. Гиринис хочет раскрыть ее „заблуждения, драпирующиеся в тогу крайнего радикализма" (стр. 58). Но выполняет ли автор этой статьи задачу разбить енчменизм в самой его основе? Мы считаем, что это сделано в данной статье не только недостаточно, но и плохо. Во-первых, сущность енчменизма вовсе не в „единной системе органических движений", как думает т. Гиринис на стр. 55, а в том, что Енчмен, исходя из невозможности внешне выражать интроспективное, выступает против зависимости сознания от бытия, против того, что первое определяется последним и в свою очередь оказывает на него влияние и отсюда делает вывод о необходимости заменить все науки 15 анализаторами т. н. б. и посредством введения этих 15 анализаторов в организм людей дать им равный стенизм и приучить их рассматривать всю и всякую жизнь, всякое ее проявление, все социальные отношения и т. д., как систему органических движений.

Во-вторых, т. Гиринис на эти вопросы по существу ничего почти не ответил. Те же, очень немногие, замечания, которые т. Гиринис делает по этим вопросам, требуют или значительного уточнения формулир вок, или даже... исправления, так, напр., уточнения требуют след. слова т. Гиринисса: „единственная формула марксизма т. о.—монизм (единство) материального и духовного бытия и сознания" (стр. 61). Во-первых, что значит „единственная формула"? Марксизм даже в области т. н. „теории познания" имеет не только эту формулу, вернее закон. Во-вторых, нужно сказать, что на „основной вопрос всякой философии - вопрос об отношении мышления к бытию"—марксизм отвечает, что „мышление и бытие едины в различии". Именно эта диалектическая формулировка—единство в различии—

чрезвычайно важна для марксистского понимания этого вопроса и забывать этого не следует.

Затем т. Гиринис допускает совсем уже неверные и нелепые утверждения. Отвечая Енчмену, отвергающему всякую логику, в том числе и диалектическую, Гиринис пишет о диалектике: „Из того обстоятельства, что в будущем, лишенном классовых противоречий обществе диалектика „в своем рациональном (курсив везде автора. *П. С.*) виде“ потеряет свое революционно-критическое значение, Енчмен делает иррациональным (т. е. неразумным) вывод об уничтожении вообще всякой диалектики“ (стр. 66).

Что означают эти странные слова т. Гириниса о том, что в будущем, лишенном классовых противоречий обществе диалектика в своем рациональном виде потеряет свое революционно-критическое значение? Из этого, во-первых, ведь, можно вывести, что нерациональные элементы диалектики не потеряют значение в бесклассовом обществе, а, во-вторых, говоря, что в „буд. бесклассовом о-ве диалектика потеряет свое революционно-критическое значение“, т. Гиринис прежде всего скатывается незаметно к Лукачу, относящему диалектику к общественным явлениям, а затем, сам этого не замечая и не понимая, распространяет тем самым нелепое и антимарксистское утверждение, с которым автор и сам ниже спорит, что якобы в будущем обществе революционно-скачкообразного движения не будет, и диалектика, как метод познания этого движения, будет не нужна.

Следовало бы поточнее быть в области формулировок основных вопросов марксизма.

Что экскурсы т. Гириниса в вопросы марксистской теории кончаются иногда печально, покажет еще одна выдержка из его рассуждений об общечеловеческом языке будущего: „Общечеловеческим языком будущего явится язык той нации (!), которая раньше других осуществит полностью (здесь ни ноты диалектики не чувствуется. *П. С.*) коммунизм. Эта нация, приобретя экономическое господство на мировом рынке, приобретет и культурное господство над всем миром“ (курсив наш. *П. С.*) (стр. 72). Нужно ли еще комментировать подобную путаницу? Несколько лучше у т. Гириниса те статьи, где он критикует енчменовский „призыв“ к пониманию библейской и христианской религии.

Чтобы покончить с разбором статьи т. Гириниса, следует указать, что т. Гиринис, говоря о том, почему енчменизм имеет распространение, полагает, что прежде всего потому, что „при всей сумбурности“ т. н. б. „в ней попадаются моменты, способные найти созвучие в душе массовика-революционера“ (стр. 83). Нам думается, что т. Гиринис в этом также не прав: хвастливая болтовня и демагогия Енчмена у массовика-революционера пролетария отзвука не нашла и найти не могла, а вот некоторые очень незначительные слои мелко буржуазной интеллигенции с уклоном к народническим бредням, действительно могли быть „созвучны“ енчменовскому хвастовству, демагогическим завываниям и т. д.

Т. Гиринис характеризует енчменизм, как „марксизм дыбом“. И это не верно. Марксизма даже „дыбом“ у Енчмена нет и быть не могло. Это даже не искаженный марксизм, это ни в какой мере не марксизм.

В общем следует сказать, что статья т. Гириниса и Енчмена бьет не в основном, и марксизм иногда искажает.

Хорошей статьей является 2-я статья сборника—т. В. Коппа „Неслыханные открытия“. Тов. Копп отчетливо и остроумно показывает, что Енчмен хочет на место марксизма поставить свою „сверхтеорию“ т. н. б., которая должна служить ключем не только к пониманию „организма“, но и к пониманию социальных явлений. Далее, т. Копп разбирает отрицание Енчменом возможности познания чужих психических явлений (если они су-

ществуют), ибо проявляется и наблюдается только физическое, и показывает, что это списано Енчменом у... Введенского, который, „объявляя чужую душевную жизнь областью непознаваемого, метафизики, относит ее, наравне с вопросом о существовании бога, к вопросам веры, которая, по его словам, неопровержима, хотя и недоказуема“ (стр. 30). Т. о., „начав с отрицания психики, нужно неизбежно кончить утверждением ее метафизического существования“ (стр. 52),—диалектически заключает т. Копп.

Такой же серьезной и осторожной критике подвергаются и выступления Енчмена как натуралиста языковеда и „реформатора коммунизма“. При этом т. Копп не только критикует енчменовскую „теоретику“, но и показывает взгляды марксизма на вопрос о „психическом“ и физическом, подчеркивает, „что сознание, разум есть социальная формула, что нельзя оперировать с фикцией индивидуального познания, будь то познание и внешних вещей, „пространственных явлений“ (стр. 32).

В заключение т. Копп показывает, что Енчмен, пытаясь опереться на школу Павлова, не понимает метода и сущности его учения об условных рефлексах и его роли. Задача Павлова,—говорит Копп,—заключается в том, чтобы понять психику, как функцию жизни и изучить ее в объективном проявлении высшей нервной деятельности; эта задача, как „единственно материалистический, т.-е. до конца научный подход к изучению высшей нервной деятельности может,—подчеркивает т. Копп,—приветствоваться марксизмом. Но,—заключает автор,—непосредственной связи между социологией марксизма и объективной психологией нет и быть не может“ (стр. 51).

Здесь мы должны остановиться на выяснении отношения между достижениями проф. Павлова и историческим материализмом.

Павлов стоит на строго научной почве, когда изучает высшую нервную деятельность животных. Экспериментальным путем и объективным методом в течение более чем 20-ти летней работы он разрабатывает процессы условных рефлексов (преимущественно на слюнных железах собак). В результате он имеет ряд объективных законов высшей нервной деятельности животных. Проф. Павлов настолько научно точен и осторожен, что не переносит пока свои достижения по аналогии на нервную жизнь человека. Однако проф. Павлов подчеркивает, что изучение высшей нервной деятельности животных не только поможет выяснению и изучению таковой у человека, но и полагает даже, что изучение высшей нервной деятельности людей по методу условных рефлексов может в будущем дать ключ к пониманию и даже оздоровлению социальных отношений. Вот что пишет проф. Павлов во введении к своей книге „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных“: „Теперь я глубоко убежден, что здесь, главнейшим образом, на этом пути (т.-е. на пути объективного исследования высшей нервной деятельности. *П. С.*), окончательное торжество человеческого ума над последней и верховной задачей его—познать механизм и законы человеческой натуры, откуда только и может произойти истинное, полное и прочное человеческое счастье. Пусть ум празднует победу за победой над окружающей природой... и, однакоже, тот же человек с этим же его умом, направляемый какими-то темными силами, **действующими в нем самом** (курсив наш *П. С.*), причиняет сам себе неисчислимые материальные потери и невыразимые страдания войнами и революциями с их ужасами, воспроизводящими межживотные отношения. **Только последняя наука, точная наука о самом человеке—вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания—выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений**“ (курсив наш. *П С.*) (см. „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервн. деятельности животных“, стр. 9—10).

Приведенная выдержка из книги проф. Павлова показывает нам достаточно ясно, что автор полагает (хотя и относит это на будущее), будто только путем экспериментального объективного изучения высшей нервной деятельности человека можно познать механизм и законы его природы и этой наукой вывести человечество „из теперешнего мрака и очистить его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений“. Т. о., точная наука рефлексологии познает природу человека и тем самым уничтожает империалистические войны, пролетарские революции (особенно нелюбимые проф. Павловым) и устанавливает—вероятно, путем давления в человеке „рефлекса свободы“ — спокойные общественные отношения под протекторатом той же „точной науки о самом человеке“.

Павлов, конечно, относит все это на будущее и сам в этом направлении пока дальше этого не идет,—в этом помогает ему его научная осторожность и тщательность,—но тем не менее он устанавливает три „новых“ методологических положения, в которых он близок к французским материалистам и утопистам и нашим субъективным социологам—народникам: первое—что естествознание (биология, физиология и проч.) составляют фундамент социологии; второе—что изучение природы человека, кот рая в известной степени есть величина постоянная, дает ключ к пониманию общества, т.-е. что нужно итти от познания индивида к познанию общества; третье—что, опираясь на „науку о самом человеке“ и только таким путем, можно и должно произвести реформу общества, преобразование его.

Если Павлов эти положения только намечает, но не развивает и в области точной науки пока ограничивается изучением условных рефлексов на слюнных железах собаки, то другие это делают. Так, тоже крупный ученый рефлексолог Бехтерев, исходя из тех же методологических положений, уже написал свою бессодержательную и местами банальную „Коллективную рефлексологию“. И положения Павлова, и „Коллективная рефлексология“ Бехтерева, и ряд других аналогичных попыток представляют собой продолжение все той же старой песни—опираясь на новые достижения естествознания, подменить или ниспровергнуть марксизм. „Пророчествующий реад“—Енчмен с его „теоретикой“ т. о., как это верно подметил т. В. Копп, имеет истоки в Павлове и этой школе. Но только, как это всегда бывает с „реадами“, он спутал рефлексологию Павлова с идеализмом Введенского и эсерством и, осенив себя знамением Моисея, Ильи и Христа, провозгласил себя Мессией уравнительского коммунизма, а свои „15 тощих анализаторов“ единственным средством его введения и лекарством от всех „бед“ науки и культуры. Он глупо проделал то, что умнее намечает Павлов в „введении“ к своему труду.

Енчмен—теоретическая муха-однодневка. Но Павлову следовало бы ответить не только как ученому, который буржуазно-обывательски мыслит в области социальных отношений, но и по существу основного вопроса, из которого вытекают указанные выше положения Павлова: можно ли путь лабораторных экспериментов над условными рефлексами считать единственным или основным путем изучения высшей нервной деятельности людей, их взаимоотношений? Единственный для нас ответ на это отрицательный. Лабораторное объективное исследование нервной деятельности людей может дать очень большой ценности подсобный материал для материалистическо-диалектического объяснения человека и социальных отношений, но не больше. Человек есть общественное животное, делающее орудия труда, и, следовательно, законы его жизни и развития принципиально качественно иные, чем законы жизни животных, не делающих орудий труда. Хотя общество и есть часть природы и подчиняется ее общим законам, но форма проявления их особая, ибо общество есть качественно особая часть природы, которая природу перерабатывает. Поэтому изучение естественных наук хотя и необходимо для изучения общества, однако само по себе для этого не доста-

точно: нужно изучение общества, как особой формы с особым содержанием; дарвинизм нужен для научного изучения общества, как подспорье, но он не может объяснить законов общественной жизни и ее конкретного своеобразия, это может осуществить и осуществляет только марксизм и ленинизм. Павловские работы лабораторного объективного изучения нервной деятельности и метод условных рефлексов много помогают и помогут марксизму в деле понимания законов механизма человеческого мышления, чувствования, помогут борьбе против идеализма в философии и психологии, но они ни в коей мере не могут заменить марксизм. Понять и переменить человеческое сознание как со стороны содержания, так и со стороны формы и со стороны проявления их—можно только изучая их методом материалистической диалектики. И это нужно твердо помнить, читая и изучая работы Павлова и его школы.

Последней статьей рецензируемого сборника идет большая статья т. Сарабьянова под заголовком „Хлестаковщина или наивность?". Тов. Сарабьянов также по существу критикует Енчмена и его „теоретику". Отмечая незнакомство Енчмена с историей материализма и подчеркивая у него поповскую постановку вопроса об одушевленности человека, т. Сарабьянов разбирает енчменовскую постановку и разрешение вопроса о „пространственном" и „непространственном". Автор показывает нелепость енчменовских вылазок по поводу „непространственных явлений" и невозможности их объективного выражения. Становясь на такую точку зрения, енчменизм, с одной стороны, подталкивает к наивному реализму, а с другой - ведет к субъективному идеализму. Енчменизм, — подчеркивает в заключение автор, - сродни „социа-пан-техническим" бредням бр. Горациных (или по-новому „Беоби"). В марксизме же енчменизм есть хлестаковщина, ибо „все страницы енчменовских работ направлены против основного положения Маркса: общественное сознание определяется общественным бытием" (стр. 139).

Мы не можем считать выраженной диалектически верно формулировку т. Сарабьянова о том, что „психическое и физическое параллельны", ибо „психическое есть другая сторона физического и что, поэтому, физическое не влияет на психическое, а психическое на физическое, и обратно, и „между тем и другим нет взаимодействия". Конечно, если понимать физическое и психическое, как противоположные стороны и т. д., то тогда можно сказать подобные вещи, но если психическое понимать не как другую „сторону", а как интроспективное выражение, субъективное, для нас данное проявление известных объективных процессов высшей нервной деятельности, то тогда в этом диалектическом смысле можно и должно, говорить о том, что физическое влияет на „психическое", определяя его, и что „психическое" влияет обратно на физическое.

„Бытие определяет сознание" и „познание является средством изменения бытия"—эти основные положения марксистской философии означают, конечно, не признание „дуализма материи и духа", как это хотят представить некоторые враги марксизма, в том числе весьма недалекий и ничтожный Енчмен, а лишь то, что сознание, как интроспективное, субъективное проявление объективно-реальных нервных процессов, вызванных взаимодействием организмов и среды, по своей форме, содержанию и внешнему выражению (наука, идеология и т. д.) определяется этим объективно реальным бытием, частью которого мы сами являемся и которое мы перерабатываем, употребляя при этом сознание и познание, как орудие практики, в процесс труда и социальной борьбы.

Говорить поэтому о взаимоотношении сознания и бытия, психического и физического в таких выражениях, как тов. Сарабьянов, рискованно и недиалектично.

Далее совсем уже нельзя согласиться с таким положением т. Сарабьянова: „коллективная рефлексология—не утопия, но считать, что общество

мы сможем изучать по коллективным рефлексам, это значит говорить о каких-то очень и очень отдаленных временах". Согласны ли вы сами с этим, т. Сарабьянов? Подумайте, что, признавая даже для самого отдаленного будущего возможность построить социологию, как „коллективную рефлексологию", вы сходите с принципиальной дорожки марксистского метода и переходите на ту, против которой вы же сами боретесь.

Мы не станем останавливаться на ряде других незначительных промахах тов. Сарабьянова, в том числе и на его подчас прямо нерусском языке (напр., „предмет обладает свойством вызывать от себя определенного характера эфирные волны", стр. 104 и др.).

В общем статья тов. Сарабьянова на ряду со статьей В. Конна хорошая и полезная статья в этом сборнике, и поэтому мы можем рекомендовать и весь сборник, как книжку, которая сослужит свою немалую службу против остатков умирающего снчменизма.

П. Сапожников.

Varjas. Marx als Mathematiker. Ein Beitrag zur Entwicklung der marxschen Dialektik. Internazionale Presse Korrespondenz, № 29. 1924.

Перед нами одна из тех работ, которая как по теме, так и по трактовке ее не может не остановить на себе внимание марксиста.

На самом деле. Литература, если мы не ошибаемся, не знает еще исследования о Марксе, как математике. Между тем, ясно, что подобная проблема представляет разносторонний интерес. Научный анализ ее, во-первых, дал бы нам новый, весьма важный и интересный материал к истории развития Маркса. Во вторых, он помог бы марксисту уяснить себе отношение математики к диалектическому материализму и, наоборот, диалектического материализма к математике. Этот последний вопрос, надо думать, вскоре станет перед марксистской научной мыслью, как один из актуальных, один из важных вопросов.

Ведь ничто иное, как математика, в течение столетий признавалась, да еще и сейчас кое кем признается, „царицей наук". При этом известная современная школа, связанная с именами Пеано и Росселя, отождествляя математику с логикой, видит в математике универсальный метод познания.

Только один Гегель пытался—и с успехом - стащить „царицу наук" с не по заслугам занятого ею трона. Гегель доказал, что универсальным методом, универсальной логикой математика не является. И не является именно потому, что „принцип величины, различия, не постигнутого в понятии, и принцип равенства, абстрактного безжизненного единства не могут сочетаться с чистым беспокойством жизни и абсолютным различием". Не является еще и потому, что математическое познание, „представляя собою внешнее делание, сводит движущееся само себя начало до степени материала ради того, чтобы получить в нем безразличное, внешнее, безжизненное содержание" (Феноменология Духа, стр. 21 русского перевода. 1913).

Марксизм, мы убеждены, должен примкнуть в данном вопросе к Гегелю, разобрав при этом и то новое что мы имеем в математике за последнее десятилетие. При этом само собою разумеется, что марксизм не может, не имеет права абсолютно отвергать математику, объект приложения которой достаточно обширен. Напротив, он обязан признать то ценное, что дает математика научной методологии. Но одновременно материализм обязан ограничить сферу ее приложения, доказав (пользуясь для этого, кроме всего прочего, и Гегелем), что универсальным методом математика, конечно, не является, хотя, повторяем, и сохраняет свое значение в известной, ограниченной области. Все это, однако, только одна сторона, только одна часть вопроса. Другая же заключается в той работе, которая начата Энгельсом

в его „Анти-Дюринге" (впрочем, Гегель в своей „Науке Логике" также исследовал эту проблему) и которая заключается в отыскании среди математических оснований и положений моментов диалектики.

Мы надеемся, что из этих беглых замечаний ясно, что вопрос о математике и марксизме вопрос большой, сложный и трудный. Работу т. Варьяша можно считать одной из попыток его решения. Действительно, хотя интересующая нас статья и носит название „Маркс как математик", чем тема суживается до специально исторической, однако достаточно даже беглого просмотра этого реферата, чтобы увидеть немало рассуждений, посвященных самой математике. Собственно говоря, можно сказать, что вся статья написана с целью пропаганды определенных взглядов, так что Маркс, как математик, остается в тени авторских размышлений. Все это дает повод искать в статье т. Варьяша ответы на вышеприведенные вопросы.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вся трактовка темы т. Варьяшем не может удовлетворить марксиста. Разберемся по существу вопроса. Однако мы сейчас же наталкиваемся на одно серьезное затруднение. Заключается оно в том, что т. Варьяш не приводит в подтверждение своих взглядов на Маркса, как математика, ни одной выдержки из Маркса. Между тем, не говоря уже об элементарных, общенаучных требованиях, такие выдержки как раз в подобной работе чрезвычайно необходимы

Итак, разобраться в вопросе по существу совершенно невозможно ввиду полного отсутствия материала.

Тем более необходимо остановиться на некоторых самостоятельных замечаниях автора.

Прежде всего, вопрос о возможности и необходимости сведения анализа к элементарной математике. Тов. Варьяш говорит, что Маркс видел в этом актуальную проблему науки, чем и предвосхитил все современные попытки. Не имея возможности обсуждать, видел или не видел здесь что-нибудь Маркс, отметим только следующее: 1) Элементарная математика, т.-е. арифметика, в значительной своей части построена на данных формальной логики. Анализ же бесконечно малых (на это указывал Гегель) является прогрессом в сторону диалектики по сравнению с арифметикой. 2) Поскольку это так, постольку ясно, что надо проанализировать подробно, как Маркс понимал данную задачу и в какой период своего развития он ее перед собой ставил. Не трудно ведь понять, что все теперешние решения, предшественником которых т. Варьяш считает Маркса, отнюдь не согласуются с общим духом теории марксизма.

Далее. Тов. Варьяш сообщает: Маркс так долго и упорно занимался математикой потому, что был убежден, что „скелет (das Grundskelett) диалектической логики в его простейшей форме должен быть найден в математике". Обходя явственную привязанность т. Варьяша к простоте логики (что фактически может и должно привести к формализму, вылущив из логики диалектику, вещь далеко не простую), обходя это приведем дальнейшие слова автора: „Все другие области, даже физика, не говоря уж об общественных науках, представляют прикладной диалектике такую необозримую сложность, что основную схему—аксиоматику диалектики—можно с надеждой на успех искать лишь в математике"[1]). Это место замечательно тем, что здесь на пространстве трех-четырех строк сконцентрирована целая куча ошибок.

На самом деле. Если вдуматься в первую часть цитаты, то неизбежно придешь к выводу: разрабатывать диалектику во „всех других областях, даже в физике, не говоря уж об общественных науках", совершенно не зачем, никакой надежды на успех, ввиду „необозримой сложности", здесь нет.

---

[1]) I. 651. Ввиду важности этой цитаты приводим ее в немецком подлиннике: Alle andere Gebiete, selbst die Physik, geschweige denn die Gesellschaftswissenschaft stellen eine solch unübersehbare Kompliziertheit der angewandten Dialektik bar, dass das Grundschema: die Axiomatik der Dialektik nur in Mathematik mit Hoffnung".

Зачем же попусту тратить дорогое время?—Вывод хотя и не новый, но абсолютно не научный, идущий вразрез с макрсизмом, с диалектическим материализмом. До сих пор считалось, как знает читатель, что „другие области" дают очень и очень много для теории диалектики. Так, по крайней мере, утверждали такие небезызвестные марксисты, как Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин. Если т. Варьяш с этим не соглашается (а ничего, кроме несогласия, здесь нельзя усмотреть), то это, конечно, его дело: всякий — говорит древняя поговорка — веселится по своему. Помешать такому веселью трудно. Но можно и надо помешать тому, чтобы в коммунистическом журнале в статье „Маркс как математик" все это „веселье" выдавалось за самое последнее слово марксизма. При этом не бесполезно напомнить, что диалектика до сих пор на деле разрабатывалась и применялась в пресловутых „других областях" не только „с надеждой на успех", но и с прямым, положительным успехом. После существования таких людей, как Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин, не знать этого не только марксисту, но и всякому сколько-нибудь думающему человеку, нельзя.

Остановимся на второй части настоящей цитаты „основную схему—аксиоматику диалектики можно с надеждой на успех искать лишь в математике". Опять куча ошибок. Откуда у т. Варьяша понятие диалектической схемы? Уж не от противников ли марксизма? Ведь материалистическая диалектика против всяких схем, уничтожает их, борется со всяким схематизмом. И здесь мы вынуждены констатировать у автора немалую склонность к формализации диалектики, подмене диалектики формальной логикой.

Далее. Аксиоматика диалектики. Как бы для того, чтобы не оставить у читателя никакого сомнения насчет того, чего же собственно хочет автор, т. Варьяш подробно объясняет понятие аксиоматики. Он говорит: „Аксиома есть основное положение, принимаемое в какой-нибудь науке без доказательств. Систему таких аксиом называют аксиоматикой" (Anmerkungen, 12, S. 652). Против определения, конечно, ничего не возразишь: все правильно и точно. Однако очень и очень много можно возразить против соединения таких понятий, как аксиоматика и диалектика. В первую же очередь и главным образом то, что они по существу противоположны друг другу. Аксиома ведь принимается без доказательств, иными словами—или на веру, или непосредственно из опыта (напр., аксиома параллельных Эвклида).

Диалектика же без доказательств не может приниматься. В диалектике нет ни одного положения, которое принималось бы как само собой разумеющееся. Напротив, диалектика, как логика, может возникнуть лишь из долгого и серьезного изучения действительности. Если же кто-нибудь будет утверждать возможность аксиоматики диалектики, то это будет неверно, так как 1) диалектика тем и сильна, что в каждом отдельном случае надо учитывать все своеобразие сферы ее приложения; 2) Это будет означать новое протаскивание формальной логики, целиком покоящейся на аксиомах... Таким образом в одном из важнейших вопросов теории марксизма, в диалектике, с т. Варьяшем согласиться нельзя, и его реферат о Марксе как математике нельзя признать аутентичным духу марксизма.

К. Милонов.

Орест Трахтенберг. Беседы с учителем по историческому материализму. Гос. Издат. М. 1924. Стр. 126.

Книжка О. Трахтенберга—простая, незамысловатая и непритязательная работа, рассчитанная на учителя-середняка, впервые знакомящегося с вопросами исторического материализма. Автор построил свои „беседы" так, что не требует от читателя особой предварительной подготовки; с другой стороны, он, видимо, и сам ожидает нетребовательного читателя, ибо совет-

ский учитель (наиболее вероятный потребитель „Бесед"), мало-мальски знакомый с произведениями Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, книжкой О. Трахтенберга удовлетвориться не может.

Не ставя своей задачей самостоятельную исследовательскую работу, не претендуя на оригинальный подход к проблемам, автор стремится добросовестно изложить решение проблем исторического материализма, следуя по содержанию и по форме ортодоксальным марксистам. Специально автору принадлежит лишь стиль изложения, нарочито упрощенный, а нередко и упрощающий сложные вопросы. Если этот беллетристически-фельетонный стиль культивируется в „Беседах" в целях оживления книжки и придания большего интереса к содержанию ее, то такая цель достигается далеко не всегда и, пожалуй, только вредит ценности книжки и серьезности темы. Так, например, касаясь важного принципиального вопроса об исчезновении противоречий и борьбы в будущем коммунистическом обществе, автор, оставаясь верным диалектической точке зрения, отрицает „тишь да гладь", оставляя место для борьбы с природой, но тут же переходит к „фантазированию" (собственные слова автора) касательно „искусственного отопления остывающей земли" и заканчивает и вовсе весело брюсовскими стишками о дерзком человеке, который, поставив „над землей ряды ветрил", по прихоти направит „бег (земли) в пространстве меж светил". Автор и не замечает, что от его мысли о диалектическом противоречии, как двигателе вперед, ничего не осталось.

Книжка разделена на два отдела, трактующих последовательно о материализме диалектическом и историческом. Вряд ли правильно методологически говорить о таком разделении, которое, правда, весьма укоренилось у нас. Отделение и противопоставление исторического материализма диалектическому нелепо, и автор сам принужден отсылать читателя за общими положениями из второго отдела в первый. По существу, в первом отделе автор говорит об общих принципах диалектического материализма, а во втором—о диалектическом материализме в применении к обществу, к истории.

Предметами обсуждения в первом отделе являются: материализм, закономерность, диалектика, труд и разум, активность познания. Экскурсия автора в область философии определенно слабы; ему следовало бы вообще поставить вопрос: нужно ли для такого читателя, для какого намечена книжка, трогать тень Спинозы? Полстраницы, уделенных гаагскому мудрецу, очевидно не решат проблемы спинозизм-марксизм, а читателю подготовленному только вскроют невязку мысли у самого автора, ибо несколькими страницами дальше он забывает об атрибутивном дуализме Спинозы и, следуя т. Залкинду, постулирует без особых разъяснений пространственность психики.

Говорить о диалектике, будучи недостаточно знакомым (или не желая выявлять этого знакомства) с Гегелем —тоже как-будто не пристало. Мировой процесс, связь явлений, переход в противоположность, триада, ведь, не исчерпывают, вопреки утверждению автора на стр. 38, сущности диалектики. Это только те элементы или стороны диалектики, о которых черным по белому писали основоположники марксизма. Между тем, все богатство диалектического метода, которым они пользовались, богатство, элементы которого не поддаются практикующейся у нас теперь нумерации их, ускользнуло от внимания О. Трахтенберга.

Второй отдел, менее трудный и тематически более разработанный в литературе, представлен в книжке более удовлетворительно. Но и здесь есть обходы сложных проблем, недоговоренность и отсутствие твердой точки зрения самого автора.

Общество определяется автором как „совокупность людей, связанных друг с другом многоразличными постоянными взаимодействиями". Почему под это определение не подпадает государство, племя, нация? Определение

общества—камень преткновения не одного О. Трахтенберга. Можно насчитать пять-шесть недавно вышедших книг, аналогичных по теме, где будут также фигурировать в определении общества „взаимодействия“, обязательно „постоянные“ или „длительные“ и к тому же „многоразличные“. А, ведь, если порыться, то у старика Маркса можно многому поучиться на этот счет.

Другой вопрос—проблема производительных сил и связанная с ней проблема экономики и техники. Здесь у автора нет твердой точки зрения. На стр. 73, заканчивая анализ надстроек, О. Трахтенберг обращается к читателю: „Будьте уверены, что в конечном счете вы всегда дойдете до экономики, а еще глубже—техники“. Зачем же, если дело идет о „конечном счете“, останавливаться на экономике,—последовательнее было бы прямо и говорить о сведении всех общественных явлений к технике. Так и поступает нередко автор. Но, ведь, это уже не „экономический“ материализм Маркса (в таком названии есть своя положительная сторона) а „технический“ материализм, который по невежеству приписывался марксизму его противниками, против чего восставал Энгельс. На стр. 76—79 автор выравнивается, правильно считая технику (объект) лишь вторым составным элементом, наряду с рабочей силой (субъект) конкретного единства производительных сил, но на стр. 87 он опять говорит о техническом развитии, обособляя последнее от общественного развития. Что это за провиденциальное развитие техники, совершающееся (если автор хочет оставаться последовательным) вне экономики? и какое из двух понятий шире? Схема на стр. 110, имеющая отношение к тому же вопросу, совсем путаная и противоречит ранее данным схемам. Здесь уже „в конечном счете“ лежат „природные и др. условия, определяющие производительные силы“. Если центр тяжести на природных условиях, то не имеем ли мы дела уже с „географическим“ материализмом? А если логическое ударение автором помещается на скромные буквы „др.“, то не целесообразно ли было раскрыть их таинственное содержание? В этой схеме экономика помещена уже в третий этаж. Поистине „глубокий“ или, наоборот, „высокий“ анализ!

Вторая часть каждой главы автором посвящается методическим и литературным указаниям. Мы не будем останавливаться на них. Они невинны и весьма осторожны—в этом их достоинство. Литература подобрана достаточно удачно. Неразборчивость автора проявляется редко, все же подчас наряду с ценной ортодоксально-марксистской работой он указывает или ничего не стоящую компиляцию, или какого-либо „социализирующего“ неокантианца (напр. Л. Вольтмана).

На титульном листе многообещающе обозначено „1—25 тысяча“. Наше пожелание к 26—50 тысячам: внимательный просмотр автором своей книжки, изгнание из нее всего фельетонного, улучшение первого отдела и твердая марксистская точка зрения по некоторым проблемам отдела второго. В настоящем же виде книжку можно признать невредной, но для „бесед с учителем“ этого мало.

И. Л—л.

И. Л. Попов—Ленский. Антуан Барнав и материалистическое понимание истории. „Красная Новь“. Лнгрд. 1924. Стр. 195.

Еще одна монография, посвященная мыслителю XVIII века. Путешественник, созерцающий наш книжный рынок из окна железнодорожного вагона, пожалуй, будет несколько удивлен сравнительным обилием у нас историко-философской литературы. Отводить взоры от действительности революции и посреди 1924 года уделять внимание человеку, жившему полтораста лет назад, не есть ли это бегство от современности? Признак усталости и желания укрыться от наших дней под сень истории? Положительный ответ на эти вопросы будет абсолютно неправильным. Но вполне понятным

причинам мы были весьма бедны по части литературы, посвященной мыслителям революционерам; к сожалению, и сейчас мы больше говорим об искусственном замалчивании их буржуазными представителями ученого цеха, нежели принимаем меры к сокращению этого досадного пробела в научной литературе. Мы не знаем еще всех предков, близких и отдаленных, диалектического материализма, а знать их нужно, ибо результат—ничто без пути, его подготовившего, готовая истина—ничто без извилистых дорожек, выстраданных ею. И если истиной в данном случае является диалектический материализм, то теоретику его необходимо знать его историю.

Революционная эпоха середины и конца XVIII века дала ряд революционных мыслителей. Такую же эпоху, иную по социальному классовому содержанию, но сходную по „переломной" форме, переживаем мы теперь. Естественно, что взоры историков обращаются к концу „века просвещения", и эта ориентация объектов исследования отнюдь не является бегством от современности. С этой точки зрения прежде всего следует подходить к книге И. Л. Попова-Ленского.

На Барнава, как на предшественника некоторых положений исторического материализма, указал в свое время Жорес. Этой проблеме и посвящена рецензируемая книга. Автор правильно поступает, предпосылая очерку философско-исторических идей Барнава очерк его жизни и характеристику личности. Без биографии (в широком смысле слова) Барнава его философия истории не может быть понята; в жизни Барнава заключается обоснование его теории.

Книга привлекает к себе читателя научной объективностью. Автор всегда стоит перед соблазном „прикрасить" своего героя, особенно, если герой увлекает автора (а в этом существенный залог достоинств книги). Попов-Ленский относится с живейшим интересом и, кажется, симпатией к объекту монографии; однако это нисколько не мешает объективному и беспристрастному ходу исследования. Напротив, автор убедительно показывает ошибку Жореса и других в трактовке Барнава-политика. Традиционная и несколько романтическая версия такова: Барнав - пылкий революционер. Во время командировки своей для сопровождения и водворения обратно в Париж Людовика XVI (июнь 1791 г.) Барнав попадает в ловкие сети Марии-Антуанетты, у него завязываются тайные связи с двором, он изменяет делу революции, что и приводит его к гильотине в 1793 году. Попов-Ленский документально, ссылками на речи Барнава и его письменные работы, доказывает, что уже в марте 1791 г. Барнав договорился до необходимости „положить предел революции".

В политическом отношении Барнав был всегда сторонником буржуазной монархии, противником предоставления избирательного права рабочим и неимущим слоям населения; его политические убеждения определил не Руссо, а Монтескье. В классовом отношении Барнав был либеральным и типичным буржуа, уже в 1791 г. порвавшим с якобинцами. Пристрастие к монархии вполне сочеталось, у него, правда, с отрицательным отношением к дворянству, но все это было вполне нормальным и для крупной буржуазии того времени. Таков приговор истории...

Но в наше время не этим, конечно, интересен Барнав. Нам интересно выяснить его связь с тем направлением, которое с оговоркой может быть названо „историческим материализмом XVIII века". Этому вопросу посвящена вторая часть книги Попова-Ленского. Здесь автор специально останавливается на отношении Барнава к философии XVIII века, проводит параллель между физической интерпретацией истории у Монтескье и Барнава, подробно излагает социологические воззрения последнего и, наконец, дает конечный исторический синтез мысли его.

На-ряду с Вольнеем и Кабанисом Барнав является младшим учеником плеяды материалистов середины века. В обще-философском отношении он,

по правильному определению автора, эпигон материализма. Несомненно, кое-что есть у него от Гельвеция, но фактически философский материализм вытеснен у него гносеологией Кондильяка. Мы бы сказали, и в этом автор согласится с нами, что от Кондильяка у Барнава агностицизм, а от Даламбера позитивизм. Таким образом мы не можем причислить Барнава к своим предкам, предоставив это стыдливым позитивистам.

Иначе обстоит дело, когда мы вступаем в область философии истории. Рационализм и антиисторизм материалистов в этой области всегда подчеркивался марксистами (быть может, больше, чем они того заслужили); во всяком случае Монтескье и, главным образом, физиократы (последователем которых был в экономике Барнав) определили историзм Барнава, что является чрезвычайно ценным в условиях XVIII века

В некоторых своих положениях Барнав, действительно, приближается к материалистическому пониманию истории. Правда, он не доходит здесь до монизма, указывая, как на факторы исторического развития, на социальный уклад, географические условия, распределение богатств, потребности, но порывает во всяком случае с историческим идеализмом. Весьма проникновенно звучат для его времени слова: „Новое распределение богатств производит новое распределение власти. Подобно тому, как владение землями возвысило аристократию, промышленная собственность возвышает власть народа, последний возвращает свою свободу, размножается и начинает влиять на дела".

Автор постоянно проводит параллель между взглядами Барнава и теорией Маркса, указывая на их принципиальные различия Схема „исторического материализма" Барнава такова:

„Определенное состояние материальных потребностей,
определенный уклад имущественно-правовых отношений,
определенная форма правления,
определенный „идеологический" уровень".

Читатель сам увидит, в чем здесь отличие от марксизма.

Чрезвычайно любопытно также учение Барнава о социальных „плеторах", т.-е. о моментах социального „полнокровия", когда общественные силы не умещаются больше в рамках привычных социально-политических отношений; они стремятся тогда разорвать старые узы, связывающие их, и тем самым подготовляют неизбежный кризис (стр. 152).

Глава IV определенно удалась автору; она написана с большим знанием дела и талантлива по анализу. В ней автор занимается проблемой борьбы общественных классов у писателей XVIII века. Здесь Барнав снова любопытен; он не ограничивается этическим подходом к вопросу, но дает правильную для своего времени методическую нить к расчленению общества на классы. Он различает общественные классы внутри третьего сословия, при чем различает их по экономическому признаку, но, как сказали бы мы теперь, он придерживается распределительной теории классов, снова таким образом отличаясь принципиально от Маркса.

Больше, пожалуй, в свою эпоху мыслитель не мог дать; для переходного к капитализму периода его теория была истинной; если сейчас она устарела, то, в исторической перспективе, Барнав все же останется одним из проникновенных мыслителей. Книга о нем Попова-Ленского прочтется всяким, изучающим историю марксизма и, в частности, XVIII век, с большим интересом и большой пользой. Это—ценный вклад в нашу историко-философскую литературу.

Конечно, можно возражать против некоторых отдельных утверждений автора, но это будут мелочи частного значения. Стиль и язык книги простой и доступный, только зачем такие „жупелы", как „жовиальный молодой человек" или „суггестивный писатель"?

И. Луппол.

Georges Plékhanoff. Anarchisme et socialisme. Force et violence. Avec une biographie de l'auteur par M. Kamenskaia. Paris 1924. Pp. XXXVI + 101.

Несмотря на ту выдающуюся роль, которую Г. В. Плеханов играл в социалистическом движении Запада, о нем в Западной Европе знают очень мало. Ни место, которое Плеханов занимал в Интернационале, ни то обстоятельство, что ряд его работ появился на европейских языках даже значительно раньше, нежели на русском, все это не обеспечило Г. В. того внимания современного Запада, которое Плеханов, казалось, бесспорно завоевал для себя. Открывая какую-либо иностранную книгу, посвященную истории социалистического движения, иногда сталкиваешься с такими суждениями о Плеханове, что только диву даешься. Вот, напр., престарелый Людвиг Штейн в последнем издании своего труда „Die soziale Frage im Lichte der Philosophie" ничтоже сумняшеся роднит Г. В. Плеханова с П. Б. Струве, говоря о Плеханове, как о школьном образце потускнения и движения „вспять". А. Фридрих Левц, автор книги „Staat und Marxismus", зачисляет Плеханова в... критики марксизма.

В то время, когда у нас плехановская литература с каждом годом все растет, на Западе за последнее десятилетие не вышло,—если не ошибаюсь,— ни одной брошюры о Г. В., ни одной книги его сочинений. При таких условиях приходится особенно приветствовать выпуск возникшим в Париже обществом „Друзей Плеханова" („Amis de Plékhanoff") его брошюры „Анархизм и социализм". Правда, эта брошюра была издана на французском языке еще в 1897 году группой студентов коллективистов Парижа и социалистической молодежью Тулузы. Но в настоящее время она на книжном рынке отсутствовала. Кроме того, в новом издании дана еще близкая по теме к брошюре статья Г. В. „Сила и насилие". Изданию предпослана также биография Плеханова, впервые появляющаяся на французском языке и написанная специально для этого издания М. Каменской. Помимо хорошо известных нашему читателю сведений о жизни Г. В., биография дает коекакие новые штрихи, несомненно, интересные и для нас.

Раньше всего следует отметить до сих пор еще не опубликованное письмо Плеханова к Ленину, относящееся к эпохе ликвидаторства. Вот текст этого письма. Должен оговориться, что текст будет, вероятно, не тождественен оригиналу, поскольку я даю обратный перевод с французского.

Сан-Ремо, 2 апреля 1910.

Дорогой товарищ!

Извините меня за опоздание ответом вам. Я был нездоров.

Я также полагаю, что единственное средство положить конец кризису, который сильно одолевает нашу партию, это сближение между марксистами-меньшевиками и марксистами большевиками, и я полагаю, что мне следует лично переговорить с вами, но я нахожу, что наше свидание принесет больше пользы, если оно произойдет немного позже, когда положение обеих фракций станет более ясным.

События развиваются быстро, а время хорошо действует на людей. Меньшевики начинают все более отходить от теории ликвидаторства. Я хочу думать, что большевики, с их стороны, начинают отходить не только от анархо-синдикалистской теории, но отказываются также от слишком прямолинейного толкования концепции легальных рабочих организаций, что, между нами будь сказано, сильно облегчает успех ликвидаторов.

Ожидая, подготовим почву для сближения, каждый в своей сфере.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

В биографии дан ряд штрихов, характеризующих работоспособность Плеханова. Несмотря на частые запрещения врачей переутомлять себя, Плеханов никогда не прерывал работы, говоря: „При температуре в 39° можно заниматься литературой, перечитывать классиков. Между 38 и 39° можно заниматься более напряженной работой (этнография и т. д.). При температуре ниже 38° возможна всякая умственная работа".

Этому своему правилу Г. В. оставался верным до конца. Он продолжал работать и находясь уж на смертном одре. Когда он оказался уж не в силах держать книги, он просил читать ему. Незадолго до смерти он просил перечесть ему речи Перикла, посвященные пелопонесской войне.

Умирал Плеханов при полном сознании. Когда он сообщил жене, что чувствует приближение конца, последняя начала спорить, желая отогнать от Г. В. мысль о смерти. На это Плеханов энергично возразил: „Ты обнаруживаешь слабость. Мы оба—ты и я—старые революционеры, и нам надо держаться как таковым". Затем он добавил: „И, наконец, что такое смерть вообще? Превращение материи. Ты видишь,—он обернулся к окну, которое было открыто в сад,—эту березу, которая приникла так нежно к сосне. Быть может, и я превращусь когда-либо в такую березу. Что в этом плохого?"...

Насколько я знаю, рассматриваемая брошюра является первой в ряду тех работ Плеханова, которые намечаются теперь к изданию во Франции, Германии и Бельгии.

С. Вольфсон.

„Искра". Общедоступный ежемесячный журнал. Изд-ство „Красная Новь" при Г. П. П. №№ 1—9 за 1923 г. и №№ 1—4 за 1924 г. Москва.

Переживаемый нами период характеризуется выдвижением на передний план вопроса культурного строительства. Содействие широким трудящимся массам в приобретении ими знаний, необходимых для перестройки общества и прежде всего нашей техники и сельского хозяйства на социалистических началах—главнейшая задача.

После пропаганды социально-политических дисциплин следующее место по значению принадлежит пропаганде естествознания и техники. Доказывать же необходимость самой широкой пропаганды естествознания и техники не приходится.

Поэтому таким печатным органам, как журнал „Искра", нужно уделять особое внимание.

Журнал „Искра" выходит с апреля 1923 г. и является журналом, в основном посвященным вопросам естествознания и техники. Он имеет отделы физики, химии, техники, биологии, организации труда и экономических наук.

Журнал „Искра" ставит своей задачей именно обслуживание широких масс трудящихся, прежде всего рабочих, работниц, рабочей молодежи и учащихся. Ясно, что при этом журналу „Искра" приходится рассчитывать преимущественно на читателей, не имеющих среднего образования (см. редакционные обращения в №№ 1—9 за 1923 г. и др.).

Насколько удалось рецензируемому журналу выполнить эту задачу в отношении содержания, изложения и связи со своими читателями?

При пропаганде естествознания немалую роль нужно приписать ознакомлению широких слоев трудящихся с успехами современной науки. Именно этому отделу уделено значительное место на страницах „Искры". За рассматриваемый период в „Искре" были помещены многочисленные статьи (не менее 20-ти), излагающие успехи естествознания. Среди них мы находим статьи, посвященные вопросам борьбы со старостью, жизни органов и клеток вне организма, связи инстинктов и половых признаков с различными органами, радиоактивности и энергии будущего (разложение атомов), возраста земли и др.

Изложение вопросов, связанных с успехами современного естествознания и техники, требует предварительных знаний от читателей „Искры", — знаний, наличность которых предполагать нельзя. Поэтому каждой группе вопросов, касающихся успехов естествознания и техники, предпосылаются статьи, посвященные, изложению основных понятий естествознания. Число этих статей не менее, чем из предыдущей группы, при чем отличительной чертой их является стремление сделать их по возможности популярными и конкретными путем иллюстраций из окружающий жизни и техники и т. д. К числу статей, относящихся к этому отделу, принадлежат статьи, посвященные вопросам вечности материи и энергии, атомистики, тепла и электричества, сущности химических превращений, строения материи, измерения энергии, превращения энергии на земле и мн. др.

Основным отделом журнала являются пожалуй отдел, посвященный вопросам техники и ее успехов, включая сюда и успехи естествознания, имеющие непосредственное техническое применение. Этот отдел представлен более чем 30-ю статьями; сюда входят статьи о воздухоплавании и успехах его в области конструкции самолетов, о плуге, его действии и способах современной обработки почвы (фрезерование), о нефти, об успехах паровозостроения и о новых типах двигателей в области транспорта, о рентгеновских лучах и испытании материалов, об использовании каменного угля (пыли и мелочи), о солнечных двигателях и т. д., и т. д. Для нас особенное значение имеет освещение вопросов техники (и экономики) СССР и этому отделу рецензируемый журнал уделил внимание. Имеются статьи об электрификации, о Волховстрое, о гидроторфе, о платиновых приисках, о московском газовом заводе. Нельзя не отметить, что при изложении только что перечисленных вопросов освещается и экономическая сторона вопроса.

В связи с предыдущим отделом стоит отдел, посвященный вопросам труда и его организации. К этому отделу относятся статьи, посвященные вообще вопросу изучения труда, затем экономии времени, рабочей силы, питания и работы, нервной системы и трудовых движений, испытание летчиков и пр.

Излагая вопросы естествознания и техники, журнал „Искра" применяет и исторический метод изложения именно там, где он подчеркивает эволюцию и революцию тех или иных областей естествознания и техники. К этой группе относятся статьи, посвященные истории парохода, паровоза, телефона, микроскопа, а также статьи, посвященные памяти К. А. Тимирязева, Пастера, К. Штейнмеца и Лодыгина.

Таково главное содержание журнала. Но, кроме статей, посвященных рассмотренным отделам, в журнале есть еще отделы: успехи и пути мировой науки; мелочи и заметки; природные богатства России; новые книги и переписка с читателями. Эти отделы составляют уже не статьи, а более краткие сообщения и заметки. К числу последних принадлежат, напр., за 1924 г. след. статьи и заметки: тепловой двигатель, ртутная паровая машина, первое русское судно из железобетона, туннель под Ламаншем, фотографирование рентгеновскими лучами кровеносных сосудов, радиевые месторождения и разработка их в России и многие другие.

Отделы: о книгах и переписка с читателями представлены слабо, особенно последний.

Рассматривая содержание журнала „Искра" в целом, необходимо сделать вывод, что он все же мало доступен именно широким слоям рабочих.

Такие вопросы, напр., как наследование приобретенных признаков, или получение крахмала и воздуха из воды или современное состояние астрономических обсерваторий требуют такой подготовки и такого интереса к специальным вопросам естествознания, которых у широких слоев рабочих, к сожалению, еще нет. Для этих слоев гораздо ближе вопросы конкретные, связанные со строительством СССР.

Рецензируемый журнал за рассматриваемый период сделал шаг вперед. Именно начиная с 1924 года, журнал „Искра" стал более обращать внимание на освещение вопросов, связанных с нашим советским строительством. К 1924 г. относятся статьи об электрификации, о Волховстрое, о моск. газовом заводе, о радиевых месторождениях и их разработке. Необходимо еще более обратить внимание на освещение состояния производительных сил СССР, беря наиболее важное и понятное.

Большинство статей журнала „Искра" носит академический характер и поэтому должны быть ближе не столько широким слоям рабочих, сколько учащейся молодежи.

В связи с этим недочетом стоит и другой, касающийся изложения. Несомненно, что редакция „Искры" прилагает большие усилия к достижению популярности журнала. В этом отношении ряд статей является вполне удачным. Но имеются и статьи, изложенные школьным, академическим стилем. Такой, напр., статьей является статья о нефти Настюкова или статья Крашенинникова о работах К. А. Тимирязева.

В некоторых статьях попытки популяризации не удаются или являются сомнительными (напр., весьма сомнительна с точки зрения популяризации замена слова „катализаторы" словами „масло химических машин"). Наиболее неудачными в смысле популяризации являются как раз первые статьи журнала „Искра" (№ 1 за 1923 г.). В дальнейшем, и особенно за 1924 г., статьи в отношении литературной обработки заметно улучшаются. Но все же язык журнала „Искра" таков, что он вполне доступен только получившим подготовку, близкую к подготовке школы второй ступени.

О том, что „Искра" обслуживает круг лиц именно с такой подготовкой, говорят результаты анкет, произведенных редакцией среди читателей журнала.

Из них имеющих незаконченное среднее 23%

рабфак	5%
среднее	26%
незаконченное высшее	5%
высшее	2%

Другой стороной в изложение „Искры" является стремление дать „научно-материалистическое миросозерцание, единственное разумное и способствующее истинному развитию человечества" (редакционное обращение). В основном несомненно редакции „Искры" удалось выполнить эту поставленную перед собой задачу. В подавляющем большинстве статей, где это позволяет содержание их, подчеркивается антинаучность религиозных и идеалистических представлений. Для того, чтобы более осветить вопросы миросозерцания, начиная с № 4 за 1924 г. печатается статья С. Алексеева „Мировоззрение", где разбирается различие материалистической и идеалистической точки зрения.

Наконец, что касается связности изложения и содержания отдельных номеров и всего журнала в целом, то в этом отношении у журнала „Искра" имеются положительные достижения. Некоторые номера в основном своем содержании составлены так, что содержание одной статьи пополняет другую и в общем дает нечто цельное. Напр., номер, посвященный всероссийской сельскохозяйственной выставке содержит в себе такие статьи: редакционную статью, посвященную выставке, и статьи: как работает плуг; фрезерование почвы; об искусственном осеменении (у животных); получение удобрения из воздуха; как и почему почва поглощает влагу; друзья человека из мира насекомых; бактерии — друзья земледельца. Такой же характер носят номера, посвященные, напр., вопросу энергетики (№ 1 за 1924 г.) или памяти К. А. Тимирязева (№ 6 за 1923 г.).

Вообще со стороны внутренней слаженности журнала у „Искры" имеется ряд положительных достижений и накоплен ценный опыт.

Главный недочет лежит в другой области. Именно в несоответствии изложения и содержания журнала тому кругу читателей, который хочет обслуживать „Искра". В этом направлении редакции „Искры" необходимо еще много поработать. И главнейшим приемом, по нашему мнению, в этом отношении должно быть установление самой теснейшей связи редакции с читателями журнала и привлечение к журналу внимания рабочих масс путем собеседований, проводимых сотрудниками журнала в рабочих районах, и путем обсуждения на этих собеседованиях статей журнала.

Что касается научной стороны изложения журнала, то она безупречна, так как сотрудниками его состоят вполне компетентные лица, а иногда и видные специалисты той или другой дисциплины. Журнал богато иллюстрирован и хорошо издан. Выходит номерами от 40 до 50 страниц большого формата.

В общем журнал выполняет очень полезную роль и его нельзя не рекомендовать читателям журнала „Под Знаменем Марксизма".

А. Максимов.

Проф. Н. А. Белов. Физиология типов. Издательство „Красная Книга". Орел 1924 г.

В 1827 году умер Франц Иосиф Галль, автор обширного трактата „Анатомия и физиология нервной системы" (1810 г.), трактата, положившего основание новой науке френологии. Исследование мозжечка ученого обнаружило небольшой нарост, который привел в веселое расположение духа автора статьи о Галле в Английской Энциклопедии. „Факт не безынтересный, — говорит этот автор, — так как в этой части мозга Галль поместил орган влюбчивости, свойство, которое всегда было в нем очень ярко выражено". Так в свое время смеялись над выдающимся мыслителем, который пытался создать науку объективной психологии. Но, несмотря на насмешки и противодействия, учение Галля, еще слабо обоснованное, все же получило всеобщее распространение, так как все чувствовали, что в этом учении заключена несомненная истина. „Ни тщетные усилия энергичного деспотизма,—говорит Огюст Конт[1]),—сопровождаемые постыдною уступчивостью некоторых очень авторитетных ученых, ни легковесные сарказмы публицистов и метафизиков, ни даже безрассудность большей части попыток подражателей Галля, не могли воспрепятствовать быстрому и непрерывному развитию во всех частях ученого мира, в последние 30 лет, новой системы изучения интеллектуального и морального человека". Действительно, в настоящее время, т. е. 114 лет после появления трактата Галля, френология превратилась в строго научную дисциплину, в области которой работают выдающиеся ученые и целые лаборатории, как всемирно известная лаборатория Моргана в Нью-Йорке (лаборатория Columbia University) или наш „Институт по изучению мозга и психической деятельности" (Ленинград). Развитие френологии хорошо характеризуется тем фактом, что за последние 1½ года на русском языке появилось сразу три френологических сочинения: Моргана („Структурные основы наследственности"), Кречмера („Строение тела и характер") и, наконец, рецензируемая книга безвременно скончавшегося сотрудника Института по изучению мозга Н. А. Белова („Физиология типов").

Книга проф. Белова—выдающееся сочинение, как по своему научному значению, так и с общей философской точки зрения. Академик Бехтерев отмечает, что эта книга является „единственным оригинальным произведением на русском языке, посвященным выяснению связи между соматической сферой и особенностями личности в области высших рефлексов", что она, „несомненно, должна занять в современной научной литературе, относящейся

---

[1]) Cours de philosophie positive, t. 3, стр. 766. Цитирую по „Истории философии" Льюиса, стр. 645.

к данному вопросу, одно из выдающихся мест и послужить толчком к дальнейшему углублению вопроса о физиологии типов".

Эта оценка не является преувеличением. В книге проф. Белова собран прежде всего богатейший экспериментальный и клинический материал, рисующий связь между „физиологией" и „типами". Но не в этом преимущество трактата Белова, оно сравнительно с многочисленными сочинениями (особенно немецкими), устанавливающими связь между соматической (телесной) и соответственной (психической) сферами. Преимущество это, как указывает академик Бехтерев, в том, что Белов не довольствуется чистым описанием явлений, а стремится построить определенную теорию связи. Эту особенность своего труда отмечает сам Белов в эпиграфе (из Либиха) к сочинению: „истинное свое значение факт получает только через идею", понимая, конечно, под последним словом теорию эмпирически данного. Эта теория связи есть теория внутренней секреции. Но понятие внутренней секреции сильно обобщена у Белова. Согласно Белову, все решительно органы и ткани вырабатывают особые действующие начала, которые оказывают влияние на функции самого образовавшего их организма. Эти действующие начала Белов называет эргонами, а свое учение—эргонологией. „Термин эргон (что обозначает в переводе на русский язык „работающее" или вообще „действующее" начало) введен для объединения всех физико-химических начал, влияющих на организм. Если эргон возникает в самом организме, то его можно именовать „эндоэргоном" в отличие от „экзоэргонов", воздействующих извне" (Белов, стр. 3).

С философской точки зрения необходимо отметить строгий материализм учения Белова. „Более ста лет тому назад,—пишет Белов (стр. 10),—практически Кювье достиг в этом отношении (в отношении установления теснейшей связи между частями организма) замечательных результатов—он мог буквально на основании одной кости ископаемого животного судить о структуре всего скелета". Но учение о душе в то время не было еще „таким физиологическим, как в настоящее время". „Доминировал строжайший дуализм, поэтому на психические особенности смотрели, как на нечто независимое от анатомо-физиологических свойств данного индивидуума". И „поэтому немудрено, что исследователям даже не приходило в голову сопоставлять феномены нервно-психической деятельности с внешней конструкцией живых образований, в том числе и человека". Материализм этот сам собою понятен, он вытекает из сущности предмета. Но любопытно то, что Белов обнаруживает диалектическое понимание вещей. В учение о внутренней секреции успела пробраться метафизика: ученые, вследствие закоренелой привычки абсолютной изоляции объектов исследования, укрепились в традиции полагать, „что эргоногенная деятельность свойственна только железистым образованиям организма" (стр. 12). Отсюда возникли термины „моногляндулярного" и „полигляндулярного" воздействия, т.-е. воздействия одной или многих желез, причем эти железы рассматривались в абсолютной изоляции от всего организма и друг от друга. Белов отвергает эту метафизику. Железе он приписывает только роль начального момента: „таким образом, говоря об изменениях, наступающих в организме вследствие, напр., понижения деятельности, положим, щитовидной железы, мы собственно рассматриваем те изменения, которые возникают в организме под влиянием совокупных изменений во всех элементах организма, происшедших вследствие начального нарушения отправлений щитовидной железы" (стр. 12).

Первая часть трактата Белова рассматривает участие эргоногенных органов в образовании особенностей внешности. Здесь дана характеристика деятельности не только целого ряда желез, но и ряда важнейших органов тела (печень, селезенка, почки, сердце, легкие, пищеварительный тракт, мышцы). Вторая часть книги устанавливает отношение эргоногенных органов к образованию особенностей нервно-психической деятельности. Не имея воз-

можности даже вкратце изложить богатые выводы ученого, мы, в виде примера, остановимся на значении шишковидной железы (Glandula pinealis или Epiphysis cerebri). Эта железа вызывает интересную историческую ассоциацию, именно учение Декарта о том, что Glandula pinealis является седалищем души. Над этим утверждением часто смеялись, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. И если бы Картезий восстал из гроба и приступил к чтению сочинения Белова, то ему пришлось бы вторично умереть... со смеху. Шишковидная железа, согласно современным научным данным, является в действительности как бы седалищем души... Откроем в самом деле „Таблицу постоянных отклонений от среднего нормального типа, происходящих вследствие изменений эргоногенной деятельности различных элементов организма“ (стр. 160), прочтя вместе с тем первые главы первой и второй части, главы, рассматривающие физическое и психическое значение Glandula pinealis. Оказывается, что сильное развитие (гиперпинеализм) шишковидной железы „является моментом, обусловливающим повышение уровня соотносительной [1]) деятельности сравнительно со средней нормой“... „Соответственно с этим, гипопинеализм (т.-е. понижение деятельности шишковидной железы)—момент понижения уровня соотносительной сферы“.

Как видно из таблицы, гиперпинеализм вызывает усиленное развитие видовых особенностей, а гипопинеализм —половых.

Отсылая читателей к интересному и поучительному содержанию труда Белова, пожелаем книге широкого распространения. Издательству „Красная Книга“ необходимо вменить в особую заслугу тщательное издание такого довольно крупного труда. Странно лишь то, что выдающееся научное сочинение должно искать приюта в глубокой провинции. Книга проф. Белова могла бы составить украшение Государственного Издательства не в меньшей степени, чем труды Моргана и Кречмера.

З. Ц.

Академик А. Е. Ферсман. Химические проблемы промышленности. Научное химико-техническое изд. Лнгр. 1924.

Академик Ферсман рассматривает те проблемы, имеющие мировое значение, к которым приводит гигантский рост промышленности. Мировая промышленность в своем развитии наталкивается на естественные границы, которые ставит ей истощение энергии и сырого материала. Долгое время казалось, что наиболее трудная проблема культуры лежит в истощении запасов энергии; перед промышленностью вставала опасность угольного голода. Однако здесь уже намечены способы разрешения вопроса: использование энергии падения воды, техника разработки торфа, непосредственное использование энергии солнечных лучей,—все это уже становится вопросом практического строительства.

Академик Ферсман выдвигает другую проблему—использование вещества, которую он считает значительно более сложной. Мировая промышленная деятельность принимает такой масштаб, что человек становится серьезным фактором геологических и геохимических процессов. Роль человека в химических и механических процессах на поверхности земли на много превышает значение обычных агентов: рек, моря, ледников, вулканов и проч. Только периоды катастрофических геологических переворотов могут сравниться по своему масштабу с результатами деятельности человека. Более 1.700 миллионов людей работают на земной поверхности. Путем запашки полей человечество переворачивает ежегодно свыше 3.000 куб. километров земли, ускоряя химические процессы в почвенном покрове, в то время как все реки

[1]) Так на языке рефлексологии называется высшая психическая деятельность.

земного шара уносят в моря только 2—3 куб. километра вещества. Далее, человек вызывает ряд геологических и геохимических процессов тем, что добывая и сжигая колоссальное количество угля и нефти, ежегодно вводит в атмосферу 3 миллиарда тонн углекислого газа. Несмотря на поглощение углекислого газа растениями, содержание его в воздухе должно через 700 лет удвоиться, а это должно вызвать повышение на 4 градуса средней температуры земной поверхности и вообще серьезнейшие изменения климата.

Ежегодно извлекаются из земли десятки миллионов тонн железа. Это железо недолго остается в руках человека. Оно подвергается окислению, стирается, и таким образом довольно быстро распыляется в процессе работы. Деятельность человека в конечном счете распыляет и рассеивает сконцентрированные природой в определенных местах скопления этого вещества. То же самое можно сказать о результате деятельности человека по отношению к сере, цинку, свинцу, калию и др. элементам и только благородные металлы: серебро, золото и платина все более накопляются в руках человека.

Так как человек стал могущественным геологическим фактором, то количество перерабатываемых в промышленности минералов сравнимо с запасами этих минералов в земной коре.

Для промышленности важно не столько общее количество какого-либо вещества в земной коре, сколько сконцентрированные запасы этого вещества, лежащие по возможности близко к поверхности земли. Промышленное использование равномерно распределенного вещества, рассеянного повсюду, распыленного, является невозможным, по крайней мере, для современного состояния техники. Поэтому акад. Ферсман указывает две границы использования запасов вещества: во-первых, истощение известных и разрабатываемых концентрированных месторождений и, во-вторых, полное использование всего запаса вещества, в каком бы виде оно ни находилось в доступной человеку части земной коры.

Первый предел для железа, вещества, определяющего собой ход культуры, будет достигнут уже через 60 лет! Это значит, что если потребление железа будет расти в той же пропорции, как мы наблюдаем в настоящее время, то через 60 лет все известные железные руды не ниже 40% будут полностью использованы. Этот предел, конечно, имеет условное значение, так как по мере использования разрабатываемых теперь месторождений будут переходить к разработке менее концентрированных месторождений, а также к разработке глубже лежащих месторождений, как, например, залежи в Курской губернии, лежащие на глубинах 150—400 метров. Более важное значение имеет второй предел использования вещества. Если пустить в добычу все запасы, находящиеся на всей поверхностной земной пленки до 2 километров глубины, то и тогда всего железа хватит только на 448 лет.

Последнее вычисление сделано в том предположении, что потребление железа будет расти в наблюдаемой в настоящее время прогрессии. Стало быть, если рост потребления железа замедлится, то момент полного истощения запасов будет отодвинут в отдаленное будущее. Но не уменьшит ли это коэффициэнт развития промышленности? Это вовсе не является неизбежным. Именно здесь лежит наиболее важная проблема.

Германия во время мировой войны благодаря блокаде оказалась как раз в том положении, в каком через некоторое время окажется все человечество. Терпя недостаток в меди, марганце и т. под., должны были прибегать к замене одного вещества другим. В такой замене недостающих веществ другими и заключается разрешение химических проблем промышленности.

Подсчет распространения различных элементов дает совершенно неожиданные результаты, идущие в разрез с обычными представлениями. Са-

мыми распространенными элементами после кислорода являются кремний и алюминий. Мы привыкли к целому ряду металлов, которые считаем обычными, как, напр., олово, цинк, свинец. Оказывается, что мало известных металлов циркония и ванадия земная кора содержит в десятки раз больше, нежели цинка и свинца, и в сотни раз больше, нежели олова. Вообще свойства элементов и распространение их в земной коре открывают широкие возможности для замены. На смену железу придут более распространенные элементы. Будущее принадлежит алюминию и его сплавам, кремнию с его железобетоном, вольфраму, ванадию, хрому, никкелю, которые отчасти заменят железо, отчасти сохранят его от распыления.

Таково содержание книжки акад. Ферсмана. Эта небольшая, но содержательная книжка ставит много интересных вопросов и дает материал для их разрешения. Жаль только, что нет данных, относящихся к России, к нашим природным богатствам и их использованию.

И. Орлов.

А. Л. Чижевский. Физические факторы исторического процесса. Калуга 1924 г.

А. Л. Чижевский задается целью проследить влияние космических факторов на течение всемирно-исторического процесса. Аргументацию Чижевского можно разделить на две части. В первой говорится то, что всем давно известно: о влиянии солнечного света и тепла на климат, о влиянии солнечных пятен на магнитные бури, полярные сияния и проч. и проч. Во второй части Чижевский утверждает, что влияние солнечных пятен на психику людских масс далеко оставляет за собою влияние их на магнитные бури и прочие явления в неорганической и органической природе. Согласно Чижевскому, весь ход исторического процесса определяется количеством солнечных пятен и имеет, так сказать, календарное объяснение; после этого Чижевскому остается только сожалеть политических деятелей и полководцев, назначающих массовые выступления, не справившись с календарем,—что он и делает на страницах своей книги.

Продолжительность цикла солнечной деятельности от одного максимума до другого равна приблизительно 11 годам. Указанный цикл Чижовский разделяет еще на четыре мелких периода: 1) период минимума солнечных пятен, 2) период возрастания их числа, 3) период максимума пятен, 4) период уменьшения. Строго параллельно идет нарастание и падение психической возбудимости масс.

При минимуме солнечных пятен, утверждает Чижевский, массы настроены миролюбиво, индифферентны к вопросам политики, на войне легко капитулируют, стремятся к миру и т. под. Наоборот, в период максимума пятен массы жаждут движения, войска сдерживаются с трудом, солдаты склонны к мятежу, массы—к анархии. Массы приходят в движение по первому слову вождей, массовые движения распространяются с быстротой. В период максимумов происходят революции и войны. Будучи призваны к общенациональному предприятию, массы единодушно встают под знамена, прекращая при этом классовую борьбу.

Как это все доказать? Благодаря методу, изобретенному Чижевским, это очень легко. Возьмем, например, французскую революцию. Допустим, что максимум солнечных пятен близок к 1793 году. Тогда можно кричать, что годы величайшего размаха революции совпали с максимумом солнечной деятельности. Но на самом деле на эти годы приходится минимум. Для Чижевского опять не плохо, так как в таком случае максимум придется близко к 1789 году. Точно так же всякая война, всякие крупные события своим началом, серединой или концом приблизительно совпадут с максимумом. События, совпавшие с минимумом пятен, можно просто игнорировать. Если

в одной стране ничего не произошло в период максимума, можно взять другую страну, третью, десятую.

Чижевский чертит кривую солнечных пятен и параллельно ей кривую „массовых выступлений“. Обе кривые так поразительно совпадают, что при первом же беглом взгляде на них становится совершенно ясным, что мы имеем дело или с беззастенчивым извращением фактов, или же с редкой наивностью ученого автора. Работа Чижевского представляет собою попытку, притянув за волосы естествознание, найти трансцендентный фактор исторического процесса, не зависящий от производственных отношений и классовой борьбы,—попытку, проведенную с невероятной наивностью. Чижевский представляет дело так, как-будто он первый стремится открывать закономерности в хаосе истории; об историческом материализме он вовсе не упоминает.

К чему же в таком случае мы занялись его работой. Дело в том, что его „труд“ имеет чрезвычайно ученую внешность, пестрит цитатами, ссылками на всевозможные естественно-научные авторитеты, цифровыми данными, таблицами, графиками и проч. Кроме того, автор готовит к печати еще пять (!) исследований, посвященных все тому же влиянию солнечных пятен на злополучные массы. Поэтому мы считаем не лишним указать на полную никчемность подобных „ученых изысканий“.

И. Орлов.

Н. М. Лукин. Максимилиан Робеспьер. Очерк из истории Великой Французской революции. Изд. 2-е, пересмотренное и дополненное. Гиз. Ленинград 1924 г. Стр. 141.

В дореволюционное время появление подобной книжки было невозможно. В самом деле, счел бы разве возможным для себя представитель дореволюционной академической среды прорабатывать значительное количество источников и различного сырого материала... и для чего? Не для того, чтобы выпустить огромный том, доступный и интересный лишь узкому кругу специалистов-жрецов данной отрасли науки, а лишь для того, чтобы создать небольшую популярную доступную широкому кругу читателей книжку.

Марксист должен обращаться со своими научными произведениями не к узкому кругу специалистов, а к широкой читающей массе, и поэтому из-под пера марксистов должны выходить работы, сочетающие проработанность источников с доступностью и популярностью изложения.

Именно этим требованиям и удовлетворяет работа тов. Лукина. Будучи в значительной степени написана по источникам, она соединяет научность, марксистскую выдержанность с популярностью и живостью изложения.

Озаглавленная именем великого революционера книжка тов. Лукина совсем не является биографией Максимилиана Робеспьера. Нет, содержание ее значительно шире—она представляет собою марксистский очерк истории франц. революции.

Правда, в этом заключались значительные трудности для автора книжки: Робеспьер не с первых моментов революции начал играть в ней такую роль, которая бы давала возможность объединить рассказ о его деятельности с изложением событий революции. Поэтому у нашего автора личность Максимилиана Робеспьера иногда отступает на второй план, уступая свое место анализу и изложению важнейших событий революционной эпохи.

Будучи связан личностью Робеспьера, автор вынужден прервать свое изложение на 9 термидоре, коснувшись лишь очень бегло событий и явлений, имевших место после этой роковой для Робеспьера даты. И это, конечно, очень жаль, ибо если марксистских работ по истории французской революции у нас очень мало, то работ, освещающих эпоху термидорианской реакции и директории нет совершенно (исключая, конечно, соответствующей

части объемистого учебника, вышедшего из-под пера того же автора, что и рассматриваемая нами книжка).

За всем этим книжка тов. Лукина является великолепным пособием для губпартшкол, рабфаков и других сходных учебных заведений. Да она и применялась в этих учебных заведениях в самых широких размерах, однако исчезновение ее с книжного рынка, ввиду того, что она была выпущена в свет около 5 лет назад — ставило значительные препятствия применению этой книжки. Теперь с выходом в свет 2-го издания это препятствие устраняется.

Во втором издании книжка тов. Лукина подверглась значительной переработке и дополнениям. Совершенно заново переработана VIII глава книжки, посвященная вопросу о социальной политике якобинцев и разъедавшей их фракционной борьбе.

Надо сказать, что автору вполне удалось на 20 небольших страницах, занимаемых этой главой, справиться с трудной задачей. Характеристика якобинских фракций и обрисовка причин возникшего в среде якобинства раскола—вполне удовлетворительны. Автору удалось двумя-тремя цитатами из источников охарактеризовать каждую из якобинских фракций и наметить этапы борьбы, происходившей как между фракциями якобинцев, так и между якобинцами и их противниками слева—„бешеными"...

Значительно переработана и последняя, IX глава. Анализируя причины, приведшие к катастрофе 9-го термидора, тов. Лукин остановился на той стороне событий, которая обыкновенно обходится молчанием, именно на рабочей политике робеспьеровской коммуны. А между тем, как раз эта политика и сделала рабочих ожесточенными врагами и коммуны и Робеспьера и обратила их в союзников Конвента в момент борьбы последнего против Робеспьера.

С. Моносов.

А. И. Молок. Очерки быта и культуры Парижской Коммуны 1871 г. Государственное Издательство. 1924 г.

Книжка А. И. Молока содержит три статьи: 1) „Борьба за светскую школу"— переработанная глава из брошюры того же автора—„Народное просвещение во время Парижской Коммуны 1871 г.", 2) „Клубы" и 3) „Женское движение".

Первая статья дает много интересного русскому читателю, который в ряде очерков—переводных и оригинальных—по истории Коммуны на русском языке читал: „Департамент народного просвещения, хотя и упразднивший немедленно преподавание закона божия и устранивший из школ все религиозные проблемы, не пошел в своей деятельности дальше подготовительных шагов и выработки программ. Были сведения, что он разрабатывает план первоначального и среднего образования, но никаких следов этого не осталось... Некоторые из округов Парижа оказались гораздо деятельнее в области народного образования, чем сама комиссия" (Бакст, „Парижская Коммуна 1870—1871 г.г.", изд. 1918 г., стр. 38—39). То же, но еще резче утверждает и Лиссагарэ: „Делегация народного просвещения могла написать одну из самых блестящих страниц в истории Коммуны... Делегация не оставила в будущем никакого следа своего существования... Административная роль этой делегации ограничилась трудно выполнимыми постановлениями и несколькими назначениями" („История Коммуны 1871 г.", вып. 1, СПБ. 1919 г., изд-во „Просвещение", стр. 296—297). Очень мало говорят по этому вопросу и Дюбрейль, останавливающийся лишь в нескольких строках на освобождении учащихся от клерикального влияния и на попытке создания профессиональных школ, Мендельсон, Быстрянский, Степанов и др.

Только Н. Лукин—„Парижская Коммуна 1871 г."—внимательно отнесся

к деятельности делегации по просвещению и использовал в своей книге и данные Journale Officiel по этому вопросу.

А. И. Молок подошел правильно к пересмотру вопроса о достижениях Коммуны в области народного просвещения: он привлек всю периодическую литературу эпохи, которую смог достать, и некоторые мемуары. Использовал также и большое количество ученых трудов на французском языке. Результаты получились значительные: мы знакомимся с проектом „школы-мастерской" учительницы Мальер, с идеей своеобразной трудовой школы, связанной уже с производством, но еще не с фабрично заводским, а с кустарно-ремесленным, читаем проект реформы образования, истекавший от об-ва „Новое воспитание", узнаем, что вопросам народного образования посвящены диспуты в клубах. Перед нами проходят живые картинки борьбы монашеского влияния и влияния светских учителей в стенах школы, ученические забастовки, обструкции, выступления школьников в периодической печати, детские праздники, жизнь дошкольных учреждений. Жаль, что автор не сравнил, не подчеркнул черт сходства и различия с современной детской и школьной жизнью, мало комментировал добытый им материал. Не сделал он также и другой, быть может, в данный момент еще слишком трудной, но необходимой работы—не связал деятельности Коммуны в области просвещения с новыми для 70-х г г. педагогическими идеями, увлекавшими революционные умы.

2-й очерк „Клубы" также построен на основе почерпнутых в парижских газетах данных и представляет собой довольно подробный и мало известный в русской литературе анализ клубной жизни Коммуны, связанной со всеми перипетиями гражданской войны, идеологической борьбы внутри революционного Парижа, антирелигиозного и феминистского движения. Автор только намечает, но не распутывает клубок вопросов, связанный с этим мало разработанным в исторической науке явлением революционного процесса 1871 года.

Вчитываясь в источники эпохи, убеждаешься, как коммунары даже в своих клубах далеки от того „пошловатого прожигания жизни", которое инкриминирует им новейший русский историк, утверждающий, что весной 1871 года в Париже процветали кабачки и притоны, затянулся не ко времени какой-то дешовенький праздник (Виппер, „Гибель европейской культуры", стр. 83). Прожигание жизни действительно происходило в буржуазных кварталах, где уклонившаяся от боя золотая молодежь открыто кутила на улицах, поджидая версальцев,—этот факт с возмущением и скорбью отмечает не один современник в своих мемуарах. Но можно ли за этих хладнокровных убийц возлагать ответственность на героически сражавшихся и гибнувших коммунаров?

Парижской женщине 1871 г. литературой уделено значительно больше внимания, чем народному образованию и клубам. Потому третий очерк Молока „Женское движение" представляет меньший интерес, чем два предыдущих. О коммунарках, их энергии, героизме, революционности много писали и Быстрянский, и Степанов, и др. Но и сводка газетных и мемуарных данных по женскому движению, сделанная А. Молоком, прочтется с интересом. В ней есть некоторый новый материал, а часть старого, известного в отрывках, приведена с большей полнотой. Однако здесь еще резче, чем в двух предыдущих очерках бросается в глаза отсутствие обработки автором почерпнутых им богатых данных. Не указано, под влиянием каких фракций Коммуны находились хотя бы руководительницы женского движения, хотя бы наиболее талантливые и выдающиеся его представительницы, к какому идеологическому течению они примыкали, кем вдохновлялись.

Заканчивая, отметим, что новая книжка Молока, несомненно, заслуживает широкого распространения как по свежести материала, так и по важности вопросов, поставленных в ней, но еще не разрешенных.

В. Петрова.

Франц. Меринг. Очерки по истории войны и военного искусства. Перевод с немецкого под редакцией и с предисловием Н. И. Попова. Изд. „Красная Новь“. ГИП. Москва 1924 г. Стр. LIV+388.

Вышедший в нынешнем году сборник Франца Меринга „Очерки по истории войны и военного искусства“ заключает в себе ряд статей, написанных Мерингом в разное время начиная с 1893 вплоть до 1915 года.

В сборник вошли следующие статьи:

Во-первых, обширная рецензия на книгу немецкого историка профессора Ганса Дельбрюка—„История военного искусства в рамках политической истории“, во-вторых, статья. „Внешняя и военная политика короля Фридриха II“, которая составляет две больших главы из книги Меринга „Легенда о Лессинге“ и, в третьих, несколько глав из трех книжек Меринга, написанных им к столетнему юбилею „войны за освобождение Германии“, которая в 1813—1814 г.г. велась Россией, Австрией, Пруссией и Англией против Наполеона I. Эти три статьи посвящены описанию ряда этапов по истории войны и военного искусства древнего мира, средних веков и нового времени до наполеоновских войн включительно.

Далее в этот сборник вошли статьи, печатавшиеся в 1913 году в „Neue Zeit“ под общим заглавием „Милиция и постоянное войско“, изданные в прошлом году „Красною Новью“ в виде отдельной книжки, затем библиографическая статья „Пища для Молоха“, посвященная разбору книги немецкого писателя Блейбтрея, напечатанная в „Neue Zeit“ в 1912 году, и, наконец, статья „Военно-исторические проблемы“, помещенная в „Neue Zeit“ уже во время империалистской войны, а именно в 1915 году. Последняя статья подводит итоги всем предыдущим. Весь сборник по замыслу редактировавшего его тов. Попова составлен таким образом, чтобы „по статьям выдающегося марксистского историка можно было получить представление о закономерном развитии военного искусства, нашедшем себе отражение в истории войн с древнейших времен и до наших дней“.

Этой намеченной т. Поповым цели сборник вполне достигает, и книга эта, состоящая из ряда статей, написанных Мерингом в разное время, представляет собою, тем не менее, вполне законченное целое.

По своему содержанию книга Меринга является очень ценным вкладом в марксистскую литературу, и появление ее, несомненно, надо приветствовать.

При этом необходимо отметить, что ценность этой книги значительно увеличивается также и по той причине, что мы вообще страшно бедны марксистской литературой по военным вопросам, т. к. подавляющее большинство представителей международного социализма совершенно игнорировало эту область.

Такое пренебрежение к военным вопросам, проявляемое большинством представителей международной социал-демократии, вполне объяснимо.

Воспитанная в традициях Второго Интернационала, целью которого было завоевание политической власти помощью избирательных бюллетеней, международная социал-демократия главное свое внимание на протяжении многих лет сосредоточивала исключительно на избирательной борьбе, совершенно оставив в стороне целый ряд важнейших вопросов, в том числе и вопросов военных.

До каких геркулесовых столбов доходило это увлечение избирательными перспективами, наглядно показывает речь Жореса, произнесенная им в начале 1900-х годов в период его особенного увлечения парламентаризмом. Выступая перед собранием рабочих, выборщиков во французскую палату депутатов, Жорес произнес приблизительно следующие слова:

„Перед вами, товарищи, закрытые двери. Эти двери ведут в царство социализма и пройти в это царство всецело зависит от вашей воли. Двери эти заперты ключом, и задача рабочих отпереть их. Если рабочие свои

избирательные бюллетени будут класть направо, т. е. голосовать за представителей буржуазных и реакционных партий, то этим самым, поворачивая ключ направо, они будут запирать двери. Если же, наоборот, большинство рабочих будет класть бюллетени налево, то этим самым оно будет содействовать отпиранию дверей. Когда в одну из грядущих избирательных кампаний весь рабочий класс, проникнувшись классовым сознанием, положит избирательные записки налево,—ключ повернется, двери откроются, и мы дружно войдем в царство социализма".

Несмотря на всю „агитационность" этой речи, она необычайно характерна. И хотя в дальнейшем Жорес резко изменил свою позицию в данном вопросе, тем не менее, речь эта является яркой иллюстрацией тех умонастроений, которые царили во Втором Интернационале по вопросу о завоевании политической власти.

Совсем иначе подходил к этому вопросу Франц Меринг. Грядущая социальная революция рисовалась ему в тех контурах, яркие очертания которых мы находим у представителей революционного марксизма и в первую очередь у самих Маркса и Энгельса. Не избирательные кампании, а классовая борьба, жесточайшая гражданская война,—вот путь к завоеванию политической власти.

Отсюда у Меринга глубоко практическое отношение к военным вопросам. Так же, как и Энгельс, Меринг прекрасно понимал, что в грядущей революции вопрос о создании пролетарской армии приобретает исключительно важное значение. Создать же армию партия пролетариата сможет лишь в том случае, если она будет изучать военное дело, изучать „сущность и природу войны". И поэтому игнорирование военных вопросов Меринг считал непростительным легкомыслием, объяснение которому можно было найти в том влиянии, которое имела буржуазия всех стран на представителей II Интернационала.

Вполне поэтому прав был тов. Троцкий, когда писал, что „оппортунизм Второго Интернационала ярче всего выразился именно в поверхностно-пренебрежительном отношении к милитаризму, как к варварскому учреждению, не заслуживающему просвещенного социал-демократического внимания [1]). И точка зрения т. Троцкого вполне совпадает со взглядами Меринга. „Социализм,—пишет Меринг,—относится к милитаризму, как раз так же, как и к его близнецу—капитализму: он не поворачивается к нему спиной, бормоча сердитые и банальные фразы по примеру буржуазных друзей мира, но он изучает его слабые и сильные стороны, чтобы с тем большею уверенностью победить его" [2]).

Меринг проводит ту мысль, что если для разрушения капитализма мы прежде всего тщательно и детально изучаем сущность этого строя, изучаем те стороны, которые содействуют его развитию, и те причины, которые приведут к его крушению, то аналогичным образом мы должны поступить и по отношению к милитаризму.

„Пролетарская критика,—по мнению Меринга,—должна исследовать войну как врач, который прежде всего определяет истинные причины болезни, а затем уже определяет нужное лекарство" [3]).

В первых трех статьях Меринг, как уже было указано, рассматривает историю военного искусства и войны древнего мира, средних веков и нового времени. И, будучи прежде всего марксистом, Меринг наглядно показывает, что военная организация любого исторического периода самым тесным образом связана с экономической структурой общества, что военная техника всецело зависит от степени развития производительных сил. И эти

[1]) Предисловие Л. Д. Троцкого к книге Энгельса „Статьи о войне 1870—1871 г.г.", стр. XIX.

[2]) Ф. Меринг, Очерки по истории войны и военного искусства, стр. 2.

[3]) Там же, стр. 264.

Франц. Меринг. Очерки по истории войны и военного искусства. Перевод с немецкого под редакцией и с предисловием Н. И. Попова. Изд. „Красная Новь“. Г.И.П. Москва 1924 г. Стр. LIV+388.

Вышедший в нынешнем году сборник Франца Меринга „Очерки по истории войны и военного искусства“ заключает в себе ряд статей, написанных Мерингом в разное время начиная с 1893 вплоть до 1915 года.

В сборник вошли следующие статьи:

Во-первых, обширная рецензия на книгу немецкого историка профессора Ганса Дельбрюка—„История военного искусства в рамках политической истории“, во-вторых, статья „Внешняя и военная политика короля Фридриха II“, которая составляет две больших главы из книги Меринга „Легенда о Лессинге“ и, в третьих, несколько глав из трех книжек Меринга, написанных им к столетнему юбилею „войны за освобождение Германии“, которая в 1813—1814 г.г. велась Россией, Австрией, Пруссией и Англией против Наполеона I. Эти три статьи посвящены описанию ряда этапов по истории войны и военного искусства древнего мира, средних веков и нового времени до наполеоновских войн включительно.

Далее в этот сборник вошли статьи, печатавшиеся в 1913 году в „Neue Zeit“ под общим заглавием „Милиция и постоянное войско“, изданные в прошлом году „Красною Новью“ в виде отдельной книжки, затем библиографическая статья „Пища для Молоха“, посвященная разбору книги немецкого писателя Блейбтрея, напечатанная в „Neue Zeit“ в 1912 году, и, наконец, статья „Военно-исторические проблемы“, помещенная в „Neue Zeit“ уже во время империалистской войны, а именно в 1915 году. Последняя статья подводит итоги всем предыдущим. Весь сборник по замыслу редактировавшего его тов. Попова составлен таким образом, чтобы „по статьям выдающегося марксистского историка можно было получить представление о закономерном развитии военного искусства, нашедшем себе отражение в истории войн с древнейших времен и до наших дней“.

Этой намеченной т. Поповым цели сборник вполне достигает, и книга эта, состоящая из ряда статей, написанных Мерингом в разное время, представляет собою, тем не менее, вполне законченное целое.

По своему содержанию книга Меринга является очень ценным вкладом в марксистскую литературу, и появление ее, несомненно, надо приветствовать.

При этом необходимо отметить, что ценность этой книги значительно увеличивается также и по той причине, что мы вообще страшно бедны марксистской литературой по военным вопросам, т. к. подавляющее большинство представителей международного социализма совершенно игнорировало эту область.

Такое пренебрежение к военным вопросам, проявляемое большинством представителей международной социал-демократии, вполне объяснимо.

Воспитанная в традициях Второго Интернационала, целью которого было завоевание политической власти помощью избирательных бюллетеней, международная социал-демократия главное свое внимание на протяжении многих лет сосредоточивала исключительно на избирательной борьбе, совершенно оставив в стороне целый ряд важнейших вопросов, в том числе и вопросов военных.

До каких геркулесовых столбов доходило это увлечение избирательными перспективами, наглядно показывает речь Жореса, произнесенная им в начале 1900-х годов в период его особенного увлечения парламентаризмом. Выступая перед собранием рабочих, выборщиков во французскую палату депутатов, Жорес произнес приблизительно следующие слова:

„Перед вами, товарищи, закрытые двери. Эти двери ведут в царство социализма и пройти в это царство всецело зависит от вашей воли. Двери эти заперты ключом, и задача рабочих отпереть их. Если рабочие свои

избирательные бюллетени будут класть направо, т.-е. голосовать за представителей буржуазных и реакционных партий, то этим самым, поворачивая ключ направо, они будут запирать двери. Если же, наоборот, большинство рабочих будет класть бюллетени налево, то этим самым оно будет содействовать отпиранию дверей. Когда в одну из грядущих избирательных кампаний весь рабочий класс, проникнувшись классовым сознанием, положит избирательные записки налево,—ключ повернется, двери откроются, и мы дружно войдем в царство социализма".

Несмотря на всю „агитационность" этой речи, она необычайно характерна. И хотя в дальнейшем Жорес резко изменил свою позицию в данном вопросе, тем не менее, речь эта является яркой иллюстрацией тех умонастроений, которые царили во Втором Интернационале по вопросу о завоевании политической власти.

Совсем иначе подходил к этому вопросу Франц Меринг. Грядущая социальная революция рисовалась ему в тех контурах, яркие очертания которых мы находим у представителей революционного марксизма и в первую очередь у самих Маркса и Энгельса. Не избирательные кампании, а классовая борьба, жесточайшая гражданская война,—вот путь к завоеванию политической власти.

Отсюда у Меринга глубоко практическое отношение к военным вопросам. Так же, как и Энгельс, Меринг прекрасно понимал, что в грядущей революции вопрос о создании пролетарской армии приобретает исключительно важное значение. Создать же армию партия пролетариата сможет лишь в том случае, если она будет изучать военное дело, изучать „сущность и природу войны". И поэтому игнорирование военных вопросов Меринг считал непростительным легкомыслием, объяснение которому можно было найти в том влиянии, которое имела буржуазия всех стран на представителей II Интернационала.

Вполне поэтому прав был тов. Троцкий, когда писал, что „оппортунизм Второго Интернационала ярче всего выразился именно в поверхностно-пренебрежительном отношении к милитаризму, как к варварскому учреждению, не заслуживающему просвещенного социал-демократического внимания [1]). И точка зрения т. Троцкого вполне совпадает со взглядами Меринга. „Социализм,—пишет Меринг,—относится к милитаризму, как раз так же, как и к его близнецу—капитализму: он не поворачивается к нему спиной, бормоча сердитые и банальные фразы по примеру буржуазных друзей мира, но он изучает его слабые и сильные стороны, чтобы с тем большею уверенностью победить его" [2]).

Меринг проводит ту мысль, что если для разрушения капитализма мы прежде всего тщательно и детально изучаем сущность этого строя, изучаем те стороны, которые содействуют его развитию, и те причины, которые приведут к его крушению, то аналогичным образом мы должны поступить и по отношению к милитаризму.

„Пролетарская критика,—по мнению Меринга,—должна исследовать войну как врач, который прежде всего определяет истинные причины болезни, а затем уже определяет нужное лекарство" [3]).

В первых трех статьях Меринг, как уже было указано, рассматривает историю военного искусства и войны древнего мира, средних веков и нового времени. И, будучи прежде всего марксистом, Меринг наглядно показывает, что военная организация любого исторического периода самым тесным образом связана с экономической структурой общества, что военная техника всецело зависит от степени развития производительных сил. И эти

[1]) Предисловие Л. Д. Троцкого к книге Энгельса „Статьи о войне 1870—1871 г.г.", стр. XIX.

[2]) Ф. Меринг, Очерки по истории войны и военного искусства, стр. 2.

[3]) Там же, стр. 264.

мысли являются той основой, на которой Меринг и строит историю войны и военного искусства.

В самом деле: если древняя Греция оказалась победительницей во время греко-персидских войн, то этой победой она обязана своему более высокому по сравнению с Персией экономическому развитию. В эпоху греко-персидских войн в городах Греции уже наблюдалось вполне развитое ремесленное производство. Выделка оружия была поставлена на должную для своего времени высоту. Городское население греческих республик, связанное общими экономическими интересами, представляло собою стройное сильное войско, приобретшее свою дисциплину и закал в условиях производственного труда. И, конечно, экономически отсталой Персии, населенной различными, совершенно не связанными друг с другом кочевыми народами с их примитивной техникой, трудно было бороться с греческим союзом. При этом заслуживает быть отмеченным также и то обстоятельство, что самый характер стратегии в этой войне всецело определялся экономическим развитием обеих стран. Здесь перед нами типичная стратегия на уничтожение, проводимая Грецией в отношении своего более слабого противника. Война была закончена греками несколькими сильными ударами, совершенно разгромившими персидские армии.

Иная совершенно картина перед нами в пелопоннесской войне. Здесь состязаются два государства, находящиеся приблизительно в одинаковых экономических условиях. „Если греко-персидские войны,—по словам Меринга,—характеризовались различием борющихся сил в вооружении и тактике, то здесь эти различия отсутствуют. Здесь греки сражаются с греками“. И если Афины обладали превосходством на море, то это превосходство вполне уравновешивалось сухопутными силами Спарты. Отсюда и самый характер борьбы совершенно иной. Совершенно иные задачи ставят себе борющиеся стороны, а потому и стратегия здесь совершенно иного порядка. Если в греко-персидских войнах пред нами стратегия на уничтожение, то в Пелопоннесскую войну, длившуюся около 30 лет и не приведшую ни к каким решительным результатам, мы наблюдаем уже другую стратегию, именно стратегию на истощение, каковая наблюдалась также во время тридцатилетней и семилетней войн.

Таким образом из книги Меринга мы видим, что не только вооружение и военная организация, но и сами стратегия и тактика всецело определяются экономическими условиями. Яркую иллюстрацию этой мысли дает рассматриваемая далее Мерингом история развития и упадка военной организации древнего Рима.

Развитие торгового капитализма и денежного хозяйства привело в древнем Риме к развитию его широкой завоевательной политики и сильнейшей военной организации. В борьбе Рима с окружавшими его народами римским господствующим классам удалось при наличии мощного развития производительных сил создать необычайно могучие, организованные и боеспособные армии. По своей организованности римские армии во многом не уступали современным европейским. И эта их организованность и являлась причиной их силы. Противостоявшие Риму германские и галльские племена были не менее многочисленны и отличались не меньшей храбростью, чем римские легионы, но военная организация их была значительно ниже римской. Римское войско, по словам проф. Дельбрюка, труд которого рецензирует Франц Меринг, являлось не только массой, но массой организованной. Оно представляло собою организованный сложный живой организм. Сюда относились не только солдаты и вооружение, всадники и пехота, не только легаты, трибуны, центурионы, легионы, когорты, манипулы, центурии, дисциплина снизу, руководство сверху, авангард, арьергард, патрули, служба связи, съемщики лагерей, но также квестор и его войско чиновников и контролеров, инженеры с их орудиями, умеющие быстро сооружать мосты,

валы, блокгаузы, тараны, орудия, корабли, интенданты с их обозами, доктора и лазареты, магазины, цейхгаузы, полковые кузницы и т. д." [1]).

Этой необычайно сложной и разветвленной военной организации, всецело покоящейся на сильной развитой хозяйственной базе, и обязаны римляне широкому раздвижению своих границ, которое мы наблюдаем в период наивысшего расцвета римского могущества.

И, наоборот, начавшийся в дальнейшем упадок хозяйственной жизни Рима неминуемо должен был привести к разложению его военной организации, конечным результатом чего и явилось падение Западной Римской империи. Переходя к средним векам, Меринг и здесь наглядно показывает, насколько характер войны и военного искусства зависит от экономики общества.

Развитие феодального строя привело в средние века к необычайно большому количеству войн, но „его военные возможности,—говорит Меринг,—малы, войска невелики по численности. Война происходит постоянно, но битвы, имеющие действительно историческое значение, как, например, битва на Лахфельде или же битва при Гастингсе, очень редки" [2]).

„В средние века,—пишет далее Меринг,—не было в сущности ни тактики, ни стратегии; можно было бы говорить лишь с немногим исключениями о стратегии на истощение в самом тривиальном смысле этого слова" [2]). И, действительно, раздробление Европы на целый ряд мелких феодальных округов, главную хозяйственную основу которых составляло стоящее на низкой ступени развития земледелие и деревенская ремесленная промышленность с ее примитивной техникой, неизбежно должно было создать тот средневековый уклад жизни, на базисе которого и развивалась военная организация средневековья. И только наступление капитализма, сопровождавшееся борьбой королевской власти с феодалами, создало новую военную организацию и тактику, опирающуюся на массовые действия пехоты, при помощи которой на-голову были разбиты войска феодальных рыцарей.

Описывая далее развитие военного искусства в эпоху капитализма, Меринг наглядно показывает, как именно изменение экономических условий создает соответственные изменения в военном деле как качественные, так и количественные. И мы действительно видим, что в связи с развитием капитализма снова выступают на сцену большие военные силы, сильно видоизменяется военная организация, значительно и беспрерывно совершенствуется военная техника, а в связи с этим соответственно изменяются стратегия и тактика.

Особенно рельефно выступает этот процесс в эпоху наполеоновских войн, бывших по существу своему продолжением войн революционных, в которых вступившая на путь капиталистического развития Франция боролась против феодально-абсолютистских коалиций. Помимо численного перевеса, который Наполеон всегда старался иметь в борьбе со своими противниками, исключительные успехи его обусловливались главным образом, изменениями в тактике, которая в общих своих основах была в дальнейшем воспринята армиями всех европейских государств. Описывая реформы прусской армии, произведенные после поражения под Иеной генералом Шарнгорстом, Меринг констатирует, что реформы эти перестроили прусскую армию по образцу наполеоновских войск, и только заимствовав у Наполеона основные принципы организации, стратегии и тактики, союзники оказались в состоянии положить предел его завоевательным стремлениям.

Историческая часть книги Меринга разработана очень детально и иллюстрирована целым рядом примеров, дающих весьма ценный материал по изучению истории военного искусства и войны. История военного искусства и некоторых войн древней Греции и Рима, средних веков, новейшего

[1]) Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории.
[2]) Ф. Меринг, цитир. сочинение, стр. 70.

времени описана самым исчерпывающим образом. Особенно детально рассмотрена семилетняя война, наполеоновские войны, описанию которых посвящена большая часть книги и история прусской военной реформы. Для военных специалистов эта яркая марксистская книга является исключительно ценною. Не меньшую ценность представляет она и для широкой публики, так как помимо специально военных сведений в ней имеется масса интересного материала по общей истории и истории хозяйственного быта.

Но помимо вопросов военно-исторических книга Меринга затрогивает также ряд вопросов теоретических. Одним из таковых вопросов является вопрос о постоянном войске и милиции.

Если мы развернем программу-minimum любой европейской социал-демократической партии, то в каждой из таковых программ мы найдем требование об отмене постоянного войска и замене его милицией. Таковые требования характерны, впрочем, не только для социалистических партий. Политические программы либералов и радикалов, которые, к слову сказать, весьма мало отличаются от программы-minimum международной социал-демократии, до недавнего времени тоже заключали в себе требование об уничтожении постоянного войска и создании милиции.

Рассматривая этот вопрос в его историческом развитии, Меринг пишет, что буржуазная оппозиция против постоянного войска возникла одновременно с появлением таковрго, т.-е. с крушения феодального строя. При этом он устанавливает, что эта оппозиция, продолжавшаяся вплоть до XX века, имела в своем корне отнюдь не соображения „гуманности, прогресса и цивилизации", а причины строго-экономические. Нежелание платить налоги, необходимые для содержания постоянного войска, или, вернее сказать, стремление платить этих налогов как можно меньше—вот источник велеречивых буржуазных разглагольствований против постоянного войска. И подробный исторический анализ этого вопроса, сделанный Мерингом, показывает, что, несмотря на многочисленные произведения виднейших представителей французских энциклопедистов и немецкой классической философии, посвященные борьбе против войны, несмотря на громы, которые метали против войны и постоянных армий Вольтер, Руссо, Тюрго, Кант, Фихте, несмотря на многошумные выступления либеральных парламентариев,—„цели своей буржуазная оппозиция по отношению к постоянному войску никогда не была способна достигнуть"[1]).

Единственно в Англии был уничтожен институт наемного войска, но уничтожение таковрго стало возможным там только благодаря „островному положению Англии, завоевавшей мировой рынок не средствами милитаризма, а средствами маринизма" [2]).

Впрочем, либеральная партия в настоящее время на этом своем программном требовании и не настаивает. И было бы большим nonsens'ом, если бы в эпоху финансового капитала с его агрессивной империалистической политикой буржуазия занималась бы таким заведомо безнадежным делом. Что же касается социал-демократов, в то время [3]) еще имевших в своей программе пункт об уничтожении постоянного войска и замене его милицией, то здесь Меринг прежде всего считает необходимым устранить ту путаницу, которая у них господствует в данной области, главным образом, благодаря полной „невинности" социал-демократов по части военных вопросов.

Он пишет, что „военная организация находится в непрерывном потоке исторического развития, а потому и не может быть места абстрактному противопоставлению милиции постоянному войску". „Вопрос милиция или постоянное войско?" есть вопрос военного устройства, а душой всякого военного устройства является дисциплина.

---

[1]) Ф. Меринг, Милиция и постоянное войско, стр. 263.
[2]) Ф. Меринг, Милиция и постоянное войско, стр. 2.3.
[3]) т.-е. в 1913 году когда была написана статья „Милиция и постоянное во

Рассуждая абстрактно, мы можем сказать, что дисциплина милиции, поскольку она вытекает из условий жизни и работы, бесконечно выше, чем дисциплина постоянного войска, приобретаемая им путем выучки и упражнений,—настолько же выше, насколько жизнь выше школы. Ясно, что именно жизнь, а не школа вырабатывает борцов. Но предпосылками всякой милиции являются определенные условия жизни и работы, создающиеся историческим развитием. Там, где эти условия отсутствуют, милиция стоит настолько же ниже постоянного войска, насколько безграмотность ниже элементарной азбуки [1]).

Рассматривая таким образом требование социал-демократии об отмене постоянного войска и замене его милицией, Меринг прежде всего старается выяснить, насколько осуществимо подобное требование в настоящее время. Целым рядом исторических примеров Меринг доказывает, что милиция может заменить постоянное войско там, где имеются для этого указанные экономические условия. При этом Меринг приводит необычайно характерный пример из русской истории. Он говорит, что „таковые условия, создаваемые характером труда в русской общине, имелись в крепостнической России конца XVIII и начала XIX века, и потому русская армия того времени была гораздо ближе к типу милиционных армий, чем современные европейские армии" [2]). И, наоборот, определившийся во второй половине процесс разложения русской общины содействовал разложению „дисциплины милиции" русской армии.

Анализируя далее вопрос о том, имеются ли таковые условия в современном капиталистическом строе, Меринг в своем анализе приходит к отрицательным результатам и говорит, что при наличии капиталистических отношений возможность такового перехода является определенной утопией.

В этом вопросе Меринг был вполне согласен с Энгельсом, который писал, что „только коммунистически организованное и воспитанное общество может приблизиться к милиционной системе, да и то не сразу".

Само собой разумеется, что из таких взглядов Меринга исходила соответствующая практическая деятельность: он решительно высказывался против пацифистских иллюзий о разоружении, или хотя бы об ограничении вооружений, культивировавшихся некоторыми социал-демократическими кругами, конечно, из тех, которые потом с величайшей готовностью пошли на службу Молоху империализма" [3]).

Книга Меринга многими прочтется с большим интересом. Помимо богатого исторического материала, книга эта рассматривает целый ряд вопросов, которые и поныне не утратили своей злободневности и разрешение которых может быть осуществлено лишь при наличии всестороннего их освещения ярким светом революционно-марксистской мысли.

М. Абрамович.

---

1) Ф. Меринг, цит. соч., стр. 298.
2) См. Попов, предисловие к цитир. соч. Меринга, стр. XXXVII.
3) Попов, предисловие к цитир. сочинению Меринга, стр. LI.

КНИГИ, ПРИСЛАННЫЕ НА ОТЗЫВ.

Записки научного общества марксистов № 6 (2).

Г. Челпанов. Психология и марксизм. Изд. „Русский Книжник". 1924.

А. Деборин. Ленин как мыслитель. Изд. „Красная Новь". 1924.

К. Тахтарев. Рабочее движение в Петербурге 1893—1901 г.г. Изд. „Прибой".

П. Лепешинский. Жизненный путь Ильича. „Пролетарий".

Н. Бухарин. Ленин как марксист. „Пролетарий".

Д. Эрде. Ленина неграмотность. „Пролетарий".

В. Данилевский. Гипнотизм. „Путь Просвещения".

П. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. 3 изд. „Прибой". 1924.

Н. Батурин. Очерки из истории рабочего движения 70-х и 80-х г.г. Харьков. „Червоний Шлях". 1924.

М. Лядов. Ленин и ленинизм. „Пролетарий". 1924.

К. Шелавин. Очерки русской революции 1917 года. „Прибой" 1924.

С. Я. Вольфсон. Плеханов. Белтрестпечать. 1924.

„ Марксизм и педагогика. Белтрестпечать. 1924.

Г. В. Плеханов. Сочин., том XII. Госиздат.

„ „ „ IX. Госиздат.

„ „ „ V. Госиздат.

Вольтер. Орлеанская девственница. Госиздат.

Людвиг-Фейербах. Сочинения, том III. Госиздат.

Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собр. соч., том V. Госиздат.

„ IX. Госиздат.

„ VII. Госиздат.

„ „ „ „ „ IV. Госиздат.

Клерк Максвелл. Материя и движение. Госиздат.

Ф. Содди. Радий и строение атома. Госиздат.

Ж. Перрен. Атомы. Госиздат.

Отто Винер. Физика и развитие культуры. Госиздат.

Э. Кречмер. Строение тела и характер. Госиздат. 1924.

Т. Морган. Структурные основы наследственности. Госиздат. 1924.

Философия науки. Естественно-научные основы материализма. Часть I — Физика, вып. 2 Госиздат Ленинград, 1924.

М. Бер. Карл Маркс, его жизнь и учение. Госиздат.

Эмиль Барт. В мастерской германской революции. Госиздат. 1924.

Гаральд Геффдинг. Учебник истории новой философии. Госиздат.

К. Каутский. Размножение и развитие в природе и обществе. Госиздат.

Г. Челпанов. Введение в экспериментальную психологию. Госиздат.

Л. Д. Троцкий. Ленин и старая „Искра". Госиздат.

„ О Ленине Госиздат.

И. Д. Ермаков. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. Госиздат.

Летопись жизни Белинского. Редакция Н. К. Пиксанова. Госиздат. 1924.

Группа „Освобождение Труда". Из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич и Л. Г. Дейча. Сборник I. Госиздат.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

ОПЕЧАТКИ, вкравшиеся в статью Ф. Михалевского „Этюд по теории кредита“, „Под Знаменем Марксизма“, № 6—7.

Страница.	*Строка.*	*Напечатано.*	*Должно быть.*
171	23 сверху	Обмена товара	Обмена, товара
172	15 снизу	Кредитами	Предметы
172	12 снизу	Предотавляет	Предоставляет
172	10 снизу	Современную	Совершенную
173	19 снизу	Гторж	Шторх
173	17 снизу	Книго	Книс
174	18 сверху	, что	. Что
176	12 сверху	. Отношение	, отношение
181	28 снизу	Специфически	Специфический
182	5 сверху	Опущены слова:	не в силу того, что он собственник стоимости, а
183	1 сверху	Когда	Тут
185	20 снизу	Понадобятся изыскания	Понадобится изыскание
187	4 сверху	Не надо красной строки;	вместо того запятая.
187	23 снизу	а	*а* (курсивом).
188	2 снизу	. (Hahn)	(Hahn
189	17 сверху	Обладания	Обладателя
193	2 сверху	Продолжают	Проделывают
193	27 сверху	Вклад может быть не просто товаром	Вклад может быть порожден не просто товаром
195	22 снизу	Потребительская	Потребительная

Издатель: Государственное Изд-ство. Отв. редактор: Редакционная коллегия.